П. Ф. Николаев

1812 год в жизни А. С. Пушкина

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Сознательная жизнь А. С. Пушкина пришлась на череду беспрерывных войн, которые вела Россия: Отечественная война 1812 года, заграничные походы русской армии 1813–1814 годов, Русско-иранская (1826–1828) и Русско-турецкая (1828–1829) войны, подавление восстания в Польше (1830–1831). С 1816 по 1859 год шло завоевание Северного Кавказа. И на все эти события откликался великий поэт. Но особое место в его творчестве заняли наполеоновские войны. Им и их участникам (многих из которых он знал лично) посвящено немало произведений гениального поэта, что по существу открывает в его творчестве особую страницу в русской литературе — батальную историю России.

- Павел Николаев
  -
  - Предуведомление
  - Часть первая
    -
    - «Спешу в смиренный свой приют»
    - «Мгновенью жизни будь послушен»
  - Часть вторая
    -
    - «Раевские мои»
    - «О Кишинёв, о тёмный град!»
    - Одесса
  - Часть третья
    -
    - «Между ими друзей моих довольно»
    - «Мой Пушкин»
    - «Отечество того не забыло»
  - Часть четвёртая
    -
    - «А там что будет — вольны боги!»
    - «Недаром — нет! — промчалась четверть века!»
    - «Люблю войны кровавые забавы»
  - Использованная литература
  - К биографии автора. Справка
  - Приложение
- notes
  - 1
  - 2

- ○ 3
- ○ 4
- ○ 5
- ○ 6
- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46

- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90

- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104

Павел Николаев
1812 год в жизни А. С. Пушкина

© Николаев П. Ф., 2018
© Оформление. ИПО «У Никитских ворот», 2018

* * *

Предуведомление

Книга, предлагаемая вниманию читателей, не является биографией Пушкина, ибо её цель более ограничена: рассказать о тех произведениях великого поэта, в которых повествуется о событиях Отечественной войны 1812 года и зарубежных походах русской армии 1813–1814 годов. Ввиду их эпохальности и невозможности в стихотворной форме полностью выразить суть явлений, содержание пушкинских текстов дополнятся пояснениями историко-справочного характера.

Многие современники Пушкина видели в нём задатки незаурядного военного и предрекали ему успешную карьеру на марсовом поприще. Не случилось. Но интерес к военной истории был у Александра Сергеевича стабилен всю жизнь. И в немалой степени этому содействовало постоянное военное окружение поэта (особенно в молодости) — от ополченцев до генерал-фельдмаршала. Поэтому в книге немало страниц отведено тем, кто в той или иной степени проявил себя в ратном деле и соприкасался с поэтом.

Военное окружение Пушкина органически входит в его биографию, и наше понимание творческого наследия гения во многом зависит от того, насколько мы знаем среду, в которой он жил.

Часть первая
Детство. Отрочество. Юность

«Спешу в смиренный свой приют»

Лицейские годы поэта

«Текла за ратью рать». «В Париже росс!» «Сто дней». «Отважной верою исполнилася грудь». Вне стен лицея. «В нём пунша и войны кипит всегдашний жар». «Куда зарыл ты свой золотой талант?» «Всегда мудрец, а иногда мечтатель».

«Мгновенью жизни будь послушен»

Столица

Колебания. Поэт и царь. «Громом говорит». Изгнание. Русский Тиртей. «Творишь ты для немногих». «Язвительный поэт, остряк замысловатый». «Товарищ милый, но лукавый». Случайная встреча.

«Спешу в смиренный свой приют» Лицейские годы поэта, 1811–1817

— Да, Пушкин был великий поэт.
— Более того, он был лицеистом.

(Анекдот начала XX столетия)

«Текла за ратью рать». В 25 километрах от Петербурга в живописной местности раскинулся знаменитый пригород Северной Пальмиры — город Пушкин. Начало ему дало Царское Село, бывшее два века летней резиденцией царской семьи, обосновавшейся в Екатерининском дворце.

19 октября 1811 года в одном из флигелей дворца состоялось открытие Царскосельского (Александровского) лицея. Это учебное заведение было нечто средним между существовавшими тогда гимназиями, кадетскими корпусами и университетом. Образование в лицее предполагалось энциклопедического характера; предназначался он для подготовки высших государственных чиновников.

Царскосельский лицей

Первым директором Царскосельского лицея был Василий Фёдорович Малиновский — учёный, просветитель и педагог, автор записки «Об освобождении рабов» (1802). По его

предложению девизом лицея стала универсальная формула: «Общее дело для общей пользы».

В этом учебном заведении и пережил события Отечественной войны и заграничных походов русской армии Александр Пушкин. О возможной войне с Францией говорили задолго до её начала. Слухи, доходившие до лицеистов, подогревались рассказами о появлении в небе кометы. Достоверность их подтверждалась тем, что якобы сама императрица запросила у столичных астрологов сведения о страннице Вселенной. Их ответ был неутешителен: кометы появляются накануне важных событий, особенно войн.

23 марта 1812 года был опубликован Манифест Александра I о рекрутском наборе, и всё стало ясно. В апреле царь выехал в Вильно, в районе которого располагалась 1-я Западная армия. За государем последовали гвардейские полки. Они шли через Царское Село, прямо под остеклённой галереей лицея, и его воспитанники не отходили от окон, пока последний солдат не исчезал за поворотом дороги. Проводы так воодушевляли подростков, что они забрасывали под лавки учебники французского языка.

По воспоминаниям барона М. А. Корфа, сокурсника поэта, лицеистов особенно поразил вид народных дружинников с крестами на шапках и иррегулярные казачьи полки. По-видимому, в этом наблюдении нет юношеского преувеличения, так как одним из первых опытов начинавшего поэта стало стихотворение «Казак» (1814):

Раз, полунощной порою,
Сквозь туман и мрак,
Ехал тихо над рекою
Удалой казак.

Черна шапка набекрени,
Весь жупан в пыли.
Пистолеты при колене,
Сабля до земли.

Верный конь, узды не чуя,
Шагом выступал;
Гриву долгую волнуя,
Углублялся вдаль…

О начале войны лицеисты узнали из манифеста от 13(25) июня. Царь взывал ко всем подданным, ко всем сословиям и состояниям, духовным и мирским, призывая их «единодушным и

общим восстанием содействовать против всех вражеских замыслов и покушений», поражать неприятеля на каждом его шаге, не внимать никаким его лукавствам и обманам. Манифест содержал знаменитую фразу: «Соединитесь все: с крестом в сердце и с оружием в руках никакие силы человеческие вас не одолеют».

Светскую власть поддержала Церковь. Священный синод выпустил воззвание, которое вместе с царским манифестом читалось во всех храмах страны. В воззвании Наполеон именовался «властолюбивым, ненасытным, не хранящим клятв, не уважающим алтарей врагом, который покушается на нашу свободу, угрожает домам нашим и на благолепие храмов Божиих простирает хищную руку». Начавшуюся войну Церковь рассматривала, как нависшее над Россией искушение; его надо преодолеть с Божьей помощью и ещё больше утвердиться на Его промысел. С амвонов российских храмов звучал призыв «принять оружие и щит, охранить веру отцов».

Царский манифест и воззвание Синода сыграли немалую роль в духовном вооружении населения России. Пушкин говорил: «Известие о нашествии и воззвание государя поразили нас».

С замиранием сердца следили подростки за развитием событий: в действующих армиях (1-й и 2-й Западных) у многих были родственники. С непосредственностью и нетерпением отрочества, с его преувеличенным представлением о своих возможностях они рвались вослед ушедшим.

Наполеон с основными силами Великой армии рвался к Москве, на Петербург наступал маршал Н. Удино, которому противостоял 1-й пехотный корпус генерала П. Х. Витгенштейна. Надежды на успех действий последнего были минимальными, поэтому царь сразу озаботился тем, чтобы сохранить исторические и художественные ценности столицы. Находясь в армии, Александр направил 4 июля рескрипт фельдмаршалу Н. И. Салтыкову, в котором указывал на необходимость вывоза из Петербурга архивов, картин Эрмитажа, дворцовых драгоценностей, военных трофеев, двух статуй Петра I и статуи А. В. Суворова, книг и рукописей Императорской публичной библиотеки.

Приготовления к эвакуации вызвали обоснованное беспокойство населения столицы, и в «Санкт-петербургских ведомостях» появилось следующее разъяснение: «Здесь, в Санкт-Петербурге, берутся некоторые меры к вывозу отселе нужных вещей. Сие отнюдь не для того делается, чтобы какая-нибудь опасность угрожала столице. Настоящее время не представляет никакой опасности, но мы бы погрешили против Бога, если б с

несомненною уверенностию стали утверждать будущее, о котором Он один знает. Вся надежда на искоренение врагов, невзирая на успех движения их внутрь России на нашей стороне. Однако и в самых надёжных обстоятельствах помышление о предосторожности не долженствует наводить ни страха, ни уныния».

Редкую заботливость о лицеистах показал в это время граф А. К. Разумовский, глава Министерства народного просвещения. В предписании директору лицея Малиновскому о перемещении этого учебного заведения в другую губернию он ставил вопросы о одежде и обуви лицеистов, о приобретении дорожной посуды, о медицинском персонале и прочем. Словом, искренне радел о судьбе тринадцатилетних отроков в той глуши, куда их могла забросить неизвестность военных бурь.

К счастью, Витгенштейну удалось сдержать напор корпуса Удино. 18–19 июля у селения Клястицы Дрисского уезда Витебской губернии наступление противника было остановлено и необходимость в эвакуации людей, материальных и художественных ценностей Петербурга отпала. Царь высоко оценил действия Витгенштейна: он был награждён орденом Св. Георгия 2-го класса и получил известность как спаситель Петербурга. Лицеист Пушкин упомянул прославившегося генерала в своём первом опубликованном стихотворении «К другу стихотворцу»:

> Не тот поэт, кто рифмы плесть умееет
> И, перьями скрипя, бумаги не жалеет.
> Хорошие стихи не так легко писать,
> Как Витгенштейну французов побеждать.

По поводу последнего утверждения подростка следует сказать, что победа при Клястице далась трудно. Витгенштейн доносил царю: «После упорнейших и кровопролитных сражений, продолжавшихся три дня беспрерывно от самого утра до ночи, наконец, благодарение Всещедрому Богу и слава победоносным российским войскам, победа над коварным и сильным врагом Отечества нашего нами одержана. Корпус маршала Удино, состоявший из трёх лучших французских пехотных дивизий, совершенно разбит, приведён в величайшее расстройство, ретировался в беспорядке и спасся только помощью лесных мест и переправою через маленькие речки, на которых жёг и истреблял мосты, чем удерживал и останавливал быстроту нашего за ним преследования».

Корпус Витгенштейна остановил наступление противника, но

на главном направлении основные корпуса Великой армии продолжали теснить русских — 1-я и 2-я Западные армии (Барклая де Толли и Багратиона) отходили к Смоленску.

В сражении под Салтановкой 7-й пехотный корпус, которым командовал генерал Н. Н. Раевский, задержал наступление корпуса маршала Даву и обеспечил отход 2-й Западной армии к Смоленску. По молниеносно распространённому рассказу, при атаке противника Николай Николаевич держал около себя сыновей. Старшему из них было шестнадцать лет, младшему — десять. Информация об этом была опубликована в газете «Северная почта» (она выходила в Петербурге) и гласила: «Сколь ни известно общее врождённое во всех истинных сынах России пламенное усердие к государю и Отечеству, мы не можем, однако, умолчать перед публикою следующего происшествия, подтверждающего сие разительным образом. Перед одним бывшим в сию войну сражением, когда генерал-лейтенант Раевский готовился атаковать неприятеля, то, будучи уверен, сколько личный пример начальника одушевляет подчинённых ему воинов, вышел он пред колонну не только сам, но поставил подле себя и двух юных сыновей своих и закричал:

— Вперёд, ребята, за царя и Отечество! Я и дети мои, коих я приношу в жертву, откроем вам путь.

Чувство геройской любви к Отечеству в сем почтенном воине должно быть весьма сильно, когда оно и самый глас нежной любви родительской заставило умолкнуть» (73, 115)[1].

Аналогичное сообщение появилось и в десятом номере «Русского вестника» С. Н. Глинки. Там было напечатано стихотворение Сергея Николаевича, содержащее следующие строки:

Великодушный русский воин,
Всеобщих ты похвал достоин:
Себя и юных двух сынов —
Приносишь всё царю и Богу;
Дела твои сильней всех слов,
Ведя на бой российских львов,
Вещал: «Сынов не пожалеем.
Готов я с ними вместе лечь,
Чтоб злобу лишь врагов пресечь!..
Мы россы!.. умирать умеем».

В журналах, газетах и других печатных изданиях прославлялись подвиги военачальников и простых ратников. Надо ли говорить о том, как это действовало на отроков

Царскосельского лицея. Что касается Пушкина, то его буквально сразил тот факт, что в войне участвует его ровесник. Сам генерал Раевский отрицал подлинность данного эпизода сражения под Салтыковкой, но вымысел этот сыграл свою роль в поддержании патриотических чувств россиян.

Рассказ о подвиге генерала Раевского относится к жанру анекдотов, которые обильно печатались в журналах «Сын Отечества», «Русский вестник» и «Вестник Европы». В начале XIX столетия под понятием «анекдот» подразумевался короткий поучительный или сатирический рассказ, раскрывавший героизм человека. Многие из анекдотов были сочинены редакторами и авторами журналов, и их герои не имели реальных прототипов. Таковы русский «Сцевола», отрубивший себе руку с клеймом неприятеля; «Курций», бросающийся на французского полковника, приняв его за Наполеона; простой повар, сражавшийся с кирасирами вражеской гвардии; российский «Геркулес», припёрший могучим плечом дверь с тремя десятками французов в горящей избе; раненый русский гренадёр, не понимающий, почему лекарь щупает ему спину: «Ведь я шёл грудью»; старостиха Василиса, ведущая пленных и убивающая косой офицера, приговаривая при этом: «Всем вам, ворам, собакам, будет то же. Уж я двадцати семи таким же вашим озорникам сорвала головы!»

…Задержка противника под Салтыковкой не предотвратила его движения на восток. 5 августа пал Смоленск — ворота на Москву оказались открытыми настежь. Это вынудило Александра I поставить во главе всех Вооружённых сил России М. И. Кутузова, которого он не любил и в военные таланты которого не верил. Пойти на этот шаг царя заставило требование московского дворянства.

Отстранение Барклая де Толли от общего командования 1-й и 2-й Западными армиями не прошло незамеченным Пушкиным, так как Михаил Богданович был родственником его товарища Вильгельма Кюхельбекера, которого Александр величал «лицейской жизни милым братом». В эти дни Вильгельм получил весточку из дома; мать писала: «Барклай теперь даёт доказательство того, что любит своё Отечество, так как по собственной воле служит в качестве подчинённого, тогда как он сам был главнокомандующим. Впрочем, пишу это для тебя — учись не быть никогда поспешным в суждениях и не сразу соглашайся с теми, которые порицают людей».

30 августа в Петербурге было получено донесение Кутузова о сражении при Бородино. Михаил Илларионович сообщал царю, что оно «кончилось тем, что неприятель нигде не выиграл ни на

шаг земли с превосходящими своими силами». Эту осторожную фразу Александр I воспринял как реляцию главнокомандующего о победе, о чём тут же были оповещены жители столицы, что вызвало бурю восторга. Очевидец писал: «Весь город высыпал на улицы. Все, поздравляя друг друга с победою, обнимались, лобызались. С тех пор как Петербург стоит, не было такого ликования».

Но через две недели в город пришла чёрная весть: французы вошли в Москву, которую русская армия оставила без боя, и слава «выигранной» битвы сразу померкла.

Лицеисты тяжело переживали неудачу под Бородино. «Не могу не вспомнить, — писал М. А. Корф, — горячих слёз, которые мы проливали над Бородинскою битвой, признанною тогда победой, но в которой мы инстинктивно видели другое».

Особенно близко принял Александр к сердцу известие о падении старой столицы:

Пушкин-отрок

Края Москвы, края родные,
Где на заре цветущих лет
Часы беспечности я тратил золотые,
Не зная горести и бед,
И вы их видели, врагов моей отчизны!
И вас багрила кровь и пламень пожирал!
И в жертву не принёс я мщенья вам и жизни;
Вотще лишь гневом дух пылал!

С Москвой были связаны воспоминания о беззаботном детстве, в котором Александр был окружён вниманием родителей и близких родственников. Отрок с тоской вспоминал город, украшенный златоглавыми храмами, дворцами вельмож, садами и парками. И всё это сгинуло в пламени небывалого пожара:

Где ты, краса Москвы стоглавой,
Родимой прелесть стороны?
Где прежде взору град являлся величавый,
Развалины теперь одни…

Ободряющую ноту в роковое известие внёс И. А. Крылов. В одном из номеров журнала «Сын Отечества» была помещена заметка о том, что в изолированной Москве французы употребляют в пищу ворон. Иван Андреевич откликнулся на неё басней «Ворона и Курица»:

Когда смоленский князь,
Противу дерзости искусством воружась,
Вандалам новым сеть поставил
И на погибель им Москву оставил,
Тогда все жители, и малый и большой,
Часа не тратя, собралися
И вон из стен московских поднялися,
Как из улья пчелиный рой…

С первых строк басни читателям внушалась мысль о том, что оставление Москвы связано со стратегическим замыслом М. И. Кутузова, что Москва — это искусная ловушка, призванная погубить завоевателей: «Попался, как ворона в суп». Эту заключительную фразу басни читатели относили (и не без основания) к самому Наполеону.

Басней «Волк на псарне» Крылов откликнулся на миссию Ж. А. Лористона, через которого французский император сделал последнюю попытку заключить мир:

Друзья! К чему весь этот шум?
Я ваш старинный сват и кум.
Пришёл мириться к вам, совсем не ради ссоры,
Забудем прошлое, уставим общий лад!..

Не выходя из рамок басенного иносказания, Крылов дал замечательный по выразительности образ Кутузова в виде старика-ловчего, здравый народный смысл которого не позволил ему вступить в переговоры с хищником:

А потому обычай мой:
С волками иначе не делать мировой,
Как снявши шкуру с них долой.

Широкое распространение получила в 1812 году карикатура; она способствовала возбуждению ненависти к завоевателям и их вождю. Карикатуры были своего рода памфлетами и способствовали организации борьбы народа против более сильного противника. Стиль карикатур был тенденциозно-аляповатый, оглуплявший врага. Это способствовало их широкому распространению. Тиражированием карикатур занимались не только государственные и частные типографии, но и походная, существовавшая при Главной квартире армии.

Карикатуры имели очень большое политическое и воспитательное значение: изображая слабость французской армии, они усиливали веру в мощь и непобедимость русских; заставляя смеяться над врагами, придавали храбрости и уверенности в схватках с противником; возбуждали любовь к родине, народу, ко всему своему, национальному.

И что было важно для будущего: русская карикатура 1812 года стала значительной вехой в развитии отечественного искусства. Именно на карикатурах и картинках для народа появились впервые русский мужик, русский солдат, русская изба и русская природа.

В тяжёлую для страны годину Александр с жадностью читал приказы по армии, бюллетени, рескрипты и донесения. Преподаватели со своей стороны всячески способствовали приобщению лицеистов к этому виду «словесности». И. И. Пущин вспоминал: «Профессора приходили к нам и научали нас следить за ходом дел и событий».

И лицеисты делали это с удовольствием, особенно после того, как в Петербурге была опубликована реляция об оставлении захватчиками старой столицы: «Неприятель, теснимый и вседневно поражаемый нашими войсками, вынужден был очистить Москву 11 октября».

Через два дня после этого сообщения Великая армия, не сумев прорваться в южные районы России, вынуждена была начать отступление. Враг уходил на запад по той же дороге, по которой пришёл в далёкую «северную» страну. Дорога эта (и её

окрестности) была разорена, что лишило противника продовольственной базы. А в начале ноября начались заморозки, быстро перешедшие в зимнюю стужу, и недавние мужественные воины, теснимые русскими, быстро превратились в дезорганизованные толпы отчаявшихся людей.

…Они бегут, озреться не дерзают,
Их кровь не престаёт в снегах реками течь;
Бегут — и в тьме ночной их глад и смерть сретают,
А с тыла гонит русский меч, — писал Пушкин.

Уже в ходе Отечественной войны царь начал подготавливать общественное мнение к её продолжению с целью освобождения Европы от владычества Наполеона. В особом «Известии о состоянии Москвы» от 17 октября, составленном по высочайшему повелению и обнародованном в церквах, заявлялось, что определение «неприятель» для солдат и офицеров Великой армии слишком привычно для слуха и совершенно недостаточно по существу. Поведение их недостойно не только просвещённого народа, но даже дикарей, показывающих только наклонности к грабежу, а не к разрушению того, что они не могут взять и что им не нужно.

Подражание Франции и французам, господствовавшее в русском обществе все годы, предшествовавшие Отечественной войне, признавалось ошибочным, и предлагалось порвать со страной мятежников все нравственные связи, возвратиться к чистоте и непорочности «наших нравов». Франция и Россия противопоставлялись друг другу как «безбожие» и «благочестие», как «порок» и «добродетель», война между которыми должна продолжаться до победного конца.

23 ноября Наполеон, бросив жалкие остатки Великой армии, уехал в Париж. Это «действо» императора породило следующий анекдот. Достигнув пограничной реки Неман, он вышел из возка и увидел крестьянина-литовца, который с интересом разглядывал его.

— Ты местный житель? — спросил император.

— Да, — ответил крестьянин.

— А не скажешь ли, много дезертиров уже переправились через Неман?

— Вы первый, — последовал ответ.

3 декабря русские взяли приграничный город Ковно. Жалкие остатки Великой армии отступили за Неман — Россия была освобождена от нашествия «двунадесяти языцев». В приказе по армии М. И. Кутузов писал: «Храбрые и победоносные войска!

Наконец вы на границах империи, каждый из вас есть спаситель Отечества. Россия приветствует вас сим именем.

Стремительное преследование неприятеля и необыкновенные труды, подъятые вами в сем быстром походе, изумляют все народы и приносят вам бессмертную славу. Не было ещё примера столь блистательных побед. Два месяца сряду рука ваша каждодневно карала злодеев. Путь их усеян трупами. Смерть носилась в рядах неприятельских. Тысячи падали разом и погибали. Тако всемогущий Бог изъявлял на них гнев свой и поборил своему народу» (53, 633).

На Рождество, 25 декабря, царским манифестом народу было возвещено об освобождении России от вражеского нашествия. Главной причиной великой победы в манифесте называлась помощь Бога: «Не отнимая достойной славы ни у главнокомандующего войсками нашими знаменитого полководца, принёсшего бессмертные Отечеству заслуги, ни у других искусных и мужественных вождей и военачальников, ознаменовавших себя рвением и усердием, ни вообще у всего храброго нашего воинства, можем сказать, что содеянное ими есть превыше сил человеческих. Итак, да познаем в великом деле сём Промысел Божий».

В другом манифесте, изданном в тот же день, царь объявил о своём намерении соорудить храм во имя Христа Спасителя «в ознаменование благодарности к Промыслу Божию, спасшему Россию от грозившей ей гибели». Эта же мысль выражена на оборотной стороне медали, учреждённой 5 февраля 1813 года: «Не нам, не нам, а имени Твоему».

Оба манифеста были написаны государственным секретарём А. С. Шишковым и произвели большое впечатление на тринадцатилетнего Пушкина. Позднее смысл первого из них он отразил в следующих блестящих строках:

Гроза двенадцатого года
Настала — кто тут нам помог?
Остервенение народа,
Барклай, зима иль русский Бог?

«В Париже росс». 20 декабря (1 января по н. ст.) русская армия перешла Неман; начался заграничный поход, в котором победоносные войска почти сразу потеряли главнокомандующего. И. И. Кутузов скончался 16 апреля 1813 года в силезском городе Бунцлау. После бальзамирования тело Михаила Илларионовича было доставлено в Петербург и 13 июня торжественно захоронено

в Казанском соборе, который к этому времени в сознании народа стал памятником Отечественной войны (25 декабря 1812 года в соборе было размещено 27 трофейных знамён, в 1814 году их было там 115 и 94 ключа от городов и крепостей).

Похороны спасителя России широко освещались в печати и едва ли оставили равнодушными лицеистов, которых подготавливали к государственной деятельности.

С 4 по 7 (12–19) октября 1813 года продолжалось сражение под Лейпцигом. Противники потеряли 120 тысяч человек, но победа осталась за союзниками (русскими, пруссаками и австрийцами). Небывалое побоище получило название «Битвы народов» и всколыхнуло всю Европу, владычество Наполеона над которой кончилось.

Кампания 1814 года началась на территории Франции и оказалась на удивление короткой. В самом её начале царь обратился со специальным воззванием к войскам. Напомнив о всём зле, принесённом России Великой армией, он заклинал соотечественников не уподобляться противнику, ибо «Богу не может быть угодно бесчеловечие и зверство». «Забудем дела их, — взывал Александр, — понесём к ним не месть и злобу, но дружелюбие и простёртую для примирения руку. Слава россиянина — низвергать ополченного врага и по исторжении из рук его оружия благодетельствовать ему и мирным его собратьям. Сему учит нас свято почитаемая в душах наших православная вера. Она божественными устами вещает нам: „Любите враги ваша и ненавидящим вас творите добро“. Воины! Я, несомненно, уверен, что вы кротким поведением своим в земле неприятельской столько же победите её великодушием своим, сколько оружием» (64, 34).

19(31) марта царь во главе союзных войск вступил в Париж. Н. И. Тургенев, участник и очевидец этого события, вспоминал: «Странную картину являл в то время сей большой город. Врагов, вступивших в него с оружием в руках, большая часть населения столицы приветствовала как освободителей. В то время император Александр проявил благородные и прекрасные черты характера. Напрасно было бы искать в истории другой пример такого великодушия и благородство со стороны победителя. Российский монарх возбуждал энтузиазм парижан, других государей практически не замечали. Даже когда видели их всех вместе, всё равно кричали: „Да здравствует император Александр!“» (64, 36).

В далёкой России юный поэт не без удивления восклицал:

В Париже росс! — где факел мщенья?

Поникни, Галлия, главой.
Но что я вижу? Росс с улыбкой примиренья
Грядет с оливою златой.
Ещё военный гром грохочет в отдаленье,
Москва в унынии, как степь в полнощной мгле,
А он — несёт врагу не гибель, но спасенье
И благотворный мир земле.

Вслед за капитуляцией столицы Франции последовали отречение Наполеона от престола и ссылка его на остров Эльба. На последний факт Пушкин откликнулся следующими строками в поэме «Бова»:

Вы слыхали, люди добрые,
О царе, что двадцать целых лет
Не снимал с себя оружия,
Не слезал с коня ретивого,
Всюду пролетал с победою,
Мир крещёный потопил в крови,
Не щадил и некрещёного,
И в ничтожество низверженный
Александром, грозным ангелом,
Жизнь проводит в унижении
И, забытый всеми, кличется
Ныне Эльбы императором…

Пока гениальный отрок упражнялся в стихосложении, столица готовилась к встрече победителей. По проекту А. Кваренги у Нарвской заставы были построены великолепные Триумфальные ворота. 12 июня 1814 года через них прошли воины Санкт-Петербургского ополчения. Газета «Северная почта» предупреждала читателей: «Мы не станем описывать здесь ни восхитительной радости родственников, увидевших драгоценных сердцам их юношей, которых почитали уже погибшими на поле брани; ни спокойной судьбам Всевышнего покорности матерей, коих чада не возвратились оттуда и кои утешали себя тем, что Промысел Божий сподобил их славной смерти за веру и Отечество; ни восторгов детей, кидавшихся на шею отцам своим, возвратившимся от военных подвигов, с отличиями на груди, коими дети не могли налюбоваться; мы, не описывая всего того, знаем, что русские, читая сие, сами себе всё то представить могут, ибо умеют всё то чувствовать» (31, 166).

30 июля в город вошли лейб-гвардии полки Преображенский,

Семёновский, Измайловский, Егерский, Гвардейский морской экипаж и две роты гвардейской артиллерии.

Газета «Русский инвалид» писала: «Нынешний день принадлежит к числу прекраснейших: победоносные воины императорской гвардии возвращались домой, покрытые лаврами». 6 сентября в столицу вошли гвардейцы Павловского и Финляндского полков, 18 октября — кавалергарды и конная гвардия, 25 октября — лейб-гвардии Казачий полк. Петербуржцы с восторгом и искренней радостью встречали овеянных славой победителей.

Пушкин писал позднее: «Война была кончена. Полки наши возвращались из-за границы. Народ бежал им навстречу. Музыка играла завоёванные песни: Vive Henri-Quatre[2], тирольские вальсы и арии из „Жоконда“[3]. Офицеры, ушедшие в поход почти отроками, возвращались, возмужав на бранном воздухе, обвешанные крестами. Солдаты весело разговаривали между собой, вмешивая поминутно в речь немецкие и французские слова. Время незабвенное! Время славы и восторга! Как сильно билось русское сердце при слове „Отечество“! Как сладки были слёзы свидания! С каким единомыслием мы соединяли чувства народной гордости и любви к государю!»

Все с нетерпением ждали царя; городские власти готовили пышную встречу. Узнав об этом, Александр писал главнокомандующему Санкт-Петербурга генералу С. К. Вязмитинову: «Сергей Козьмич! Дошло до моего сведения, что делаются разные приготовления к моей встрече. Един Всевышний причиною знаменитых происшествий, доверивших кровопролитную брань в Европе. Перед Ним все должны мы смиряться. Объявите повсюду мою волю, дабы никаких встреч и приёмов для меня не делать».

Запрет царя решилась нарушить только его мать, вдовствующая императрица Мария Фёдоровна. В своей резиденции, в Павловске, она устроила праздник в честь венценосного сына. На нём была представлена интермедия и пропета кантата Г. Р. Державина: «Ты возвратился, благодатный, наш кроткий ангел, луч сердец!»

Празднование состоялось 27 июля. Гвоздём программы был балет, который разыгрывался на лугу около Розового павильона. Балетмейстер Гонзаго соорудил декорации с видом окрестностей Парижа и Монмартра. «Наш Агамемнон, миротворец Европы, низложитель Наполеона, сиял во всём величии, какое только доступно человеку», — вспоминал один из лицеистов.

От дворца императрицы к бальному павильону шла дорожка, над которой возвышались довольно узкие Триумфальные ворота.

Над ними огромными буквами были выписаны следующие строки:

Тебя, текуща ныне с бою,
Врата победы не вместят.

Этот «шедевр» изящной словесности тут же сподвиг Александра нарисовать карикатуру: царь, раздобревший от многочисленных застолий, безуспешно пытается пролезть через ворота, а ошалевшие генералы его свиты расширяют их проём и пытаются протолкнуть в него императора.

Рисунок имел огромный успех у однокашников молодого поэта.

3 августа Святейший синод, Государственный совет и Сенат на общем чрезвычайном собрании вынесли постановление: в качестве выражения императору дани всеобщей признательности за прославление Отечества увековечить его деяния титулом «Благословенный», выбить в его честь медаль и воздвигнуть в столице памятник с надписью: «Александру Благословенному, императору Всероссийскому, великодушному держав восстановителю от признательной России».

Но царь из «чувств скромности и смирения духа» отказался принять навязываемый ему титул и попросил государственные сословия оставить вынесенное постановление без исполнения.

— Да соорудится мне памятник, — говорил Александр, — в чувствах ваших, как оный сооружён в чувствах моих к вам! Да благословляет меня в сердцах своих народ мой, как я в сердце моём благословляю оный! Да благоденствует Россия и да будет надо мною и над нею благословение Божие.

…4 июля в Москве вышел 13-й номер журнала «Вестник Европы». В нём было помещено стихотворение Пушкина «К другу стихотворцу». Это была первая публикация юного поэта, но она сразу обратила на себя внимание, особенно в лицее. В октябре там должны были пройти экзамены для перевода учащихся с младшего трёхлетнего курса на старший. Профессор российской и латинской словесности А. И. Галич предложил Пушкину написать к экзаменам подобающее случаю стихотворение.

К намеченному сроку оно было готово — «Воспоминания в Царском Селе». Александр читал его министру народного просвещения графу А. К. Разумовскому. Но экзамены перенесли на начало следующего года — на 8 января 1815-го. Испытания проходили в присутствии многочисленных гостей, среди которых были Г. Р. Державин и высокие чины империи. Юный поэт покорил их буквально с первой строфы стихотворения:

Навис покров угрюмой нощи
На своде дремлющих небес;
В безмолвной тишине почили дол и рощи,
В седом тумане дальний лес;
Чуть слышится ручей, бегущий в сень дубравы,
Чуть дышит ветерок, уснувший на листах,
И тихая луна, как лебедь величавый,
Плывёт в сребристых облаках.

В стихотворении много деталей, связанных с пейзажами царскосельского парка и памятниками эпохи Екатерины II. Упоминание последних подготавливает читателя к главной теме — героике Отечественной войны, «дерзости венчанного царя», бича вселенной:

И быстрым понеслись потоком
Враги на русские поля.
Пред ними мрачна степь лежит во сне глубоком,
Дымится кровию земля;
И сёлы мирные, и грады в мгле пылают,
И небо заревом оделося вокруг,
Леса дремучие бегущих укрывают,
И праздный в поле ржавит плуг.

Но торжество завоевателей оказалось недолгим: на борьбу с нашествием двунадесяти племён Европы встал русский народ, и это не сулило захватчикам ничего хорошего:

Страшись, о рать иноплеменных!
России двинулись сыны;
Восстал и стар и млад; летят на дерзновенных,
Сердца их мщеньем зажжены.

Динамично и напористо описание в стихотворении Бородинского сражения, которое юный поэт подаёт как торжество русского оружия, волею судьбы не давшее желаемого результата.

Сразились. Русский — победитель!
И вспять бежит надменный галл;
Но сильного в боях небесный вседержитель
Лучом последним увенчал,
Не здесь его сразил воитель поседелый;

О бородинские кровавые поля!
Не вы неистовству и гордости пределы!
Увы! На башнях галл Кремля!

В этой строке хромает логика: «галл» побежал и вдруг оказался в Московском Кремле — сердце России. Но здесь следует вспомнить, что логики не было и в официальных документах, исходивших из штаба М. И. Кутузова. Его первое сообщение царю было о том, что неприятель отражён на всех пунктах и русская армия удержала за собой все занятые ею позиции. В Петербурге восприняли донесение главнокомандующего как рапорт о победе, а через неделю (!) узнали о падении старой столицы. Эту двойственность в восприятии Бородина мы видим и в стихотворении лицеиста Пушкина.

Общее горе, связанное с гибелью Москвы, юный поэт пропустил через собственные чувства, испытанные им почти два с половиной года назад:

Края Москвы, края родные,
Где на заре цветущих лет
Часы беспечности я тратил золотые,
Не зная горести и бед,
И вы их видели, врагов моей отчизны!
И вас багрила кровь и пламень пожирал!
И в жертву не принёс я мщенья вам и жизни;
Вотще лишь гневом дух пылал!..

С Москвой Пушкин связал финал заграничного похода — взятие столицы Франции:

В Париже росс! — где факел мщенья?
Поникни, Галлия, главой.

В стихотворении трижды упоминается Александр I:

Достойный внук Екатерины!
Почто небесных аонид,
Как наших дней певец, славянской бард дружины,
Мой дух восторгом не горит?

Внука Екатерины, то есть царя Александра I, славословили по всей Европе: северный Агамемнон, царь царей, император Европы, спаситель Вселенной, ангел мира, а пятнадцатилетний поэт почему-то восторга по отношению к государю не испытывал, и этот фрагмент благоразумно убрал из стихотворения. Через пять лет внёс ещё две правки, касающиеся царя. 11-я строфа стихотворения заканчивалась призывом к жертвенности: «За веру, за царя!». В новой редакции стало: «За Русь, за святость алтаря!». В предпоследней строфе также опущено упоминание о царе. Было: «Ну что я зрю? Герой с улыбкой примиренья…» Стало: «Но что я вижу? Росс с улыбкой примиренья…» За пять лет отношение Пушкина к царю изменилось кардинально. Но что интересно, уже в пятнадцать, в апогее славы Александра, личность его не вызывала восторга у юного поэта, не вдохновляла его как барда славянской дружины и сотни (если не 1000) менее известных поэтов.

Наполеон, враг России и её обитателей, для юного поэта — «тиран», «вселенский бич», царь, «венчанный коварством и дерзостью», и вполне закономерно постигшее его возмездие:

Где ты, любимый сын и счастья и Беллоны,
Презревший правды глаз и веру, и закон,
В гордыне возмечтав мечом низвергнуть троны?
Исчез, как утром страшный сон.

Образ завоевателя формировался у отрока, переходившего в юношеский возраст, под влиянием сатирической литературы, изобиловавшей в 1812–1815 годах. В памфлетах французский император изображался тираном и злодеем, не признающим ни Божеских, ни человеческих законов; вся его жизнь — череда преступлений, завершившихся для удовлетворения ненасытного властолюбия и других порочных страстей. Непомерное властолюбие, лицемерие, тиранство, агрессивность, цинизм и беспринципность — вот памфлетный портрет Наполеона. Конечно, подросток, вооружённый такими «знаниями», не мог отойти от них.

…Российский монарх, скромничавший на родине, отнюдь не был равнодушен к обрушившейся на него славе.

Он был тщеславен. Зная о том, что многие из его окружения считают победу над Наполеоном простым везением, а не результатом военных талантов государя, он как-то не выдержал и кольнул генерала А. П. Ермолова (а в его лице всех злоязычников):

— Ну, Алексей Петрович, что теперь скажут в Петербурге?

Ведь, право же, было время, когда у нас, величая Наполеона, меня считали за простачка?

Нет, простачком Александр I не был. Наполеон называл его византийцем, то есть лживым и коварным противником. Но и талантами полководца царь не блистал, хотя мнил себя таковым.

«Сто дней». В начале весны 1815 года Наполеон преподнёс всей Европе сюрприз. Оставив Эльбу, охранявшуюся англичанами, он с тысячью гвардейцев высадился на южном берегу Франции. Без единого выстрела с чьей бы то ни было стороны дошёл до Парижа и 8(20) марта вновь занял престол Франции. Возвращение императора простой народ встречал с ликованием, а коронованные правители Европы были в панике. Стремительный поход сверженного «узурпатора» на столицу Франции получил название «Полет орла». Известие о нём распространялось с быстротой молнии, и уже к концу марта Пушкин откликнулся на него большим стихотворением «Наполеон на Эльбе». Она состоит как бы из двух фрагментов: размышлений отверженного воителя о превратностях судьбы и его планах:

О счастье! Злобный обольститель,
Средь бурей тайный мой хранитель
И верный пестун с юных дней!
Давно ль неведомой стезёю
Меня ко трону ты вело

И скрыло дерзостной рукою
В венцах лавровое чело!
Давно ли с трепетом народы
Несли мне робко дань свободы,
Знамёна чести преклоня;
Дымились громы вкруг меня,
И слава в блеске над главою
Неслась, прикрыв меня крылом?

Размышления о эпическом прошлом приводят губителя народов к мысли, что не всё потеряно и надо ещё раз положиться на судьбу:

О скоро ли, напенясь под рулями,
Меня помчит покорная волна
И спящих вод прервётся тишина?

Молодой поэт не сомневался в том, что с бежавшим императором предстоит тяжёлая борьба, которая обойдётся Европе в десятки тысяч жертв:

И вспыхнет брань! За галльскими орлами
С мечом в руках победа полетит,
Кровавый ток в долинах закипит,
И троны в прах низвергну я громами
И сокрушу Европы дивный щит!..

Ради чего? Вот какой ответ на этот вопрос вкладывает Пушкин в уста «бича Европы»:

Страшись, о Галлия! Европа! Мщенье, мщенье!
Рыдай — твой бич восстал — и всё падёт во прах,
Всё сгибнет, и тогда в всеобщем разрушенье
Царём воссяду на гробах!

Наполеон

Странное видение поэтом перспектив грозного воителя:

водрузиться в отвоёванной короне на гробы! А вновь покорённые народы видеть пред собой поверженными в прах: «Уж мир лежит в оковах предо мной».

Такое нетривиальное восприятие личности Наполеона

объясняется тем, что в России того времени господствовала «чёрная легенда» о французском императоре, одной из характерных черт которой была его демонизация. Русская православная церковь придавала противоборству России и Франции религиозный священный смысл. Поэтому в печати можно было встретить такое: «Кровожадный, ненасытный опустошитель, разоривший Европу от одного конца её до другого! Ты восседаешь на престоле своём посреди блеска и пламени, как Сатана в средоточии ада, препоясан смертью, опустошением и пламенем» («Сын Отечества», 1812/1).

В устных проповедях Наполеона прямо называли антихристом, пришедшим в Россию за многие грехи наши. Преуспели в этом и учёные мужи, путём цифровой эквилибристики доказывавшие, что по древнееврейскому исчислению имя Наполеон соответствует 666, а это число зверя, то есть антихриста. Духовная и мирская пропаганда подкреплялись фактами кощунственного отношения завоевателей к православным храмам (французы в основном действительно были неверующими, то есть безбожниками).

Словом, молодому поэту сложно было в характеристике французского императора выйти за рамки пропаганды середины десятых годов XIX столетия. И ещё. Стихотворение «Наполеон на Эльбе» писалось в самом начале знаменитых «Ста дней» — второго правления Наполеона. Общая обстановка в Европе была тревожной. Против Франции, с такой охотой избавившейся от Бурбонов, формировалась миллионная армия, нацеленная на её границы. Франция, истощённая 20-летними войнами, могла противопоставить союзникам не более 300 тысяч человек. Мир затаил дыхание в предчувствии новых бедствий и жертв.

Пушкин явно колебался в решении вопроса: чья возьмёт? С одной стороны, уверял читателей в неизбежном поражении великого воителя: «Трепещи! Погибель над тобою!» А с другой — констатировал: «И жребий твой ещё сокрыт!»

Увы, раскрытия судьбы баловня побед ждать оставалось недолго. Окончательно и бесповоротно всё решило сражение при Ватерлоо. Русская армия в нём не участвовала, тем не менее и австрийский император Франц, и прусский король Фридрих Вильгельм III, и иже с ними — все признали Россию главной в тех усилиях, которые были направлены на двукратное низвержение Наполеона. В зените славы Александр I возвращался на родину. В столице опять готовились к его торжественной встрече.

По этому случаю высокое начальство заказало Пушкину стихотворение. 28 ноября Александр препроводил директору департамента Министерства народного просвещения

И. И. Мартынову «Оду Александру» («На возвращение государя императора из Парижа в 1815 году»):

Утихла брань племён; в пределах отдалённых
Не слышен битвы шум и голос труб военных;
С небесной высоты, при звуке стройных лир,
На землю мрачную нисходит светлый мир.
Свершилось!.. Русский царь, достиг ты славной цели!

Этой целью была столица Франции, и Александр I дважды торжественно въезжал в неё. Этому история не в малой степени обязана его супруге Елизавете Алексеевне. Как помнит читатель, Кутузов был против заграничного похода. Мнение фельдмаршала разделяла значительная часть русского общества, и царь колебался. Но императрица настаивала на преследовании Наполеона «до Парижу».

Прославляя Александра, Пушкин дал в стихотворении развёрнутую картину боевых действий — от вторжения Великой армии в Россию до падения Наполеона:

Тебе, наш храбрый царь, хвала, благодаренье!
Когда полки врагов покрыли отдаленье,
Во броню ополчась, взложив пернатый шлем,
Колена преклонив пред вышним алтарём,
Ты браней меч извлёк и клятву дал святую
От ига оградить страну свою родную.

Мы вняли клятве сей; и гордые сердца
В восторге пламенном летели вслед отца
И смертью роковой горели и дрожали;
И россы пред врагом твердыней грозной стали!..

Основной упор в стихотворении сделан на заграничном походе, когда Александр действительно проявлял свои лучшие качества: целеустремлённость, решительность, упорство и веру в возможность победы над лучшим полководцем его (и не только) времени. Это принесло царю заслуженное признание всех монархов Европы и её народов:

И ветхую главу Европа преклонила,
Царя-спасителя колена окружила
Освобождённою от рабских уз рукой,
И власть мятежная исчезла пред тобой!

Здесь, по-видимому, надо оговориться в отношении выражения поэта «власть мятежная». Европейские государи считали Наполеона исчадием Великой французской революции, так сказать, её наследником и правопреемником, ввергшим мир в череду кровопролитных войн. А потому он «поставил себя вне гражданских и социальных отношений. В качестве врага и нарушителя спокойствия в мире он подлежит общественному возмездию», — гласила декларация, принятая 13 марта участниками Венского конгресса.

Союзники полагали, что «узурпатор» королевского престола Франции не пользуется поддержкой народа и сильно ошиблись. Наполеон вторично отрёкся от власти 10(22) июня 1815 года, а сопротивление союзным войском продолжалось ещё три месяца. Только 14(26) сентября генералу К. Гакке сдалась цитадель Седана, а мир с Францией был подписан и того позже — 8(20) ноября. То есть последняя война с павшей империей закончилась отнюдь не с падением её главы.

Но вернёмся к лицу, которому посвящено стихотворение. Петербуржцы с умилением и восторгом встречают царя, «везде сияет торжество», а Александр «в ликующей толпе» — «России божество». Поэт взывает к нему:

> Ты наш, о русской царь! Оставь же шлем стальной
> И грозный меч войны, и щит — ограду нашу;
> Излей пред Янусом священну мира чашу,
> И, брани сокрушив могущею рукой,
> Вселенну осени желанной тишиной!..

Победы, дважды венчавшиеся вхождением в Париж, конечно, воодушевляли, но сердца не грели. Простые смертные предпочитали мир и тишину. Их взгляд на войну Пушкин выразил в заключительных строках стихотворения:

> И придут времена спокойствия златые,
> Покроет шлемы ржа, и стрелы каленые,
> В колчанах скрытые, забудут свой полёт;
> Счастливый селянин, не зная бурных бед,
> По нивам повлечёт плуг, миром изощрённый;
> Суда летучие, торговлей окриленны,
> Кормами рассекут свободный океан,
> И юные сыны воинственных славян
> Спокойной праздности с досадой предадутся…

Следует отметить явный диссонанс в отношении юного автора к государю.

В стихотворении «Воспоминания в Царском Селе» внук Екатерины II не грел дух поэта восторгом. Стихотворение «Александру» — сплошь комплиментарно. Почему? Во-первых, тому были объективные причины — победы русского оружия, к которым царь имел непосредственное отношение. И во-вторых, стихотворение «Александру» было заказным и предназначалось для прославления царя. Пушкин писал упоминавшемуся выше И. И. Мартынову:

> «Милостивый государь, Иван Иванович!
>
> Вашему превосходительству угодно было, чтобы я написал пьесу на приезд государя императора; исполняю ваше повеление. Ежели чувства любви и благодарности к великому монарху нашему, начертанные мною, будут не совсем недостойны высокого предмета моего, сколь счастлив буду я, ежели его сиятельство граф Алексей Кириллович благоволит поднести государю императору слабое произведенье неопытного стихотворца!»

В стихотворении царь — «наш» (это повторяется дважды), он «добрый», он «отец», «спаситель», «храбрый», «величествен» и «бессмертен». Неплохой набор эпитетов. Правда, несколько сомнителен по отношению к живому человеку последний, но цепляет другой — «спаситель». Это определение всё же более правомерно по отношению к сыну Всевышнего. Кстати, ещё 14 августа 1814 года Александр I постановил проводить в день Рождества Христова ежегодное празднество «Рождество Спасителя нашего Иисуса Христа и воспоминание избавления Церкви и державы российской от нашествия галлов, и с ними двадесяти язык».

Русская православная церковь придала войнам с Наполеоном религиозный колорит. Это прежде всего «демонизация» личности императора Франции, которая объясняется разностью мировоззрений и менталитетов противоборствующих сторон, то есть различием столкнувшихся цивилизаций. Победа над Наполеоном была воспринята в России как победа христианства и традиционно консервативных ценностей над европейским «безбожием» и идеями просвещения, породившими французскую революцию.

Автор популярного в то время сочинения «Русские и Наполеон Бонапарте» А. Я. Булгаков писал, что французская

армия потерпела в России поражение потому, что «была окружена народом, во всех отношениях единственным: религией, языком, обычаями и нравственностью, коему ни Наполеон, ни его невидимая армия иллюминатов[4] не могли внушить коварных и пагубных учений».

Современный историк Л. В. Мельникова увидела в рассуждениях Булгакова «мотив национальной исключительности и религиозного мессионизма русского народа, получившего широкое распространение и развитие в русской философии XIX века». Подъём национального самосознания, наступивший в русском обществе после победы над Наполеоном, вскоре нашёл отражение в формулировке Российской государственной доктрины: «православие, самодержавие, народность». Что касается «образа Наполеона», то вскоре после смерти низвергнутого императора он претерпел кардинальные изменения. На смену «чёрной легенде» пришёл наполеоновский миф.

«Отважной верою исполнилася грудь». Пушкин быстро мужал; в период пребывания в лицее он сетовал: «Целый год ещё плюсов, минусов, прав, налогов, высокого, прекрасного! Целый год ещё дремать перед кафедрой; это ужасно. Безбожно молодого человека держать взаперти».

В начале 5-го курса молодого поэта посетил В. А. Жуковский, о чём тогда же писал П. А. Вяземскому: «Я сделал приятное знакомство! С нашим молодым чудотворцем Пушкиным. Я был у него на минуту в Царском Селе. Милое, живое творение! Он мне обрадовался и крепко прижал руку мою к сердцу. Это надежда нашей словесности. Боюсь только, чтобы он, вообразив себя зрелым, не мешал себе созреть! Нам всем надобно соединиться, чтобы помочь вырасти этому будущему гиганту, который всех нас перерастёт. Ему надобно непременно учиться. И учиться не так, как мы учились! Боюсь за него. Он написал ко мне послание, которое отдал мне из рук в руки, — прекрасное! Это лучшее его произведение! Но и во всех других виден талант необыкновенный! Его душе нужна пища! Он теперь бродит около чужих идей и картин. Но когда запасётся собственными, увидишь, что из него выйдет!» (64, 33).

Василий Андреевич подарил Александру первый том своих сочинений, говорил с ним о святом назначении поэзии и напутствовал искать чистой славы и не допускать никаких сделок с совестью. Визит маститого поэта укрепил Пушкина в своём предназначении; в послании к Жуковскому он писал:

Благослови, поэт!.. В тиши Парнасской сени
Я с трепетом склонил пред музами колени:
Опасною тропой с надеждой полетел,
Мне жребий вынул Феб, и лира мой удел.
Страшусь, неопытный, бесславного паденья,
Но пылкого смирить не в силах я влеченья <…>
И ты, природою на песни обречённый!
Не ты ль мне руку дал в завет любви священный?
Могу ль забыть я час, когда перед тобой
Безмолвный я стоял, и молнийной струёй —
Душа к возвышенной душе твоей летела
И, тайно съединясь, в восторгах пламенела, —
Нет, нет! Решился я — без страха в трудный путь
Отважной верою исполнилася грудь.

25 марта 1816 года Пушкина навестил его дядя Василий Львович; с ним были Н. М. Карамзин и П. А. Вяземский. Последний заинтересовался молодым поэтом после ознакомления с его стихотворением «Воспоминания в Царском Селе», о чём писал К. Н. Батюшкову: «Что скажешь о сыне Сергея Львовича? Чудо — и всё тут. Его „Воспоминания“ вскружили нам голову с Жуковским».

Н. М. Карамзин

Целью визита великого историка и уже довольно известного поэта и литературного критика было возобновление знакомства

(оба знали Александра ребёнком) с «молодым чудотворцем». Летом семья Карамзина проживала в «Китайских домиках» дворцового парка Царского Села, и Пушкин проводил у них почти каждый вечер. Беседы с историком способствовали выработке мировоззрения юноши, его вкуса и пристрастий.

Вскоре после появления в лицее прославленного историка и двух литераторов туда пришёл третий — Ф. Н. Глинка. Фёдор Николаевич был у своего дальнего родственника Вильгельма Кюхельбекера, первого товарища Пушкина. Принёс ему только что вышедший девятый том (и все предыдущие) своих «Писем русского офицера». Александр, по-видимому, не был свидетелем этой встречи, но записки участника войн с Наполеоном, несомненно, прочитал, ибо они пользовались колоссальным успехом и о них много говорили. В этом плане интересен следующий случай.

Как-то Глинку посетили В. А. Жуковский, К. Н. Батюшков, Н. И. Гнедич и И. А. Крылов. Разговор зашёл о книге Фёдора Николаевича.

— Ваших писем, — сетовал Жуковский, — нет возможности достать в лавках: все разошлись. При таком требовании публики необходимо новое издание. Тут, кстати, вы можете пересмотреть, дополнить, а иное (что схвачено второпях, на походе) и совсем, пожалуй, переписать.

Гнедич и Батюшков более или менее разделяли мнение Жуковского, и разговор продолжался. Крылов молчал и вслушивался. Наконец не выдержал:

— Нет! Не изменяйте ничего: как что есть, так тому и быть. Не дозволяйте себе ни притачиваний нового к старому, ни подделок, ни вставок: всякая вставка, как бы хитро её ни спрятали, будет выглядывать новою заплатою на старом кафтане. Оставьте нетронутым всё, что написалось у вас где случилось, как пришлось. Оставьте в покое ваши походные строки, вылившиеся у бивачных огней и засыпанные, может быть, пеплом тех незабвенных биваков. Предоставьте историку изыскивать, дополнять и распространяться о том, чего вы, как фронтовой офицер, не могли ни знать, ни ведать! И поверьте, что позднейшим читателям и любопытно, и приятно будет найти у вас не сухое официальное изложение, а именно более или менее удачный отпечаток того, что и как виделось, мыслилось и чувствовалось в тот приснопамятный 12-й год, когда вся Россия, вздрогнув, встала на ноги и с умилительным самоотвержением готова была на всякое пожертвование.

6 июня 1816 года в Павловске у императрицы Марии Фёдоровны состоялся праздник по случаю отъезда из России

принца (позднее нидерландского короля) Вильгельма Оранского, только-только женившегося на сестре царя великой княгине Анне Павловне. К празднику Ю. А. Нелединскому-Мелецкому были заказаны стихи в честь бракосочетания принца. Старый поэт (ему шёл 64-й год) был в растерянности — стихи не слагались. Карамзин посоветовал ему обратиться к Пушкину. Приехав в лицей и поговорив с юношей, Юрий Александрович дал ему идею и через пару часов увёз стихотворение «Принцу Оранскому». В сюжетном плане оно простое: первые четыре строфы — беглый очерк событий 1812–1815 годов.

Свершилось… взорами царей
Европы твёрдый мир основан;
Оковы свергнувший злодей
Могущей бранью снова скован.

Узрел он в пламени Москву —
И был низвержен ужас мира,
Покрыла падшего главу
Благословенного порфира.

И мглой повлёкся окружён;
Притёк, и с буйной вдруг изменой
Уж воздвигал свой шаткий трон…
И пал отторжён от вселенной.

«Злодей» и «ужас мира» это, конечно, Наполеон, удачно бежавший с Эльбы, но в итоге исторгнутый из цивилизованного мира усилиями Благословенного (Александра I).

Дав общую зарисовку роковых лет, Пушкин наконец обратился к имени того, кому была посвящена его «пьеса»:

Хвала, о юноша герой!
С героем дивным Альбиона
Он верных вёл в последний бой
И мстил за лилии Бурбона.

«Последний бой» союзников (англичан, голландцев и прусаков) с Наполеоном произошёл в районе поселения Ватерлоо, в 20 километрах к югу от Брюсселя. Англо-голландскими войсками командовал герцог Веллингтон («герой Альбиона»), прусскими, подошедшими к концу сражения, — генерал-фельдмаршал Блюхер. Принц Оранский неплохо показал себя в

этом побоище:

Его текла младая кровь,
На нём сияет язва чести:
Венчай, венчай его, любовь!
Достойный был он воин мести.

Не густо. Прославления нового члена императорской семьи не получилось. Стихотворение не столько о Вильгельме Оранском, сколько о финальных событиях наполеоновских войн, в которые

Довольно битвы мчался гром,
Тупился меч окровавленный,
И смерть погибельным крылом
Шумела грозно над вселенной!

Последним откликом Александра на мировые события, сопровождавшие его отрочество и начало юности, была «Молитва русских», написанная в октябре 1816 года, к пятой годовщине основания Царскосельского лицея. Это был заказ его директора Е. А. Энгельгардта. В качестве зачина стихотворения Пушкин взял строфу из гимна В. А. Жуковского:

Боже! Царя храни!
Славному долги дни
Дай на земли.
Гордых смирителю,
Слабых хранителю,
Всех утешителю
Всё ниспошли.

К этой строфе приписал две свои:

Там — громкой славою,
Сильной державою
Мир он покрыл.
Здесь безмятежною
Сенью надёжною,
Благостью нежною
Нас осенил.

Брани в ужасный час
Мощно хранила нас
Верная длань.
Глас умиления,
Благодарения, Сердца стремления —
Вот наша дань.

«Там» — это в Западной Европе, «он» — царь Александр I, осчастлививший мир освобождением от ига Наполеона и давший народам благостную тишину. Мощная длань государя охраняла покой лицеистов («нас»), которые благодарны своему монарху; устремление их сердец к царю-герою — их посильная дань Александру.

И что примечательно, молодой поэт, ни разу не назвал царя ни по имени, ни по титулу. О том, что речь в стихах идёт именно об Александре, мы догадываемся по их содержанию и по первой строчке из гимна Жуковского («Боже! Царя храни!»). Интересное умолчание! Да ещё фактически в неофициальном гимне учебного заведения императорской семьи.

Кстати, в весьма нелестной эпиграмме «Двум Александрам Павловичам» лицеист Пушкин не остановился перед тем, чтобы открыто назвать царя и унизить его сравнением с Зерновым, служившим в лицее в должности помощника гувернёра. Один из лицеистов говорил о нём: «Подлый и гнусный глупец». Хорошенькая компания для владыки Севера! Итак:

Романов и Зернов лихой, Вы сходны меж собою:
Зернов! Хромаешь ты ногой, Романов головою.
Но что, найду ль довольно сил
Сравненье кончить шпицом?[5]
Тот в кухне нос переломил,
А тот под Австерлицем.

Ничего себе характеристика (хромает головою!). И это после всех дифирамбов, пропетых Александру в приведённых выше стихотворениях. Конечно, эпиграмма при жизни Пушкина не печаталась. Но что интересно, она сохранилась в одном из лицейских сборников, то есть была доступна и учащимся, и преподавателям, а возможно, гостям и родственникам учащихся.

Вне стен лицея. На последнем курсе затворники привилегированного учебного заведения получили право покидать его в свободные от занятий часы и дни. Александр с

удовольствием посещал «субботы» В. А. Жуковского, захаживал к Карамзиным и к Олениным (А. Н. Оленин был президентом Академии художеств), не чуждался и петербургского светского общества. На одном из вечеров последнего юный лицеист вознегодовал на родного дядю Павла Ганнибала и… вызвал его на дуэль. Поводом к столь решительному шагу послужило то, что дядя на балу увёл у племянника девицу. Это был первый вызов (превращённый в шутку) из 30 пришедшихся на последующие 20 лет жизни поэта.

Благопристойная семейная обстановка не удовлетворяла юношу, и он нашёл более интересную для него среду. «Кружок, в котором Пушкин проводил свои досуги, — вспоминал Модест Корф, — состоял из офицеров лейб-гусарского полка. Вечером после классных часов, когда прочие бывали или у директора, или в других семейных домах, Пушкин, ненавидевший всякое стеснение, пировал с этими господами нараспашку».

«Нараспашку» — значит без соблюдения многих условностей и ограничений. После лицейского затворничества это была свобода, которая будоражит юность. В среде молодых военных, уже побывавших в сражениях и повидавших мир, Александру, конечно, было интересно; он оказался в своей стихии, что сразу нашло отражение в творчестве — стихотворения «Слеза» и «Усы». Приводим три строфы из последнего:

Чтобы не смять уса лихого,
Ты к ночи одою Хвостова
Его тихонько обвернёшь,
В подушку носом лечь не смеешь
И в крепком сне его лелеешь,
И утром вновь его завьёшь.

На долгих ужинах весёлых,
В кругу гусаров поседелых
И черноусых удальцов,
Весёлый гость, любовник пылкий,
За чьё здоровье бьёшь бутылки?
Коня, красавиц и усов.

Сраженья страшный час настанет,
В ряды ядро со треском грянет;
А ты, над ухарским седлом,
Рассудка, памяти не тратишь:
Сперва кудрявый ус ухватишь,
А саблю верную потом.

В последнем классе лицея преподавались фортификация, основы артиллерии и тактики, проводилось обучение верховой езде. Один из сокурсников Пушкина вспоминал:

> Мы ходили два раза в неделю в гусарский манеж, где на лошадях запасного эскадрона учились у полковника Кнабенау под главным руководством генерала Левашова, который и прежде того, видя нас часто в галерее манежа, во время верховой езды своих гусар, обращался к нам с приветом и вопросом, когда мы начнём учиться ездить. Он даже попал по этому случаю в куплеты нашей лицейской песни:
>
> Bonjour, monsieur! Потише,
> Поводьем не играй —
> Вот я тебя потешу!..
> A guand l'eguitation?[6]

В этой не очень складной строфе верно запечатлён образ внешне лощёного, но по существу грубого человека: французское приветствие, обращённое к лицеистам, прерывается грубым окриком («Вот я тебя потешу!») по адресу обучаемых гусар.

Военную службу Левашов начал в восемнадцать лет в Лейб-кирасирском полку; участвовал во всех войнах с Наполеоном, но особых лавров не снискал (только за Бородино награждён орденом Св. Георгия 4-го класса). С 25 апреля 1815 года по май 1822-го исполнял должность командира лейб-гвардии Гусарского полка. В обращении с подчинёнными офицерами был груб и нетерпим к малейшему проявлению самостоятельности; рядовых щедро потчевал телесными наказаниями. Один из офицеров, служивший под его командованием, писал: «Он был своекорыстен и вытягивал из полка всевозможные доходы, в особенности от обмундирования и фуража; очень жесток с нижними чинами, многих гусар и унтер-офицеров вогнал в чахотку, беспощадно наказывая фухтелями».

Доходило до того, что экзекуции проводились прямо в квартире полкового командира. Завтракая в соседней комнате, Левашов время от времени покрикивал: «Громче! Удары не слышу! Крепче бей!»

Среди офицеров Гусарского полка, квартировавшего в Царском Селе, у Пушкина было немало друзей и знакомых, от которых он слышал нелестные отзывы о их командире.

Негативная характеристика Левашова подчинёнными, а возможно, и личные наблюдения, по-видимому, сыграли свою роль в отказе юного поэта от избрания военной карьеры к которой он стремился и для которой, по мнению многих современников, был как бы предназначен. Это разочарование в юношеской мечте нашло позднее отражение в стихотворении, посвящённом другому генералу — командиру лейб-гвардии Конного полка А. Ф. Орлову:

О ты, который сочетал
С душою пылкой, откровенной
(Хотя и русский генерал)
Любезность, разум просвещённый;
О ты, который, с каждым днём
Вставая на военну муку,
Усталым усачам верхом
Преподаёшь царей науку;
Но не бесславишь сгоряча
Свою воинственную руку
Презренной палкой палача,
Орлов, ты прав: я забываю
Свои гусарские мечты
И с Соломоном восклицаю:
Мундир и сабля — суеты!

К счастью для русской литературы, Пушкин не пошёл по военной стезе, но интерес к военной истории сохранял всю жизнь и немало сделал для восславления ратного подвига и героев войн своего (и более отдалённого) времени.

Кстати. Не отличаясь военными способностями, В. В. Левашов сделал блестящую карьеру: генерал-адъютант (1817), граф, генерал от кавалерии, председатель Государственного совета и Комитета министров (1847–1848). В день восстания на Сенатской площади Левашов неотлучно находился при царе, за что был произведён в генерал-лейтенанты.

В последующие дни в залах Эрмитажа он вёл предварительные допросы декабристов, на которых побывали друзья Пушкина: В. А. Раевский, К. Ф. Рылеев, А. А. Бестужев, И. И. Пущин, А. И. Якубович и другие. Воспоминания о встрече с Левашовым оставил первый из них: «Фельдъегерь взял меня с собою и привёл ко входу в Эрмитаж. Я вошёл в переднюю, через несколько минут меня позвали. Я вошёл в большую картинную залу. Генерал Левашов подозвал меня к небольшому столику и

указал мне садиться. Первый вопрос его был, родственник ли я генералу Раевскому.

— Очень далеко, и генерал едва ли знает. Второй — принадлежал ли я к тайному обществу.

— До 1821 года принадлежал, но в 1822 году был арестован и содержался в крепости Тираспольской и с тех пор ничего не мог знать.

Генерал Левашов стал спрашивать о военных школах и генерале Орлове. Я заметил, что он затрудняется писать мои ответы, и попросил позволения писать мне самому. Он отвечал: „Очень хорошо“. И повернул ко мне бумагу.

Ясно и вразумительно я сказал всё, что нужно было. Он взял бумагу. „Подождите“, — сказал мне и ушёл к государю» (93, 328–329).

Допрашивал Левашов арестованных и в Петропавловской крепости, был членом суда над ними. Петербургская молва называла его в числе лиц, умолявших царя не смягчать участи осуждённых.

В 1830-х годах Левашов побывал губернатором ряда южных территорий России. С докладами о их состоянии приезжал в Петербург, бывал на приёмах в Зимнем дворце, где, возможно, его видел Пушкин.

* * *

Лейб-гвардии Гусарский полк прибыл в Царское Село в ноябре 1815 года; с этого времени началось постепенное знакомство Пушкина с его офицерским составом. До выпуска из лицея в круг приятелей Александра вошли: П. П. Каверин, П. А. Нащокин, Я. В. Сабуров, П. Д. Соломирский, А. Н. Зубов, П. Я. Чаадаев и другие. Некоторые из них стали друзьями поэта. Уже в марте следующего года молодой стихотворец в философической оде пропел осанну гусарским усам. Офицеры весело проводили свободное время: вино, песни, рассказы о недавних походах. Их жизнь была насыщена воспоминаниями об отгремевших сражениях, о прославленных военачальниках, увиденных городах и странах. Пушкин не чуждался застолий, но сближался всё же с людьми, обладавшими незаурядным интеллектом и интересовавшихся литературой.

«В нём пунша и войны кипит всегдашний жар». Пётр Павлович Каверин (1794–1855) учился в Московском университете вместе с братьями Николаем и Сергеем

Тургеневыми, слушал лекции в Гёттингенском университете. В январе 1813 года вступил в Смоленское ополчение и прошёл с русской армией до Парижа, являя собой образец удивительной храбрости и безрассудства. Во время пребывания в Гамбурге за проказы был лишён полагавшейся ему награды. Барон М. А. Корф говорил о нём: «Это был самый лихой повеса в полку».

Бретёр, поклонник Венеры и Вакха, Пётр Павлович любил удивлять окружающих. Так, однажды в парижском ресторане он обратил внимание на четвёрку молодых людей, которые, сев за стол, потребовали бутылку шампанского и четыре стакана. В противовес им Каверин заказал четыре бутылки шампанского и попросил один стакан. За обед он опорожнил все четыре бутылки, а за десертом выпил кофе с приличным количеством ликёра. После чего твёрдой походкой вышел из ресторана, сопровождаемый аплодисментами публики.

В августе 1816 года Каверин в чине поручика лейб-гвардии Гусарского полка оказался в Царском Селе, где познакомился с Пушкиным. По вечерам, после классных часов, когда лицеисты бывали в доме директора Энгельгардта и в других семейных домах, Александр уходил к друзьям-гусарам, среди которых особо выделял Петра Павловича:

> В нём пунша и войны кипит всегдашний жар,
> На Марсовых полях он грозный был воитель,
> Друзьям он верный друг, красавицам мучитель,
> И всюду он гусар.

После окончания лицея поэт ещё больше сблизился с лихим офицером, завсегдатаем петербургских кафе и ресторанов. О последних Пушкин упомянул в первой главе своего знаменитого романа в стихах:

> Уж темно: в санки он садится.
> «Пади, пади!» — раздался крик;
> Морозной пылью серебрится
> Его бобровый воротник.
> К Talon помчался: он уверен,
> Что там уж ждёт его Каверин.
> Вошёл — и пробка в потолок,
> Вина кометы[7] брызнул ток…

Казалось бы, мелочь — вскользь вспомнил старого друга. Но вот мнение П. А. Вяземского, не последнего человека в

отечественной словесности: «Русская литература не должна забывать, что Каверин был товарищем и застольником Евгения Онегина, который с ним заливал шампанским горячий жир котлет». Уверенность Петра Андреевича в том, что имя друга гениального поэта должно остаться в истории литературы, многого стоит.

Каверин немало покуролесил в молодости. Пушкин тянулся за ним, полагая, что бесшабашность — свойство определённого возраста:

Пускай умно, хотя неосторожно,
Дурачиться мы станем иногда —
Пока без лишнего стыда
Дурачиться нам будет можно.
Всему пора, всему свой миг,
Всё чередой идёт определённой:
Смешон и ветреный старик,
Смешон и юноша степенный.

Понимая, что не все согласятся с такой логикой, поэт советовал старшему другу:

И черни презирай ревнивое роптанье.
Она не ведает, что можно дружно жить
С стихами, с картами, с Платоном и с бокалом,
Что резвых шалостей под лёгким покрывалом
И ум возвышенный и сердце можно скрыть.

Пётр Павлович выпил немало вина, очаровал многих женщин, вдоволь почудил, но ничего основательного в жизни не сделал. Его роль в судьбе молодого Пушкина была скорее отрицательной, чем положительной. Если Чаадаев заставлял вчерашнего лицеиста мыслить, то Каверин ввергал во всякого рода искушения, при этом не всегда благовидные, о чём сокурсник Александра М. А. Корф писал: «Начав ещё в лицее, он после, в свете, предался всем возможным распутствам и проводил дни и ночи в беспрерывной цепи вакханалий и оргий с первыми и самыми отъявленными тогдашними повесами».

«Как такое возможно?» — спросят некоторые читатели.

Отвечаем им 2500-летней историей, случившейся в древних Афинах. Как-то Сократ, прославившийся своей мудростью, был остановлен женщиной лёгкого поведения, которая пообещала увести от него всех учеников, хотя он давно занимается с ними,

пытаясь передать свои знания о мире и человеке в нём. «Тебе легче, чем мне, — ответил мудрец, — ты тащишь людей вниз, а я пытаюсь вести их вверх».

К счастью, Пушкин не был порочен по своей натуре и оказался не из слабаков, надолго попадающих под чьё-либо влияние. Да и было оно непродолжительным.

После шестилетней ссылки встречи с другом юности случались редко и непреднамеренно: поэт потерял интерес к отчаянному бретёру, закончившему свои последние годы певчим в церковном хоре. Сам Каверин итог своей жизни подвёл следующим «афоризмом»: «Чем хотел, тем и наслаждался, что хотел, то и делал».

В своих «хотениях» Каверин был весьма переменчивым, но одно сохранял всю жизнь: увлечение личностью и творчеством Пушкина. Сохранилось много списков стихотворений поэта, старательно переписанных бывшим гусаром. Многие пушкинисты отмечали необыкновенное уважение Каверина к текстам Александра Сергеевича. Он буквально исповедовал культ друга молодости. Тяжело переживал его гибель.

«Смерть Пушкина поразила меня, — писал Пётр Павлович П. А. Вяземскому. — Как рано он умер для своей славы! И неужели он не достоин, чтобы о нём кто-нибудь сказал более, чем то, что мы, провинциалы, читали в „Пчеле“ и „Петербургских ведомостях“. Неужели Вы не уделите несколько времени от Ваших занятий — почтить память, смею сказать, бессмертного?..»

Достойная оценка (и почти прижизненная!) национального поэта России. Она многое искупает в сумасбродной жизни Петра Павловича Каверина — гусара, повесы, эстета и религиозного адепта.

«Куда зарыл ты свой золотой талант?». А. А. Шишков (1799–1832), будучи ровесником Пушкина, успел поучаствовать в заграничном походе русской армии. В восемнадцать лет был уже штаб-ротмистром Литовского уланского полка, затем служил в гренадерном.

Гренадерский полк стоял в Софии (часть Царского Села); там Пушкин и познакомился с молодым офицером. Сближение произошло на почве любви литературы, которую Шишков хорошо знал, сам писал стихи и увлекался театром. По своему развитию (на этот период) Александр Ардалионович превосходил тёзку, о чём будущий великий поэт и поведал потомкам в послании «Шишкову» («Шалун, увенчанный Эратой и Венерой»).

Судя по этому стихотворению, сближение ровесников было довольно тесным: Пушкин знал многие моменты из жизни друга:

Веселье резвое и нимфы Геликона
Твою счастливую качали колыбель.
И ныне, в юности прекрасной,
С тобою верные сопутницы твои.

Шишков воспитывался в доме дяди, члена Государственного совета и президента Российской академии, супруга которого всячески его баловала и оберегала от житейских невзгод. В итоге вырос бретёр и картёжник. Не случайно пожелания лицеиста своему другу:

Пой сердца юного кипящее желанье…
Пой, в неге устремив на деву томны очи.
Её волшебные красы,
В объятиях любви утраченные ночи —
Блаженства быстрые часы…

При весьма рассеянном образе жизни молодой офицер не оставлял своего увлечения поэзией и писал довольно неплохие стихи, что весьма смущало его нового друга. «Дерзну ль тебя я воспевать?» — спрашивал себя Александр и так отвечал на свои сомнения:

Нет, нет! Друзей любить открытою душою,
В молчаньи чувствовать, пленяться красотою —
Вот жребий мой: ему я следовать готов,
Покорствую судьбам, но сжалься надо мною,
Не требуй от меня стихов.

Как и большинство пишущих, молодого поэта терзали сомнения в высоком призвании, и он отказывался не только от славословия друга, но и вообще от восхождения на тернистый путь к Парнасу:

Не вечно нежиться в прелестном ослепленьи,
Уж хладной истинны докучный вижу свет.
По доброте души я верил в упоенье
Волшебнице-Мечте, шепнувшей: «Ты поэт», —
И, презря мудрости угрозы и советы,
С небрежной лёгкостью нанизывал куплеты,
Игрушкою себя невинной веселил…

Семнадцатилетний поэт называл свои стихи «дурными» и «водяными», то есть бессодержательными, и сетовал на то, что друзья величали его творения с откровенной зевотой. Столь сомнительные восхваления привели Александра к неутешительному выводу: писать ему ещё рано:

Но скрылись от меня парнасские забавы!..
Недолго был я усыплён,
Недолго снились мне мечтанья муз и славы:
Я строгим опытом невольно пробуждён.
Уснув меж розами, на тернах я проснулся,
Увидел, что ещё не гения печать —
Охота смертная на рифмах лепетать.

Послание «Шишкову» по существу — исповедь Пушкина, терзаемого мыслями о выборе жизненного пути. В решении этого вопроса он определился не вдруг.

Но вернёмся к Шишкову. Чиновник Коллегии иностранных дел (в ней начинал службу Александр Ардалионович) К. С. Сербинович писал о нашем герое, что он был «другом Пушкина и подражателем ему не только в стихах, но и в юношеских увлечениях». В этом наблюдении есть явный перекос: забавы и увлечения молодого офицера явно превосходили пушкинские, и намного. Это привело к тому, что в марте 1818 года Шишков был переведён на Кавказ, а затем в Одессу. Пребывание на юге закончилось (1827) переводом под строгий надзор в Динабург. Поводом к этому стали противоправительственные стихи и подозрение в причастности к тайным обществам.

От подозрений Александр Ардалионович отделался довольно легко и был переведён в Пехотный Вильгельма Прусского полк. Служа в нём, затеял ссору с отставным офицером и вновь попал под жёсткий пресс правосудия. В январе 1830 года последовало увольнение от военной службы за неприличные званию офицерскому поступки.

Весьма неупорядоченный образ жизни и вздорный характер не помешали работе мысли. За семь лет (1824–1831) Шишков издал три сборника стихотворений: «Восточная лира», «Опыты» и «Избранный немецкий театр». Писал заметки «Перечень писем из Грузии», работал над поэмами в байроновском духе. Но в основном подражал Пушкину, с которым обменивался письмами. В ответ на одно из них Александр Сергеевич сетовал: «С ума ты сошёл, милый Шишков, ты мне писал несколько месяцев тому назад: „милостивый государь“, „лестное ваше знакомство“, „честь

имею“, „покорнейший слуга…“ Так что я и не узнал моего царскосельского товарища. Если заблагорассудится писать ко мне, вперёд прошу тебя быть со мною на старой ноге. Не то мне будет грустно. До сих пор жалею, душа моя, что мы не столкнулись с тобою на Кавказе, могли бы мы и стариной тряхнуть, и поповесничать, и в язычки постучать. Впрочем, судьба наша, кажется, одинакова, и родились мы, видно, под единым созвездием.

Пишет ли к тебе общий наш приятель Кюхельбекер? Он на меня надулся, бог весть почему. Помири нас. Что стихи? Куда зарыл ты свой золотой талант? Под снега ли Эльбруса, под тифлисскими ли виноградниками? Есть ли у тебя что-нибудь, пришли мне — право, сердцу хочется. Обнимаю тебя — письмо моё бестолково, да некогда мне быть толковее».

Хорошее, доброе письмо, но ответ-то написан лишь через несколько месяцев! То есть от прежней дружбы остались лишь воспоминания о ней, чувство обязанности за не столь уж далёкое прошлое.

В этом плане характерен и следующий эпизод. 6 октября 1831 года Шишков прислал Александру Сергеевичу (через издателя М. П. Погодина) первый том «Избранного немецкого театра» с дарственной надписью. И Пушкин не счёл нужным откликнуться на этот жест, отделавшись следующей фразой в большом письме к Михаилу Петровичу Погодину: «Я Шишкову не отвечал и не благодарил его. Обними его за меня. Дай Бог ему здоровья за „Фортунато“!»

После увольнения из армии Шишков жил в Твери. На здоровье не жаловался, вздорности своей не оставлял и 27 сентября 1832 года был зарезан по дороге на место очередной дуэли. Ему не исполнилось ещё и тридцати трех лет. Так нелепо оборвалась жизнь «блистательного и очаровательного», по выражению поэта С. Т. Аксакова.

Пушкин принял участие в посмертном издании сочинений друга юности и в судьбе его дочери Софии.

* * *

Каверин и Шишков в интеллектуальном плане были людьми незаурядными, но в нравственном — оставляли желать лучшего. Последней недоставало многим молодым офицерам из окружения Пушкина. Увлёкшись внешней стороной их жизни, юный поэт довольно быстро понял пагубность разгулов и обильных винопитий. Но верный канонам дружбы, он сразу порвать с новым

окружением не мог, но всё же в известной степени дистанцировался от него, прикрыв свой отход маской разочарования в жизни (это в шестнадцать-то лет!). Свидетельством чему является стихотворение «Друзьям» (особенно в его первом варианте):

Среди беседы вашей шумной
Один уныл и мрачен я…
На пир раздольный и безумный
Не призывайте вы меня.
Любил и я когда-то с вами
Под звон бокалов пировать
И гармонически стихами
Пиров веселье воспевать.
Но пролетел миг упоений, —
Я радость светлую забыл,
Меня печали мрачный гений
Крылами чёрными покрыл…
Не кличьте ж вы меня с собою
Под звон бокалов пировать:
Я не хочу своей тоскою
Веселье ваше отравлять.

«Всегда мудрец, а иногда мечтатель». К счастью для молодого поэта, в гусарской среде были и серьёзные люди.

Пётр Яковлевич Чаадаев оказался как раз тем человеком, который вовремя поддержал Александра. «Пушкин, — вспоминал Чаадаев, — гордился моею дружбой; он говорил, что я спас от погибели его и его чувства, что я воспламенял в нём любовь к высокому». Подтверждением этого служат следующие строки поэта из стихотворения «Чаадаеву»:

Ни музы, ни труды, ни радости досуга —
Ничто не заменит единственного друга.
Ты был целителем моих душевных сил;
О неизменный друг, тебе я посвятил
И краткий век, уже испытанный судьбою,
И чувства, может быть, спасённые тобою!
Ты сердце знал моё во цвете юных дней;
Ты видел, как потом в волнении страстей
Я тайно изнывал, страдалец утомлённый;
В минуту гибели над бездной потаённой
Ты поддержал меня недремлющей рукой;

Ты другу заменил надежду и покой;
Во глубину души вникая строгим взором,
Ты оживлял её советом иль укором;
Твой жар воспламенял к высокому любовь;
Терпенье смелое во мне рождалось вновь…

Офицер лейб-гвардии Гусарского полка Я. И. Сабуров говорил, что влияние Чаадаева на Пушкина было изумительно! «Он заставлял его мыслить». Беседы поэта с Петром Яковлевичем на политические темы нашли отражение в следующих стихотворениях Александра Сергеевича: «Любви, надежды, тихой славы…», «В стране, где я забыл тревоги прежних лет», «К портрету Чаадаева», «К чему холодные сомненья».

Знакомство их произошло в доме Н. М. Карамзина. Николай Михайлович читал гусару и лицеисту отдельные главы «Истории государства Российского», готовившейся к печати. Бывал Александр и на квартире Чаадаева (Набережная Мойки, 40), где проходили беседы на политические и литературные темы. Позднее, описывая кабинет Онегина, Пушкин вспоминал обстановку, в которой жил его друг:

Янтарь на трубках Цареграда,
Фарфор и бронза на столе,
И, чувств изнеженных отрада,
Духи в гранёном хрустале;
Гребёнки, пилочки стальные,
Прямые ножницы, кривые,
И щётки тридцати родов —
И для ногтей и для зубов.

Лицеист и боевой офицер говорили об истории, философии и нравственности. По воспоминаниям Д. Н. Свербеева, Чаадаев «обзывал Аракчеева злодеем, высших властей военных и гражданских — взяточниками, дворян — подлыми холопами, духовных — невеждами, всё остальное — коснеющим и пресмыкающимся в рабстве».

Пётр Яковлевич знал А. С. Грибоедова, П. И. Пестеля, С. Г. Волконского, С. И. Муравьёва-Апостола; вообще был близок к ранним декабристским организациям. В беседах с молодым поэтом приобщал его к идеям, которые исповедовал и которые тому не были чужды.

Пушкина поражала эрудиция Чаадаева. Он был хорошо знаком с трудами французских просветителей и новой

французской литературой, занимался изучением трудов Локка, Канта, Шеллинга и других философов.

Неожиданно оказавшись в кишинёвском захолустье, Пушкин в надежде на скорое возвращение в столицу писал, обращаясь к Петру Яковлевичу:

О скоро ли, мой друг, настанет срок разлуки?
Когда соединим слова любви и руки?
Когда услышу я сердечный твой привет?..
Как обниму тебя! Увижу кабинет,
Где ты всегда мудрец, а иногда мечтатель
И ветреной толпы бесстрастный наблюдатель.
Приду, приду я вновь, мой милый домосед,
С тобою вспоминать беседы прежних лет,
Младые вечера, пророческие споры,
Знакомых мертвецов живые разговоры;
Поспорим, перечтём, посудим, побраним,
Вольнолюбивые надежды оживим,
И счастлив буду я…

П. Я. Чаадаев был на пять лет старше Александра Сергеевича. Как и Пушкин, родился в Москве в старинной дворянской семье. Мать его была дочерью историка М. М. Щербатова. Учился Пётр Яковлевич в Московском университете на словесном отделении.

В чине подпрапорщика Чаадаев сражался при Бородино, был награждён орденом Святой Анны IV степени и железным крестом. Участвовал в заграничных походах русской армии. В конце 1817 года был назначен адъютантом командира отдельного гвардейского корпуса генерала И. В. Васильчикова, расположением которого неизменно пользовался.

В дни возмущения рядовых Семёновского полка (1820) Чаадаева направили с известием об этом к царю, который находился в Троппау. По-видимому, из сочувствия к восставшим он не спешил. Александр I узнал неприятную новость от Меттерниха, министра иностранных дел Австрии, чем был недоволен. Весьма щепетильный в вопросах чести Пётр Яковлевич подал в отставку.

Пётр Яковлевич был неординарным человеком: вызывал у окружающих удивление оригинальностью мышления, задумчивым взглядом и одеждой. Одевался изысканно, полагая, что забота о внешности говорит о самоуважении личности. Об этой особенности Петра Яковлевича Пушкин упомянул позднее в первой главе «Евгения Онегина»:

Быть можно дельным человеком
И думать о красе ногтей:
К чему бесплодно спорить с веком?
Обычай деспот меж людей.
Второй Чадаев, мой Евгений…

Чаадаев внешне производил весьма благоприятное впечатление: бледное лицо, казалось, было высечено из мрамора, серо-голубые печальные глаза светились добротой, но иронически улыбались тонкие губы. Одевался он очень тщательно — «как денди лондонский».

П. Я. Чаадаев

То, что Пётр Яковлевич красив, отмечали тонкие ценители светских салонов. Е. Н. Орлова говорила, что в её время Чаадаев был «самым заметным и самым блистательным из всех молодых людей Петербурга». К тому же он оказался ещё и оригинальным мыслителем.

В 1823 году Чаадаев выехал за границу. Посетил Англию, Францию, Италию, Швейцарию и Германию. Незаурядный ум и блистательное образование дали ему возможность встретиться с замечательными учёными и мыслителями Гумбольдтом, Кювье, Шеллингом. Пребывание в западной Европе отдалило Петра

Яковлевича от деятелей тайных обществ России. События 14 декабря произошли в его отсутствие.

Политическая реакция, наступившая после разгрома движения декабристов, наложила сильный отпечаток на всю жизнь Чаадаева, на его историко-философские взгляды, сделав их глубоко пессимистическими. На многие годы он заключил себя в духовное одиночество. Идеи, разработанные за период духовного томления, Пётр Яковлевич изложил в «Философическом письме», опубликованном в 1836 году в журнале «Телескоп».

В ответ на политическую реакцию самодержавия Чаадаев выступил с суровым обвинением России: её истории и культуры, самого русского народа. По его мнению, русские не дали миру ни одной полезной идеи, ни одной великой мысли. «Мы живём одним настоящим в самых тесных его пределах, без прошедшего и будущего, среди мёртвого застоя», — с горечью писал он. В это время (середина 1830-х годов) Чаадаев был склонен скептически оценивать даже события Отечественной войны 1812 года; восстание декабристов считал громадным несчастьем, отбросившим нас на полвека назад.

С горечью и недоумением читал Пушкин «Философическое письмо» того, кто дал когда-то так много для его юношеского ума. Ответ Александра бывшему наставнику был проникнут болью и гордостью за свой народ. «У нас было своё предназначение, — писал он другу молодости. — Это Россия, это её необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. Нашим мученичеством развитие католической Европы было избавлено от всяких помех… Что же касается нашей исторической никчёмности, то я решительно не могу с вами согласиться».

Перечислив ряд выдающихся государственных и политических деятелей России, представителей её культуры и науки, Пушкин так закончил свой ответ Чаадаеву: «Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог её дал».

Пушкин и другие читатели философа получили ответ на свои вопросы в его «Апологии сумасшедшего»: «Больше, чем кто-либо из вас, поверьте, я люблю свою страну, желаю ей славы, умею ценить высокие качества своего народа. Я нахожу, что человек может быть полезен своей стране только в том случае, если ясно видит её».

Словом, Пётр Яковлевич Чаадаев был не безответственным критиканом, а страдальцем и печальником земли Русской.

«Мгновенью жизни будь послушен»
Столица

Колебания. Весна 1817 года прошла в нетерпеливом ожидании свободы от стеснительных ограничений учебного заведения. Обращаясь к однокашникам, Пушкин писал:

Промчались годы заточенья;
Недолго, мирные друзья,
Нам видеть кров уединенья
И царскосельские поля.

Впереди была служба — военная или гражданская. Внешне привлекательнее была первая, но не хотелось прятать свой ум под кивер. Не радовала и перспектива канцелярской работы:

Равны мне писари, уланы,
Равны законы, кивера,
Не рвусь я грудью в капитаны
И не ползу в асессора…

Так чего же хотел поэт, только-только отметивший своё восемнадцатилетие?

Друзья! Немного снисхожденья —
Оставьте красный мне колпак, —

просил Александр сокурсников. «Красный колпак» — это символ свободы французских революционеров. Пушкин хотел свободы для творческой деятельности, но это пока была только мечта. 9 июня в лицее состоялся торжественный акт выпуска первого набора учащихся, а через день юный поэт навсегда покинул его чиновником 10-го класса. Местом будущей службы была назначена Коллегия иностранных дел.

Через неделю Александр Сергеевич уехал с родителями в село Михайловское. В его дневниках сохранилась запись об этом: «Вышед из лицея, я почти тотчас уехал в псковскую деревню моей матери. Помню, как обрадовался сельской жизни, русской бане, клубнике и проч.» В конце августа он вернулся в Петербург. Жил с родителями, которые снимали семикомнатную квартиру в доме

вице-адмирала Клокачёва.

Ни понимания, ни дружбы с отцом и матерью у Александра не было; поэтому он больше пребывал у друзей и знакомых, домой приходил поздно, вслушиваясь в звуки спящего города:

Всё было тихо; лишь ночные
Перекликались часовые
Да дрожек отдалённый стук
С Мильонной раздавался вдруг;
Лишь лодка, вёслами махая,
Плыла по дремлющей реке…

Барон М. А. Корф, однокашник Пушкина, утверждал: «Начав ещё в лицее, он после, в свете, предался всем возможным распутствам и проводил дни и ночи в беспрерывной цепи вакханалий и оргий с первыми и самыми отчаянными тогдашними повесами».

П. А. Вяземский поправлял педантичного, но не очень-то расположенного к поэту Модеста Андреевича: «Сколько мне известно, он (Пушкин. — Н.) вовсе не был предан распутствам всех родов. Не был монахом, а был грешен, как и все в молодые годы.

В любви его преобладала вовсе не чувственность, а скорее поэтическое увлечение, что, впрочем, и отразилось в поэзии его».

Конечно, молодой поэт не пренебрегал поздними застольями, были и амурные увлечения, но главным оставалось всё же творчество. За два с половиной года пребывания Пушкина в Петербурге им были написаны поэма «Руслан и Людмила» и масса стихотворений. Из последних отметим наиболее значимые: «Вольность», «Сказки», «Деревня», «К Чаадаеву», «На Аракчеева», «Кинжал». И рождались они отнюдь не за пиршественным столом, а в кругу людей высокой культуры и интеллекта.

Осенью 1817 года Александр Сергеевич был принят в «Арзамасское общество безвестных людей». Среди этих «безвестных» были В. А. Жуковский, К. Н. Батюшков, П. А. Вяземский, А. И. Тургенев. На собраниях общества говорили об уничтожении рабства в России, спорили о лучшем государственном устройстве, обсуждали уроки европейских революций. Иногда арзамасцы встречались в доме Е. Ф. Муравьёвой. Её старший сын Никита участвовал в Отечественной войне и в заграничных походах, был активным членом всех тайных обществ декабристов и составителем «Зелёной книги» — проекта русской конституции.

В следующем году Пушкин стал членом кружка «Зелёная

лампа». Это был литературный филиал Союза благоденствия. Кружок посещали гвардейские офицеры, литераторы и театралы. Их девизом был культ свободы, включая наслаждение земными радостями жизни, презрение к холопству, поклонение Вакху и уважение личной независимости человека. Александр Сергеевич писал позднее об этом объединении интеллектуалов:

Где ты, приют гостеприимный,
Приют любви и вольных муз,
Где с ними клятвою взаимной
скрепили вечный мы союз,
Где дружбы знали мы блаженство,
Где в колпаке за круглый стол
Садилось милое равенство…

Свобода, равенство, красный фригийский колпак — слова из лексикона французской революции.

Членами кружка были А. А. Дельвиг, Ф. Н. Глинка, Н. И. Гнедич, Д. Н. Барков, будущие декабристы С. П. Трубецкой, Я. Н. Толстой, А. Д. Улыбышев, А. А. Токарев. На заседаниях кружка читались очерки политического характера, в них пропагандировалась английская конституция. Все собирались за большим круглым столом и надевали фригийские колпаки, которые во Франции носили якобинцы. Об этом внешнем признаке крайнего революционера 22 марта 1828 года Пушкину напомнил лирический поэт В. С. Филимонов, прислав свою поэму «Дурацкий колпак», на что Александр Сергеевич ответил:

Вам, музы, милые старушки,
Колпак связали в добрый час,
И, прицепив к нему гремушки,
Сам Феб надел его на вас.
Хотелось в том же мне уборе
Пред вами нынче щегольнуть
И в откровенном разговоре,
Как вы, на многое взглянуть;
Но старый мой колпак изношен,
Хоть и любил его поэт;
Он поневоле мной заброшен:
Не в моде нынче красный цвет.
Итак, в знак мирного привета,
Снимая шляпу, бью челом,
Узнав философа-поэта
Под осторожным колпаком.

В первые послелицейские годы Александр Сергеевич не был так осмотрителен. Из привилегированного учебного заведения он вышел с враждебным самодержавию «лицейским духом». Умеренно либеральный деятель пушкинской поры В. Н. Каразин писал в Министерство внутренних дел: «В самом лицее Царскосельском государь воспитывает себе и отечеству недоброжелателей… это доказывают почти все вышедшие оттуда… из воспитанников более или менее есть почти всяк Пушкин, и все они связаны каким-то подозрительным союзом, похожим на масонство, некоторые же и в действительные ложи поступили. Кто сочинители карикатур или эпиграмм, каковые, например, на двуглавого орла, на Стурдзу, в которой высочайшее лицо названо весьма непристойно» (28, 79–80).

…Каждый вечер в половине седьмого в Петербурге поднимался занавес Большого театра и начинался спектакль, построенный так, что в один вечер высокая драма сменялась водевилем, балетная феерия — комедией нравов. В театральном представлении как бы шла игра разных точек зрения, разных жанров: высокого и низкого, трагического и смешного, утверждая многообразие жизни, множественность её оценок, что было очень созвучно всему строю юности поэта.

А. С. Пушкин

Театр был и политическим клубом: в антрактах в нём обсуждали последние новости, в нём собирались «либералисты», занимая левые ряды партера. В театре Пушкин показывал портрет Лувеля, убившего наследника французского престола, с надписью «Урок царям». В театре он рассказывал о медвежонке, который во время прогулки Александра I сорвался с цепи, замечая при этом: «Нашёлся один человек, да и тот медведь».

В театре Александр Сергеевич искал себе… подходящее занятие. Должность канцелярского служащего Пушкина не устраивала. Жуковский говорил по этому поводу:

— Какое могло быть ему дело до Иностранной коллегии? Его служба была его перо.

В связи с этим друзья поэта наблюдали в театре за весьма странным для них поведением Александра. «Пушкин, — вспоминал И. И. Пущин, — любил, например, вертеться у оркестра около Орлова, Чернышёва и других: они с покровительственной улыбкой выслушивали его шутки, остроты. Случалось из кресел сделать ему знак, он тотчас прибежит. Говоришь, бывало: „Что тебе за охота, любезный друг, возиться с этим народом — ни в одном из них ты не найдёшь сочувствия“. Он терпеливо выслушает, начнёт щекотать, обнимать, что обыкновенно делал, когда немножко потеряется. Потом смотришь, Пушкин опять с тогдашними львами».

Вот именно — львами. Все — участники войн с Наполеоном, достигшие на военном поприще высоких званий. Особенно примечательна карьера А. И. Чернышёва. Перед началом Отечественной войны он руководил агентурной сетью в Военном министерстве Франции. За успешную разведывательную работу царь назвал Александра Ивановича «самым смелым, какие только известны военной истории». В кампанию 1813 года Чернышёв овладел Берлином. Во время знакомства с ним Пушкина был членом (а затем председателем) Комитета об устройстве Донского казачьего войска.

П. Д. Киселёв общался с поэтом, будучи начальником штаба 2-й армии. Пушкин встречался с ним в светском обществе, и Павел Дмитриевич обещал ему содействие в определении его на военную службу, к чему Александр отнёсся с большим недоверием:

На генерала Киселёва
Не положу своих надежд,
Он очень мил, о том ни слова,
Он враг коварства и невежд;

За шумным, медленным обедом
Я рад сидеть его соседом,
До ночи слушать рад его;
Но он придворный: обещанья
Ему не стоят ничего.

Другое дело — *А. Ф. Орлов.* Алексей Фёдорович без каких бы то ни было оговорок предложил поэту службу в лейб-гвардии Конном полку, которым он командовал. Но Сергей Львович не поддержал амбиций сына, так как служба в гвардии требовала больших денег, и Александр уступил:

Смирив немирные желанья,
Без долимана[8], без усов,
Сокроюсь с тайною свободой,
С цевницей, негой и природой
Под сенью дедовских лесов…

На готовность Алексея Фёдоровича помочь поэт откликнулся стихотворением «Орлову», в котором отметил его душевную пылкость, любезность, просвещённость («хотя и русский генерал») и лояльное отношение к подчинённым:

О ты, который, с каждым днём
Вставая на военну муку,
Усталым усачам верхом
Преподаёшь царей науку;
Но не бесславишь сгоряча
Свою воинственную руку
Презренной палкой палача…

То есть Орлов не принял дисциплину кнута, которая насаждалась (с 1817 года) в армии усилиями временщика А. А. Аракчеева. Уже одно это располагало в пользу боевого генерала, и Пушкин был готов при внешней опасности для Отечества прийти на его зов:

Питомец пламенный Беллоны,
У трона верный гражданин!
Орлов, я стану под знамёны
Твоих воинственных дружин;
В шатрах, средь сечи, средь пожаров,

С мечом и с лирой боевой
Рубиться буду пред тобой
И славу петь твоих ударов.

Жизнь Пушкина пришлась на первую треть XIX столетия. И всё это время Россия воевала: с Францией, Турцией, Ираном, Швецией. Неудивительно, что духовная атмосфера того времени была насыщена стремлением к бранной славе, чему особенно способствовали Отечественная война и заграничные походы 1813–1814 годов. Дворянская молодёжь грезила о подвигах на ратном поле. Не избежал этого поветрия и молодой Пушкин:

Люблю я звук мечей;
От первых лет поклонник бранной славы,
Люблю войны кровавые забавы,
И смерти мысль мила душе моей.

Один из современников поэта, немало общавшийся с ним, писал позднее: «Могу утвердительно сказать, что он создан был для поприща военного, и на нём, конечно, он был бы лицом замечательным». То есть тяга вчерашнего лицеиста к военным высоких званий была естественна для него и ничего предосудительного не имела. А вот в отношении его либерализма Пущин явно занизил меру оппозиционности поэта:

Товарищ, верь: взойдёт она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

Какой тут либерализм, если ставится вопрос о смене режима!

Поэт и царь. Не без влияния Чаадаева уже к концу 1817 года Пушкин пришёл к весьма радикальному взгляду на существовавшую власть:

Самовластительный злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостию вижу.
Читают на твоём челе

Печать проклятия народы,
Ты ужас мира, стыд природы,
Упрёк ты Богу на земле.

И это о первом (официальном) защитнике Отечества, которому поэт совсем недавно пел дифирамбы, называл «храбрым», «величественным», «бессмертным» и даже божеством России. Что же произошло? Что так резко изменило мнение поэта о царской власти в целом и об Александре I в частности? Пушкин узнал то, что в высшем российском обществе знали с весны 1801 года. Именно тогда с явного попустительства цесаревича был умерщвлён его отец император Павел I:

В лентах и звёздах,
Вином и злобой упоенны,
Идут убийцы потаённы,
На лицах дерзость, в сердце страх.
Молчит неверный часовой,
Опущен молча мост подъёмный,
Врата отверсты в тьме ночной
Рукой предательства наёмной…

Через три года после устранения с престола (и из жизни) Павла I имя одного из его убийц было оповещено всей Европе. Произошло это так.

21 марта 1804 года по приказу Наполеона был расстрелян герцог Энгиенский, выкраденный французской жандармерией с чужой территории. Александр I заявил по этому поводу протест. Ответ ему был дан следующий: герцог Энгиенский арестован за участие в заговоре на жизнь первого консула Франции[9]. А далее приводилось такое обоснование действий французских властей. Если бы, например, император Александр узнал, что убийцы его отца находятся хоть и на чужой территории, но вполне досягаемы, разве он не воспользовался бы возможностью отомстить им?

Нота Наполеона — документ официальный; она молниеносно распространилась по всем дворам Европы. Это была оплеуха, о которой академик Е. В. Тарле писал: «Более ясно назвать публично Александра Павловича отцеубийцей было невозможно. Вся Европа знала, что Павла заговорщики задушили после сговора с Александром и что юный царь не посмел после своего воцарения и пальцем тронуть их: ни Палена, ни Беннигсена, ни Зубова, ни Талызина, и вообще никого из них, хотя они

преспокойно сидели не на „чужой территории“, а в городе Петербурге и бывали в Зимнем дворце».

Л. Л. Беннингсен

Беспринципность и аморальность Александра коробили его блестящего соперника, человека тоже далеко не идеального. В Тильзите (1807) императоры обменивались высшими орденами своих держав. Царь опрометчиво попросил орден Почётного легиона для генерала Л. Л. Беннигсена. Не называя причины, Наполеон категорически отказал. Александр понял свой промах и промолчал. Это была ещё одна пощёчина, нанесённая самодержцу. Наполеон же говорил позднее:

— Было противно, что сын просит награду для убийцы своего отца.

То, что являлось тайной за семью печатями в России, на Западе знали хорошо. Интересна подробность убийства Павла, о которой тогда же упомянул Наполеон:

— Генерал Беннигсен был тем, кто нанёс последний удар: он наступил на труп.

Весьма осведомлённый редактор журнала «Сын Отечества» Н. И. Греч писал: «Смерть Павла отравила всю жизнь Александра: тень отца преследовала его повсюду. Малейший намёк на неё выводил его из себя. Наполеон поплатился ему троном и жизнию» (21, 55).

…Об обстоятельствах убийства императора Павла I Пушкин узнал то ли от Чаадаева, то ли от братьев Тургеневых, живших

напротив Михайловского замка, в котором было совершено это злодеяние. Услышанное перевернуло многие представления вчерашнего лицеиста, с благоговением взиравшего на царя во время выпускного акта 9 июня 1817 года.

Поэт принадлежал к старинному дворянскому роду, по семейным традициям был привержен династии Романовых и воспитан в духе почтения к монархической власти и трону[10]. Императора почитали как священную особу, а оказалось, что на российском престоле восседает соучастник убийства своего отца, лишённого жизни как обычный смертный. Было от чего прийти в смятение крайне чувствительному мечтателю и идеалисту:

О стыд! О ужас наших дней!
Как звери вторглись янычары!..

Это — моральная и политическая оценка случившегося. В сознании Пушкина произошла десакрализация образа Александра.

Шок, вызванный открытием молодого поэта, оставил в его сознании зарубку на всю жизнь. Через шестнадцать лет Александр Сергеевич писал в дневнике:

«8 марта. Жуковский поймал недавно на бале у Фикельмон цареубийцу Скарятина и заставил его рассказывать 11-ое марта. Они сели. В эту минуту входит государь с графом Бенкендорфом и застаёт наставника своего сына, дружелюбно беседующего с убийцей его отца! Скарятин снял с себя шарф, прекративший жизнь Павла I.

17 марта. Третьего дня обед у австрийского посланника. Сидя втроём с посланником и его женою, разговорился я об 11-м марте. Недавно на бале у него был цареубийца Скарятин. Фикельмон не знал за ним этого греха. Он удивляется странностям нашего общества. Покойный государь был окружён убийцами его отца».

Развенчание личности Александра I стало нравственной основой возникновения пушкинских эпиграмм и сатирических строк, направленных как против царя, так и против верховной власти в целом. А таковой (с 1815 года) в стране обладал граф А. А. Аракчеев:

Всей России притеснитель,
Губернаторов мучитель
И Совета он учитель,
А царю он — друг и брат.
Полон злобы, полон мести,
Без ума, без чувств, без чести.

Кто ж он? Преданный без лести,
<…> грошевой солдат.

В связи с частыми и долгими поездками Александра I за рубеж Аракчеев руководил Государственным советом и Комитетом министров, был единственным докладчиком царю по работе большинства министерств и ведомств. Император высоко ценил его за решительность и твёрдость, за подавление в стране любых форм оппозиции и инакомыслия. У знати и в народе Алексей Андреевич вызывал чувства страха и омерзения, что нашло отражение в описании современником внешнего облика Аракчеева: «Среднего роста, сутулый, с короткими густыми, как щётка, волосами; низкий морщинистый лоб, мутные холодные глаза, большой нос в форме галоши, тонкие плотно сжатые губы, на которых, по-видимому, не появлялась улыбка».

В обращении с подчинёнными Аракчеев был требователен до придирок; положительные качества в человеке для него не существовали. «Я не верю никому, — говорил он. — Я верю лишь в то, что все люди — мерзавцы».

Особую неприязнь демократически настроенных лиц вызывали военные поселения, за которыми надзирал «преданный без лести». Последнее словосочетание было девизом графа, который его противники несколько подправили: «Бес, лести преданный».

Что касается многоточия в эпиграмме Пушкина, то в некоторых публикациях его заменяют словом «просто» — «просто грошевой солдат», что едва ли правомерно. Да, Аракчеев не снискал себе славы на ратном поле, но перед Россией он имеет высокие заслуги именно на военном поприще. С 1803 года Алексей Андреевич был инспектором артиллерии. До начала Отечественной войны он провёл ряд кардинальных преобразований в области организации артиллерии и производства артиллерийского вооружения, что значительно повысило боевые качества этого рода войск.

В январе 1808 года Аракчеев был назначен министром военно-сухопутных сил и генерал-инспектором всей пехоты и артиллерии. На этих постах он обеспечил численный рост армии и улучшил её снабжение. В кампании 1812 года Алексей Андреевич ведал комплектованием войск и ополчения. Он оказал огромную услугу стране, поспособствовав удалению из армии царя.

Основным силам Наполеона, двигавшимся на Москву, противостояли 1-я и 2-я Западные армии. Александр находился в

1-й армии. Его присутствие стесняло её командующего М. Б. Барклая-де-Толли. Помня о том, как негативно сказалось нахождение царя в армии при Аустерлице, три столпа российской державы — государственный секретарь А. С. Шишков, министр полиции А. Д. Балашов и генерал-инспектор пехоты и артиллерии А. А. Аракчеев — имели мужество призвать царя покинуть армию. В коллективном обращении к Александру они обосновали своё «моление» тем, что он нужен всей стране, которая остро переживает отсутствие монарха в столице: «Государь и Отечество есть глава и тело: едино без другого не может быть ни здраво, ни цело, ни благополучно. А по сему, сколько во всякое время, а наипаче военное, нужен Отечеству царь, столько же царю нужно Отечество».

Обрисовав ситуацию, в которой оказалась страна, «подписанты» продолжали: «При обстоятельствах, в коих мы находимся, необходимость требует скорого и решительного рассмотрения, как и что делать надлежит, ибо малейшее пропущение времени может приключить невозвратное зло. Из всех сих рассуждений явствует: Нет государю славы, ни государству пользы, чтобы глава его присоединилась к одной только части войск, оставляя все прочие силы и части государственного управления другим. Ежели прямой долг царей есть жить для благоденствия вверенных им народов, то едва ли похвально допускать в одном своём лице убить целое царство. Всемилостивый государь! Сие мнение наше основано на верности и любви к Священной твоей особе. Обрати, надежда России! Обрати внимание своё на него. Молим тебя со слезами. Мы уверены, что сей наш глас и моление пред твоим престолом есть глас всего Отечества, всех верных твоих подданных, и готовы в том подписаться кровью» (72, 140).

Александр был в тихом бешенстве: его рабы, его холопы гнали его из армии. Ему, самодержцу российскому, указали на дверь. Но пришлось смириться — царь не забыл урока Аустерлица, когда он попытался руководить М. И. Кутузовым[11].

Кстати, о Михаиле Илларионовиче. 5 августа Чрезвычайный комитет единогласно проголосовал за назначение Кутузова главнокомандующим всеми вооружёнными силами России. Одним из членов комитета был Аракчеев, хорошо знавший о негативном отношении царя к будущему спасителю России.

Справедливости ради, надо сказать, что Алексей Андреевич при всех своих высоких постах и постоянном расположении к нему императора знал меру собственных способностей и заслуг. Поэтому дважды отказывался от очень высоких наград: в 1809 году не принял орден Святого Андрея Первозванного, а в 1814-м

— производство в генерал-фельдмаршалы, указ о чём царь на радостях подписал в день вступления союзных войск в Париж. И наконец, своё состояние, оцениваемое в полтора миллиона рублей, завещал государству.

В 1818 году царь повелел Аракчееву подготовить проект об освобождении помещичьих крестьян «с учётом интересов помещиков». Вскоре заказанный документ был готов. В проекте предлагалось при освобождении крестьян оплатить их владельцам все убытки из казны. При этом предполагалось на каждую душу по две десятины земли, цена же — в зависимости от местности (следует отметить, что реакционер Аракчеев назначил каждому крестьянину столько же земли, сколько позднее в своих тайных проектах обещал декабрист Н. М. Муравьёв).

Словом, подлинный облик Аракчеева весьма далёк от той однобокости, которая вот уже третье столетие держится в сознании рядовых читателей. И что особенно важно осознать, Аракчеев не мало сделал для усиления русской армии: укрепил её технически (артиллерия), улучшил снабжение и обеспечил численный рост. Это, безусловно, способствовало триумфу русского оружия в Отечественной войне и заграничных походах.

«Громом говорит». Неплохо показал себя в этих войнах и царь, а вот в предшествующих дал маху. Чёрным пятном на совести самодержца стал беспрецедентный разгром русской армии 21 ноября(2 декабря) 1805 года. Случилось это западнее деревни Аустерлиц, в 120 километрах к северу от Вены. М. И. Кутузов, командовавший русскими войсками, был против сражения, но не смог противостоять требованиям царя.

Разыгралась битва, одна из самых кровавых в истории наполеоновских войн. Ещё до её окончания Александр бежал с поля боя. Бежала и его многочисленная свита, оставив монарха на произвол судьбы. Потеряв самообладание, Александр рыдал.

Воспитанный под барабаном,
Наш царь лихим был капитаном:
Под Австерлицем он бежал,
В двенадцатом году дрожал,
Зато был фрунтовой профессор!
Но фрунт герою надоел —
Теперь коллежский он асессор
По части иностранных дел!

Хорошо освоив (под руководством отца) муштру и парадную шагистику, Александр возомнил себя полководцем. Позор

Аустерлица стал третьей пощёчиной, нанесённой царю Наполеоном, и он, пылая жаждой мести, никогда не забывал о ней (отсюда его твёрдость, проявленная в лихую годину).

Гибель Великой армии в России и триумфальное завершение заграничных походов выдвинули царя на первое место в сонме европейских государей. Это способствовало созданию Священного союза, в котором царь играл главенствующую роль, проводя курс на сохранение существовавших монархий и борьбы с «гидрой революции».

Реакционная внешняя и внутренняя политика Александра и разочарование в нём как в человеке и государе вызвали оппозиционность Пушкина самодержавному режиму и его представителям. Поэт был весьма решителен в своих выводах:

В столице — капрал, в Чугуеве — Нерон:
Кинжала Зандова везде достоин он.

Эта эпиграмма написана в связи с подавлением восстания в военных поселениях Чугуева в июле 1819 года. Расправой над бунтовщиками руководил «преданный без лести». Что касается Занда, это был немецкий студент, заколовший агента Священного союза А. Коцебу, и Пушкин воспел его:

О юный праведник, избранник роковой,
О Занд, твой век угас на плахе;
Но добродетели святой
Остался глас в казнённом прахе.
В твоей Германии ты вечной тенью стал,
Грозя бедой преступной силе…

Кинжал в воображении поэта стал символом правосудия и возмездия, направленного против владык народов, попирающих их священное право на независимость:

Свободы тайный страж, карающий кинжал,
Последний судия позора и обиды.
Где Зевса гром молчит, где дремлет меч закона,
Свершитель ты проклятий и надежд…
Как адский луч, как молния богов,
Немое лезвие злодею в очи блещет,
И, озираясь, он трепещет,
Среди своих пиров.

Следующая строфа, посвящённая гибели Ю. Цезаря, недвусмысленно показывает, что под понятием «злодей» Пушкин имел ввиду царствующих особ, перед которыми бессильны закон и право. Поэтому единственной формой защиты от деспотизма и произвола земных владык является кинжал — оружие мщения, благословляемое Немезидой.

Занятый постоянными разъездами по Европе (на конгрессы Священного союза) царь передоверил все вопросы, связанные с Россией, Аракчееву, взявшему курс на подавление народных волнений и инакомыслие, которые рождались отнюдь не на пустом месте. Вот какой видел Россию двадцатилетний поэт:

Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам,
Здесь рабство тощее влачится по браздам
Неумолимого владельца.
Здесь тягостный ярем до гроба все влекут,
Надежд и склонностей в душе питать не смея,
Здесь девы юные цветут
Для прихоти бесчувственной злодея

(«Деревня»).

Аракчеев ужесточал политический режим в России, а Александр I либеральничал в Европе. На конгрессе Священного союза, проходившем в Ахене (Вестфалия), он предложил освободить Францию от оккупации союзными войсками, а английскому генералу Веллингтону пожаловал ранг фельдмаршала Российской империи.

«Озаботился» Александр и судьбой Наполеона, медленно умерщвляемого англичанами на острове Святой Елены. По его инициативе главные участники конгресса договорились не изменять условий, в которых содержался «пленник Европы».

Условия эти для гения мысли и действия были нетерпимы. Для натуры мирового масштаба, колоссальной энергии и неисчерпаемых возможностей находиться под неусыпным надзором полка солдат и военной флотилии, без права свободного передвижения по острову было смерти подобно. Писатель Д. С. Мережковский называл Лоу, губернатора острова, «коршуном, терзающим печень титана». А историк А. К. Дживелегов писал о коронованном узнике: «Ему Европа была мала, а он был брошен на крошечную скалу, заблудившуюся в океане».

О переводе Наполеона в другое место изгнания, с более

благоприятными климатическими условиями и режимом содержания, хлопотали многие — от Летиции, матери императора, до папы римского Пия VII. Всё было тщетно.

…15(27) марта 1818 года царь был на открытии сейма варшавского герцогства. В тронной речи он объявил о своём намерении ограничить абсолютистскую власть в России.

— Обычаи, уже существующие в вашей стране, — заявил он полякам, — дают мне возможность немедленно ввести Конституцию, которую я вам даровал. Таким образом, вы снабдили меня средством дать моей стране то, что я давно для неё готовлю и что пойдёт ей во благо, как только вызреет это важное дело.

Передовая молодёжь России восприняла намерение Александра I с надеждой и изумлением. Многие вообразили, что царь не замедлит исполнить своё обещание. Более опытные и зрелые мужи посмеивались; Н. М. Карамзин писал 29 апреля И. И. Дмитриеву: «Варшавские новости сильно действуют на умы. Варшавские речи сильно отозвались в молодых сердцах. Спят и видят Конституцию. Судят, рядят, начинают и писать. Иное уже вышло, иное готовится. И смешно, и жалко».

Не поверил благим намерениям императора и Пушкин, высмеяв их в ноэле[12] «Сказки»:

Ура! В Россию скачет
Кочующий деспот.
Спаситель горько плачет,
За ним и весь народ.

Как говорится, поэт сразу берёт быка за рога: хорош царь, от известия о возвращении которого плачет ребёнок, которому предназначено стать Христом. Мать успокаивает его, а монарх тем временем вещает:

Узнай, народ российский,
Что знает целый мир:
И прусский и австрийский
Я сшил себе мундир.
О радуйся, народ: я сыт, здоров и тучен;
Меня газетчик прославлял;
Я пил и ел, и обещал —
И делом не замучен.

Послушайте в прибавку,
Что сделаю потом:

Лаврову дам отставку,
А Соца[13] — в жёлтый дом;
И людям я права людей
По царской милости моей
Отдам из доброй воли.

Обещание о людских (то есть гуманных, человечных) правах Пушкин рассматривал, как сказки царя-батюшки, которым мог поверить только ребёнок:

От радости в постели
Распрыгалось дитя:
«Неужто в самом деле?
Неужто не шутя?»

И напрасно… напрасно не поверил. На исходе 1810-х годов Александр I ещё поощрял либеральные проекты: о введении конституционного правления, об отмене крепостного права. Конституцию для Польши разрабатывал Н. Н. Новосильцев, друг-единомышленник царя с молодых лет, отданных реформаторским мечтаниям. Историк Н. Я. Эйдельман писал о ней: «Подводной идеей была Конституция Новосильцева уже не для Польши, а для всей России, тогда же написанная и глубоко, „до востребования“, запрятанная».

Что касается крепостного права, то в идеале царь был не против него. «Русские крестьяне, — писал он, — большей частью принадлежат помещикам. Считаю излишним доказывать унижение и бедствие такого состояния» (21,60). Зная это, проекты об освобождении крестьян подготовили М. М. Сперанский, Н. С. Мордвинов, М. Ф. Орлов и М. А. Дмитриев-Мамонов. По заданию самодержца проекты по освобождению крестьян разработали «преданный без лести» Аракчеев и один из руководителей Союза благоденствия Н. И. Тургенев. Поэтому Александр очень снисходительно отнёсся к стихотворению Пушкина «Деревня». Узнав о нём, он поручил князю И. В Васильчикову достать эти стихи, что Илларион Васильевич и сделал с помощью своего адъютанта Чаадаева. Ознакомившись с творением молодого поэта, царь велел «благодарить Пушкина за добрые чувства», которые внушаются стихотворением.

Оценка для вчерашнего лицеиста весьма лестная, но Пушкин, человек крайностей в своём неприятии царя (как человека и государя), дошёл до решения о его физическом устранении, о чём и поведал позднее в письме Александру: «Мне было 20 лет.

Необдуманные отзывы, сатирические стихи… Разнёсся слух, будто я был отвезён в тайную канцелярию и высечен. До меня до последнего дошёл этот слух, который стал общим. Я увидел себя опозоренным перед светом. На меня нашло отчаяние, я метался в стороны, мне было 20 лет. Я раздумывал: не следует ли мне прибегнуть к самоубийству или умертвить (ваше величество). В первом случае я только бы подтвердил разнёсшуюся молву, которая меня бесчестила; во втором — я бы не мстил за себя, потому что прямой обиды не было, а совершил бы только преступление и пожертвовал бы общественному мнению, которое презирал, человеком, внушавшим мне уважение против моей воли. Таковы были мои размышления. Я сообщил их другу, который был совершенно моего мнения. Он мне советовал попытаться оправдать себя перед властью, а я чувствовал бесполезность этого. Я решил высказывать столько негодования и наглости в своих речах и своих сочинениях, чтобы наконец власть вынуждена была обращаться со мною, как с преступником. Я жаждал Сибири или крепости, как восстановления чести» (10, 791–792).

Это пламенное признание (лето 1825 года) не было отослано по назначению — поэт вовремя одумался: за злоумышление на жизнь императора (даже уже в прошлом) получил бы желаемые ранее и крепость, и Сибирь. Пронесло. Судьба оберегла поэта.

Изгнание. Такие стихотворения, как «Сказки», «Кинжал», «Вольность», распространялись в рукописном виде друзьями и почитателями поэта. «Не было живого человека, который не знал бы его стихов», — говорил по этому поводу И. И. Пущин.

В конце концов дошли они до царя. Александр, усердно боровшийся с «крамолой» в Европе, не мог допустить её в своём доме. Он потребовал представить ему все «вольности» поэта и сослать его в Сибирь.

19 апреля 1820 года об угрозе ссылки Пушкина уже знал Н. М. Карамзин, дом которого часто посещал Александр. «Над здешним поэтом Пушкиным, — писал он И. И. Дмитриевичу, — если не туча, то по крайней мере облако, и громоносное (это между нами): служа под знамёнами либералистов, он написал и распустил стихи на вольность, эпиграммы на властителей и проч. Это узнала полиция. Опасаются следствий. Хотя я уже давно, истощив все способы образумить эту беспутную голову, предал несчастного Року и Немезиде, однако ж из жалости к таланту замолвил слово, взяв с него обещание уняться. Не знаю, что будет» (63, 331).

Знали об опасности, грозившей Пушкину и члены Вольного

общества любителей российской словесности. 22 марта на заседании общества Кюхельбекер читал стихотворение «Поэты», в котором прямо говорил, что певца «Руслана» ждут гонения, что «крик филина и врана» сделал своё дело.

Что касается самого Пушкина, то он поступил весьма благоразумно, обратившись за советом к председателю Вольного общества, коим был полковник Ф. Н. Глинка, участник войны 1812 года и заграничных походов, автор прогремевших «Писем русского офицера». Александр Сергеевич знал, что Глинка трепетно относился к его таланту, любил его, сравнивал молодого поэта с вулканом, из которого «внутренняя жизнь бьёт ключом». На предложение Плетнёва ввести Пушкина в члены Вольного общества любителей российской словесности Фёдор Николаевич заявил: «Овцы стадятся, а лев ходит один».

Год назад («по прочтении двух первых песен „Руслана и Людмилы“») Глинка посвятил автору поэмы стихотворение, в котором говорилось:

> Лишь ты запел, младой певец,
> И добрый дух седой дубравы,
> Старинных дел, старинной славы
> Певцу младому вьёт венец!..

Получить в двадцать лет такую оценку от профессионала, незаурядного писателя, признанного современниками, дорогого стоит. И решение идти именно к нему было самым правильным. Встретились они у дома Фёдора Николаевича. Глинка вспоминал: «Раз утром выхожу из своей квартиры (на Театральной площади) и вижу Пушкина, идущего мне навстречу. Он был всегда бодр и свеж, но обычная (по крайней мере при встречах со мною) улыбка не играла на его лице, и лёгкий оттенок бледности замечался на щеках.

— Я к вам.

— А я от себя.

И мы пошли вдоль площади. Пушкин заговорил первый:

— Я шёл к вам посоветоваться. Вот видите: слух о моих и не моих (под моим именем) пьесах, разбежавшихся по рукам, дошёл до правительства. Вчера, когда я возвращался поздно домой, мой старый дядька объявил, что приходил в квартиру какой-то неизвестный человек и давал ему 50 рублей, прося дать ему почитать мои сочинения, уверяя, что скоро принесёт их назад. Но мой верный старик не согласился. А я взял да сжёг все мои бумаги.

При этом рассказе я сразу узнал Фогеля[14] с его

проделками. — Теперь, — продолжал Пушкин, немного озабоченный, — меня требуют к Милорадовичу![15] Я знаю его по публике, но не знаю, как и что будет и с чего с ним взяться… Вот я и шёл посоветоваться с вами.

Мы остановились и обсуждали дело со всех сторон. В заключение я сказал ему:

— Идите прямо к Милорадовичу, не смущаясь и без всякого опасения. Он не поэт, но в душе и рыцарских его выходках у него много романтизма и поэзии: его не понимают! Идите и положитесь безусловно на благородство его души: он не употребит во зло вашей доверенности.

Тут, ещё поговорив немного, мы расстались: Пушкин пошёл к Милорадовичу, а мне путь лежал в другое место. Часа через три явился и я к Милорадовичу, при котором, как при генерал-губернаторе, состоял я, по высочайшему повелению, по особым поручениям, в чине полковника гвардии. Лишь только ступил я на порог кабинета, Милорадович, лежавший на своём зелёном диване, окутанный дорогими шалями, закричал мне навстречу:

— Знаешь, душа моя (это его поговорка), у меня сейчас был Пушкин! Мне ведь велено взять его и забрать все его бумаги, но я счёл более деликатным (это тоже любимое его выражение) пригласить его к себе и уж от него самого вытребовать бумаги. Вот он и явился, очень спокоен, с светлым лицом, и когда я спросил о бумагах, он отвечал:

— Граф, все мои стихи сожжены! У меня ничего не найдётся на квартире. Но, если вам угодно, всё найдётся здесь (указал пальцем на свой лоб). Прикажите подать бумаги, я напишу всё, что когда-либо написано мною (разумеется, кроме печатного) с отметкою, что моё и что разошлось под моим именем.

Подали бумаги. Пушкин сел и писал, писал… и написал целую тетрадь…

— Вон она (указывая на стол у окна), полюбуйся!.. Завтра я отвезу её государю. А знаешь ли, Пушкин пленил меня своим благородным тоном и манерою (это тоже его словцо) обхождения.

После этого мы перешли к очередным делам… На другой день я постарался прийти к Милорадовичу поранее и поджидал возвращения его от государя. Он возвратился, и первым словом его было: „Ну вот, дело Пушкина и решено!“ Разоблачившись потом от мундирной формы, он продолжал: „Я вошёл к государю с своим сокровищем, подал ему тетрадь и сказал:

— Здесь всё, что разбрелось в публике, но вам, государь, лучше этого не читать!

Государь улыбнулся на мою заботливость. Потом я рассказал подробно, как у нас дело было. Государь слушал внимательно и

наконец спросил:

— А что ж ты сделал с автором?

— Я… — сказал Милорадович. — Я объявил ему от имени вашего величества прощение!..

Тут мне показалось, что государь слегка нахмурился. Помолчав немного, государь с живостью сказал:

— Не рано ли?

Потом, ещё подумав, прибавил:

— Ну коли уж так, то мы распорядимся иначе: снарядить Пушкина в дорогу, выдать ему прогоны и с соответствующим чином и с соблюдением возможной благовидности отправить его на службу на юг“» (30, 427).

Кроме Глинки, благоприятному исходу ситуации, в которой он оказался, способствовали Н. М Карамзин, П. Я. Чаадаев (через командира отдельного гвардейского корпуса генерала от кавалерии И. В. Васильчикова), В. А. Жуковский, командир лейб-гвардии Конного полка генерал-майор А. Ф. Орлов, президент Академии художеств А. Н. Оленин, директор Царскосельского лицея Е. А. Энгельгардт, директор Департамента духовных дел иностранных исповеданий А. И. Тургенев, глава Коллегии иностранных дел граф И. А. Каподистрия. Это были люди не только влиятельные, но и весьма авторитетные, их слово многого стоило.

Русский Тиртей. В. А. Жуковский видел Пушкина ещё ребёнком в доме его родителей. В мае 1815 года он посетил молодого поэта в лицее. Александр вручил гостю послание (не сохранилось), которое Василий Андреевич назвал прекрасным и написал П. А. Вяземскому: «Я сделал ещё приятное знакомство с нашим молодым чудотворцем Пушкиным. Он мне обрадовался и крепко прижал руку мою к сердцу. Нам всем надобно соединиться, чтобы помочь вырасти этому будущему гиганту, который всех нас перерастёт».

После выхода Пушкина из лицея Василий Андреевич ввёл его в литературное общество «Арзамас». Александр посещал «субботники» Жуковского — еженедельные поэтические вечера, читал на них свои новые произведения. В жизни Пушкина родоначальник русского романтизма занимал совершенно особое место: это был поэт-учитель, поэт-предшественник и старший друг, вступавшийся за Александра Сергеевича во многих эпизодах его бурной жизни, всячески поддерживавший и остерегавший его:

— Твоя будущая прекрасная слава, которую ты должен, должен, должен взять (теперешняя никуда не годится, она не согласна с твоим достоинством).

— Ты рождён быть великим поэтом, будь же этого достоин. Ты имеешь не дарование, а гений. Ты создан попасть в боги — вперёд.

— Читал «Онегина» и «Разговор», служащий ему предисловием. Несравненно! По данному мне полномочию предлагаю тебе первое место на русском Парнасе. И какое место, если с высокостию гения соединить и высокость цели!

«Сверчок моего сердца», — с любовью и нежностью обращался Василий Андреевич к молодому поэту.

Жуковский сразу понял, что с явлением Пушкина он потерял первое место на поэтическом Олимпе и уже в 1818 году писал: «Чудесный талант! Какие стихи! Он мучит меня своим даром как привидение».

В. А. Жуковский

Отзывчивый на внимание и ласку Пушкин восклицал, говоря о своём старшем друге и покровителе:

— Что за прелесть его небесная душа! Он святой, хотя родился романтиком и человеком, да каким ещё!

Да, у Жуковского слово не расходилось с делом. На тридцатом году жизни этот глубоко штатский человек вступил в Московское ополчение и участвовал в Бородинском сражении. «Мы стояли, — вспоминал Василий Андреевич, — в кустах на левом фланге, на который напирал неприятель; ядра невидимо откуда к нам прилетали; всё вокруг нас страшно гремело, огромные клубы дыма поднимались на всём полукружии горизонта, как будто от повсеместного пожара, и наконец ужасною белою тучею охватили половину неба, которое тихо и

безоблачно сияло над бьющимися армиями» (92, 25).

Многочасовое пребывание в бездействии было тяжелее участия в бою: люди гибли от шальных ядер, залетавших в тыл армии. Это была смерть без порыва и подвига. Офицер 50-го егерского полка Н. И. Андреев писал позднее: «Московское ополчение стояло в колонне сзади нас на горе; их било ядрами исправно и даром».

После отхода русской армии в Тарутино Жуковский был взят в Главную квартиру[16]. Там он участвовал в подготовке и литературном редактировании приказов и донесений, а в свободные часы работал над поэмой «Певец во стане русских воинов». Уже в ноябре она была напечатана как «летучий листок» в походной типографии армии. Отдавая должное подлинным героям Отечественной войны, Жуковский писал:

Хвала, наш Вихорь-Атаман,
Вождь невредимых Платов!
Твой очарованный аркан
Гроза для супостатов.
Орлом шумишь по облакам,
По полю волком рыщешь,
Летаешь страхом в тыл врагам,
Бедой им в уши свищешь;
Они лишь к лесу — ожил лес,
Деревья сыплют стрелы;
Они лишь к мосту — мост исчез;
Лишь к сёлам — пышут сёлы…

Поэма получила большую известность и поставила Жуковского на первое место среди ведущих литераторов России. Прапорщик Николай Коншин (будущий литератор, друг Баратынского) вспоминая о впечатлении, произведённом ею, говорил: «Эта поэма, достойная Георгия I[17] степени, делала со мной лихорадку».

…Жуковского Пушкин знал с детства. Александр посещал его «субботы», встречался с Василием Андреевичем также у Карамзиных, Олениных и А. И. Тургенева. Два визита к поэту-романтику запечатлены в шутливых стихах Александра Сергеевича:

Штабс-капитану, Гёте, Грею,
Томсону, Шиллеру привет!
Им поклониться честь имею,
Но сердцем истинно жалею,

Что никогда их дома нет.

Эта запись была сделана Пушкиным на дверях квартиры Жуковского, которого он не застал дома. «Штабс-капитан» — воинское звание автора «Певца во стане русских воинов», а далее имена поэтов, произведения которых переводил Василий Андреевич.

Следующий аналогичный эпизод связан с приглашением Жуковского генералом Н. Н. Раевским на обед. Передать оное взялся Пушкин, прихвативший с собой младшего сына Николая Николаевича. В записке, оставленной хозяину квартиры, Александр Сергеевич гадал:

Какой святой, какая сводня
Сведёт Жуковского со мной?
Скажи, не будешь ли сегодня
С Карамзиным, с Карамзиной? —
На всякий случай — ожидаю,
Тронися просьбою моей,
Тебя зовёт на чашку чаю
Раевский — слава наших дней.

В 1818 году Жуковский издал ограниченным тиражом сборник «Для немногих». Это были его переводы, помещённые вместе с оригиналами. Зная, что переводы Василия Андреевича — это фактически уже его произведения, а не техническая работа, что это итог вдохновения, которое «власы подъемлет на челе», Пушкин писал:

Ты прав, творишь ты для немногих,
Не для завистливых судей,
Не для сбирателей убогих
Чужих суждений и вестей,
Но для друзей таланта строгих,
Священной истины друзей.
Не всякого полюбит счастье,
Не все родились для венцов.
Блажен, кто знает сладострастье
Высоких мыслей и стихов!
Кто наслаждение прекрасным
В прекрасный получил удел
И твой восторг уразумел
Восторгом пламенным и ясным.

Отношение молодого поэта к своему учителю и другу было восторженным; он нисколько не сомневался в прочности славы своего замечательного современника:

Его стихов пленительная сладость
Пройдёт веков завистливую даль.

Ещё в лицее Пушкин начал работу над поэмой «Руслан и Людмила». 26 марта 1820 года она была завершена. Жуковский, восхищённый мастерством ученика и высоким художественным уровнем поэмы, подарил Александру свой портрет с надписью: «Победителю-ученику от побеждённого учителя в тот высокоторжественный день, в который он окончил поэму „Руслан и Людмила“».

Начало работы Пушкина над поэмой «Руслан и Людмила» совпало с пятой годовщиной Отечественной войны. В ознаменование этого события в парке Царского Села повелением императора Александра I были воздвигнуты парадные ворота «Любезным моим сослуживцам». Сам царь отбыл с гвардией в Москву, где в память событий 1812 года возвели монументальное здание Манежа, а на Воробьёвых горах заложили храм Христа Спасителя.

Опосредованно эти события отразились в поэме «Руслан и Людмила» тем, что её автор много места уделил батальным сценам. Приводим одну из них, наиболее напоминающую то, что слышал Александр отроком:

О поле, поле, кто тебя
Усеял мёртвыми костями?
Чей борзый конь тебя топтал
В последний час кровавой битвы?
Кто на тебе со славой пал?
Чьи небо слышало молитвы?
Зачем же, поле, смолкло ты
И поросло травой забвенья?..

Читая этот фрагмент, трудно отрешиться от мысли, что, когда Пушкин работал над ним, в его воображении вставало Бородинское поле, которое до 1839 года находилось в небрежении властей, о чём Александр Сергеевич узнал от офицеров, вернувшихся после юбилейных торжеств, проходивших

в Москве.

«Язвительный поэт, остряк замысловатый». Так характеризовал Александр Сергеевич П. А. Вяземского, одного из ближайших своих друзей. Пётр Андреевич знал Пушкина ещё ребёнком. Личное их знакомство началось 25 марта 1816 года, во время посещения Н. М. Карамзиным, В. А. Жуковским и другими лицами Царскосельского лицея. Этот день стал началом долголетних дружеских отношений поэтов. Уже «Воспоминания в Царском Селе» поразили Петра Андреевича, и он писал К. Н. Батюшкову: «Какая сила, точность в выражении, какая твёрдая и мастерская кисть в картинах. Дай Бог ему здоровья и учения, и в нём прок и горе нам. Задавит, каналья!». О том же — Жуковскому: «Какая бестия! Надобно нам посадить его в жёлтый дом, не то этот бешеный сорванец нас всех заест, как отцов наших. Знаешь ли, что и Державин испугался бы…»

Пушкин удивительно быстро сошёлся с насмешливым, рационалистичным и несколько чопорным князем. Правда, встречались они нечасто — жили в разных столицах: Вяземский — в старой, Александр Сергеевич — в новой (не считая годов ссылки). Но переписывались активно. 1 сентября 1817 года Пушкин извещал приятеля: «Любезный князь, я очень недавно приехал в Петербург и желал бы как можно скорее его оставить для Москвы, то есть для Вяземского, не знаю, сбудется ли моё желание, покамест с нетерпением ожидаю твоих новых стихов и прошу твоего благословения».

Что примечательно в этом письме? Пушкину едва исполнилось восемнадцать лет, его адресату — двадцать пять. Весьма существенная разница для начала самостоятельной жизни. Знакомы они полтора года и уже перешли на ты. Для такого скоропалительного сближения имелись, по-видимому, немалые основания.

Пётр Андреевич — сын русского аристократа, представителя рода Рюриковичей, князя А. И. Вяземского, человека высокообразованного и свободомыслящего. Соответствующее воспитание дал он и своему единственному чаду.

Пётр рано остался без родителей. За его дальнейшим образованием и воспитанием следил Н. М. Карамзин. Отрок воспринял от опекуна идеи патриотизма и общественного блага. Без преувеличения можно сказать, что знаменитый историк образовал Вяземского как публициста и мыслителя, а воспитал как поэта. Пётр Андреевич рассказывал о годах своей юности:

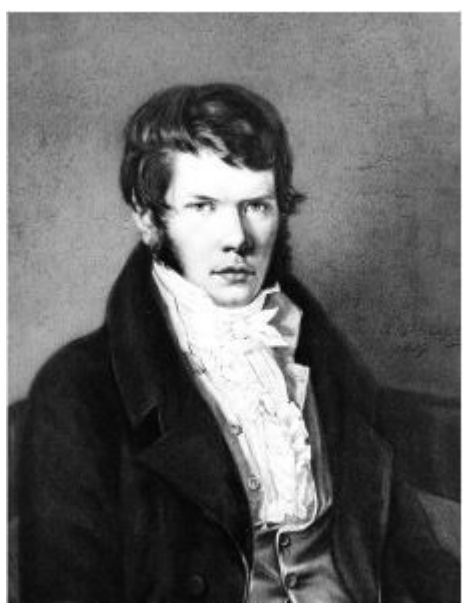
— С водворением Карамзина в наше семейство письменные наклонности мои долго не пользовались поощрением его. Я был

между двумя огнями: отец хотел видеть во мне математика, Карамзин боялся увидеть во мне плохого стихотворца. Он часто пугал меня этой участью. Берегись, говорил он, нет ничего жалче и смешнее худого писачки и рифмоплёта. Первые опыты мои таил я от него, как и другие проказы грешной юности моей.

В 1812 году Вяземский записался в Московское ополчение, участвовал в Бородинском сражении и получил за отличие в нём орден Святого Станислава IV степени, но в армии не остался. Вступив в наследственные права, Пётр Андреевич за считанные годы «прокипятил» в карты большую часть огромного состояния, оставленного отцом. По воспоминаниям Ф. Ф. Вигеля, «он скоро сделался идолом молодёжи, которую роскошно угощивал и с которой делил буйные забавы». Пушкин по этому же поводу писал:

> Судьба свои дары явить желала в нём,
> В счастливом баловне соединив ошибкой
> Богатство, знатный род — с возвышенным умом
> И простодушие с язвительной улыбкой.

К счастью для молодого поэта, его сближение с Вяземским произошло после того, как тот промотал полученное наследство и хлопотал о поступлении на государственную службу. Два десятилетия Пушкин и его старший друг поддерживали самые тесные контакты — личные и заочные.



П. А. Вяземский

По своей натуре Вяземский был насмешлив и рационалистичен. Его стихи привлекают остротой мысли, каламбурами, едкими шутками и игрой слов. Пушкин несравненно многограннее, душевно щедрее, непосредственнее, тоньше и уязвимее. Поэтому многолетняя дружба поэтов основывалась не столько на чувствах, сколько на близости литературных интересов и восприятии явлений культуры. Были общность взглядов, горячие споры, поэтические разногласия и политические расхождения, но не было равнодушия и длительного взаимного охлаждения. Друзья ценили друг друга:

Язвительный поэт, остряк замысловатый,
И блеском колких слов, и шутками богатый,
Счастливый Вяземский, завидую тебе.
Ты право получил, благодаря судьбе,
Смеяться весело над злобою ревнивой,
Невежество разить анафемой игривой.

Пушкин ценил в Петре Андреевиче проницательность и глубину ума, умение блестящим, глубоко содержательным разговором «занять душу» собеседника. Поэт отдавал должное и литературно-критической деятельности друга. «Проза князя Вяземского, — писал он, — чрезвычайно жива. Она обладает редкой способностью оригинально выражать мысли — к счастью, он мыслит, что довольно редко между нами».

Александр Сергеевич высоко ценил и поэзию Вяземского, хотя и не скупился на критические замечания, впрочем, неизменно доброжелательные. «…присылай нам своих стихов, — писал он в апреле 1820 года, — они пленительны и оживительны — „Первый снег“ прелесть; „Уныние“ — прелестнее». Из стихотворения «Первый снег» Пушкин взял эпиграф к первой главе «Евгения Онегина»: «И жить торопится, и чувствовать спешит».

Вяземский — мастер дружеских посланий, остроумный памфлетист и сатирик. Вершиной последнего жанра стало стихотворение «Негодование», написанное в 1820 году, но так и не увидевшее света при жизни Петра Андреевича:

Хранители казны народной,
На правый суд сберитесь вы;
Ответствуйте: где дань отчаянной вдовы?
Где подать сироты голодной?
Корыстною рукой заграбил их разврат.

Презрев укор людей, забыв небес угрозы,
Испили жадно вы средь пиршеских прохлад
Кровавый пот труда и нищенские слёзы…

Вяземский был автором записки об уничтожении крепостного права. Она послужила основой для создания проекта по освобождению крестьян, его подписала группа дворян и передала царю. Эта инициатива не получила одобрения Александра I, и Пётр Андреевич был отстранен от службы.

С 1820 по 1830 год Вяземский общался с Пушкиным посредством переписки. Сохранилось 74 письма Пушкина к Петру Андреевичу и 46 писем Вяземского поэту. Темы переписки в основном — литература и общественная жизнь. Эти письма по существу энциклопедия жизни и размышлений двух выдающихся представителей русской культуры первой трети XIX столетия.

Друзья немало критиковали друг друга, но и получали радость от эпистолярного общения. Так, по поводу статьи Петра Андреевича о поэме «Кавказский пленник» Пушкин писал ему: «Благодарю тебя, милый Вяземский: пусть утешит тебя Бог за то, что ты меня утешил. Ты не можешь себе представить, как приятно читать о себе суждения умного человека». Имя Петра Андреевича поэт увековечил в романе «Евгений Онегин»:

К ней как-то Вяземский подсел
И душу ей занять успел.

«К ней» — это о тётушке героини романа, особе скучной и малопривлекательной. Двустишие, как бы случайно оброненное Александром Сергеевичем, пришлось по «сердцу Вяземскому», о чём он говорил позднее: «Эта шутка Пушкина меня порадовала. Помню, что я очень гордился этими двумя стихами».

Натура восторженная, с горячим воображением, быстро воспламеняющаяся, Пётр Андреевич был потрясён событиями 14 декабря, о которых говорил: «Сей бедственный для России день и эпоха кровавая, за ним следующая были страшным судом для дел, мнений и помышлений настоящих и давно прошедших».

Через полгода в памятной книжке Вяземского появилась запись о расправе над декабристами (13 июля): «Для меня этот день ужаснее 14-го. По совести нахожу, что казни и наказания несоразмерны преступлениям, в коих большая часть состояла в одном умысле. Вижу в некоторых из приговорённых помышление о возможном цареубийстве, но истинно не нахожу ни в одном твёрдого убеждения в решимости на совершение оного».

В осуждении декабристов Пётр Андреевич уловил главное: преступления как такового не было, людей судили не за антигосударственное деяние, а за мысли о таковом. Поэтому приговор и был по существу расправой, которая не могла смирить с ней людей, придерживавшихся демократических взглядов.

Через два года, будучи в Петербурге, Вяземский встретился с Пушкиным. Был праздник — Преполовение. По стенам Петропавловской крепости шествовал крестный ход. Друзья взяли лодку и переправились через Неву.

— Мы пошли бродить по крепости, — вспоминал Пётр Андреевич, — и бродили часа два. Много странного и мрачного, и грозно-поэтического в этой прогулке по крепостным валам и по головам сидящих внизу в казематах.

В память о пяти декабристах поэты подняли с места их казни пять сосновых щепок и унесли их с собой.

Следующие встречи друзей проходили на рубеже 1830–1831 годов, затем стали регулярнее, так как Вяземский перебрался на жительство в Петербург.

…Пётр Андреевич прожил долгую жизнь (умер в семьдесят шесть лет), но её вторая половина стала полной противоположностью первой. А. И. Герцен называл его «раскаявшимся сатириком». Вяземский, казалось, делал всё, чтобы опорочить и осмеять идеалы собственной молодости, и получал от младших современников такие экспромты:

Судьба весь юмор свой явить желала в нём,
Забавно совместив ничтожество с чинами,
Морщины старика — с младенческим умом
И спесь боярскую с холопскими стихами.

В отношении «младенческого ума» автор экспромта перегнул палку. Изменение политических взглядов Вяземского на его умственные способности, конечно, не повлияло, и то, что Пётр Андреевич стал другим, он сознавал сам и не скрывал этого:

Лампадою ночной погасла жизнь моя,
Себя, как мёртвого, оплакиваю я.
На мне болезни и печали
Глубоко врезан тяжкий след;
Того, которого вы знали,
Того уж Вяземского нет.

В шести рифмованных строках вся жизнь незаурядного поэта,

критика и язвительного памфлетиста; словом, multa paugis[18].

«Товарищ милый, но лукавый». На момент знакомства с Пушкиным П. А. Катенин (1792–1853) служил в гвардейском Преображенском полку. Вот как характеризовал его современник, чиновник Московского архива иностранных дел Ф. Ф. Вигель:

— Несколько слов ещё об одном военном стихотворце, об офицере Павле Александровиче Катенине. Круглолицый, полнощёкий и румяный, как херувим на вербе, этот мальчик вечно кипел, как кофейник на кофеварке. У него было самое странное авторское самолюбие: мне случилось от него слышать, что он охотнее простит такому человеку, который назовёт его мерзавцем, плутом, нежели тому, который хотя бы по заочности назвал его плохим писателем; за это он готов вступиться с оружием в руках.

Пушкина Павел Александрович впервые увидел 27 августа 1817 года в театре на представлении драмы А. Коцебу «Сила клятвы». Их познакомил переводчик «Илиады» Н. И. Гнедич.

Встреча была мимолётной и скоро забылась. Но не молодым поэтом. Катенин — участник Бородинской битвы, сражения при Кульме и похода на Париж. Природа щедро оделила его высокими дарованиями и пламенной душой; ко всему этому был он энциклопедически образован. «Не было ни одного исторического события, которого он бы не мог изложить со всеми подробностями», — утверждал актёр П. А. Каратыгин.

Павел Александрович прочитал в подлиннике почти все выдающиеся произведения французской, немецкой, английской, итальянской и испанской литературы. Более того, хорошо знал философию, богословие, многие естественные науки и высшую математику. Разносторонность познаний Катенина поражала. Тот же Каратыгин вспоминал:

— Он мог вести диспуты с кем угодно и о чём угодно и своей неотразимой диалектикой сбить с толку, обезоружить своего противника и доказать всё, что бы ему ни хотелось доказать. Декламировать, рассказывать увлекательно, острить, спорить, опровергать, доказывать — вот сфера, в которой он не имел равных.

Как многие незаурядные люди, Катенин был недоволен социальным строем России, и это привело его в ряды «Союза спасения», одной из первых тайных организаций декабристов, для которой он написал революционный гимн:

Отечество наше страдает
Под игом твоим, о злодей!

Коль нас деспотизм угнетает,
То свергнем мы трон и царей.
Свобода! Свобода!
Ты царствуй над нами!
Ах, лучше смерть, чем жить рабами, —
Вот клятва каждого из нас…

Своего свободомыслия Павел Александрович особо не таил, в суждениях был независим, начальствующих лиц не чтил. В армии это не приветствовалось, и службу пришлось оставить. Но без дела Катенин не сидел, ибо был увлечён театром.

Ещё в 1811 году на сцене петербуржского Большого театра была поставлена трагедия Корнеля «Ариадна», переделанная портупей-прапорщиком лейб-гвардии Преображенского полка Павлом Катениным. С этого времени он стал постоянным театральным автором и строгим ценителем игры актёров. Его авторитет в театральной среде был очень высок.

Находясь в Париже, Катенин побывал на представлениях, в которых играли Тальма, Дюшенуа и Марс. Это способствовало формированию чётких литературно-эстетических взглядов убеждённого сторонника народности и историзма. Павел Александрович консультировал всесильного драматурга А. А. Шаховского, бывшего четверть века начальником репертуарной части петербургских императорских театров.

Неудивительно, что однажды (через год после знакомства) Пушкин самозванно заявился к литературному эрудиту. Павел Александрович был у соседей, за ним пошёл слуга. Гость встретил хозяина в дверях квартиры и подал ему в руки толстую палку.

— Я пришёл к вам, — заговорил он, — как Диоген к Антисфену: побей, но выучи.

— Учёного учить — портить, — возразил Катенин и повёл Александра в комнаты.

Они сразу почувствовали расположение друг к другу, и Пушкин спросил, какие из его опубликованных стихотворений можно считать удачными.

— Лёгкое дарование приметно во всех, — ответил Катенин, — но хорошим почитаю только одно, и то коротенькое: «Мечты, мечты! Где ваша сладость?»

Молодой поэт согласился с этой оценкой, сказав, что все прочие стихотворения он предаст вечному забвению. Катенин оказал благотворное влияние на творчество Пушкина, отучив его от эстетической односторонности (следованию литературной системе карамзинизма). Александр Сергеевич ценил Катенина как

эрудированного критика; в феврале 1826 года писал ему: «Голос истинной критики необходим у нас; кому же, как не тебе, забрать в руки общее мнение и дать нашей словесности новое, истинное направление? Покамест, кроме тебя, нет у нас критика. Многие (в том числе и я) много тебе обязаны. Если б согласился ты сложить разговоры твои на бумагу, то великую пользу принёс бы русской словесности».

Амплуа критика Катенина не прельщало — сам писал стихи, поэмы, баллады и пьесы. Из последних надо отметить трагедию «Андромаха» и комедию «Студент» (создана совместно с А. С. Грибоедовым). О стихотворении «Мир поэта» В. Кюхельбекер говорил, что это одно «из лучших лирических творений, какие только есть на русском языке, а аналогов поэме „Мстислав Мстиславович“ вообще в русской литературе нет». Баллады Катенина «Ольга», «Леший», «Убийца» не уступали аналогичным произведениям В. А. Жуковского, а в чём-то были даже колоритнее их.

В 1828 году Катенин написал балладу «Старая быль». Сюжет её прост: скопец-грек восхваляет милость царей, а русский певец отказывается это делать. Первый получает в награду оружие, второй — кубок. Объясняя смысл баллады, Павел Александрович писал Пушкину, что пить из этого кубка, не проливая вина, может только подлинный поэт. За этим витиеватым намёком скрывалось недовольство стихотворениями Александра Сергеевича «Стансы» («В надежде славы и добра») и «Друзьям» («Нет, я не льстец…»). На комментарии старшего коллеги последовал «Ответ Катенину»:

Напрасно, пламенный поэт,
Свой чудный кубок мне подносишь
И выпить за здоровье просишь:
Не пью, любезный мой сосед!
Товарищ милый, но лукавый,
Твой кубок полон не вином,
Но упоительной отравой:
Он заманит меня потом
Тебе вослед опять за славой.
Не так ли опытный гусар,
Вербуя рекрута, подносит
Ему весёлый Вакха дар,
Пока воинственный угар
Его на месте не подкосит?
Я сам служивый — мне домой
Пора убраться на покой.
Останься ты в строях Парнаса;

Пред делом кубок наливай
И лавр Корнеля или Тасса
Один с похмелья пожинай.

С 1820 по 1832 год Катенин жил в своём имении Шаево Костромской губернии. Размолвка с Пушкиным случилась заочно и не была острой: при наездах Павла Александровича в Петербург они встречались. «Приехал я прямо на дачу, где жил граф Пушкин, на Петергофской дороге, неподалёку от городской заставы. Узнав о том, многие из знакомых поспешили меня навестить, и между первыми Александр Сергеевич. Свидание было самое дружеское. Тут я поздравил его с окончанием „Евгения Онегина“.

— Спи спокойно, — сказал я, — с „Онегиным“ в изголовье; он передаст имя твоё поздним векам, а конец увенчал всё дело, последняя глава лучше всего».

Когда «Евгений Онегин» вышел отдельным изданием, Александр Сергеевич подарил книгу Катенину. В ответ Павел Александрович писал: «Я прочёл её с несказанным удовольствием, и точно — она драгоценный алмаз в русской поэзии. Какая простота в основе и ходе! Как из немногих материалов составлено прекрасное целое! Сколько ума без умничанья, сколько чувства без сентиментальности, сколько иногда глубины без педантства, сколько поэзии везде, где она могла быть! Какое верное знание русского современного дворянского быта, от столичных палат до уездных усадьб! Какой хороший тон без малейшего жеманства, и как всё это ново, как редко в нашей скудной словесности!..».

И это писал человек, который говорил о себе: «Я редко хвалю без пути, а притворно никогда».

Какое уже там «без пути», то есть без причины! Вот мнение на этот счёт Вигеля:

— Он был довольно хорош с Шаховским, ибо далеко превосходил его в неистощимой хуле писателям; ни одному из них не было от него пощады, ни русским, ни иностранным, ни древним, ни новым…

7 января 1833 года Пушкин и Катенин были избраны в члены Российской академии и вместе приходили на её заседания. Александру Сергеевичу они скоро наскучили, а Павел Александрович, вновь поступивший на службу, уехал на юг России. Там его и застала скорбная весть о кончине великого друга.

— В Кизляре узнал я о его несчастной смерти. Человек погиб,

но поэт жив. Его творения, в коих светится и врождённый дар, и художественный ум, драгоценнейшее по нём наследство, оставленное всем сколько-нибудь образованным людям. Его стихотворения не жмутся в тесном кругу России наших дедов; грамотные русские люди читают их всласть; прочтут и чужие…

Кстати. Пророчество Катенина о том, что «Евгений Онегин» передаст имя его создателя будущим столетиям, осуществилось сторицей: в романе десятки имён современников поэта, ставших по его воле бессмертными. Вот, в частности, строки, относящиеся к самому Павлу Александровичу:

Там наш Катенин воскресил
Корнеля гений величавый…

«Там» — это в Петербургском театре, для которого Катенин перевёл корнелевского «Сида», написал трагедию «Андромаха» и комедию «Студент»; более того, подготовил к сцене актёров В. А. Каратыгина и А. М. Колосову.

А вот скрытое упоминание нашего героя:

Всё было тихо; лишь ночные
Перекликались часовые;
Да дрожек отдалённый стук
С Мильонной раздавался вдруг…

На этой улице находились казармы Преображенского полка, и поэт нередко туда захаживал, по поводу чего Катенин писал Пушкину: «Нашёл я в нём (в романе. — Н.) своё имя. Кроме прелестных стихов, я нашёл тут тебя самого, твой разговор, твою весёлость и вспомнил наши казармы в Миллионной».

Случайная встреча. Лажечников Иван Иванович происходил из богатой и просвещённой купеческой семьи. Получил домашнее образование, в дальнейшем слушал лекции профессоров Московского университета. Военную службу начинал прапорщиком Московского ополчения. Участвовал в сражениях при Малоярославце и под Красным; в рядах русской армии дошёл до Парижа. В декабре 1819 года вышел в отставку в чине штабс-капитана. В следующем году отдельным изданием вышли его воспоминания — «Походные записки русского офицера».

К этому времени Лажечников был знаком почти со всеми известными литераторами, кроме… Пушкина. «Пушкина,

которого мелкие стихотворения, наскоро, на лоскутках бумаги, карандашом переписанные, разлетались в несколько часов огненными струями во все концы Петербурга и в несколько дней Петербургом вытверживались наизусть, Пушкина, которого слава росла не по дням, а по часам. Между тем, я был одним из восторженных его поклонников».

Перед отставкой Лажечников жил в одной квартире с майором Денисевичем, любителем поспать и поесть. Во время отдыха в походах его можно было разбудить, только засунув в рот ложку. Майор был человеком весьма ограниченным: «учился на медные деньги и образован по весу и цене металла». Через него и состоялось желательное для Лажечникова знакомство: «В одно прекрасное (помнится, зимнее) утро, только что успев окончить свой военный туалет, я вошёл в соседнюю комнату, где обитал мой майор, чтоб приказать подавать чай. Денисевича не было в это время дома. Только что я ступил в комнату, из передней вошли в неё три незнакомые лица. Один был очень молодой человек, худенький, небольшого роста, курчавый, с арабским профилем, во фраке. За ним выступали два молодца-красавца, кавалерийские гвардейские офицеры, погромыхивая своими шпорами и саблями. Один был адъютант, другой — фронтовой офицер. Статский подошёл ко мне и сказал мне тихим, вкрадчивым голосом:

— Позвольте вас спросить, здесь живёт Денисевич.

— Здесь, — отвечал я, — но он вышел куда-то, и я велю сейчас позвать его.

Я только хотел это исполнить, как вошёл сам Денисевич. При взгляде на воинственных ассистентов статского посетителя он, видимо, смутился, но вскоре оправился и принял также марциальную осанку.

— Что вам угодно? — сказал он статскому довольно сухо.

— Вы это должны хорошо знать, — отвечал статский, — вы назначили мне быть у вас в восемь часов (тут он вынул часы), до восьми остаётся ещё четверть часа. Мы имеем время выбрать оружие и назначить место…

Всё это было сказано тихим, спокойным голосом, как будто дело шло о назначении приятельской пирушки. Денисевич мой покраснел как рак и, запутываясь в словах, отвечал:

— Я не затем звал вас к себе… я хотел вам сказать, что молодому человеку, как вы, нехорошо кричать в театре, мешать своим соседям слушать пьесу, что это неприлично…

— Вы эти наставления читали мне вчера при многих слушателях, — сказал более энергическим голосом статский, — я уж не школьник и пришёл переговорить с вами иначе. Для этого

не нужно много слов: вот мои два секунданта. Этот господин военный (тут указал он на меня), он не откажется, конечно, быть вашим свидетелем. Если вам угодно…

Денисевич не дал ему договорить.

— Я не могу с вами драться, — сказал он, — вы, молодой человек, неизвестный, а я штаб-офицер…

При этом оба офицера засмеялись. Я побледнел и затрясся от негодования, видя глупое и униженное положение, в которое поставил себя мой товарищ, хотя вся эта сцена была для меня загадкой.

Статский продолжал твёрдым голосом:

— Я русский дворянин, Пушкин, это засвидетельствуют мои спутники, и потому вам не стыдно иметь будет со мной дело».

Лажечников был поражён: Пушкин, сам Пушкин! В его голове мелькнула тревожная мысль: «Пушкину, автору „Руслана и Людмилы“, автору стольких прекрасных мелких стихотворений, которые мы так восторженно затвердили, будущей надежде России, погибнуть от руки какого-нибудь Денисевича; или убить… нет, этому не быть! Во что б ни стало устрою мировую, хотя б и пришлось немного покривить душой».

Для начала Лажечников попросил офицеров, сопровождавших поэта, рассказать, что стало причиной вызова господина майора к барьеру. Оказалось, Пушкин поясничал в театре. Денисевич пригрозил вызвать полицию, а после окончания спектакля сделал ему замечание в фойе.

— Молодой человек, — сказал он, обращаясь к Пушкину, и вместе с этим поднял свой указательный палец, — вы мешали мне слушать пьесу… это неприлично, это невежливо.

— Да, я не старик, — отвечал Пушкин, — но, господин штаб-офицер, ещё невежливее здесь и с таким жестом говорить мне это. Где вы живёте?

Денисевич назвал адрес и назначил приехать к нему в восемь часов утра. Пушкин расценил это как вызов.

Узнав всё это, Лажечников увёл Денисевича в другую комнату и стал уламывать его, доказывая, что он сам виноват во всём; пригрозил пожаловаться начальству.

Денисевич, человек несостоятельный, дорожил своей карьерой и поддался на уговоры — извинился перед юнцом. Лажечников же по этому поводу говорил: «Подвиг мой испортил мне много крови в этот день». Но позднее, много позднее изменил своё первоначальное мнение:

— Теперь, когда прошло тому тридцать шесть лет, я доволен, я счастлив, что на долю мою пришлось совершить его («подвиг»). Если б я не был такой жаркий поклонник поэта, если б на месте

моём был другой, не столь мягкосердный служитель муз, а чёрствый, браннолюбивый воин, который вместо того, чтобы потушить пламя раздора, старался бы ещё более раздуть его, если б я повёл дело иначе, может быть, Пушкина не стало б ещё в конце 1819 года и мы не имели бы тех великих произведений, которыми он одарил нас впоследствии. Да, я доволен своим делом, хорошо или дурно оно было исполнено.

…Через несколько дней после описанного случая Лажечников встретился с Пушкиным в театре — Александр Сергеевич первый подал ему руку. Будущий автор исторических романов «Последний новик», «Ледяной дом» и «Басурман» поздравил его с успехом поэмы «Руслан и Людмила».

— О, это первые грехи моей молодости! — ответил Пушкин. — Сделайте одолжение, вводите нас чаще такими грехами в искушение, — возразил Лажечников.

…Две случайные встречи, но запомнились обоим, став через полтора десятилетия основой для восстановления более прочной связи.

Кстати. За двадцать лет самостоятельной жизни Пушкин был участником двадцать одной дуэли. Пятнадцать из них поэт инициировал сам (из них состоялось четыре), шесть раз вызывали его. За четыре года, предшествовавших ссылке, было десять поединков и только дважды вызов получал Александр Сергеевич[19].

П. П. Катенин, майор Павлоградского гусарского полка, вызвал поэта, возмутившись его шуточными стихами. Дуэль не состоялась. Затем сгоряча Пушкин бросил вызов Н. И. Тургеневу, государственному деятелю, одному из руководителей «Союза благоденствия». Николай Иванович остро высказался о политических эпиграммах, в которых поэт высмеивал порядки управления страной и ряд высокопоставленных лиц. Тургенев был убеждён в том, что «негоже кусать руку, которая кормит». Обдумав положение, в котором он оказался (три брата Тургенева покровительствовали поэту, к тому же Николай Иванович был на десять лет старше его), и подавив гордыню, Александр письменно принёс Тургеневу свои извинения.

Старший из братьев Тургеневых, Александр Иванович, по совету которого Пушкин был определён в Царскосельский лицей, писал о своём протеже: «Теперь его знают только по мелким стихам и крупным шалостям; у него леность и нерадение о собственном образовании, вкус к площадному волокитству и вольнодумство, также площадное, восемнадцатого столетья». И в другом послании — к П. А. Вяземскому: «Сверчок прыгает по бульвару и по блядям».

Более пространен в характеристике поэта первых послелицейских лет его сокурсник барон М. А. Корф: «У него господствовали только две стихии: удовлетворение чувственным страстям и поэзии; и в обеих он ушёл далеко. В нём не было ни внешней, ни внутренней религии, ни высших нравственных чувств… Вечно без копейки, вечно в долгах, иногда даже без порядочного фрака, с беспрестанными историями, с частыми дуэлями, в близком знакомстве со всеми трактирщиками, непотребными домами и прелестницами петербургскими».

Конец 1819-го и начало 1820 года прошли у Пушкина под знаком скандалов. Сергей Львович в присутствии однокашника сына Ф. Ф. Матюшкина грозил ему пистолетом. В ресторане «Красный кабанчик» с компанией П. В. Нащокина он участвовал в драке с немцами. Затем последовало ещё несколько драк и даже дуэль с ближайшим лицейским товарищем В. К. Кюхельбекером. Е. Карамзина писала П. А. Вяземскому в Варшаву: «Пушкин всякий день имеет дуэли; благодаря Бога они не смертоносны, бойцы всегда остаются невредимы». Поэт проиграл все имевшиеся у него деньги и вынужден был продать тетрадь со своими сочинениями. В стихах его то и дело мелькают упоминания о попойках.

П. В. Анненков, издатель «Материалов для биографии А. С. Пушкина» (1855), так оценивал послелицейский период жизни молодого поэта: «Беззаботная растрата ума, времени и жизни на знакомства, похождения и связи всех родов». Через десять лет эти стихийные знакомства и неупорядоченные связи аукнутся поэту, и он с горечью напишет:

> Кляну коварные старанья
> Преступной юности моей.

Власти были хорошо осведомлены о характере Александра Сергеевича и его поведении. Свидетельством чему является письмо управляющего Коллегией иностранных дел графа К. В. Нессельроде будущему начальнику Пушкина генералу И. Н. Инзову: «Исполненный горестей в продолжение всего своего детства молодой Пушкин оставил родительский дом, не испытывая сожаления. Лишённый сыновней привязанности, он мог иметь лишь одно чувство — страстное желание независимости. Этот ученик уже ранее проявил гениальность необыкновенную. Его ум вызывал удивление, но характер его, кажется, ускользнул от взора наставников. Он вступил в свет, сильный пламенным воображением, но слабый полным отсутствием тех внутренних чувств, которые служат заменою

принципов, пока опыт не успеет дать нам истинного воспитания. Нет той крайности, в которую бы не впадал этот несчастный молодой человек, как нет и того совершенства, которого не мог бы он достигнуть высоким превосходством своих дарований…

Несколько поэтических пьес, в особенности же ода на вольность, обратили на Пушкина внимание правительства…

Г.г. Карамзин и Жуковский, осведомившись об опасностях, которым подвергся молодой поэт, поспешили предложить ему свои советы, привели его к признанию своих заблуждений и к тому, что он дал торжественное обещание отречься от них навсегда. Г. Пушкин кажется исправившимся, если верить его слезам и обещаниям. Однако эти его покровители полагают, что раскаяние его искренне… Отвечая на их мольбы, император уполномочивает меня дать молодому Пушкину отпуск и рекомендовать его вам…»

Хорошее, доброе письмо, весьма далёкое от казёнщины и официозности; ни единого намёка на ссылку и поднадзорность выпроваживаемого из столицы; удивительные забота и предупредительность в отношении заблудшего: «Судьба его будет зависеть от успехов ваших добрых советов. Соблаговолите же дать ему их. Соблаговолите просветить его неопытность, повторяя ему, что все достоинства ума без достоинств сердца почти всегда составляют преимущество гибельное и что слишком много примеров убеждают нас в том, что люди, одарённые прекрасными дарованиями, но не искавшие в религии и нравственности предохранения от опасных уклонений, были причиною несчастий как своих собственных, так и своих сограждан».

Выпроваживая поэта из Петербурга, царь (а он читал и одобрил цитируемое письмо) не закрывал для него двери столицы, а потому Нессельроде писал: «Г. Пушкин, кажется, желает избрать дипломатическое поприще и начал его в департаменте. Не желаю ничего лучшего, как дать ему место при себе, но он получит эту милость не иначе, как через ваше посредство и когда вы скажете, что он её достоин» (86, 224–226).

То есть двери для служебной карьеры оставались для Александра Сергеевича открытыми, а пока впереди была так называемая южная ссылка, проведённая не без приятностей.

Часть вторая
«Куда бы ныне я путь беспечный устремил?»
Пушкин на юге, 1820–1824

«Раевские мои»

Н. Н. Раевский. «Друг друга мы любили». Каменка. «Содержать, как злодея».

«О Кишинев, о тёмный град!»

Друзья и покровители. «Отныне он принадлежит ей». «Ты человечество призрел». «И делу своему владыка сам дивился». «Одно думали, одно любили». Последнее «сражение». Первый декабрист. «Брюхом хочется видеть его». «О, каменщик почтенный». «Старичок Инзов». «У него было в избытке всё». «Лицо очень интересное».

Одесса

«Монаршей воли исполнитель». Поэт и вельможа. «Вещали книжники, тревожились цари». «Близкий мой приятель». «Я был ему предан»

«Раевские мои»

Время с конца мая до середины сентября 1820 года Пушкин провёл в семье генерала Н. Н. Раевского и называл его свободным и беспечным. Барону А. А. Дельвигу он писал: «В Юрзуфе[20] жил я сиднем, купался в море и объедался виноградом; я тотчас привык к полуденной природе и наслаждался ею со всем равнодушием и беспечностью неаполитанского лаццарони».

Кавказу Пушкин посвятил следующие строки, написанные в Гурзуфе:

Я видел Азии бесплодные пределы,
Кавказа дальний край, долины обгорелы,
Жилище дикое черкесских табунов,
Подкумка знойный брег, пустынные вершины,
Обвитые венцом летучим облаков,
И закубанские равнины!
Ужасный край чудес!.. там жаркие ручьи
Кипят в утёсах раскалённых,
Благословенные струи!..

Дикая природа Кавказа ошеломила поэта своей первозданной мощью, а древняя Таврида пленила роскошью природы и буйством красок, простотой жизни её коренных обителей:

Я помню скал прибрежные стремнины,
Я помню вид весёлые струи,
И тень, и шум — и красные долины,
Где в тишине простых татар семьи
Среди забот и с дружбою взаимной
Под кровлею живут гостеприимной.
Всё живо там, всё там очей отрада…

В этом путешествии на фоне благословенной природы было всё: знакомство с историей края, рассказы генерала Н. Н. Раевского о ратных подвигах солдат и офицеров русской армии, беседы на отвлечённые темы и, конечно, любовь:

За нею по наклону гор
Я шёл дорогой неизвестной,
И примечал мой робкий взор
Следы ноги её прелестной.

Зачем не смел её следов
Коснуться жаркими устами…

Стихотворение «Таврида» было написано 16 апреля 1822 года, и ему предпослан эпиграф: «Возврати мне мою юность» (немецкое изречение). То есть это ностальгия по недавнему прошлому, по тому мгновению жизни, которое хочется остановить, ибо оно неповторимо и прекрасно. Но ни красота природы, ни высококультурное окружение, ни очаровательные женщины не могли заслонить главного для поэта-гражданина — родной стороны, коренной России: «…страшный переход по скалам Кикиненса не оставил ни малейшего следа в моей памяти. Мы переехали горы, и первый предмет, поразивший меня, была берёза, северная берёза! Сердце моё сжалось, я начал уже тосковать о милом полудне, хотя всё ещё находился в Тавриде» (из письма Дельвигу).

…Столь вольготное препровождение первых месяцев «ссылки» было связано с тем, что будущий начальник Александра Сергеевича генерал И. Н. Низов сразу отнёсся к нему сочувственно и крайне доброжелательно, а другой генерал — Раевский пригласил поэта посетить в составе своей семьи Северный Кавказ и Крым (Тавриду). Так Пушкин получил редчайшую возможность длительного общения с военачальником, о котором Наполеон говорил: «Этот русский генерал сделан из материала, из которого делаются маршалы».

Н. Н. Раевский. Раевские принадлежали к древнему дворянскому роду, многие представители которого занимали высокие государственные посты во времена Василия III, Иоанна Грозного, Петра I и Екатерины Второй. Будущий герой войн начала XIX столетия уже в три года был зачислен в лейб-гвардии Преображенский полк, а в шестилетнем возрасте пожалован сержантом. Боевого опыта он начал набираться в Русско-турецкой войне 1787–1791 годов. Тогда Николай Николаевич служил в Екатерининской армии, которой командовал его двоюродный дед генерал-фельдмаршал Г. А. Потёмкин. Григорий Александрович прикомандировал внука к казачьим войскам с повелением «употреблять в службу как простого казака, а потом уже по чину поручика гвардии».

В двадцать три года Раевский получил чин полковника и был назначен командиром Нижегородского драгунского полка, с которым проделал шестнадцатимесячный поход к Дербенту и Шемахе. На этом военная служба Николая Николаевича

прервалась (по самодурству Павла I) на целое десятилетие, до апреля 1807-го. Об участии Раевского в схватках этого года М. Ф. Орлов говорил:

— В течение семи дней, сражаясь без отдыха, без продовольствия, без подкреплений, сам раненный в ногу и не обращающий внимания на свою рану, он мужеством своим, твёрдостью и решительностью удивил и русскую, и неприятельскую армии. Во Фридланде он первый вошёл в бой и последний из него вышел. В сие гибельное сражение он несколько раз вёл сам на штыки вверенные ему войска и не прежде отступил, как только тогда, когда не осталось уже ни малейшей надежды на успех.

Затем последовали военные кампании против Швеции и Турции. Раевский отличился при взятии крепости Силистрия, за что был награждён шпагой с бриллиантами.

Прославился Николай Николаевич в сражениях Отечественной войны. О знаменитом деле под Салтановкой он рапортовал Багратиону: «Единая храбрость и усердие российских войск могла избавить меня от истребления противу толико превосходного неприятеля и в толико невыгодном для меня месте. Я сам свидетель, как многие штаб-, обер- и унтер-офицеры, получая по две раны, перевязав оные, возвращались в сражение, как на пир. Не могу довольно не похвалить храбрость и искусство артиллеристов: в сей день все были герои, чему свидетельствует превосходная противу нашей потеря неприятеля» (68, 20).

В сражении за Смоленск 7-й пехотный корпус Раевского сутки удерживал неприятельскую армию. М. Ф. Орлов говорил об этом подвиге русских солдат и их командира: «Горсть храбрых под начальством Героя уничтожила решительное покушение целой армии Наполеона». Сам император, уже находясь на острове Святой Елены, вспоминал:

— Пятнадцатитысячному русскому отряду, случайно находившемуся в Смоленске, выпала честь защищать сей город в продолжении суток, что дало Барклаю де Толли время прибыть на следующий день. Если бы французская армия успела врасплох овладеть Смоленском, то она переправилась бы там через Днепр и атаковала бы в тыл русскую армию, в то время разделённую и шедшую в беспорядке. Сего решительного удара совершить не удалось.

В рапорте Кутузову Раевский писал: «Сие сражение есть важнейшее, какое имел я в течение моей службы, а успехом оного обязан я моим сотрудникам».

Николай Николаевич явно поспешил назвать защиту Смоленска «важнейшим» в своей службе — впереди были

Бородино, Малоярославец, бои под Красным и заграничный поход.

На Бородинском поле Раевский защищал центральный редут (Курганная высота, получившая название «батареи Раевского»). За успешные действия при его обороне был награждён орденом Александра Невского со следующей характеристикой: «Как храбрый и достойный генерал с отличным мужеством отражал неприятеля, подавая собою пример» (68, 36).

А вот что писал М. Ф. Орлов о сражении под Красным: «Под Красным Раевский, встретившись опять с маршалом Неем, выдерживает на правом фланге нашего авангарда последнее отчаянное его нападение и берёт в плен остатки сего неприятельского корпуса, которому как будто было предназначено от судьбы в течение всей кампании бороться с корпусом Раевского до совершенного своего истребления».

При оценке любых военных успехов боевой генерал всегда отдавал должное своим подчинённым и рядовым солдатам, но не только. Вот как оценивал он заслуги простого народа в разгроме захватчиков: «Мужики более, чем войска, победили французов».

В кампании 1813 года Николай Николаевич командовал гренадёрским корпусом, путь которого был ознаменован участием в ряде крупных сражений: под Баутценом, Дрезденом, Кульмом и Лейпцигом.

Н. Н. Раевский

О последнем, получившем название «Битвы народов», М. Ф. Орлов писал: «В сём ужасном сражении было одно роковое

мгновение, в котором судьба Европы и всего мира зависела от твёрдости одного человека».

Наполеон, собрав всю свою кавалерию, под прикрытием артиллерии устремился на русский центр, который дрогнул и отступил. Но корпус гренадёр под командованием Раевского, построившись в каре, держался непоколебимо и, окружённый со всех сторон, отражал атаки неприятеля. «Сия твёрдость дала нашим время выстроиться и вскоре опрокинуть французскую кавалерию, которая вынуждена была ретироваться под огнём непоколебимых гренадёр, расстроилась и обратилась в бегство» (68, 39).

В этом сражении Николай Николаевич был тяжело ранен в грудь. Понимая серьёзность своего положения, он держал себя с удивительным стоицизмом. Видя волнение адъютанта К. Н. Батюшкова, спокойно сказал:

— Чего бояться, господин поэт, у меня нет больше крови, которая дала мне жизнь, она в сражениях пролита за Родину.

Хотя «рана была жестокая», Раевский остался в строю и командовал корпусом до исхода битвы. За стойкость вверенных ему воинских частей и личное мужество Николай Николаевич был произведён в генералы от кавалерии.

В сражении за Париж корпус Раевского овладел его предместьями Роменвиль и Бельвиль. Вытеснив противника, он занял высоты, господствовавшие над дорогами, ведшими в город. Это очень способствовало тому, что неприятель сложил оружие. 18(30) марта 1814 года Париж капитулировал.

В последующие годы Раевский командовал 4-м пехотным корпусом. Его дом в Киеве служил приютом для офицерской молодёжи корпуса, среди которой было много будущих декабристов. Николай Николаевич был очень популярной личностью, и не только благодаря своим воинским подвигам.

Он, по единодушному отзыву всех знавших его, был одарён высокими человеческими достоинствами. Обаяние личности Раевского отмечал хорошо знавший его Денис Давыдов: «Всегда спокойный, приветливый, скромный, чувствующий силу свою и невольно дававший чувствовать оную мужественную, разительною физиономией и взором… Он был всегда тот же со старшими и равными себе, в кругу друзей, знакомых и незнакомых, перед войсками в огне битв и среди их в мирное время».

Большое влияние Раевский оказал на Пушкина. Николай Николаевич любил русский языке и литературу. Современники считали его одним из образованнейших людей. Свои знания он почерпнул из прочитанного. Первой книгой, произведшей на него

сильное впечатление, был роман Руссо «Эмиль». Родственниками Раевского были М. В. Ломоносов (по жене) и Д. В. Давыдов, друзьями — К. Н Батюшков, В. А. Жуковский, А. Ф. Воейков. В 1820 году он сблизился с Пушкиным.

В середине мая Александр Сергеевич приехал в Екатеринослав (Днепропетровск), где находилась канцелярия генерала И. Н. Инзова, председателя Попечительного комитета по устройству колонистов южной России. Купаясь в Днепре, поэт заболел, о чём позднее так писал брату: «Приехав в Екатеринослав, соскучился, поехал кататься по Днепру, выкупался и схватил горячку. Генерал Раевский, который ехал на Кавказ с сыном и двумя дочерьми, нашёл меня в жидовской хате, без лекаря, за кружкою оледенелого лимонада. Сын его предложил мне путешествие к Кавказским водам, лекарь, который с ним ехал, обещал меня в дороге не уморить. Инзов благословил меня на счастливый путь — я лёг в коляску больной; через неделю вылечился».

Лежал Александр Сергеевич в коляске самого Раевского, от которого, по словам П. И. Бартёнева «наслушался рассказов про Екатерину, XVIII век, про наши войны и про 1812 год. Да и сама дорога была интересна.

— Ехал, — вспоминал Пушкин, — в виду неприязненных полей свободных горских народов. Вокруг нас ехали 60 казаков, за нами тащилась заряженная пушка с зажжённым фитилём. Хотя черкесы нынче довольно смирны, но нельзя на них положиться; в надежде большого выкупа они готовы напасть на известного русского генерала. И там, где бедный офицер безопасно скачет на перекладных, там высокопревосходительный легко может попасться на аркан какого-нибудь чеченца».

На Кавказских Минеральных водах Раевские остановились на два месяца, в середине августа переехали в Крым. «Мне вспоминается, — писала позднее Мария Раевская, — как во время этого путешествия, недалеко от Таганрога, я ехала в карете с Софьей — нашей англичанкой, русской няней и компаньонкой. Завидев море, мы приказали остановиться, вышли из кареты и всей гурьбой бросились любоваться морем. Оно было покрыто волнами, и, не подозревая, что поэт шёл за нами, я стала забавляться тем, что бегала за волной, а когда она настигала меня, я убегала от неё; кончилось тем, что я промочила ноги. Пушкин нашёл, что эта картина была очень грациозна, и, поэтизируя детскую шалость, написал прелестные стихи; мне было тогда лишь пятнадцать лет».

Как я завидовал волнам,

Бегущим бурной чередою
С любовью лечь к её ногам!
Как я желал тогда с волнами
Коснуться милых ног устами!

В Гурзуфе Пушкин пробыл три недели. В середине сентября Раевские, отец и старший сын, выехали на север, Александр Сергеевич — в Кишинёв, откуда писал брату о времени, проведённом с поздней весны до начала осени: «Мой друг, счастливейшие минуты жизни моей провёл я посереди семейства почтенного Раевского».

Встречи с Николаем Николаевичем ещё были: в имении Каменка (ноябрь 1820 года), в Киеве (январь — февраль 1821-го) и в Кишинёве (июнь 1821-го). В 1824 году Раевский вышел в отставку и проживал в своём киевском поместье в селе Болтышка, с удовольствием занимаясь садоводством. Тем не менее был на подозрении у властей предержащих. Александр I писал брату Николаю: «Есть слухи, что пагубный дух вольномыслия или либерализма разлит или по крайней мере сильно уже разливается и между войсками; что в обеих армиях, равно как и в отдельных корпусах, есть по различным местам тайные общества или клубы, которые имеют притом секретных миссионеров для распространения своей партии. Ермолов, Раевский, Киселёв, Михаил Орлов, граф Гурьев, Дмитрий Столыпин и многие другие из генералов, полковых командиров» (68,51).

На подозрении были и сыновья Раевского. 5 марта 1826 года Александр и Николай были доставлены в Петербург, но вскоре освобождены. Хуже обстояло дело с зятьями Николая Николаевича — С. Г. Волконским и М. Ф. Орловым. Первый из них был приговорён к двадцатилетней каторге, второй — до конца жизни находился в опале. В Сибирь был сослан родной брат Раевского В. Л. Давыдов.

Следующим ударом для престарелого ветерана наполеоновских войн стала судьба третьей из его четырёх дочерей — Мария Волконская уехала в Сибирь, чтобы хоть в какой-то степени облегчить участь мужа. Там узнала о смерти сына, оставленного на попечение родителей. По просьбе убитого горем деда Пушкин написал эпитафию на смерть ребёнка:

В сиянье, в радостном покое,
У трона вечного творца,
С улыбкой он глядит в изгнание земное,
Благословляет мать и молит за отца.

Сам Николай Николаевич прожил 58 лет и два дня. Умирая, он сказал, глядя на портрет дочери Марии: «Это самая удивительная женщина, которую я знал».

Похоронили Раевского в семейной усыпальнице родового имения Болтышка Чигиринского уезда киевской губернии. На надгробной плите Героя Отечественной войны 1812 года было выбито:

Он был в Смоленске щит,
В Париже — меч России.

«Друг друга мы любили» (Н. Н. Раевский-младший). Николай был сыном и полным тёзкой генерала Раевского. В 1812 году широкую известность получило сражение под Салтановкой. В нём Николай вместе с отцом и братом вдохновляли солдат. Раевский-старший рассказывал позднее: «…Николай даже под самым сильным огнём только шутил. После окончания сражения я спросил:

— Знаешь ли ты, зачем я водил тебя с собой в дело?

— Знаю, — ответил одиннадцатилетний отрок, — для того, чтобы вместе умереть».

Об этом эпизоде недолгой жизни героя-подростка Пушкин писал в поэме «Кавказский пленник»:

Мы в жизни розно шли: в объятиях покоя
Едва, едва расцвёл и вслед отца-героя
В поля кровавые, под тучи вражьих стрел,
Младенец избранный, ты гордо полетел,
Отечество тебя ласкало с умиленьем,
Как жертву милую, как верный свет надежд.

В мае 1814 года Николай был пожалован в подпоручики, а в апреле 1819-го — в ротмистры лейб-гвардии Гусарского полка. Вскоре после получения первого офицерского звания состоялось его знакомство с Пушкиным. Молодых людей прочно соединили сердечная тяга друг к другу и общность литературных интересов; последние были сильно развиты в семье Раевских.

Первое упоминание поэтом имени друга мы находим в шутливой «Записке к Жуковскому» (1819):

Раевский, молоденец прежний.
А там уже отважный сын,

И Пушкин, школьник неприлежный
Парнасских девственниц-богинь
К тебе, Жуковский, заезжали…

В тяжёлое для Пушкина время, предшествовавшее ссылке на юг, когда многие не только отвернулись от него, но и стали распространителями злобной клеветы, искреннее участие Раевского смиряло тревожное настроение поэта, приносило ему душевный покой:

Когда я погибал, безвинный, безотрадный,
И шёпот клеветы внимал со всех сторон,
Когда кинжал измены хладный,
Когда любви тяжёлый сон
Меня терзали и мертвили,
Я близ тебя ещё спокойство находил;
Я сердцем отдыхал…

Более того, в этот период Раевский оградил друга от каких-то серьёзных угроз, о чём Александр Сергеевич глухо упоминал в письме к брату из Кишинёва: «Ты знаешь нашу тесную связь и важные услуги, для меня вечно незабвенные».

Николай Николаевич помог Пушкину и в ссылке: в Екатеринославе он нашёл заболевшего поэта и предложил ему путешествие на Кавказские Минеральные воды. От Таганрога и Ростова им открылись земли донских казаков, овеянные легендами и песнями о Степане Разине. В этих местах начиналось крестьянское восстание, руководимое им. Друзья с увлечением слушали предания и песни о Разине, собирали исторические известия о народном герое. Раевский мечтал написать историю донских казаков. Позднее он собирал всё, что было написано о Разине, но осуществить своё желание не успел.

Пушкин был глубоко благодарен Раевскому за то, что он вывез его из Екатеринослава и одарил новыми яркими впечатлениями, которые соединились в его стихах с воспоминаниями о друге:

Забуду ли его кремнистые вершины,
Гремучие ключи, увядшие равнины,
Пустыни знойные, края. Где ты со мной
Делил души младые впечатленья…

Николай Николаевич страстно любил литературу и отличался редкой начитанностью. Вальтера Скотта и Байрона он читал в то время, когда их почти не знали в России.

На обратном пути с Кавказа семья Раевских остановилась в Гурзуфе, где провела три недели. Там с помощью друга Пушкин изучал английский язык и читал в подлиннике Байрона, от которого, по его словам, «с ума сходил». В Гурзуфе у Александра Сергеевича сложилось представление о поэзии Байрона как о «мрачной, богатырской, сильной». Увлечение Байроном было настолько захватывающим, что при работе над романом «Евгений Онегин» не обошлось без того, чтобы поэт не упомянул о нём в каждой из девяти глав романа.

В библиотеке Ришелье (хозяина дома, в котором жили Раевские) Николай нашёл томик А. Шенье и обратил на него внимание Пушкина. Собранные в нём стихи послужили позднее основой для создания Александром Сергеевичем элегии «Андрей Шенье», которую он посвятил другу, и внимать которой были призваны погубленный поэт (пал жертвой террора во время Французской революции) и Раевский:

Певцу любви, дубрав и мира
Несу надгробные цветы.
Звучит незнаемая лира
Пою. Мне внемлют он и ты.

Из Гурзуфа Раевские (отец и сын) совершили поездку по побережью Крыма. Пушкин с восторгом вспоминал о ней:

О возраст ранний и живой,
Как быстро лёгкой чередой
Тогда сменялись впечатленья:
Восторги — тихою тоской,
Печаль — порывом упоенья!

В Бахчисарае путешественники осмотрели дворец ханов и знаменитый «фонтан слёз». Там Александр Сергеевич впервые услышал легенду о нём. Раевский хотел, чтобы Пушкин написал поэму на основе сюжета легенды; и уже весной следующего года на бумагу легли первые строки «Бахчисарайского фонтана», посвящённого Николаю Николаевичу:

Исполню я твоё желанье,
Начну обещанный рассказ.

Давно, когда мне в первый раз
Поведали сиё преданье,
Мне стало грустно; пылкий ум
Был омрачён невольной думой…

Из Бахчисарая друзья доехали до Симферополя и там расстались. Надолго. Встречи и беседы сменились письмами, от которых, к сожалению, сохранилась лишь малая часть.

Так, после ссылки Александра Сергеевича в Михайловское, Раевский просил его: «Пишите ко мне по-прежнему, побольше и почаще. Не бойтесь поставить меня в неловкое положение: моя дружба с вами завязалась гораздо раньше несчастной вашей истории; она независима от того, что случилось и что вызвано заблуждениями нашей ранней молодости.

Мне очень хочется вас увидеть, и, если ваше положение не переменится, я обещаю приехать к вам раньше года; а если с вами последует перемена, то дайте мне слово навестить меня тоже раньше года» (76, 261).

В письме Раевскому от 19 июля 1825 года Пушкин спрашивал: «Где вы? Из газет я узнал, что вы переменили полк.

Желаю, чтоб это развлекло вас.

Н. Н. Раевский — сын

О себе могу сказать следующее. Покамест я живу в полном одиночестве: единственная соседка, у которой я бывал, уехала в Ригу, и у меня буквально нет другого общества, кроме старушки-няни и моей трагедии; последняя подвигается, и я доволен этим».

И далее Александр Сергеевич поделился с другом своими раздумьями о сущности трагедии как литературного жанра, а

закончил довольно длинное письмо следующим пассажем:

«Вы спросите меня: а ваша трагедия — трагедия характеров или нравов? Я избрал наиболее лёгкий род, но попытался соединить и то и другое. Я пишу и размышляю. Большая часть сцен требует только рассуждения: когда же я дохожу до сцены, которая требует вдохновения, я жду его или пропускаю эту сцену — такой способ работы для меня совершенно нов. Чувствую, что духовные силы мои достигли полного развития, я могу творить».

В начале 1826 года Раевский был арестован по делу декабристов, но вскоре его освободили с «очистительным аттестатом». В «Алфавите членов бывших злоумышленных тайных обществ» осталась следующая запись: «Пестель, спрошенный противу сего, отвечал отрицательно, объяснив, что он говорил не о сих Раевских, а о майоре Раевском, принадлежавшем к „Союзу благоденствия“. Показания прочих членов также подтвердили неприкосновенность сих Раевских к настоящему делу. Равным образом и они утвердительно отвечали, что ни к какому обществу не принадлежали и не знали о существовании его» (76, 261).

Вскоре после выхода из казематов Петропавловской крепости Николай Николаевич был назначен командиром Нижегородского драгунского полка, которым когда-то командовал его отец. Раевский-старший по этому случаю прислал сыну руководство на соответствие должности:

«1. Во всех случаях покажи себя достойным военным человеком, будь всегда готов к бою, презирай опасность, но не подвергай себя оной из щегольства.

2. Будь деятелен, исполнителен, не откладывай до завтра того, что можешь исполнить нынче; старайся всё видеть своими глазами.

3. Избегай фамильярности со старшими, будь ласков, учтив с подчинёнными.

4. Бойся опасной праздности, не будь ленив ни физически, ни морально. Расширяй свой кругозор путём непрерывного самообразования.

5. Будь твёрд, терпелив, нетороплив, а уж обдумав — исполняй решительно».

Осенью 1826 года началась Русско-персидская война. Нижегородский полк отличился во многих сражениях, особенно при Джеван-Булахе, за что Раевский получил орден Святого Георгия IV-й степени.

В апреле 1828 года — следующая война, с Турцией. Николая Николаевича назначили командиром сводной кавалерийской бригады, которая отличилась при штурме Карса, сильно укреплённой и труднодоступной крепости. Падение Карса

определило успех всей кампании. Раевский был удостоен звания генерал-майора.

На Кавказе состоялась долгожданная встреча друзей. 14 июня 1829 года Александр Сергеевич наблюдал бой казаков с отборной турецкой конницей и делибашами — удальцами-головорезами. Итогом его поездки стал очерк «Путешествие в Арзрум», которым он обессмертил своего друга.

Беглые зарисовки начальника сводной кавалерийской бригады очень выразительны. Раевский захвачен войной не только в походах, но и в минуты отдыха, на коротких привалах. Вдумчивость и распорядительность — отличительные черты военачальника Раевского. Человек беспредельной храбрости, он всегда в самых опасных местах сражения, всегда впереди своего Нижегородского полка.

Раевский не скрывал дружеских чувств к декабристам, которые служили на Кавказе. Он постоянно заботился о них, приглашал на свои обеды, часто вёл с ними беседы на иностранных языках. Об этом стало известно в Петербурге. Всё это послужило поводом для обвинения генерала в «предосудительных» сношениях с декабристами и покровительстве им. Царь сделал Раевскому строжайший выговор и приказал посадить его под домашний арест на восемь дней. Раевский был лишён заслуженных наград и отстранён от должности. Два года продержали его при сдаче полка.

Пушкин знал о грозе, разразившейся над головой Раевского, и хотел поддержать его при личной встрече. Он просил Бенкендорфа в марте 1830 года разрешить ему съездить в Полтаву, если Николай Раевский приедет туда. На просьбу последовал царский отказ.

Зимой 1834 года Николай Николаевич находился в Петербурге. Тогда он передал Пушкину книгу М. Ф Орлова «О государственном кредите», а однажды привёл к Александру Сергеевичу приятеля, который очень хотел увидеть поэта. Пушкин с увлечением рассказывал об Отечественной войне 1812 года и о народных восстаниях в России.

Бывали и случайные встречи. Об одной из них Пушкин рассказал в письме жене, посланном из Нижнего Новгорода: «Вечер у Нащокина, да какой вечер! шампанское, лафит, зажжённый пунш с ананасами — всё за твоё здоровье, красота моя. На другой день в книжной лавке встретил я Николая Раевского.

— Собачий сын, — сказал он мне с нежностью, — почему ты не зашёл ко мне?

— Скотина, — отвечал я ему с чувством, — что ты сделал с

моей малороссийской рукописью?

После сего поехали мы вместе как ни в чём не бывало, он держал меня за ворот всенародно, чтоб я не выскочил из коляски. Отобедали вместе глаз на глаз (виноват: втроём с бутылкой мадеры). Потом, для разнообразия жизни, провёл опять вечер у Нащокина…»

Служба Раевского[21] не давала друзьям возможности частых встреч. Даже о гибели Пушкина он узнал только в марте 1837 года. «Милостивый государь, — писал Николай Николаевич отцу поэта, — я только что узнал о несчастье, которое вас постигло. У меня нет другого утешения для вас, кроме предложения разделить ваше горе. Пожалуйста, напишите о себе, об Александре, о его семье. Я нахожусь в полной неизвестности о том, что произошло».

Сергей Львович получил это письмо через полтора месяца (!) и сразу ответил: «Только сейчас, милостивый государь, получил я, к своему утешению, письмо ваше от 5 марта. Вот причина столь долгого моего молчания по отношению к другу моего несчастного сына, другу, чьею дружбою он гордился и который имеет право на мою собственную благодарность и мою истинную привязанность» (59, 92).

…После выхода в отставку Раевский занимался хозяйством в своих крымских имениях Тессели и Карасан, увлёкся садоводством и ботаникой, состоял членом ряда естественно-научных содружеств и был основателем Московского общества садоводства. Любовь к ботанике долгие годы связывала Раевского с директором Ботанического сада в Петербурге, членом-корреспондентом Императорской академии наук Ф. Б. Фишером.

Вообще Раевский, человек редкого обаяния, увлекательный собеседник, весёлый и остроумный, отличался широким кругом интересов: страстно увлекался нумизматикой, любил историю и литературу, был горячим поклонником искусств — музыки и живописи. Увлечённостью последней способствовала его сближению с молодым Айвазовским.

Николая Николаевича интересовала история взаимоотношений России и Персии. Он задумывал исследование о их торговых и дипломатических связях, собирал материалы по этому вопросу, а также о Степане Разине — хотел воссоздать историю восстания донских казаков.

Раевский был страстным книголюбом, собрал хорошую библиотеку, которая восхищала его сослуживцев. Один из них, Филипсон, рассказывал, что зиму 1840 года он провёл «… особенно приятно — с книгами большой библиотеки господина Раевского. Там были латинские и греческие классики, конечно, во

французском переводе и очень много старых и новых сочинений о Кавказе».

Уже смертельно больной Николай Николаевич просил старшего брата купить ему книг рублей на 500, в особенности комедий. Во время болезни и днём и ночью ему читали книги по истории, рассказывали разного рода басни и сказки.

Умер Николай Николаевич Раевский в возрасте 42 лет — сказались военные походы, бивуачная жизнь и психологические стрессы. Но творчество А. С. Пушкина продлило жизнь его друга в веках.

* * *

С Раевскими, по словам Пушкина, он был связан «узами дружбы и благодарности». О них он неоднократно упоминает в письмах, им посвятил ряд стихотворений и поэм. В типических обобщениях его героев, таких как Онегин и Татьяна Ларина, многие черты восходят к молодому поколению Раевских. Отдельные представители этой семьи дали поэту жизненный материал для раздумий над судьбами дворянской интеллигенции его времени. Отношения Александра Сергеевича с Раевскими интересны и тем, что позволяют наглядно представить, как конкретные факты бытия претворялись в его творчестве в обобщённые образы.

Семья Раевских, безусловно, оказала заметное влияние на духовное развитие поэта. Все её члены отличались редкой образованностью и начитанностью, знанием иностранных языков. В доме Раевских царила атмосфера передовых идей и глубокого интереса к искусству: музыке, живописи и особенно к литературе, русской и иностранной. В кругу их родных были выдающиеся поэты М. В. Ломоносов и Д. В. Давыдов, в друзьях — К. Н. Батюшков, В. А. Жуковский, А. Ф. Воейков, В. И. Туманский.

Раевские, что было крайне важно для молодого поэта, дали ему почувствовать радость ощущения родственных связей и семейной жизни. Среди них он был (чуть ли не впервые) счастлив, о чём и сообщал брату Льву 24 сентября 1820 года: «Суди, был ли я счастлив: свободная, беспечная жизнь в кругу милого семейства; жизнь, которую я так люблю и которой никогда не наслаждался; счастливое полуденное небо; прелестный край; природа, удовлетворяющая воображение, — горы, сады, море; друг мой, любимая моя надежда — увидеть опять полуденный берег и семейство Раевского».

Каменка. В первые месяцы 1826 года Пушкин не раз вспоминал это великолепное имение, находившееся близ Тульчина, в котором располагался штаб 2-й армии — центр Южного общества. Каменка принадлежала племяннице Потёмкина Е. Н. Давыдовой (по первому мужу Раевская). Генерал Н. Н. Раевский был её старшим сыном. От второго брака у Екатерины Николаевны было ещё два сына — Александр Львович и Василий Львович.

Старший из братьев, отставной генерал, ветеран наполеоновских войн, славился гастрономическими талантами и чудовищным аппетитом. По словам В. П. Горчакова, Александр Львович очень почитал Пушкина, но его выражение приязни к поэту «сбивалось на покровительство, что весьма не нравилось» Александру Сергеевичу. Стихотворение «Давыдову» он закончил следующими строками:

> Но льстивых од я не пишу:
> Ты ни в чахотке, слава богу:
> У неба я тебе прошу
> Лишь аппетита на дорогу[22].

Больше общался Пушкин с Василием Львовичем. Он тоже был участником Отечественной войны, после возвращения русской армии из-за границы служил в лейб-гвардии Гусарском полку, а затем — в Александрийском гусарском. В 1820 году в чине полковника вышел в отставку. В этот период, считают пушкинисты, и произошло его знакомство с поэтом. Уже в апреле 1820 года Александр Сергеевич посвятил Василию Львовичу стихотворение, в котором писал:

> Когда везде весна младая
> С улыбкой распустила грязь,
> И с горя на брегах Дуная
> Бунтует наш безрукий князь[23]
> Тебя, Раевских и Орлова,
> И память Каменки любя,
> Хочу сказать тебе два слова
> Про Кишинёв и про себя.

Стихотворение шутливое и весёлое, вольное. Вот как Пушкин сообщал одну из новостей — о смерти кишинёвского митрополита:

На этих днях, среди собора,
Митрополит, седой обжора,
Перед обедом невзначай
Велел жить долго всей России
И с сыном птички и Марии
Пошёл христосоваться в рай…

Но адресат был слишком солидным человеком для таких шуток, поэтому своё послание Александр Сергеевич закончил вполне серьёзно:

Но те в Неаполе шалят,
А та едва ли там воскреснет…
Народы тишины хотят,
И долго их ярем не треснет.
Ужель надежды луч исчез?
Но нет, мы счастьем насладимся,
Кровавой чаши причастимся,
И я скажу: «Христос воскрес».

В этом фрагменте стихотворения Пушкин напоминал Василию Львовичу о разговорах, которые велись в Каменке. «Те» — итальянские карбонарии (члены тайного общества), которые возглавили в июле 1820 года революцию в Неаполе. «Та» — политическая свобода, которую, полагал Александр Сергеевич, можно получить только через насилие — «кровавой чаши причастимся».

В начале 1820-х годов темами переписки Пушкина с Давыдовым были национально-освободительные восстания в Молдавии и Греции. Восстание было подавлено, а Греция вскоре провозгласила независимость. В первой половине марта 1821 года Пушкин писал Василию Львовичу: «Уведомляю тебя о происшествиях, которые будут иметь следствия, важные не только для нашего края, но и для всей Европы. Греция восстала и провозгласила свою свободу… Восторг умов дошёл до высочайшей степени, все мысли устремлены к одному предмету — к независимости древнего отечества… Странная картина! Два великих народа, давно падших в презрительное ничтожество, в одно время восстают из праха и, возобновлённые, являются на политическом поприще мира… Важный вопрос: что станет делать Россия?..».

У великого поэта всегда хватало недоброжелателей, которые с тайным удовлетворением вносили раздор в его отношения с

друзьями. Так было и с Василием Львовичем. Летом 1823 года Пушкин писал ему: «С удивлением слышу я, что ты почитаешь меня врагом освобождающейся Греции и поборником турецкого рабства. Видно, слова мои были тебе странно перетолкованы. Ничто ещё не было столь народно, как дело греков, хотя многие в их политическом отношении были важнее для Европы».

В начале 1821 года Пушкин ездил с Давыдовыми в Киев и Тульчин, после чего личных встреч с братьями у него не было. Василий Львович, как председатель Каменской управы Южного общества, был осуждён на двадцать лет каторги.

В 20-х числах ноября 1820 года в Каменке проходило совещание членов «Союза благоденствия».

«Содержать, как злодея». И. Д. Якушкин (1799–1857), отставной капитан лейб-гвардии Семёновского полка, состоял членом всех тайных организаций декабристов. 9 февраля 1816 года он был среди учредителей «Союза спасения», поставившего своей целью уничтожение крепостничества и самодержавия.

Современникам Иван Дмитриевич запомнился как человек строгого морального облика, необычайно требовательный к себе, с высокими духовными запросами. В своих воспоминаниях он писал, что настольными книгами каждого из его окружения были сочинения древних историков — Плутарха, Тита Ливия, Цицерона, Тацита.

— В беседах наших, — говорил Якушкин, — обыкновенно разговор был о положении России. Тут разбирались главные язвы нашего Отечества: закоснелость народа, крепостное состояние, жестокое обращение с солдатами, служба которых в течение двадцати пяти лет почти была каторгой; повсеместное лихоимство, грабительство и, наконец, явное неуважение к человеку вообще.

Сказались, конечно, и впечатления, вынесенные из Западной Европы: «В продолжение двух лет мы имели перед глазами великие события, решившие судьбы народов, и некоторым образом участвовали в них; теперь было невыносимо смотреть на пустую петербургскую жизнь и слушать болтовню стариков, восхваляющих всё старое и порицающих всякое движение вперёд. Мы ушли от них на сто лет вперёд» (66, 66).

В конце 1817 года в Москве в квартире А. З. Муравьёва собрались члены «Союза спасения» для обсуждения письма князя С. П. Трубецкого. В нём передавались слухи о том, что царь благоговеет к Польше и ненавидит Россию. Он намерен отторгнуть некоторые земли России в пользу поляков и перенести столицу своей страны в Варшаву.

После прений Муравьёв сказал, что «для отвращения бедствий, угрожающих России, необходимо прекратить царствование императора Александра». Все согласились с этим. Тогда Муравьёв предложил бросить жребий, чтобы определить, кто должен будет нанести удар царю. Но Якушкин заявил, что он и без жребия готов принести себя в жертву и никому не уступит этой чести.

— В таком поступке, — говорил он позднее, — я видел не убийство, а только поединок на смерть обоих.

Якушкин рано вышел в отставку и жил в своём смоленском имении Жуково, но часто встречался с единомышленниками в Москве, Тульчине, Кишинёве, Каменке. В январе 1820 года, будучи в Петербурге, Иван Дмитриевич познакомился с Пушкиным. Это случилось в квартире П. Я. Чаадаева. На ветерана войны и члена тайных обществ поэт произвёл нелестное впечатление.

— В общежитии Пушкин был до чрезвычайности неловок и при всей своей раздражительности легко обижался каким-нибудь словом, в котором решительно не было для него ничего обидного. Иногда он корчил лихача, вероятно, вспоминая Каверина и других своих приятелей-гусаров в Царском Селе, при этом он рассказывал про себя самые отчаянные анекдоты, и всё вместе выходило как-то очень пошло.

Зато заходил ли разговор о чём-нибудь дельном, Пушкин тотчас просветлялся.

Вскоре случилась вторая встреча. «Приехав в Каменку, — вспоминал Якушкин, — я полагал, что никого там не знаю, и был приятно удивлён, когда случившийся здесь Пушкин выбежал ко мне с распростёртыми объятиями. Василий Львович Давыдов, ревностный член тайного общества, узнавши, что я от Орлова, принял меня более чем радушно».

Среди собравшихся в Каменке были Н. Н. Раевский, сводный брат Давыдова, и его сын Александр. Приезд гостей приурочили к именинам хозяйки дома Е. Н. Давыдовой.

После обеда все собирались в большом зале и разговаривали, разговаривали… Темами бесед были революционные события в Западной Европе и восстание Семёновского полка в Петербурге. По поводу событий на западе Орлов говорил:

— Революция в Испании, революция в Италии, революция в Португалии, конституция тут, конституция там. Господа государи, вы сделали глупость, свергнув Наполеона.

Вопросы реорганизации тайного общества обсуждались, конечно, кулуарно. А. Раевский не верил, что Якушкин случайно заехал в Каменку, и всё порывался установить истину. Чтобы

сбить Александра с толку, Орлов, Давыдов и Охотников договорились разыграть его. Выбрав Александра Николаевича президентом, они начали прения о том, нужно ли тайное общество в России. Орлов привёл ряд аргументов за и против тайного общества. Давыдов и Охотников поддержали Михаила Фёдоровича. Пушкин с жаром доказывал его необходимость, а Якушкин — его ненужность. Раевский стал возражать, на что Иван Дмитриевич заявил:

— Мне нетрудно доказать вам, что вы шутите. Я предложу вам вопрос: если бы теперь уже существовало тайное общество, вы, наверное, к нему не присоединились бы?

— Напротив, наверное, бы присоединился, — последовал ответ.

— В таком случае давайте руку.

Раевский с готовностью протянул руку. В ответ Якушкин, расхохотавшись, заявил:

— Разумеется, всё это только шутка.

Все, кроме Пушкина, смеялись. Александр Сергеевич встал и, раскрасневшись, со слезами на глазах, сказал:

— Я никогда не был так несчастлив, как теперь; я уже видел жизнь мою облагороженною и высокую цель перед собой, и всё это была только злая шутка (68, 366).

Эта «шутка» дорого обошлась её инициаторам. Вскоре после подавления восстания декабристов Иван Дмитриевич был арестован. На первом же допросе он признался в давнем намерении убить Александра I, но от дальнейших показаний отказался.

— Да знаешь ли, перед кем ты стоишь? — вышел из себя новый правитель. — За то, что ты государю не говоришь правды, если бы я тебя помиловал, то на том свете Бог тебя не простит.

— Да ведь я в будущую жизнь не верю, — спокойно ответил подследственный.

— Вон отсюда этого мерзавца! — закричал Николай (21, 535). Препровождая арестанта в Петропавловскую крепость, царь писал коменданту Сукину: «Присылаемого Якушкина заковать в ножные и ручные железа, поступать с ним строго и не иначе содержать, как злодея».

И. Д. Якушкин

Раздражение императора Иван Дмитриевич вызвал тем, что отказался называть товарищей по тайному обществу. Другие арестованные делали это легко, напрочь забыв о чести и данных клятвах. Фёдор Вадковский, например, на первом же допросе назвал больше имён заговорщиков, чем доносчик Шервуд[24]. В первые же дни ареста дали непростительно откровенные показания К. Рылеев и князь С. Трубецкой, руководители Северного тайного общества.

Но неподдельный гнев Николая I был связан с намерением Якушкина покуситься на жизнь его предшественника на престоле — брата Александра. За непролитую царскую кровь несостоявшийся декабрист (Иван Дмитриевич фактически отошёл от деятельности тайного общества) был осуждён на двадцать лет каторги, тем самым его вырвали из жизни передового русского общества. Но не из памяти его лучших представителей. Имя Якушкина навечно запечатлено в романе «Евгений Онегин»:

> Читал свои ноэли Пушкин,
> Меланхолический Якушкин,
> Казалось, молча, обнажал
> Цареубийственный кинжал.

В этом фрагменте 10-й главы романа слышатся отзвуки бурных споров, проходивших в Каменке, ибо после этого Иван Дмитриевич с Пушкиным не встречался и не переписывался. Из Сибири он вернулся только через тридцать лет и на следующий

год скончался.

«О Кишинёв, о тёмный град!»

Друзья и покровители. Пока Пушкин путешествовал с Раевскими, место пребывания председателя Комитета об иностранных поселенцах южного края России перевели из Екатеринослава в Кишинёв. Так как Александр Сергеевич был прикомандирован к канцелярии этого комитета, то и явился туда 21 сентября 1820 года. Через два дня он поделился своими впечатлениями об увиденном с братом Львом: «Кавказский край, знойная граница Азии, любопытен во всех отношениях. Ермолов наполнил его своим именем и благотворным гением. Дикие черкесы напуганы; древняя дерзость их исчезает. Дороги становятся час от часу безопаснее, многочисленные конвои — излишними. Должно надеяться, что эта завоёванная сторона, до сих пор не приносившая никакой существенной пользы России, скоро сблизит нас с персиянами безопасной торговлей, не будет нам преградой в будущих войнах, и, может быть, сбудется для нас химерический план Наполеона в рассуждении завоевания Индии».

В этом фрагменте длинного письма обращает на себя внимание упоминание, сделанное мимоходом, о плане императора Франции завоевать Индию. Мысль о проникновении в эту экзотическую страну, жемчужину в короне Британской империи, волновала его всю жизнь: Египетский поход 1798–1799 годов, договор с Павлом I о совместной экспедиции в Индию, и, наконец, вторжение в Россию в 1812 году с целью нейтрализовать её при проходе Великой армии на восток. Графу Л. Нарбонну Наполеон говорил:

— Чтобы добраться до Англии, нужно зайти в тыл Азии с одной из сторон Европы. Представьте себе, что Москва взята, Россия сломлена, с царём заключён мир или же он пал жертвой дворцового заговора. И скажите мне, разве есть средство закрыть путь отправленной из Тифлиса Великой французской армии и союзным войскам к Гангу, разве недостаточно прикосновения французской шпаги, чтобы во всей Индии обрушились подмостки торгашеского величия? (61, 706–707).

Конечно, это была беседа тет-а-тет — Наполеон избегал рекламировать свои планы. Тем не менее что-то просачивалось. Кастеллан, будущий маршал Франции, писал 5 октября в дневнике: «Говорят о походе на Индию. У нас столько доверия, что мы рассуждаем не о возможности подобного предприятия, а о числе месяцев, необходимых для похода, о времени, за которое к нам будут доходить письма из Франции».

Да что французы! Об истинных намерениях их императора знали и русские. В канун Бородинской битвы, вспоминал поэт-партизан Д. В. Давыдов, общее мнение было то, что если Наполеон одержит победу и заключит мир с Россией, то пойдёт с русской армией на Индию. Денис Васильевич этого не хотел и говорил князю П. И. Багратиону:

— Если должно непременно погибнуть, то лучше я лягу здесь. В Индии я пропаду со ста тысячами моих соотечественников без имени и на пользу, чуждую моему Отечеству.

Более того, вслед за изгнанием остатков Великой армии из пределов России полковник П. А. Чуйкевич выпустил книгу «Покушение Наполеона на Индию 1812 года». Пётр Андреевич служил в это время управляющим Особенной канцелярией военного министра, одной из функций которой была внешняя разведка, и знал о чём писал, так сказать, по первоисточникам.

Пушкин, росший под впечатлениями событий Отечественной войны и заграничных походов русской армии, обострённо воспринимал все сведения, связанные с главными действующими лицами минувших лет трагедии и славы. Будучи патриотом своей страны, он считал все поползновения Наполеона овладеть Индией химерой, но полагал это вполне доступным (с покорением Кавказа) для России.

* * *

Кишинёв был своеобразным городом. Присоединённый к России по исходу Русско-турецкой войны 1806–1812 годов, он хранил многое из недавнего владычества османов. Живописный азиатский колорит лежал на вещах и людях. Знатные молдавские бояре ещё носили бороды и красивые восточные одежды. Но младшее поколение уже успело обриться и надеть европейские фраки.

Население города составляли молдаване и русские (военные и чиновники). После восстания гетеристов[25] в него хлынули беженцы румынского и греческого происхождения, внёсшие резкие перемены во внутреннюю жизнь города. Современник писал: «Вместо двенадцати тысяч жителей было уже до пятидесяти тысяч на пространстве четырёх квадратных вёрст. Кишинёв был в это время бассейном князей и вельможных бояр из Константинополя и двух княжеств. В каждом доме, имеющем две-три комнаты, жили переселенцы из великолепных палат Ясс и Бухареста.

Новые знакомства на каждом шагу. Окна даже дрянных

магазинов обратились в рамы женских головок, чёрные глаза этих живых портретов всегда были обращены на вас, с которой бы стороны вы ни подошли… На каждом шагу загорался разговор о делах греческих, участие было необыкновенное. Новости разносились, как электрическая искра, по всему греческому миру Кишинёва. Чалмы князей и кочули бояр разъезжали в венских колясках из дома в дом с письмами, полученными из-за границы. Можно было выдумать какую угодно нелепость о победах греков и пустить в ход; всему верили, всё служило пищей для толков и преувеличений» (68, 272–273).

Как-то сразу и резко изменились нравы горожан. Особенно это было видно по женщинам. Молдаванки и гречанки, ещё недавно содержащиеся в строгом почти гаремном заточении, познакомившись с европейской цивилизацией (балы, маскарады, французские романы и мода), воспылали жаждой наслаждений. По наблюдениям современника, кишинёвские дамы, удерживавшие ещё некоторый восточный отпечаток во внешности и в характере, но уже по-европейски свободные в обращении, были страстны, влюбчивы и доступны.

— Пушкин, — вспоминал В. П. Горчаков, — охотно принимал приглашения на все праздники и вечера, и все его звали.

Сохранились сатирические куплеты поэта на кишинёвских дам:

Раззевавшись до обедни,
К Катакази еду в дом.
Что за греческие бредни,
Что за греческий содом!
Подогнув под ж…пу ноги,
За вареньем, средь прохлад,
Как египетские боги,
Дамы преют и молчат.

Кстати, упоминание о египетских богах лишний раз подтверждает, что Пушкин очень интересовался деяниями Наполеона, в частности его знаменитым походом в страну голубого Нила. В этот поход будущий император взял нескольких учёных в разных областях знаний, в том числе египтологов. Учёные привезли в Европу розеттский камень, который стал отправной точкой для расшифровки иероглифов, и человечеству открылась великая цивилизация. В начале 1820-х годов в газетах и журналах публиковались многочисленные изображения памятников Древнего Египта. Изображения его обитателей и богов. В позе последних и сидели кишинёвские дамы, не раз

удостаивавшиеся внимания поэта. Женщины, кутежи и карты занимали большую часть времени Александра Сергеевича, который был неудовлетворён ни кишинёвским обществом, ни самим городом:

Проклятый город Кишинёв!
Тебя бранить язык устанет.
Когда-нибудь на грешный кров
Твоих запачканных домов
Небесный гром, конечно, грянет,
И — не найду твоих следов!

Но развлечения не были главным в жизни Пушкина, смыслом его существования оставалось творчество. Несмотря на то что Александр Сергеевич мало уделял ему времени, годы пребывания в Кишинёве оказались удивительно плодотворными. Кроме массы стихотворений, он написал пять поэм: «Кавказский пленник», «Гаврилиада», «Бахчисарайский фонтан», «Братья-разбойники», «Вадим», начал работу над романом «Евгений Онегин». Писатель А. Ф. Вельтман был очевидцем того, как работал поэт:

— Утро посвящал он вдохновенной прогулке за город, с карандашом и листом бумаги. По возвращении лист был исписан стихами. Но из этого разбросанного жемчуга он выбирал только крупный, не более десяти жемчужин; из них-то составлялись роскошные нити событий в поэмах, мелкие произведения, напечатанные и ненапечатанные…

Пушкин был чрезвычайно общителен. Биографы поэта насчитывают более 200 лиц, входивших в круг его знакомств. В основном это были офицеры 16-й пехотной дивизии генерала М. Ф. Орлова. «В военной среде все сближения совершаются быстро, — писал квартирмейстер этой дивизии В. П. Горчаков, — кто раз с кем пообедал или позавтракал вместе да ласково взглянул — тот и приятель. Сейчас же французское вы к чёрту, а русское ты вступает в права свои, как заветный, лучший признак приязни» (60, 251).

Подполковник И. П. Липранди дополнял Горчакова:

— Все офицеры генерального штаба составляли как бы одно общество, конечно, с подразделениями, иногда довольно резкими. С одними Пушкин был неразлучен на танцевальных вечерах, с другими любил покутить и поиграть в карты, с иными был просто знаком, встречая их в тех или других местах, но не сближался с ними, как с первыми, по несочувствию их к тем забавам, которые одушевляли первых.

Но всё же светским удовольствиям и развлечениям молодой

поэт отдавал предпочтение беседам с людьми, понимавшими и интересовавшими его. Одним из них был И. П. Липранди, к которому Александр Сергеевич питал приятельские чувства за его учёность, сочетавшуюся «с отличными достоинствами военного человека». И ещё одним важным качеством обладал Иван Петрович — был домоседом. «Три-четыре вечера, а иногда и более проводил я дома. Постоянными посетителями у меня были: Охотников, майор, начальник дивизионной ланкастерской школы В. Ф. Раевский; майор Камчатского полка М. А. Яновский, замечательный оригинал, не лишённый интереса по своим похождениям в плену у французов; гевальдигер[26] поручик Таушев, очень образованный молодой человек; майор Гаевский, переведённый из гвардии вследствие истории Семёновского полка. Из офицеров генерального штаба преимущественно бывали А. Ф. Вельтман и В. П. Горчаков» (68, 298).

У Липранди не танцевали и не играли в карты, но много говорили и спорили, особенно Пушкин с Раевским. «И этот последний, — полагал Иван Петрович, — очень много способствовал к подстреканию Пушкина заняться историей и в особенности географией. Пушкин неоднократно после таких споров брал у меня книги, касавшиеся до предмета, о котором шла речь. Пушкин как строптив и вспыльчив ни был, но часто выслушивал от Раевского под весёлую руку обоих довольно резкие выражения и далеко не обижался, а напротив, казалось, искал выслушивать бойкую речь Раевского».

Капитан К. А. Охотников, адъютант начальника дивизии, отличался учёностью и замкнутостью. Пушкин прозвал Константина Алексеевича p´ere conscrit — отец-сенатор. Поводом к этому послужил один из жарких споров между Раевским и Александром Сергеевичем. За разрешением словопрений обратились к Охотникову, который сидел в стороне и читал «Римскую историю» Тита Ливия. Константин Алексеевич «с невозмутимым хладнокровием, глядя на наступавших на него Пушкина и Раевского и не обращая никакого внимания на делаемые ему вопросы, очень спокойно предлагал послушать прекрасную речь из книги и начал: p´eres conscrits… Это хладнокровие выводило Пушкина и Раевского, одинаково пылких, из терпения, но на каждый приступ к Охотникову тот приглашал их выслушать только прежде эту, знаменитую по красноречию речь и, несмотря на общий шумный говор, несколько раз принимался начинать оную, но далее слов p´eres conscrits не успевал».

Не пасовал перед Пушкиным и будущий писатель, поручик квартирмейстерской части А. Ф. Вельтман. Ни в танцах, ни в игре

в карты, ни в кутежах он не участвовал, но был одним из немногих, который мог доставлять пищу уму и любознательности Пушкина. Липранди отмечал:

— Он не ахал каждому произнесённому стиху Пушкина, мог и делал свои замечания, входил с ним в разбор, и это не нравилось Александру Сергеевичу. В этих случаях Пушкин был неподражаем; он завязывал с ним спор, иногда очень горячий, с видимым желанием удовлетворить своей любознательности, и тут строптивость его характера совершенно стушёвывалась.

В провинциальной глуши свободного времени хватало даже на то, чтобы несколько вечеров посвятить никому не нужному занятию физикой. И вот по какому случаю. В Кишинёв приехал будущий академик А. И. Стойкович (С Пушкиным у него состоялся разговор о «грамматических несогласиях» и несовершенствах правописания). Липранди и Раевский, освоив первый попавшийся учебник по физике, свели разговор на специальность гостя и «вдруг нахлынули на него с вопросами и смутили физика, не ожидавшего таких познаний в военных».

В связи с этим случаем член Попечительного комитета о колонистах южного края России П. И. Долгоруков полагал, что беседы поэта с Вельтманом, Раевским и Охотниковым много содействовали направлению его мыслей к умственным занятиям и дали толчок к развитию его научных способностей по предметам серьёзных наук. От себя добавим: особенно преуспел Александр Сергеевич в познании истории России от царствования Екатерины II до его дней (с углублённым интересом к истории Отечественной войны).

В Кишинёве Пушкин был постоянным посетителем дома командира 16-й пехотной дивизии М. Ф. Орлова. В нём, по свидетельству супруги Михаила Фёдоровича, велись «беспрестанно шумные споры — философские, политические, литературные».

Круг активного общения поэта ограничивался почти исключительно военными, прошедшими все наполеоновские войны. Поэтому недавнее прошлое, рассказы о героизме русских воинов были постоянной темой бесед. Липранди вспоминал:

— Александр Сергеевич всегда восхищался подвигом, в котором жизнь ставилась, как он выражался, на карту. Он с особенным вниманием слушал рассказы о военных эпизодах; лицо его краснело и изображало жадность узнать какой-либо особенный случай самоотвержения; глаза его блистали, и вдруг он часто задумывался.

Военная среда Кишинёва отвечала юношеским устремлениям Пушкина и по существу (наряду с впечатлениями детства)

взрастила поэта-баталиста, всё творчество которого пронизано военной тематикой. И хотя Александр Сергеевич жаловался на то, что ему «кюхельбекерно в чужой стороне», она немало дала ему в приобщении к деяниям Молоха. Воспоминаниям о недавних событиях немало способствовали их первые юбилеи: 1820-й год — 15-я годовщина поражения русской армии (вкупе с австрийской) при Аустерлице; 1821-й — смерть Наполеона, 1822-й — 10-я годовщина Отечественной войны, 1823-й — 10-я годовщина Битвы народов, 1824-й — 10-я годовщина падения Парижа, 1825-й — 10-я годовщина разгрома Наполеона при Ватерлоо.

Первый юбилей, конечно, не только не отмечался, но о поражении при Аустерлице вообще было не принято говорить. Но Пушкин три года пребывания на юге вращался почти исключительно в военной среде. Там не забывали о позоре 2 декабря 1805 года — это была заноза в русском сердце. Не приходится говорить и о том, что все названные выше события были темами бесед и дискуссий среди офицеров заштатного Кишинёва. Эти споры и рассуждения насыщали мозг Пушкина и стимулировали поэта в работе над произведениями, связанными с наполеоновской эпохой. Способствовали этому и тогдашние СМИ (книги и периодическая печать).

* * *

1821 год был щедр на эпохальные события. Кроме революций в Европе, мир волновали в тот год смерть Наполеона и восстание за независимость Греции. Последним руководил А. К. Ипсиланти. На оба события Пушкин прореагировал весьма бурно.

«Отныне он принадлежит истории». А. К. Ипсиланти (1792–1828) был старшим сыном господаря Молдавии и Валахии. Он участвовал в войнах с Наполеоном, в сражении под Дрезденом лишился руки, дослужился до звания генерал-майора и стал одним из адъютантов царя.

В ноябре 1820 года Александр Константинович находился в Кишинёве; на званом обеде у генерала М. Ф. Орлова его видел квартирмейстер при штабе 16-й пехотной дивизии В. П. Горчаков:

— Между многими я в особенности заметил одного посетителя в синей венгерке. Генерал обращался с ним с особенными знаками дружбы и уважения. Этот посетитель имел отличительную наружность: его открытое чело и резкие очерки придавали ему необыкновенную выразительность, а благородство

и уверенность в приёмах предупреждали в его пользу.

При следующей встрече с Ипсиланти Горчаков увидел его в русском мундире, что ему показалось странным, но квартирмейстеру объяснили:

— Князь Александр состоит по кавалерии не в должности, намерен оставить службу и потому позволяет себе некоторые отступления. К тому же венгерка более приближается к родовому наряду греков.

И здесь мемуарист не преминул заметить: «При этом рассказе Пушкин стоял рядом со мной; он с особым вниманием взглянул на Ипсиланти».

От себя добавим: поэт был вхож в дом Александра Константиновича, знал его мать и детей (четырёх сыновей и двух дочерей).

В 1821 году Ипсиланти возглавил восстание за освобождение Греции от турецкого ига. Пушкин сразу понял значимость этого события. «Уведомляю тебя о происшествиях, которые будут иметь следствия, важные не только для нашего края, но и для всей Европы», — писал он в марте В. Л. Давыдову, сводному брату Н. Н. Раевского.

21 февраля Ипсиланти прибыл в Яссы, где издал ряд прокламаций, в которых говорилось, что Феникс Греции воскреснет из пепла и час гибели Турции не за горами, что Великая держава одобряет стремление греков к свободе. Ряды повстанцев быстро росли. Даже в Одессе греки за гроши продавали имущество, покупали оружие и пополняли ряды сторонников Ипсиланти. «Восторг умов дошёл до высочайшей степени, — писал Пушкин. — Первый шаг Александра Ипсиланти прекрасен и блистателен. Он счастливо начал — и, мёртвый или победитель, отныне он принадлежит истории».

27 февраля в Яссах было совершено торжественное молебствие в церкви. Об этом рассказывает Пушкин в том же письме: «Я видел письмо одного инсургента: с жаром описывает он обряд освящения знамён и меча князя Ипсиланти, восторг духовенства и народа и прекрасные минуты надежды и свободы…»

На тему этих строк письма написано Пушкиным и стихотворение «Война»:

Война! Подъяты наконец,
Шумят знамёна бранной чести!
Увижу кровь, увижу праздник мести:
Засвищет вкруг меня губительный свинец.
И сколько сильных впечатлений

Для жаждущей души моей!
Стремленье бурных ополчений,
Тревога стана, звук мечей
И в роковом огне сражений
Паденье ратных и вождей!

Эти стихи — не просто поэзия, у Пушкина было намерение принять участие в войне в рядах восставших. На это намекал он в письме к своему другу, поэту Дельвигу: «Недавно приехал в Кишинёв и скоро оставляю благословенную Бессарабию — есть страны благословеннее. Праздный мир не самое лучшее состояние жизни». Под странами «благословеннее» поэт разумеет, конечно, восставшую против турецкого владычества Грецию.

Поэт предпринимал какие-то шаги к тому, чтобы присоединиться к восставшим. В его дневнике от 9 мая есть такая пометка: «Третьего дня писал я к князю Ипсиланти с молодым французом, который отправляется в греческое войско». Не ограничиваясь письмом, Александр Сергеевич побывал со своими хлопотами у бывшего господаря Валахии князя Михаила Суццо.

Руководители восстания очень надеялись на помощь России, христианской страны, заинтересованной в укороте османов, сразу показавших себя: 24 апреля, в день Святой Пасхи, в Стамбуле турки повесили 80-летнего патриарха Греции Григория и трёх митрополитов. Александр I предъявил султану ультиматум с требованием прекратить зверское истребление греков, на что получил вызывающий ответ: «Мы лучше знаем, как нам обращаться с нашими подданными».

Довольно быстро восстание за независимость перешло в жестокую резню с обеих сторон. Турки увечили мужчин, насиловали девушек и торговали ими, поджаривали на вертелах младенцев, завязывали женщин в мешки с голодными кошками, крысами и гадюками. Не оставались в долгу и греки, подчистую вырезавшие турецкое население, щадя только богачей, с которых можно было взять выкуп. Это варварство вызвало у Пушкина чувство отторжения от восставших: «Константинопольские нищие, карманные воришки, бродяги без смелости. Они отыскали средство быть пошлыми в то самое время, когда рассказы их должны были бы интересовать каждого европейца. Французы и русские, которые здесь живут, не скрывают презрения к ним, вполне ими заслуженного; да они всё и переносят, даже палочные удары, с хладнокровием, достойным Фемистокла. Я не варвар и не апостол Корана, дело Греции меня живо трогает, вот почему я и негодую, видя, что на долю этих несчастных выпала священная

обязанность быть защитниками свободы».

П. П. Вяземскому поэт писал: «Греция мне огадила. Иезуиты натолкали нам о Фемистокле и Перикле, а мы вообразили, что пакостный народ, состоящий из разбойников и лавочников, есть законнорождённый их потомок и наследник».

7(19) июня под Драгошанами войска восставших потерпели поражение и были рассеяны. 29-го Александр I отозвал российского посла из Константинополя. Дело шло к войне.

Но тут царь узнал, что Англия и Австрия договорились поддержать Турцию. По меркам Священного союза восстание греков было революционным. Помочь ему — значило преступить основополагающие заповеди Союза: порядок, покорность, подавление сопротивляющихся. В итоге на крик о помощи Ипсиланти получил лаконичный ответ: «Россия останется только зрительницей событий». В «Памфлетах эмигранта» П. Долгоруков писал по этому поводу: «Грекам отказано было во всякой поддержке по той будто причине, что они нарушили обязанность подданных, восстав против своего законного (!!!) государя, султана турецкого!!! Христиане преданы были на жертву оттоманам, и русский царь поступил, как мог только поступить шах персидской или какой-нибудь другой поклонник Магомета» (84, 532).

Пушкин неудачу восстания видел прежде всего в самих греках, которые проявили полную несостоятельность в первом же сражении с противником, не отличавшимся высоким воинским искусством. «Толпа трусливой сволочи, воров и бродяг, — негодовал поэт, — которые не могли выдержать даже первого огня дрянных турецких стрелков. Что касается офицеров, то они ещё хуже солдат. Мы видели этих новых Леонидов на улицах Одессы и Кишинёва — со многими из них лично знакомы, мы можем удостоверить их полное ничтожество».

Не пощадил Александр Сергеевич и вождя восставших: «Александр Ипсиланти был лично храбр, но не имел свойств нужных для роли, за которую взялся так горячо и так неосторожно. Он не умел сладить с людьми, которыми принуждён был предводительствовать. Они не имели к нему ни уважения, ни доверенности. После несчастного сражения, где погиб цвет греческого юношества Ипсиланти ускакал к границам Австрии и оттуда послал своё проклятие людям, которых называл „ослушниками, трусами и негодяями“» («Кирджали»).

Конечно, к восставшим присоединилось немало лиц с тёмным прошлым (и Пушкин об этом писал), но в целом это был душевный порыв людей, жаждавших освобождения своей страны от иноземного ига. Немало было и героизма. Памяти павшим за

Родину посвящено одно из проникновенных стихотворений поэта:

Гречанка верная! не плачь, — он пал героем.
Свинец врага в его вонзился грудь.
Не плачь — не ты ль ему сама пред
первым боем
Назначила кровавый Чести путь?
Тогда, тяжёлую предчувствуя (разлуку),
Супруг тебе простёр торжественную руку,
Младенца своего в слезах благословил.
Но знамя чёрное Свободой восшумело.
Как Аристогитон, он миртом меч обвил,
Он в сечу ринулся — И, падши, совершил
Великое, святое дело.

Поражение греческого восстания по времени почти совпало с подавлением австрийскими войсками движения итальянских карбонариев в Неаполе и Пьемонте, а позднее — революции в Испании. Реакция торжествовала, и это вызывало у Пушкина весьма мрачные чувства:

Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.

К счастью, поэт ошибся в отношении Греции. В самом начале царствования Николая I она получила права автономии в рамках Османской империи, а руководитель восстания, томившийся в австрийском узилище, был выпущен на свободу. Эти события пробудили у Александра Сергеевича чувства, вдохновенно выраженные им в следующих строках:

Восстань, о Греция, восстань,
Недаром напрягала силы,
Недаром потрясала брань
Олимп и Пинд, и Фермопилы.
Страна героев и богов
Расторгла рабские вериги
При пеньи пламенных стихов
Тиртея, Байрона и Риги[27].

…Знакомство Пушкина с Ипсиланти оказалось непродолжительным. Тем не менее руководитель национального восстания время от времени будоражил воображение поэта и упоминался как в его письмах, так и в художественных произведениях. Констатируя факт подавления революционных движений в Европе, Пушкин писал:

Народы тишины хотят,
И долго их ярем не треснет.
Ужель надежды луч исчез?
Но нет! — мы счастьем насладимся,
Кровавой чаши причастимся…

Сопоставляя своё пребывание в Кишинёве со ссылкой древнеримского поэта Овидия в места, близкие к Молдавии, вновь вспомнил Ипсиланти:

Здесь, лирой северной пустыни оглашая,
Скитался я в те дни, как на брега Дуная
Великодушный грек свободу вызывал.

Ипсиланти упоминается Пушкиным в повестях «Кирджали» и «Выстрел», в набросках поэмы о гетеристах «Езерский» и в 10-й главе романа «Евгений Онегин»:

Тряслися грозно Пиренеи,
Волкан Неаполя пылал,
Безрукий князь друзьям Мореи
Из Кишинёва уж мигал.

Запечатлел Александр Сергеевич «великодушного грека» и в рисунке на рукописи поэмы «Братья разбойники». Словом, мало кто из современников удостоился такого внимания гения.

«Ты человечество презрел». Весной 1821 года в Кишинёве взахлёб читали и перечитывали статью из «Гамшейрского телеграфа», перепечатанную во многих российских газетах. В ней было сказано, что Бонапарте, с некоторого времени находившийся в опасной болезни, изъявил желание говорить с губернатором острова Святой Елены Гудсоном.

Из этого делался вывод, что Наполеон почувствовал близкое приближение смерти (68, 262).

Англичане, панически боявшиеся, что их грозный враг убежит с острова, который охраняли флотилия боевых кораблей и полк пехоты численностью в 3000 человек, с тайным удовлетворением распространили в Европе известие о серьёзном положении их пленника. Информация с острова достигла берегов Туманного Альбиона через два-три месяца, поэтому, когда обитателей евро-азиатского континента волновали слухи о приближающейся кончине Наполеона, это уже случилось. 5 мая камердинер императора Луи-Жозер Маршан записал:

«В 5:50 после полудня послышался пушечный выстрел, служивший сигналом отбоя. Солнце, блеснув своим последним лучом, скрылось за горизонтом. Это был также тот же самый момент, когда великий человек, властвовавший своим гением над всем миром, был готов облачиться в свою бессмертную славу. Тревожное состояние доктора Антоммарки достигло предела: рука стала ледяной. Доктор Арнотт подсчитывал секунды между вздохами: сначала 15 секунд, потом 30, затем прошло 60 секунд.

Императора больше не было!» (60,704).

В России об этом узнали в середине лета. 18 июля Пушкин записал в дневнике: «Известие о смерти Наполеона».

Кончина недавнего повелителя Европы вдохновила Александра Сергеевича на стихотворение «Наполеон». В лицейские годы поэт, как и все вокруг него, считал императора Франции «кровавым тираном» и «антихристом». Но восстановление на престоле Бурбонов, репрессивные деяния Священного союза, революции в Испании, Италии, Португалии и Греции пошатнули престиж европейских монархов, победителей Наполеона. Вникая в суть политических событий, Пушкин всё больше осознавал, что у владык Запада были чисто эгоистические цели в их противостоянии Франции и её главе: сражаясь против Наполеона, они защищали власть автократии, свою шкуру. Наполеон же при всех оговорках был наследником Великой революции, и популярность его росла с каждым днём; покинув бренный мир он стал легендой, а его жизнь и деятельность — темой для славословия. Но, конечно, не в печати королевской Франции. Поэтому стихотворению «Наполеон» Пушкин предпослал эпиграф: Ingrata patria[28]…

В блестящей художественной форме поэт прослеживает жизненный путь Наполеона, начиная от революции, получившей позднее название «Великая французская»:

Когда надеждой озарённый

От рабства пробудился мир,
И галл десницей разъярённой
Низвергнул ветхий свой кумир;
Когда на площади мятежной
Во прахе царский труп лежал,
И день великий, неизбежный —
Свободы яркий день вставал…

Пушкин преклонялся перед этим эпохальным моментом и нигде больше с таким увлечением и силой не говорил о французской революции, породившей Наполеона:

Тогда в волненье бурь народных
Предвидя чудный свой удел,
В его надеждах благородных
Ты человечество презрел, —

укорял поэт своего героя, несколько опережая события, ибо в первые годы революции будущий властитель Европы был всего лишь бедным офицериком, перебивавшимся с хлеба на воду. Тут было не до амбиций.

Двадцатилетний Бонапарт встретил революцию с энтузиазмом: Декларация прав обещала продвижение на службе революции исключительно по способностям индивида. А больше ему ничего не требовалось — в себе молодой поручик был уверен. Но довольно скоро его революционный пыл угас, и 20 июня 1792 года со всей очевидностью проявилось презрение дворянина к толпе. В этот день парижане ворвались на территорию дворца Тюильри.

— Пойдём за этими канальями, — предложил Бонапарт товарищу по военному училищу Бурьенну.

Когда перепуганный король Людовик XVI, напяливший на голову фригийский колпак (символ революции), из окна дворца поклонился толпе, Наполеон бросил с презрением:

— Какой трус! Как можно было впустить этих каналий! Надо было смести пушками 500–600 человек, остальные разбежались бы!

В этом пренебрежении простонародья сказались гены старинного (но обнищавшего) дворянского рода; они же подвели Наполеона и в период его уникальных «Ста дней». Что касается презрения человечества, то это пришло позже — со славой и завоеваниями. Об этом следующие строфы стихотворения:

И обновлённого народа
Ты буйность юную смирил,
Новорождённая свобода,
Вдруг онемев, лишилась сил;
Среди рабов до упоенья
Ты жажду власти утолил,
Помчал к боям их ополченья,
Их цепи лаврами обвил.
И Франция, добыча славы,
Пленённый устремила взор,
Забыв надежды величавы,
На свой блистательный позор.
Ты вёл мечи на пир обильный;
Всё пало с шумом пред тобой:
Европа гибла — сон могильный
Носился над её главой.

Да, Наполеон усмирил бушевавшую целое десятилетие (1789–1799) революционную бурю, а затем пятнадцать лет успешно отражал все поползновения коалиций европейских держав покорить Францию и возродить в ней власть Бурбонов.

— Поведение всех правительств по отношению к Франции, — говорил император, — доказало мне, что она может полагаться лишь на своё могущество, то есть на силу. Я был вынужден поэтому сделать Францию могущественной и содержать большие армии. Не я искал Австрию, когда, озабоченная судьбой Англии, она вынудила меня покинуть Булонь, чтобы дать сражение под Аустерлицем. Не я хотел угрожать Пруссии, когда она принудила меня пойти и разгромить её под Иеной.

Словом, в создании могучей армии и успешном отражении семи (!) коалиций иноземцев ничего позорного не было: защита Отечества — священный долг любого народа. А все семь коалиций начинали войны с Францией первыми, и Наполеон резонно говорил по этому поводу:

— В чём можно обвинить меня, чему не было бы оправдания? В том, что я всегда слишком любил войну? Так я всегда только защищался.

В упомянутом выше сражении при Аустерлице участвовала и русская армия. Расплачиваться за жестокое поражение пришлось в Тильзите, где Наполеон принудил царя присоединиться к континентальной блокаде Англии, что наносило торговый ущерб России. Александр I признал все завоевания Наполеона и суверенитет Франции над Ионическими островами, которые

контролировал российский флот.

Тильзитский мир вызвал недовольство всех слоёв населения России. Характерен в этом плане случай с Н. М. Карамзиным. В одной из своих поездок у станции Яжелбич он обратил внимание на толпу взволнованных крестьян.

— О чём это шумите, ребята? — спросил Карамзин.

— Да как же, батюшка! — отвечал один из более речистых. — Царь наш, видишь, помирился с Наполеоном, а он ведь (сказано было) антихрист!!![29]

— Эх, вы, братцы! — возразил Карамзин. — Да разве не прочли в газете, что дело-то было на воде; мир заключён посреди реки: вот царь прежде окрестил его, а там уж помирился!

— Ой ли так?! — закричали крестьяне. — Ну, слава богу!

И, сняв шапки, крестились и весело разошлись по дамам (69, 524).

Слова «Аустерлиц» и «Тильзит» долго резали слух русского, о чём мы и читаем в следующих строках стихотворения:

Встреча на Немане

Тильзит!.. (при звуке сем обидном
Теперь не побледнеет росс) —
Тильзит надменного героя
Последней славою венчал,
Но скучный мир, но хлад покоя
Счастливца душу волновал

Надменный, кто тебя подвигнул?
Кто обуял твой дивный ум?
Как сердца русских не постигнул

Ты с высоты отважных дум?

Да, в 1812 году русские вполне рассчитались с Наполеоном и за Тильзит, и за Аустерлиц. Это было для поэта в порядке вещей (русские всегда побеждали), но он не мог понять, как великий воитель, при его незаурядном уме решился на такой шаг, как поход в Россию. Уникальные данные французского императора отмечали многие, даже коварный и лживый Шарль Морис де Тайлеран-Перигор, ненавидивший Наполеона и пытавшийся организовать его убийство:

— Его гений был поразителен. Ничто не могло сравниться с его энергией, воображением, разумом, трудоспособностью, творческими способностями.

Мысль Пушкина билась над вопросом: кто обуял (затмил) дивный ум прославленного полководца и государственного деятеля? Причин этому было много, но главная — Индия, как слабое звено в цепи британских завоеваний. Наполеон считал Александра I слабым правителем и трусливым человеком, окружённым сановниками, готовыми предать его при всяком удобном случае, о возможности чего царь сам писал ему: «Земля тут трясётся подо мною. В моей собственной империи моё положение стало нестерпимым» (61, 702).

Очень низкого мнения был воитель в целом и о России: «Варварские народы суеверны и примитивны. Достаточно одного сокрушительного удара в сердце империи — по Москве, матери русских городов, Москве златоглавой, и эта слепая и бесхребетная масса падёт к моим ногам».

Наполеон уже привык к тому, что европейские государства просили мира после первого же серьёзного поражения. Так, полагал он, будет и с русским царём, после чего легионы Великой армии хлынут к долинам Ганга. Представителю нарождавшейся буржуазии, класса стяжателей, и в голову не могло прийти, что русские с остервенением будут жечь свои города и веси. Не сделав исключения даже для старой столицы.

Великодушного пожара
Не предузнав, уж ты мечтал,
Что мира вновь мы ждём, как дара;
Но поздно русских разгадал…

Россия, бранная царица,
Воспомни древние права!
Померкни, солнце Австерлица!
Пылай, великая Москва!

Настали времена другие,
Исчезни, краткий наш позор!
Благослови Москву, Россия!
Война по гроб — наш договор!

Надменный завоеватель не понял народного характера войны, навязанный им России, и одной из причин своего поражения считал гибель старой столицы. «Не будь московского пожара, — говорил он, — мне бы всё удалось. Я провёл бы там зиму. Я заключил бы мир в Москве или на следующий год пошёл бы на Петербург. Мы думали, что нас ожидает полное благосостояние на зимних квартирах, и всё обещало нам блестящий успех весной. Если бы не этот роковой пожар…» (61, 713–714)

Второй, главной, причиной гибели Великой армии, по убеждению Наполеона, были русские морозы и связанный с ними голод:

Оцепенелыми руками
Схватив железный свой венец,
Он бездну видит пред очами,
Он гибнет, гибнет наконец.
Бежат Европы ополченья;
Окровавленные снега
Провозгласили их паденье,
И тает с ними след врага.

Словосочетанием «железный свой венец» Пушкин напоминал современникам, что Наполеон был не только императором Франции, но и королём Италии, а по существу — полным властелином западной Европы, которая (после поражения в России) поднялась против его владычества:

И всё, как буря, закипело;
Европа свой расторгла плен;
Во след тирану полетело
Как гром, проклятие племён.

И длань народной Немезиды
Подъяту видит великан:
И до последней все обиды
Отплачены тебе, тиран!

«Длань Немезиды» — рука мщения, которая простёрлась над завоевателем в октябре 1813 года под Лейпцигом, где в трёхдневном сражении он потерпел страшное поражение. В историю это кровавое побоище вошло под названием «Битвы народов», следствием её стали вторжение союзных войск (России, Австрии и Пруссии) на территорию Франции и низложение Наполеона…

Император был сослан на остров Эльбу, но менее чем через год бежал оттуда и вновь захватил престол Франции.

Пятнадцатилетняя эпопея великого завоевателя завершилась второй ссылкой, и опять на остров, но на этот раз предельно удалённой от всех очагов цивилизации.

К 1821 году многие из тех, кто интересовался судьбой пленника Европы, знали о его нелёгком положении на острове Святой Елены: тяжёлый, убивающий день за днём климат; примитивные бытовые условия; всяческие притеснения местной власти; отсутствие активной деятельности, которой была наполнена вся его жизнь; тоска по семье и, наконец, болезни, изнуряющие физически.

Вращаясь с лицейских лет в военной среде, Пушкин всё это знал и, как истинно русский человек, сострадал поверженному врагу:

Искуплены его стяжанья
И зло воинственных чудес
Тоскою душного изгнанья
Под сенью чуждую небес.
Где, устремив на волны очи,
Изгнанник помнил звук мечей
И льдистый ужас полуночи,
И небо Франции своей;
Где иногда, в своей пустыне
Забыв войну, потомство, трон,
Один, один о милом сыне
В унынье горьком думал он.

Двадцатидвухлетний поэт, мыслил уже мировыми масштабами, и при всём негативе, обрушенном на изгнанника официальной пропагандой (особенно во Франции), понимал значение личности усопшего императора:

Чудесный жребий совершился:
Угас великий человек.
В неволе мрачной закатился

Наполеона грозный век.
Исчез властитель осуждённый.
Могучий баловень побед…

Характерны эпитеты, которыми Пушкин характеризует героя своего стихотворения: «великан», «великий человек», «баловень побед», обладатель дивного и отважного ума, веривший в свой «чудный удел»; личность, обречённая на бессмертие, но не на прощение:

О ты, чьей памятью кровавой
Мир долго, долго будет полн,
Приосенён твоею славой,
Почий среди пустынных волн!
Великолепная могила…
Над урной, где твой прах лежит,
Народов ненависть почила
И луч бессмертия горит.

Поэт, разделив деяния Наполеона: тиран, которого будут помнить по пролитой им крови и его человеческие качества, призывал к примирению с тенью усопшего:

Да будет омрачён позором
Тот малодушный, кто в сей день
Безумным возмутит укором
Его развенчанную тень!

Более того, стихотворение заканчивается по существу здравицей в честь того, кто оставил вдовами и сиротами не одну сотню тысяч россиян:

Хвала!.. Он русскому народу
Высокий жребий указал
И миру вечную свободу
Из мрака ссылки завещал.

Этими строками Пушкин наводил современников на мысли о том, что дала стране титаническая борьба с Наполеоном. Прежде всего — рост её политического престижа. Российская империя заняла подобающее ей место в мировой политике как великая

держава. Потрясения 1812 года способствовали пробуждению национального самосознания русского общества, его нравственному раскрепощению и росту вольномыслия, к чему очень и очень был склонен гениальный поэт. А рост самосознания, в свою очередь, способствовал расцвету русской культуры, давшей миру десятки великих писателей, художников, композиторов и артистов.

Что касается самого Пушкина, то тема Наполеона вывела его лирику на мировые просторы и раскрыла в нём поэта- историка.

«И делу своему владыка сам дивился» На рубеже 1823–1824 годов Пушкин работал над стихотворением «Недвижный страж»:

Недвижный страж дремал на царственном
пороге,
Владыка севера один в своём чертоге
Безмолвно бодрствовал, и жребии земли
В увенчанной главе стеснённые лежали,
Чредою выпадали
И миру тихую неволю в дар несли, —

И делу своему владыка сам дивился,
Се благо, думал он, и взор его носился
От Тибровых валов до Вислы и Невы,
От сарскосельских лип до башен Гибралтара:
Всё молча ждёт удара,
Всё пало — под ярем склонились все главы.

«Недвижный страж» и «владыка севера» — это русский император, только что вернувшийся с очередного конгресса Священного союза, который простёр кипучию деятельность от своей летней резиденции (Царского Села) до бурных вод Атлантического океана. Александр I, сыгравший руководящую роль в Союзе, доволен: «Се благо». Что именно? Читайте:

«Свершилось! — молвил он. — Давно ль народы мира
Паденье славили великого кумира,
Давно ли ветхая Европа свирепела?
Надеждой новою Германия кипела,
Шаталась Австрия, Неаполь восставал,
За Пиренеями давно ль судьбой народа,
Уж правила свобода,
И самовластие лишь север укрывал?»

В одну строфу стихотворения вмещена треть века истории Западной Европы — от французской революции с террором якобинцев до революционных движений начала 1820-х годов в Греции, Неаполитанском королевстве и Испании. И в этот исторический период «самовластие лишь север укрывал», то есть Россия. И «се благо»!

Александр I

Пушкин с иронией вставил в текст второй строфы это библейское выражение: «И увидел Бог всё, что Он создал, и вот, хорошо весьма… *Се благо*, думал Он, и взор его носился» (Бытие I: 31, II, 310).

Размышления «владыки севера» полны мстительного торжества:

> «Давно ль — и где же вы, зиждители свободы?
> Ну что ж, витийствуйте, ищите прав природы.
> Волнуйте, мудрецы, безумную толпу —
> Вот кесарь — где же Брут? О грозные витии,
> Целуйте жезл России
> И вас поправшую железную стопу».

Для самодержца народ — безумная толпа, из среды которой временами выделяются говоруны, которые не способны на

реальное действие, требующее мужества и жертвенности.

А потому их (народов) удел целовать «жезл России», то есть благоговейно склониться под поправшую их силу («железную стопу»). Но неожиданно столь бодрящие размышления «недвижимого стража» Европы встревожил неведомо откуда повеявший дух, и «владыку севера» объял мгновенный хлад; «раздался бой полночи», и перед ним предстал незваный гость:

То был сей чудный муж, посланник провиденья,
Свершитель роковой безвестного веленья,
Сей всадник, перед кем склонилися цари,
Мятежной вольности наследник и убийца,
Сей хладный кровопийца,
Сей царь, исчезнувший, как сон, как тень зари.

В посланнике проведения легко узнаётся император Наполеон, пришедший к власти после вакханалии революции и ввергший Европу в череду кровопролитных войн, завершившихся отречением от престола и ссылкой на остров Святой Елены. Человек чрезвычайно деятельный, он был обречён на медленное умирание, будучи отлучён от своих многогранных обязанностей по умиротворению и управлению покорёнными государствами, что весьма отрицательно сказалось на его физическом состоянии:

Ни тучной праздности ленивые морщины,
Ни поступь тяжкая, ни ранние седины,
Ни пламя бледное нахмуренных очей
Не обличали в нём изгнанного героя,
Мучением покоя
В морях казнённого по манию царей.

То есть перед торжествующим «владыкой севера» предстал отнюдь не мученик злорадствующих монархов Европы:

Нет, чудный взор его, живой, неуловимый,
То вдаль затерянный, то вдруг неотразимый,
Как боевой Перун, как молния сверкал;
Во цвете здравия и мужества и мощи,
Владыке полунощи
Владыка запада, грозящий, предстоял.

Таков он был, когда в равнинах Австерлица
Дружины севера гнала его десница,

И русской в первый раз пред гибелью бежал,
Таков он был, когда с победным договором,
И с миром, и с позором
Пред юным он царём в Тильзите предстоял.

Стихотворение «Недвижный страж» осталось незаконченным, но и из того, что мы имеем, можно сделать некоторые выводы. Обоих императоров (и здравствовавшего, и усопшего) Пушкин представил на вершине их могущества. Но первый из них — фактический душитель революционных движений в Европе, а второй — воин с чудным взором, «живой, неуловимый», «грозящий», такой, каким был в дни своих высших торжеств — при Аустерлице и в Тильзите.

В сражении при Аустерлице Наполеон наголову разгромил союзную русско-австрийскую армию. Русские потеряли 21 тысячу человек убитыми и пленными, 199 орудий, французы — до 12 тысяч человек. Среди пленных оказались восемь русских генералов. Александр I бежал с поля битвы. С ним были врач, берейтор[30], конюший и два лейб-гусара. Когда царь остался с одним гусаром, он слез с лошади, сел под дерево и разрыдался — это было первое с Нарвы генеральное сражение, проигранное русскими, и, конечно, реакция в стране была на случившееся самая негативная.

В 1807 году в Тильзите был заключён довольно приемлемый для России мир. Но и там Александр I умудрился получить оплеуху. Перед расставанием императоры обменялись высшими наградами своих держав. Царь попросил орден Почётного легиона для генерала Л. Л. Беннигсена. Наполеон, не называя причины, отказал (как он говорил позднее, ему «было противно, что сын просит награду для убийцы своего отца»). Александр изменился в лице, поняв свой промах (кстати, это был второй случай, когда Наполеон напоминал царю о кровавом пятне в его венценосной биографии).

Великий поэт явно отдавал предпочтение Наполеону, для него он герой «во цвете здравия и мужества и мощи». Александр же — лживый, подлый и коварный неудачник, волей случая вознесённый на самый верх монархического олимпа Европы. Он душитель свободы народов, которые для него всего лишь «безумная толпа». А для Пушкина понятие «свобода» было священно, поэтому такое обострённое неприятие им императора Александра I, главного организатора и руководителя Священного союза, подавившего народные движения начала 1820-х годов.

Пожалуй, нигде и никогда осуждение Александра за его

негативную роль в подавлении либерального движения в Европе не звучало у Пушкина столь определённо, как в стихотворении «Недвижный страж». На фоне демонстративного и наглого попрания царём воли народов даже Наполеон, оставивший после себя гекатомбы трупов, оказался для Пушкина фигурой более предпочтительной, чем правитель собственной страны. Для поэта Наполеон — венчанный воин, строитель мировой империи на основе великих идей французской революции.

* * *

Неординарному взгляду поэта на исторические фигуры его времени способствовало и кишинёвское окружение. Это были люди, испытавшие на себе героику и драму событий 1805–1815 годов, сами проявившие и мужество, и отвагу, и бескорыстие.

«Одно думали, одно любили». Н. С. Алексеев (1788–1854) был чиновником для особых поручений при генерале И. Н. Инзове. В Кишинёве находился с 1818 года и ввёл молодого поэта в круг чиновников и военных города. И. П. Липранди писал о нём: «Коллежский секретарь Николай Степанович Алексеев был вполне достоин дружеских к нему отношений Александра Сергеевича. У них были общие знакомые в Петербурге, в Москве и Кишинёве. Русская и французская литература не были ему чужды. Словом, из гражданских чиновников он был один, в лице которого Пушкин мог видеть в Кишинёве подобие образованным столичным людям, которых он привык видеть».

Алексеев участвовал в Отечественной войне, в чине майора вышел в отставку. По свидетельствам современников, Николай Степанович частенько рассказывал Пушкину о различных эпизодах грозы 1812 года. Он тщательно собирал все рукописные произведения поэта и составил из них довольно солидный сборник. Даже объект увлечений одно время у них был один — Марья Егоровна Эйхфельдт («Еврейка»). Успокаивая своего невольного соперника, Александр Сергеевич писал:

Не притворяйся, милый друг,
Соперник мой широкоплечий!
Тебе не страшен лиры звук,
Ни элегические речи.
Дай руку мне: ты не ревнив,
Я слишком ветрен и ленив,
Твоя красавица не дура;

Я вижу всё и не сержусь:
Она прелестная Лаура,
Да я в Петрарки не гожусь.

Это был период в жизни Пушкина, о котором он говорил:

Я позабыл любви призывы
И плен опасной красоты;
Свободы друг миролюбивый,
В толпе красавиц молодых
Я, равнодушный и ленивый,
Своих богов не вижу в них.

Мотив разочарования в женщинах, взгляд на любовные страсти глазами многоопытного мужа, которому уже наскучили амурные приключения, звучит и в другом стихотворении, посвящённом Алексееву:

Я был рождён для наслажденья,
В моей утраченной весне
Как мало нужно было мне
Для милых снов воображенья.
Зачем же в цвете юных лет
Мне изменило сладострастье?
Зачем же вдруг увяло счастье
И ни к чему надежды нет?..

Пушкин был весьма непостоянен в своих чувствах. Период разочарования в жизни и отрицания счастья в любви и дружбе быстро канул в Лету. 12 ноября 1821 года Екатерина Орлова (Раевская) сообщала брату: «Пушкин больше не корчит из себя жестокого. Он часто приходит к нам и рассуждает или болтает очень приятно».

Алексеев был поверенным поэтических замыслов Пушкина. Он составил рукописный сборник сочинений Александра Сергеевича. В нём сохранилось аккуратно переписанное первое историческое сочинение поэта «Заметки по русской истории XVIII века». Там сберегались антиклерикальная поэма «Гаврилиада», антимонархический ноэль «Ура! В Россию скачет кочующий деспот» и письма Пушкина к И. П. Липранди. Всё это — свидетельство безраздельного доверия Александра Сергеевича кишинёвскому другу, который говорил:

— Мы некогда жили вместе, часто одно думали, одно делали и почти — одно любили; иногда ссорились, но расстались друзьями.

С переездом Пушкина в Одессу связь его с Алексеевым ослабла, а на период ссылки в Михайловское вообще прервалась. Первую весточку из Кишинёва Александр Сергеевич получил в ноябре 1826 года. «С какою завистью воображаю я московских моих знакомых, имеющих случай часто тебя видеть, — писал ему Николай Степанович, — с каким удовольствием хотел бы я быть на их месте; как бы желал я позавтракать с тобою в одной из московских ресторацій и за стаканом бургонского пройти трёхлетнюю кишинёвскую жизнь, весьма занимательную для нас разными происшествиями. Я имел многих приятелей, но в обществе с тобою я себя лучше чувствовал, и мы, кажется оба понимали друг друга; несмотря на названия „лукавый соперник“ и „чёрный друг“, я могу сказать, что мы были друзья-соперники и жили приятно! Теперь сцена кишинёвская опустела, и я остался один на месте, чтоб как очевидный свидетель всего былого, мог со временем передать потомству и мысли, и дела наши».

Пушкин был чрезвычайно рад полученному письму и поспешил ответить другу: «Не могу изъяснить тебе моего чувства при получении твоего письма. Твой почерк опрятный и чопорный, кишинёвские звуки, берег Быка, Еврейка, Соловкина, Калипсо. Милый мой, ты возвратил меня Бессарабии! Я опять в своих развалинах — в моей тёмной комнате, перед решётчатым окном, или у тебя, мой милый, в светлой чистой избушке.

Опять рейнвейн, опять Champan, и Пущин, и Варфоломей, и всё… Как ты умён, что написал ко мне первый! Мне бы эта счастливая мысль никогда в голову не пришла, хоть и часто о тебе вспоминаю и жалею, что не могу ни бесить тебя, ни наблюдать твои манёвры вокруг острога. Был я в Москве и думал: авось Бог милостив, увижу где-нибудь чинно сидящего моего чёрного друга или в креслах театральных, или в ресторации за бутылкой. Нет — так и уехал во Псков — так и теперь опять еду в белокаменную. Надежды нет иль очень мало. По крайней мере пиши же мне почаще, а я за новости кишинёвские стану тебя потчевать новостями московскими. Буду тебе сводничать старых твоих любовниц — чай, дьявольски состарились. Напиши кто? Я готов доныне идти по твоим следам, утешаясь мыслию, что орогачу друга. Липранди обнимаю дружески…».

На службе Алексеев не преуспел, так как не хотел заискивать перед начальством и вымогать то, что заработал честным трудом. «Ты, может быть, захочешь узнать, почему я живу здесь так долго, — писал он Александру Сергеевичу, — но я ничего сказать

тебе не в состоянии, какая-то тягостная лень душою овладела! Счастье по службе ко мне было постоянно: за все поручения, мною выполненные с усердием, полу-милорд[31] наградил меня благодарностью и несколько раз пожатием руки; чины же и кресты зависели от окружающих, коих нужно было просить, а я сохранил свою гордость и не подвинулся ни на шаг. Теперь его чёрт взял, он отправился в Англию, но я ожидаю способов возвратиться в Москву белокаменную и соединиться с друзьями» (37,138).

К сожалению, письма, как и сейчас, терялись. Сохранилось только два письма Пушкина к другу молодости. В конце декабря 1830 года Александр Сергеевич корил его: «Мой милый, как несправедливы твои упрёки моей забывчивости и лени! Из писем твоих вижу я, душа моя, что мои до тебя не доходят. Не знаю, кого винить, но я писал к тебе несколько раз или (чтоб не солгать) два раза — стихами и прозою, как бывало в старину.

Ты пишешь, что ты постарел, мой вечно юный; желал бы посмотреть на твою лысину и морщины. Вероятно, и ты не узнал бы меня: я оброс бакенбардами, остригся под гребешок — остепенился, обрюзг. Но это ещё ничего. Я сговорен, душа моя, сговорен и женюсь! И непременно дам тебе знать, что такое женатая жизнь.

Пиши мне, мой милый, о тех местах, где ты скучаешь, но которые сделались уже милы моему воображению, — о берегах Быка, о Кишинёве и красавицах, вероятно, состарившихся, о еврейке, которую так долго и так упорно таил ты от меня, своего чёрного друга, словом, обо всех близких моему воспоминанию, женщинах и мужчинах, живых и мёртвых».

Алексеев поспешил ответить. В январе 1831 года он писал: «И письмо твоё, любезный Пушкин, и твоё милое воспоминание, всё оживило закатившуюся мою молодость и обратило меня к временам протёкшим, в кои так сладко текла наша жизнь и утекала. Если она не обильна была блеском и пышностию, то разными происшествиями может украсить несколько страниц нашего романа!

Ты переменяешь своё положение! Поздравляю тебя! Не вхожу в расчёты, заставляющие тебя откинуть беспечную холостую жизнь; желаю тебе только неизменных чувств к своим друзьям. Судьба может ещё соединить нас, и, может быть, весьма скоро, тогда я потребую от тебя прежнего расположения и искренности, и за чашей, в края коей вольётся полная бутылка, мы учиним взаимную исповедь во всех наших действиях и помышлениях».

Николай Степанович просил Пушкина прислать ему трагедию «Борис Годунов» и роман «Евгений Онегин», которые имели для

него двойную цену, ибо он начал забывать по-русски. Последнее обстоятельство было связано с тем, что он находился в Бухаресте, устроившись под «крыло» П. Д. Киселёва, делавшего успешную карьеру.

В середине 1830-х годов Алексеев начал работу над воспоминаниями о своей жизни, о чём уведомлял старого друга в одном из последних писем: «В скором времени я обещаю тебе сообщить некоторую часть моих записок, то есть эпоху кишинёвской жизни. Они сами по себе ничтожны, но, с присоединением к твоим, могу представить нечто занимательное, потому что волей или неволей, но наши имена не раз должны столкнуться на пути жизни» (37, 147).

Николай Степанович просил у Пушкина экземпляр его «Истории Пугачёвского бунта» с автографом. Александр Сергеевич выполнил просьбу друга: книга такая сохранилась в библиотеке поэта, не дойдя по назначению.

…Старый воин дожил до начала Крымской войны. Стихотворения и другие произведения великого друга, собранные в один толстый том, он передал на хранение брату, и они дошли до нас. Но не только в этом состоял смысл жизни скромного товарища молодых лет поэта.

— Моё самолюбивое желание было, — признавался он, — чтоб через несколько лет сказали: Пушкин был приятель Алексеева, который, не равняясь с ним ни в славе, ни в познаниях, превосходил всех чувствами привязанности к нему.

Последнее «сражение». Его звали Алексеем Петровичем, и был он почтмейстером. Но это в годы пребывания в Кишинёве Пушкина, а до этого… «Полковник Алексеев просил начальство не о том, как иные, чтоб его наградили чином, но о том, чтобы избавить его от подобной награды, ибо с повышением в гражданский чин, по тогдашнему положению, он лишался военного мундира», — писал современник.

А для Алексея Петровича это было смерти подобно. Георгиевский кавалер до того любил свой драгунский мундир, что повсюду являлся одетым в полную форму, ни на минуту не забывая о своём полке, с которым годы делил опасности и славу. О каждой своей награде (кресте) он мог точно рассказать, где, когда и при каких обстоятельствах получил оную. Дивизионный квартирмейстер при штабе 16-й дивизии В. П. Горчаков вспоминал:

— Пушкин, по преимуществу уважавший самоотвержение и неподдельную отвагу, с наслаждением выслушивал все рассказы Алексеева, как участника в битвах при Бородине и на высотах

Монмартра.

Горчаков называл Алексея Петровича старым служакой; по-видимому, он был в достаточно солидном возрасте, но своих качеств бойца и командира не растерял.

По Молдавии бродили шайки грабителей — талгари, которые спокойно обирали сельское население и маленькие городки, требуя с них дань. В основном это были несостоявшиеся борцы за свободу из разгромленных турками отрядов Ипсиланти. Среди них отличалась шайка талгаря Урсула.

Как-то эти молодцы ограбили близ Кишинёва купца и поехали пировать. Устроились в корчме при въезде в город. Там и застал их потерпевший, который поднял шум:

— Талгари! Талгари!

Сбежался народ. Быстро сориентировался почтмейстер Алексеев. Подняв сотрудников почты, он окружил корчму. Бесшабашные талгари вскочили на лошадей и кинулись из Кишинёва по Булгарской улице, которая вела к огородам, принадлежавших разным владельцам и разделённых изгородями. Лихие наездники без затруднений перелетали через плетни, но загородок было много и лошади падали одна за другой. Преследователи, как пчёлы, облепляли талгаров и связывали их. Очевидец вспоминал:

— На окованного Урсула съезжался смотреть весь город. Это был образец зверства и ожесточения. Когда его наказали, он не давался лечить себя, лежал, осыпанный червями, но не охал.

Пленение одного из самых опасных предводителей талгаров было последним сражением, данным старым служакой и выигранным вчистую без оружия и предварительной подготовки.

Писатель А. Ф. Вельтман, бывший свидетелем этой истории, полагал, что она послужила для Пушкина толчком к созданию поэмы «Братья разбойники»: «Я уверен, — писал он, — что Урсул подал Пушкину мысль написать картину „Разбойники“, в которой он подражал рассказу Байрона в „Шильонском узнике“».

Иного мнения был местный журналист и краевед Мекленбурцов: «В Мандрыковке, близ реки Днепра, находилась тюрьма, из которой во время пребывания поэта бежали два брата-арестанта, побочные дети помещика Засорина, о которых Александр Сергеевич и написал известную поэму „Братья разбойники“. Ныне усадьба принадлежит г. Кулабухову, у которого и имеются на всё изложенное данные» (68, 499).

Правильнее, по-видимому, предположить, что сюжетом для поэмы послужили не только конкретный случай, а народный фольклор и исторические предания. Не случайно Пушкин сделал местом действия поэмы не скромную речушку Бык, а величавую и

могучую Волгу:

Не стая воронов слеталась
На груды тлеющих костей,
За Волгой, ночью, вкруг огней
Удалых шайка собиралась.
Какая смесь одежд и лиц,
Племён, наречий, состояний!
Из хат, из келий, из темниц
Они стеклися для стяжаний!
Здесь цель одна для всех сердец —
Живут без власти, без закона…

Первый декабрист. В формуляре[32] Владимира Федосеевича Раевского есть такой вопрос: «Во время службы своей в походах и у дела против неприятеля где и когда был?». Ответ: «1812 года в российских пределах при отражении вторгнувшегося неприятеля: против французских и союзных с ними войск августа 7-го под селением Барыкино, 26-го — под селом Бородино». Позднее Раевский писал о втором из названных им дней:

— Я составлял единицу в общей численности. Мы или, вернее сказать, все вступили в бой с охотою и ожесточением против нового Аттилы. О собственных чувствах я скажу только одно: если я слышал вдали гул пушечных выстрелов, тогда я был не свой от нетерпения и так бы и перелетел туда. Полковник это знал, и потому, где нужно было послать отдельно офицера с орудиями, он посылал меня.

Под Бородином я откомандирован был с двумя орудиями на «Горки». Под Вязьмою также я действовал отдельно, после Вязьмы — четыре орудия. Я получил за Бородино золотую шпагу с надписью «За храбрость» в чине прапорщика; Аннинскую — за Вязьму; чин подпоручика — за 22 сентября и поручика — за авангардные дела. Тогда награды не давались так щедро, как теперь. Но я искал сражений не для наград только, я чувствовал какое-то влечение к опасностям и ненависть к тирану, который осмелился вступить в наши границы, на нашу родную землю (93, 30–31).

Бородинская битва была памятна для Раевского не только почётной наградой, но и стихотворением «Песнь воинов перед сражением».

Ужель страшиться нам могилы?
И лучше ль смерти плен отцов,

Ярем и стыд отчизны милой
И власть надменных пришлецов?

— спрашивал семнадцатилетний подпоручик и так отвечал на свой вопрос:

Но, други, луч блеснул денницы,
Туман редеет по полям,
И вестник утра, гром, сторицей
Зовёт дружины к знаменам.

К мечам! Там ждёт нас подвиг славы,
Пред нами смерть, и огнь, и гром,
За нами горы тел кровавых
И враг с растерзанными челом.

Раевский участвовал в заграничном походе русской армии. В Россию вернулся возмужавшим и многое повидавшим мужем, по-новому взглянувшим на её внутреннее устройство, о чём говорил позднее:

— Из-за границы возвратился на родину уже с другими, новыми понятиями. Сотни тысяч русских своею смертью искупили свободу целой Европы. Армия, избалованная победами и славою, вместо обещанных наград и льгот подчинилась неслыханному угнетению. Усиленное взыскание недоимок, увеличившихся войною, строгость цензуры, новые наборы рекрут и проч., и проч. производили глухой ропот и сильно встревожили людей, которые ожидали обновления, улучшений, благоденствия, исцеления от тяжёлых ран своего Отечества (93, 55–56).

Пассивно ожидать благодеяний сверху было не в характере молодого офицера, и он вступил в «Союз благоденствия». В это время в чине штабс-капитана служил он в 32-м егерском полку, входившем в состав 16-й пехотной дивизии генерала М. Ф. Орлова, Штаб дивизии располагался в тихом провинциальном Кишинёве, и у Владимира Федосеевича оказалось достаточно времени, чтобы пополнить своё университетское образование. Книги, заграничные наблюдения и революции в Европе начала 1820-х годов привели Раевского к весьма радикальным взглядам, которые он выразил в «Рассуждении о рабстве крестьян»:

«Могу ли видеть порабощение народа, моих сограждан, печальные ризы сынов отчизны, всеобщий ропот, боязнь и слёзы слабых, бурное негодование и ожесточение сильных и не

сострадать им? О Брут и Вашингтон! Я не унижу себя, я не буду слабым бездушным рабом, или с презрением да произносит имя моё мой ближний!» (76, 253)

Вот с так мыслившим человеком познакомился А. С. Пушкин в Кишинёве. Офицер-патриот, член «Союза благоденствия», и поэт быстро сблизились. Их дружеские отношения обусловливались как тождеством политических взглядов, так и литературными интересами. Памятником литературных диспутов является диалог Раевского «Вечер в Кишинёве». Темой обсуждения было стихотворение Пушкина-лицеиста «Наполеон на Эльбе». В диспуте участвовали «майор» — сам Раевский и «молодой Е.» — В. П. Горчаков, горячий приверженец поэзии Александра Сергеевича. Приводим фрагмент диалога.

«Е. *(начинает читать)*:

Вечерняя заря в пучине догорала,
Над мрачной Эльбою носилась тишина,
Сквозь тучи бледные тихонько пробегала
Туманная луна.

Майор: Не бледная ли луна сквозь тучи или туман?
Е.: Это новый оборот! У тебя нет вкуса.

Уже на западе седой одетый мглою
С равниной синих вод сливался небосклон.
Один во тьме ночной над дикою скалою
Сидел Наполеон.

Майор: Не ослушался ли я? Повтори.
Е. *(повторяет)*.
Майор: Ну, любезный, высоко ж взмостился Наполеон! На скале сидеть можно, но над скалою… Слишком странная фигура!
Е.: Ты несносен… *(читает)*

Он новую в мечтах Европе цепь ковал.
И, к дымным берегам возведши взор угрюмый,
Свирепо прошептал:
„Вокруг меня всё мёртвым сном почило,
Легла в туман пучина бурных волн…“

Майор: Ночью смотреть на другой берег! Шептать свирепо! Ложиться в туман пучины волн! Это хаос букв! А грамматики

вовсе нет! В настоящем времени и настоящее действие не говорится в прошедшем. „Почило“ тут весьма неудачно!..

Е.: Не мешайте, господа. Я перестану читать.

Майор: Читай! Читай!

Е.: *(читает)*

Я здесь один мятежной думы полн…
О скоро ли, напенясь под рулями, —
Меня помчит покорная волна.

Майор: Видно, господин певец никогда не ездил по морю. Волна не пенится под рулём — под носом.

Е.: *(читает)*

И спящих вод прервётся тишина.
Волнуйся, ночь, над эльбскими скалами.

Майор: Повтори… Ну, любезный друг, ты хорошо читаешь, он хорошо пишет, но я слушать не могу! На Эльбе ни одной скалы нет» (68, 368–369).

Раевский и Пушкин часто встречались на квартире полковника И. П. Липранди. «Пушкин как строптив и вспыльчив ни был, — вспоминал Иван Петрович, — но часто выслушивал от Раевского под весёлую руку обоих довольно резкие выражения и далеко не обижался, а напротив, казалось, искал выслушивать бойкую речь Раевского». Эти бурные споры помогли Александру Сергеевичу с должной критикой взглянуть на литературную школу Карамзина, способствовали они и общему развитию молодого поэта. У Липранди не играли в карты, не танцевали, а шли шумная беседа, спор, и всегда о чём-либо дельном.

5 декабря 1821 года в 16-й дивизии восстали солдаты Камчатского пехотного полка. Расследование случившегося было поручено И. В. Сабанееву, командиру 6-го корпуса, в состав которого входила эта дивизия. Вскоре был арестован В. Ф. Раевский. «1822 года, февраля 5-го, в 9 часов пополудни, — вспоминал Владимир Федосеевич, — кто-то постучался у моих дверей. Арнаут, который стоял в безмолвии передо мною, вышел встретить или узнать, кто пришёл. Я курил трубку, лёжа на диване.

— Здравствуй, душа моя! — сказал мне, войдя, весьма торопливо и изменившимся голосом Александр Сергеевич Пушкин.

— Здравствуй, что нового?

— Новость есть, но дурная. Вот почему я прибежал к тебе.

— Доброго я ничего ожидать не могу после бесчеловечных пыток Сабанеева… но что такое?

— Вот что: Сабанеев сейчас уехал от генерала[33]. Я не охотник подслушивать, но, слыша твоё имя, часто повторяемое, я, признаюсь, согрешил — прислонил ухо. Сабанеев утверждал, что тебя непременно надо арестовать. Наш Инзушко, ты знаешь, как он тебя любит, отстаивал тебя горою. Долго ещё продолжался разговор, я многого недослышал, но из последних слов Сабанеева ясно уразумел, что ему приказано, что ничего открыть нельзя, пока ты не арестован.

— Спасибо, — сказал я Пушкину, — я этого почти ожидал! Но арестовать штаб-офицера по одним подозрениям отзывается какой-то турецкой расправой. Впрочем, что будет, то будет.

Пушкин смотрел на меня во все глаза.

— Ах, Раевский! Позволь мне обнять тебя!

— Ты не гречанка[34], — сказал я». (68, 370)

На следующий день Владимир Федосеевич был арестован, а через неделю препровождён в Тираспольскую крепость, где четыре года находился под следствием. В июле Пушкину передали его стихотворение «К друзьям», в котором узник призывал поэта:

Оставь другим певцам любовь!
Любовь ли петь, где брызжет кровь,
Где племя чуждое с улыбкой
Терзает нас кровавой пыткой,
Где слово, мысль, невольный взор
Влекут, как ясный заговор,
Как преступление, на плаху.
И где народ, подвластный страху,
Не смеет шёпотом роптать.

Ответом от Александра Сергеевича стало послание «В. П. Раевскому»:

Не тем горжусь я, мой певец,
Что привлекать умел стихами
Вниманье пламенных сердец,
Играя смехом и слезами,
Не тем горжусь, что иногда
Мои коварные напевы
Смиряли в мыслях юной девы
Волненье страха и стыда.

Не тем, что у столба сатиры
Разврат и злобу я казнил, И что грозящий голос лиры
Неправду в ужас приводил.

Поскольку Раевский находился под следствием, охрана его была не слишком строгой, и вскоре Александр Сергеевич получил от него второе стихотворение — «Певец в темнице»:

О мира чёрного жилец!
Сочти все прошлые минуты.
Быть может, близок твой конец
И перелом судьбины лютой!

Ты знал ли радость — светлый мир,
Души награду непорочной?
Что составляло твой кумир —
Добро иль гул хвалы непрочной?

Читал ли девы молодой
Любовь во взорах сквозь ресницы?
В усталом сне её с тобой
Встречал ли яркий луч денницы?..

Стихотворение «Певец в темнице» Пушкин получил через Липранди и, конечно, прочитал его Ивану Петровичу. «Начав читать, он заметил, что Раевский упорно хочет брать всё из русской истории, что и тут он нашёл возможность упоминать о Новгороде и Пскове, о Марфе Посаднице и Вадиме и вдруг остановился.

— Как это хорошо, как это сильно; мысль эта мне нигде не встречалась; она давно вертелась в моей голове, но это не в моём роде, это в роде Тираспольской крепости, а хорошо.

На мой вопрос, что ему так понравилось, он отвечал, чтобы я подождал. Окончив, он сел ближе ко мне и прочитал следующее:

Как истукан, немой народ
Под игом дремлет в тайном страхе:
Над ним бичей кровавый род
И мысль и взор казнит на плахе.

Он повторил последнюю строчку и прибавил, вздохнув:

— После таких стихов нескоро мы увидим этого спартанца».

На «Певца в темнице» Пушкин ответил вторым посланием «В. Ф. Раевскому». В нём Александр Сергеевич признавал, что в его жизни были и наслаждение творчеством, и любовь, и дружба, и упоение славой, но…

Но всё прошло! — остыла в сердце кровь.
В их наготе я ныне вижу
И свет, и жизнь, и дружбу, и любовь,
И мрачный опыт ненавижу…

Везде ярем, секира иль венец,
Везде злодей иль малодушный,
А человек везде тиран иль льстец,
Иль предрассудков раб послушный.

На содержании этого послания отразилась политическая обстановка начала 1820-х годов: поражение национально-освободительных движений в Западной Европе, подавление восстания Семёновского полка в Петербурге и разгром очага кишинёвских вольнодумцев. Всё говорило о торжестве реакции в России и за её пределами. Сказались, конечно, и переживания Пушкина за друга. А Раевский писал ему и его окружению:

Итак, я здесь… за стражей я…
Дойдут ли звуки из темницы
Моей расстроенной цевницы
Туда, где вы, мои друзья?
Ещё в полусвободной доле
Дар Гебы пьёте вы, а я
Утратил жизни цвет в неволе,
И меркнет здесь заря моя!

Раевского обвиняли в пропаганде конституционного правления, свободы и равенства; в похвалам восстанию Семёновского полка в Петербурге; в дружеском обращении с нижними чинами и объяснении им слова «тиранство»; в подготовке солдат к побегу за Днестр, пограничную реку России; в критике действий командира корпуса генерала И. В. Сабанеева. 23 марта 1823 года судьи подписали сентенцию (приговор): «Майора Раевского лишить живота». Сабанеев предложил более приемлемый вариант: ссылка в Соловецкий монастырь или удаление со службы с отдачей под строгий полицейский надзор.

Раевский весьма аргументированно опротестовал сентенцию

корпусного суда, и решение о его судьбе было передано в Петербург. В большом стихотворении «К друзьям в Кишинёве» Владимир Фёдосеевич так описал судебное разбирательство:

Грозил мне смертным приговором
«По воле царской» трибунал.
«По воле царской?» — я сказал,
И дал ответ понятным взором.
И этот чёрный трибунал
Искал не правды обнажённой,
Он двух свидетелей искал
И их нашёл в толпе презренной.
Напрасно голос громовой
Мне верной чести боевой
В мою защиту отзывался,
Сей голос смелый пред судом
Был назван тайным мятежом
И в подозрении остался…

Отрицание Раевским правомочности корпусного суда осложнило и чрезвычайно затянуло рассмотрения дела Раевского.

«Брюхом хочется видеть его». И. П. Липранди (1790–1880) с семнадцати лет вёл дневник, который вмещал в себя «все впечатления дня до мельчайших и самых разных подробностей, никогда не предназначавшихся к печати». А дневники были прелюбопытнейшие: Иван Петрович участвовал в Русско-шведской войне 1808–1809 годов, в Отечественной войне и заграничных походах русской армии. За воинские отличия удостоился ордена Анны III степени, знака военного ордена Святого Георгия и золотой шпаги «За храбрость».

И в дальнейшем скучать Липранди не приходилось: отчаянный дуэлянт в молодости, серьёзный учёный в зрелые годы и всегда масса интересных знакомств; в 1820 году — с А. С. Пушкиным: «Пушкин приехал в Кишинёв 21 сентября, а 22-го я возвратился из Бендер, где пробыл три дня, и в тот же вечер, в клубе, увидев новое вошедшее лицо с адъютантом Инзова, майором Малевинским, спросил его о нём и получил ответ, что это Пушкин, вчера прибывший в штат генерала.

23-го числа я обедал с ним у М. Ф. Орлова и здесь только узнал, какой это Пушкин. С этого дня началось наше знакомство» (68, 301).

Подполковник и поэт быстро сблизились. Игрок и учёный, бретер и книголюб, радикальный политик и замечательный

лингвист, Липранди с первых же встреч заинтересовал Александра Сергеевича. В. П. Горчаков вспоминал:

— Нередко по вечерам мы сходились у Липранди, который своею особенностью не мог не привлекать Пушкина. В приёмах, действиях, рассказах и образе жизни подполковника много было чего-то поэтического, не говоря уже о его способностях, остроте ума и сведениях.

Горчакову вторит другой мемуарист, А. Ф. Вельтман:

— Чаще всего я видел Пушкина у Липранди, человека вполне оригинального по острому уму и жизни. К нему собиралась вся военная молодёжь, в кругу которой бывал Пушкин.

Другими местами встреч офицеров были дома генералов Д. Н. Бологовского и М. Ф. Орлова. Липранди вспоминал: «Случилось, что мы обедали у Дмитрия Николаевича. Тут был его бригады подполковник Дережинский, о производстве которого в тот день получен приказ. После обычного сытного с обилием разных вин из Одессы обеда хозяин приказал подать ещё шампанского, присовокупив, что позабыл выпить за здоровье нового подполковника. Здоровье было выпито, бокалы были дополнены. Вдруг, никак неожиданно, Пушкин, приподнявшись несколько, произнёс:

— Дмитрий Николаевич! Ваше здоровье.

— Это за что? — спросил генерал.

— Сегодня 11 марта, — отвечал полуосоловевший Пушкин… Никто сразу не сообразил, что Александр Сергеевич напомнил генералу день убийства императора Павла I, в заговоре против которого был Бологоловский. Генерал несколько смешался, но тут же нашёлся и пояснил собравшимся, что сегодня день рождения его племянницы. Разговор замяли, но хозяин, как выразился Липранди, был не в своей тарелке. Пушкин опомнился и на следующий день пришёл с извинениями, браня свой язык».

На одном из обедов у М. Ф. Орлова Александр Сергеевич познакомился с П. И. Пестелем, будущим руководителем Южного общества декабристов, и сразу проникся к нему неприязнью. Сделав вид, что не знает, чей это сын, спросил во всеуслышание:

— Не родня ли сибирскому злодею?[35]

Михаил Фёдорович улыбнулся и погрозил озорнику пальцем.

Липранди Александр Сергеевич говорил, что Пестель ему не нравится, «несмотря на его ум, который он искал выказывать философическими сентенциями».

Темы бесед за генеральскими столами, как правило, в основном вертелись вокруг недавних войн и их героев, что Пушкина чрезвычайно занимало.

В первый год пребывания на юге Пушкина особенно

привлекала судьба римского поэта Овидия Назона, сосланного в 8 году н. э. императором Августом в Томи, город соседствовавший с Бессарабией. «Твой безотрадный плач места сии прославил, и лиры нежный глас ещё не онемел», — заверял поэт нового времени страдальца древности. Своё положение в Кишинёве Пушкин приравнивал к ссылке, и духовно это сближало его с Овидием:

Увы, среди толпы затерянный певец,
Безвестен буду я для новых поколений,
И, жертва тёмная, умрёт мой слабый гений
С печальной жизнию, с минутною молвой!
Но если, обо мне потомок поздний мой
Узнав, придёт искать в стране сей отдалённой
Близ праха славного мой след уединённый —
Брегов забвения оставя хладну сень,
К нему слетит моя признательная тень,
И будет мило мне его воспоминанье.

По наблюдениям Липранди, Александр Сергеевич любил сравнивать себя с Овидием и, что интересно, как бы жил, сосуществовал с ним в одном времени:

Овидий, я живу близ тихих берегов,
Которым изгнанных отеческих богов
Ты некогда принёс и пепел свой оставил.
Твой безотрадный плач места сии прославил…
Суровый славянин, я слёз не проливал,
Но понимаю их; изгнанник самовольный,
И светом, и собой, и жизнью недовольный,
С душой задумчивой, я ныне посетил
Страну, где грустный век ты некогда влачил.
Здесь, оживив тобой мечты воображенья,
Я повторил твои, Овидий, песнопенья…

За генеральскими столами Пушкин не особо распространялся на литературные темы, душу отводил в узком кругу, в который входили А. Ф. Вельтман, А. Ф. Раевский, В. П. Горчаков, Н. С. Алексеев и И. П. Липранди. К последнему питал приятельские чувства за «учёность истинную», сочетавшуюся «с отличными достоинствами военного человека».

Александр Сергеевич пользовался его библиотекой, много и часто беседовал с ним. Иван Петрович сообщил сюжеты, на

которые поэт написал повести «Дука, молдавское предание XVII века» и «Дафна и Дабижа, молдавское предание 1663 года». Липранди послужил Пушкину прототипом Сильвио в повести «Выстрел». «Ему было около 35 лет, и мы за то почитали его стариком. Опытность давала ему перед нами многие преимущества; к тому же его обыкновенная угрюмость, крутой нрав и злой язык имели сильное влияние на молодые наши умы. Какая-то таинственность окружала его судьбу; он казался русским, а носил иностранное имя. Никто не знал ни его состояния, ни его доходов, и никто не осмеливался о том его спрашивать. У него водились книги, большею частию военные, да романы. Он охотно давал их читать, никогда не требуя их назад; зато никогда не возвращал хозяину книги, им занятой».

После 1824 года поэт и воин больше не встречались, но активно переписывались. К сожалению, эта корреспонденция не сохранилась. Но не раз упоминал Пушкин Ивана Петровича в письмах к другим адресатам. Вот некоторые из них.

Пушкин — Вяземскому, 2 января 1822 г.: «Он мне добрый приятель и (верная порука за честь и ум) нелюбим нашим правительством и, в свою очередь, не любит его».

Пушкин — Алексееву, 1 декабря 1826 г.: «Липранди обнимаю дружески, жалею, что в разные времена съездили мы на счёт казённый и не столкнулись где-нибудь».[36]

Липранди прожил долгую жизнь и всю её посвятил трудам и воспоминаниям о наполеоновских войнах, хотя участвовал и в Русско-турецкой 1828–1829 годов, и в подавлении Польского восстания (тогда же был произведён в генерал-майоры). Последние войны усилили интерес Липранди к более ранним и, несомненно, более интересным для их участников.

— Не проходило дня без воспоминаний былого, — говорил Иван Петрович о беседах с коллегами. — Мы давали друг другу свои записки… Дневники, позднейшие наброски и документы стали основой книги «Некоторые замечания, почерпнутые преимущественно из иностранных источников, о действительных причинах гибели наполеоновских полчищ в 1812 году». Причины эти не были тайной за семью печатями, и Липранди без обиняков указывал на них: «Не стихии побеждали и победили врага, но преданность к царю; постоянное мужество и строгая дисциплина занимали первое место в ряду причин, сокрушивших врага России в ту великую эпоху» (83, 111).

Книга вышла в разгар Крымской войны (1853–1856), и в предисловии к ней автор напоминал противникам России о их сравнительно недавнем историческом опыте: «Ныне Западная Европа в безумии, усиливаемом коварством её двигателей, забыв

всё, чем она неоднократно обязана была великодушию наших монархов, снова устремилась на могущество России. Напав на все оконечности нашего Отечества с баснословными армадами, она встретила то же мужество и начинает уже относить свои неудачи к подводным камням, мелям и опять к морозу, снегам и грязи».

Затем последовали другие труды по этой теме: «Краткое обозрение Отечественной войны», «Бородинское сражение», «Пятидесятилетие Бородинской битвы, или Кому и в какой степени принадлежит честь этого дня», «Опыт каталога всем отдельным сочинениям по 1872 год об Отечественной войне 1812 года».

Липранди вёл поимённый список оставшихся в живых участников событий 1812–1814 годов, собирал сведения об их неопубликованных дневниках и мемуарах, призывал записывать их рассказы. Сам написал «Воспоминания о войне 1812 года» и «Воспоминания о кампаниях 1813, 1814 и 1815 годов».

Конечно, материалы для всех этих работ накапливались не один день (начиная с дневников); и Липранди (в полном смысле этого слова) был для Пушкина неоценимым кладезем знаний по истории Отечественной войны и заграничных походов русской армии.

…В России в 1722 году было установлено деление государственных служащих на четырнадцать классов (Табель о рангах). Пушкина выпустили из лицея титулярным советников (10-й класс), а в Кишинёве он общался и вольготно себя чувствовал с лицами 4-го и 3-го классов. Звание титулярного советника соответствовало в гвардейской пехоте чину подпрапорщика. То есть, как говаривал грибоедовский полковник Скалозуб, дистанция (от подпрапорщика до генерала) — огромного размера. Что же открывало Александру Сергеевичу двери в дома генерал-майора М. Ф. Орлова и генерал-лейтенанта И. Н. Инзова? Талант! Любовь к литературе и понимание того, что в полуссыльном поэте они видели надежду и славу русской словесности, а не заурядного чиновника Коллегии иностранных дел.

«О каменщик почтенный!» П. С. Пущин (1789–1865) — участник Отечественной войны. В двадцать девять лет получил чин генерал-майора и командовал бригадой 16-й пехотной дивизии, основал в Кишинёве масонскую ложу «Овидий». 4 мая 1821 года Пушкин записал в дневнике: «Был принят в масоны», тогда же отметил это событие стихотворением «Генералу Пущину»

В дыму, в крови, сквозь тучи стрел
Теперь твоя дорога;
Но ты предвидишь свой удел,
Грядущий наш Квирога!
И скоро, скоро смолкнет брань
Средь рабского народа,
Ты молоток возьмёшь во длань
И воззовёшь: «Свобода!»
Хвалю тебя, о верный брат!
О каменщик почтенный!
О Кишинёв, о тёмный град!
Ликуй, им просвещенный!

Масонство в это время было широко распространено в аристократических кругах России. Многие оппозиционно настроенные члены общества обольщались проповедью масонов о совершенном счастье человечества посредством непрерывного обогащения себя всеми нравственными добродетелями, возвышающими душу, сердце и ум; последний — познанием наук, как средством того, чтобы помочь человечеству соорудить в мире Соломонов храм, символ совершенства и мудрости.

Пушкин со скепсисом относился к этим притязаниям масонов, да и генерал не очень-то соответствовал месту главы религиозно-нравственного общества. Сильно подорвал авторитет Пущина случай с болгарским архимандритом Ефремом.

Масонская ложа была устроена в доме, который находился в нижней части Кишинёва, недалеко от старого собора, на площади, где всегда толпились много болгар. Приезд архимандрита вызвал интерес праздной публики, а когда Ефрема с завязанными глазами повели в подвал, болгары заволновались и кинулись к двери. Она оказалась закрытой; толпа дружно навалилась и вышибла её. С торжеством вывели архимандрита наружу, сорвав масонам ритуал приёма нового члена.

Липранди вспоминал, что Пушкин неоднократно подсмеивался над главой ложи и разделял мнение генерала Д. Н. Бологоловского, что «Павел Сергеевич почёл бы себя счастливейшим, если бы опять государь перевёл его прапорщиком в гвардию, потому что, как слышал, генерал этот ведёт себя настоящим прапорщиком, забывая своё значение между молдавской сволочью».

Пожелание Дмитрия Николаевича к полной неожиданности его сослуживцев исполнилось сторицей — Павел Сергеевич был уволен из армии 20 апреля 1822 года. И. И. Долгоруков отмечал в

дневнике: «В городе разнеслась молва, что бригадный командир Пущин отставлен. Он просил отпуска и вместо того получил совершенное увольнение. Долой генеральские эполеты. Полагают, что всё это последствия сабанеевского гнева на 16-ю дивизию, а отчасти и меры, предпринимаемые против либералистов» (68, 359).

Власти не ошиблись в своих подозрениях: Павел Сергеевич был членом южной управы «Союза благоденствия»; правда, с его роспуском больше в тайных обществах не состоял, к следствию по делу оных не привлекался, хотя и попал в «Алфавит декабристов»[37].

Подавая прошение об отпуске, генерал Пущин намеревался съездить в Париж, но после отставки объявил себя несостоятельным к платёжу долгов, и пожитки его продавали с публичного торга за бесценок. Пришлось довольствоваться Одессой. После перевода туда Пушкина их встречи возобновились. Позднее Александр Сергеевич встречался с отставным генералом в Псковской губернии. Пущин проживал в деревне Жадрицы Новоржевского уезда с сестрой и супругой. 26 июля 1826 года он рассказывал правительственному агенту А. К. Бошняку о поведении поэта. Судя по дальнейшим событиям (вызов Пушкина в Москву), отзывы Павла Сергеевича о соседе не повредили ему. Больше генерал и поэт не встречались.

«Старичок Инзов». Иван Никитич не знал родителей: в пелёнках его принесли в дом князей Трубецких, которые и воспитывали ребёнка (многие считали Инзова сыном Павла I). В семнадцать лет он вступил кадетом в Сумской легкоконный полк. Боевое крещение получил в 1789 году во время войны с турками, затем участвовал в осаде Измаила и Бендер.

В 1794 году Инзов сражался в Польше и был произведён в майоры. Участвовал в Итальянском и Швейцарском походах А. В. Суворова. В сражении при Нови заменил тяжело раненого командира, и был назначен командовать полком, с которым совершил переход через Альпы. Тогда же произведён в полковники, награждён орденами Святой Анны II степени и Святого Иоанна Иерусалимского, назначен командиром Апшеронского полка.

Этот полк был сформирован 9 июня 1724 года из частей, находившихся в персидском походе. В боевой летописи полка к концу столетия были: подавление восстания в Дагестане (1725), «Донская экспедиция» и взятие Азова (1736), походы в Крым (1736–1739), участии в войне со Швецией (1741–1743). В Семилетнюю войну полк отличился в сражениях при Гросс-

Егерсдорфе, Цорндорфе, Пальциге, Кунерсдорфе и при взятии Берлина. Затем были два похода в Польшу и две войны с Турцией, при этом во второй из них полк сражался под знамёнами А. В. Суворова при Фокшанах, Измаиле и Рымнике.

В кампании 1805 года Инзов командовал уже бригадой, затем был назначен дежурным генералом Подольской армии и тоже заслужил награды — Святой Анны I степени и Святого Владимира III степени. В начале войны 1806–1807 годов против Франции Иван Никитич прикрывал отступление русской армии к Остроленке. В последующие годы Инзов вновь участвовал в кампаниях против Турции: сражался в Галиции, осаждал Силистрию, комендантом которой вскоре стал. За успешные действия под Шумлой был награждён золотой шпагой с алмазами «За храбрость».

9 апреля 1812 года Иван Никитич возглавил 9-ю пехотную дивизию, которая сражалась под Кобрином, Городечно, Борисовом и при Березине. Награждён орденом Святого Владимира II степени.

Особенно успешным для Инзова был 1813 год. «В воздаяние отличных подвигов мужества и распорядительности» при осаде и взятии крепости Торн он был пожалован орденом Святого Георгия 3-го класса. С 28 апреля Иван Никитин — шеф Киевского гренадёрского полка, с ним в сражении при Баутцене он защищал город Прейтиц (правый фланг русской позиции), который атаковал маршал Ней. В начале июля Инзов был назначен дежурным генералом Польской армии, участвовал с ней в сражениях под Дрезденом и Лейпцигом, в осаде Магдебурга.

В кампании 1814 года Иван Никитич участвовал в осаде Гамбурга, после его падения был произведён в генерал-лейтенанты. В следующем году короткое время был начальником штаба 2-й армии, затем — командиром 18-й пехотной дивизии.

В начале 1818 года Инзова назначили главным попечителем и председателем Комитета о колонистах южного края России с пребыванием в Екатеринославе. Туда и прибыл около 20 мая 1820 года А. С. Пушкин. Его принял пожилой пехотный генерал, сухощавый, среднего роста, с крупной шарообразной головой, с большими мечтательно-голубыми глазами и очень располагающим выражением лица.

И. Н. Инзов

Прочитав письмо с тонкой психологической характеристикой молодого поэта, Иван Никитич понял, что ему нужен отдых, и разрешил поездку на Кавказские Минеральные Воды. Племянник Хераскова, воспитанник одного из последователей Новикова, друг поэта-радищевца Пнина Инзов не был чужд литературных веяний своего времени и с сочувствием отнёсся к новому сотруднику.

В июне Иван Никитич получил новое назначение — наместника Бессарабии. Местом его пребывания стал Кишинёв. Пушкин прибыл туда через четыре месяца и поселился в доме своего начальника. Дом находился в конце старого Кишинёва на вершине «Инзовой горы». Это было одно из живописнейших мест города. К дому примыкал сад с апельсиновыми и померанцевыми деревьями, не говоря уже о прекрасных виноградниках. Под склоном холма протекала река Бык, образуя небольшое озеро, вдали — горы с белеющими домиками молдаванского села. Стены дома были выкрашены масляными красками и разрисованы разными растениями. Иван Никитич любил птиц. В саду находился птичий двор с множеством канареек и других пернатых.

Молодой поэт и престарелый генерал сразу приглянулись друг другу. Пушкин был ветрен, насмешлив и беспрестанно попадал в рискованные ситуацию. Инзов предотвратил немало дуэлей Александра Сергеевича, подвергая его временному аресту или оставляя без сапог. Последняя мера пресечения проступков Пушкина была известна горожанам, и наиболее отчаянные из них

поддразнивали его: «Смотри, куконаш Пушка, будешь сидеть без сапог!»

Сам Иван Никитич жаловался, что ему с этим шалуном столько же хлопот, сколько забот по службе. Более строги были к поэту члены тайных обществ (будущие декабристы). И. И. Горбачевский вспоминал:

— Нам от Верховной Думы было запрещено знакомиться с поэтом А. С. Пушкиным, когда он жил на юге. Прямо было сказано, что он, по своему характеру и малодушию, по своей развратной жизни, сделает донос тотчас правительству о существовании тайного общества. Мне рассказывали Муравьёв-Апостолов и Бестужев-Рюмин про Пушкина такие на юге проделки, что уши и теперь краснеют (22, 185).

Для столь категоричного вывода у руководства Южного общества были немалые основания. Вот свидетельство князя П. И. Долгорукова, кишинёвского знакомого поэта: При отъезде Инзова на охоту Пушкин, «…видя себя на просторе, начал с любимого своего текста о правительстве в России. Полетели ругательства на все сословия. Штатские чиновники — подлецы и воры, генералы скоты большею частью, один класс земледельцев почтенный. На дворян русских особенно нападал Пушкин. Их надобно всех повесить, а если б это было, то он с удовольствием затягивал бы петли» (68, 361).

Между тем в Петербурге не забывали о поэте. 13 апреля 1821 года граф И. А. Каподистрия писал Инзову: «Несколько времени тому назад отправлен был к вашему превосходительству молодой Пушкин. Желательно, особливо в нынешних обстоятельствах, узнать искреннее суждение ваше, милостивый государь мой, о сем юноше, повинуется ли он теперь внушению от природы доброго сердца или порывам необузданного и вредного воображения».

Писалось это, по-видимому, по прямому указанию царя, ибо сохранился проект послания, на котором рукою Александра I начертано: «быть по сему». Что касается упоминания о «нынешних обстоятельствах», то речь здесь идёт о выступлении А. К. Ипсиланти, положившего начало борьбе за освобождение Греции от османского ига.

Инзов дал самый благоприятный отзыв о поэте: «Пушкин, живя в одном со мной доме, ведёт себя хорошо и при настоящих смутных обстоятельствах не оказывает никакого участия в сих делах. Я занял его переводом на российский язык составленных по-французски молдавских законов, и тем, равно другими упражнениями по службе, отнимаю способы к праздности. Он, побуждаясь тем духом, коим исполнены все парнасские жители к

ревностному подражанию некоторым писателям, в разговорах своих со мною обнаруживает иногда пиитические мысли. Но я уверен, что лета и время образумят его в сем случае» (22, 156–157).

То, что Иван Никитич назвал пиитическими мыслями, секретные агенты именовали более определённо: «Пушкин ругает публично и даже в кофейных домах не только военное начальство, но даже и правительство». Сам Александр Сергеевич, вспоминая своего кишинёвского покровителя, говорил позднее: «Старичок Инзов сажал меня под арест всякий раз, как мне случалось побить молдавского боярина, но зато добрый мистик в то же время приходил меня навещать и беседовать со мною об гишпанской революции». Знал бы царь, один из душителей европейских революций, о чём говорил с поднадзорным поэтом один из его высших чиновников!

С ноября 1820 года до начала марта 1821-го Пушкин пребывал в Каменке. Там он заболел, и обеспокоенный начальник «ссыльного» послал запрос хозяину усадьбы. Получив успокоительный ответ, благодарил его: «До сего времени я был в опасении о господине Пушкине, боясь, чтобы он, невзирая на жестокость бывших морозов с ветром и метелью, не отправился в путь и где-нибудь при неудобствах степных дорог не получил несчастия. Но, получив почтеннейшее письмо ваше от 15-го сего месяца, я спокоен и надеюсь, что ваше превосходительство не позволит ему предпринять путь, доколе не получит укрепления в силах».

Ощутив это «укрепление», Александр Сергеевич не поспешил возвращаться в Кишинёв, а поехал в Киев. Там он встретился с одним из своих многочисленных знакомых, который с немалым удивлением спросил, как он очутился в этом городе.

— Язык до Киева доведёт, — ответил поэт, намекая на причину своего удаления из столицы.

При неограниченном самолюбии Пушкин был крайне обидчив. Характерен случай, рассказанный Липранди: «Однажды с кем-то из греков в разговоре упомянуто было о каком-то сочинении. Пушкин просил достать его. Тот с удивлением спросил:

— Как! Вы поэт, и не знаете об этой книге?

Пушкину показалось это обидно, и он хотел вызвать возразившего на дуэль».

Инзов как отец родной всячески прикрывал и выгораживал своего подопечного. У Пушкина никогда никаких осложнений со своим благодетелем не было. Современник вспоминал: «Утром я был у Пушкина: он сидел под арестом в своей квартире, у дверей

стоял часовой.

— Здравствуй, Тепляков! Спасибо, что посетил арестанта… Поделом мне!.. Что за добрая благородная душа у Ивана Никитича! Каждый день я что-нибудь напрокажу, Иван Никитич отечески пожурит меня, отечески накажет и через день всё забудет. Скотина я, а не человек! Вчера вечером я арестован, а сегодня рано утром он уже прислал узнать о моём здоровье. И доставил мне полученные из Петербурга на моё имя письма. И последние книжки „Благонамеренного“».

Летом 1823 года, соблазнённый благами цивилизации, Пушкин перебрался в Одессу. Это удивило и уязвило Инзова.

— Зачем он меня оставил? — сетовал Иван Никитич, — ведь он послан был не к генерал-губернатору, а к попечителю колоний; никакого другого повеления об нём с тех пор не было; я бы мог, но не хотел ему препятствовать. Конечно, в Кишиневё иногда бывало ему скучно; но разве я мешал его отлучкам, его путешествиям на Кавказ, в Крым, в Киев, продолжавшимся несколько месяцев, иногда более полугода? Разве отсюда не мог он ездить в Одессу, когда бы захотел, и жить в ней, сколько угодно?

…Между тем карьера «старичка» Инзова продолжалась. С июля 1822 года он — управляющий Новороссийской губернии с оставлением в прежних должностях, через год — Новороссийский генерал-губернатор и наместник Бессарабии. В июне 1823 года произведён в генералы от инфантерии (по таблице чинов Российской империи это 2-й класс, 1-й — генерал-фельдмаршал).

Инзов был успешен и на воинском поприще, и на гражданской службе, но потомки знают его в основном в связи с личностью А. С. Пушкина, который увековечил имя Ивана Никитича в своих письмах и в миниатюре «Воображаемый разговор с Александром I». Царь якобы спрашивает у Александра Сергеевича, почему он не ужился с Воронцовым, но был дружен с Инзовым.

— Ваше величество, — отвечает поэт, — генерал Инзов добрый и почтенный старик, он русский в душе; он не предпочитает первого английского шалопая всем известным и неизвестным своим соотечественникам. Он уже не волочится, ему не восемнадцать лет от роду; страсти, если и были в нём, то уж давно погасли. Он доверяет благородству чувств, потому что сам имеет чувства благородные, не боится насмешек, потому что выше их, и никогда не подвергнется заслуженной колкости, потому что он со всеми вежлив, не опрометчив, не верит вражеским пасквилям.

После отъезда Пушкина из Кишинёва связь его с Инзовым

оборвалась, но этот добрейший человек жил в памяти и разговорах Александра Сергеевича. И не случайно друзья поэта переслали Ивану Никитичу письмо П. А. Вяземского с его раздумьями о закате солнца русской поэзии: «Главный вывод всего этого происшествия есть следующий: какое-то роковое предопределение стремило Пушкина к погибели. Разумеется, с большим благоразумием и с меньшим жаром в крови и без страстей Пушкин повёл бы это дело иначе. Но тогда могли бы мы видеть в нём, может быть, великого проповедника, великого администратора, великого математика; но, на беду, провидение дало нам в нём великого поэта. Легко со стороны и беспристрастно или бесстрастно, то есть тупо и деревянно, судить о том, что он должен был чувствовать, страдать, и в силах ли человек вынести то, что жгло, душило его, чем задыхался он, оскорблённый в нежнейших чувствах своих: в чувстве любви к жене и в чувстве ненарушимости имени и чести его, которые, как он сам говорил, принадлежали не ему одному, не одним друзьям и ближним, но России… Более всего не забывайте, что Пушкин нам, всем друзьям своим, как истинным душеприказчикам, завещал священную обязанность оградить имя жены его от клеветы… Адские козни опутали их и остаются ещё под мраком. Время, может быть, раскроет их» (390–391).

Инзов на восемь лет пережил Пушкина. На закате своей административной деятельности он успел основать в Измаильском уезде Бессарабской губернии город Болград. Там Иван Никитич и был похоронен.

«У него было в избытке всё». М. Ф. Орлов (1768–1842) — внебрачный сын графа Ф. Г. Орлова, признанный в дворянских и фамильных правах, но без титула отца. Воспитывался в пансионе аббата Д. Ш. Николя в Петербурге. В тринадцать лет был записан юнкером в Коллегию иностранных дел, в семнадцать — поступил эстандарт-юнкером[38] в Кавалергардский полк.

Михаил Фёдорович участвовал во всех войнах с Наполеоном и быстро продвигался по службе. За отличие при Аустерлице был произведён в корнеты, отличился в сражениях под Гейльсбергом и Фридландом, с 1810 года — адъютант князя П. М. Волконского.

В самом начале Отечественной войны Орлов сопровождал министра полиции А. Д. Балашова в ставку Наполеона.

— Очень рад познакомиться с вами, генерал, — начал беседу Наполеон. — Я знаю, что вы один из искреннейших друзей Александра, поэтому буду с вами откровенен. Я произвёл громадные затраты, сделал большие приготовления, и теперь я втрое сильнее вас. Я знаю, что война Франции с Россией не

пустяк ни для Франции, ни для России. Я сделал большие приготовления… (61, 52)

Эта тирада завоевателя без обиняков говорила о том, что он не собирается пускать на ветер затраченные миллионы. Не настраивала на благоприятный исход миссии Балашова и следующая фраза Наполеона, затрагивавшая напрямую монарший авторитет Александра:

— Беннигсен, который, говорят, имеет некоторые военные таланты, каких, впрочем, я за ним не знаю, но которой обагрил свои руки в крови своего государя…[39]

Объявив всё командование русскими армиями бездарями, Наполеон подвёл итог своим пространным рассуждениям:

— Итак, передайте императору Александру, что война начата, но что я не против мира. Что я хотел чистосердечно объясниться с ним, но что меня не хотели слушать. Приготовившись к войне, я сделал последнюю попытку: потребовал, чтобы Лористон был допущен в Вильну. Его не пожелали видеть…

Словом, русские сами виноваты в случившемся. Бутылка откупорена, остаётся только выпить её содержимое.

Для Орлова итогом миссии Балашова стало пожалование флигель-адъютантом (Это почётное звание присваивалось офицерам, заслужившим личное расположение царя).

После сражения у Валутиной горы (7–9 августа) Михаил Фёдорович вновь был послан к Наполеону, чтобы узнать о судьбе П. А. Тучкова, попавшего в плен. М. И. Кутузов доносил царю: «Кавалергардского полка поручик Орлов, посланный парламентёром до прибытия моего к армиям главнокомандующим 1-й Западной армией для узнания о взятом в плен генерал-майоре Тучкове, после девятидневного содержания его у неприятеля донёс мне по возвращении вчерашнего числа довольно подробные сведения о численном составе армии французов» (77, 110).

То есть Михаила Фёдоровича девять дней содержали почти что под арестом, и тем не менее он смог определить силы противника и предсказать его ближайшую цель — помешать соединению 1-й и 2-й Западных армий.

В ходе военных действий Орлов участвовал во всех основных сражениях, отличился при освобождении Вереи. После издания Наполеоном 29-го бюллетеня Великой армии (в нём подводились итоги похода в Россию) Кутузов поручил Михаилу Фёдоровичу написать на него опровержение. Орлов в ироническом тоне подверг критике утверждения Наполеона о климатических условиях как главных причинах гибели Великой армии.

В кампании 1813 года Михаил Фёдорович действовал в составе летучего отряда, участвовал в Лейпцигском сражении, за отличие при Калише был произведён в полковники. В следующем году находился в подчинении В. В. Орлова-Денисова, который командовал личным конвоем Александра I. В это время произошло некоторое сближение его с царём, который, направляя молодого полковника в стан противника, говорил ему:

— Ступайте, я даю вам право остановить огонь везде, где вы сочтёте это нужным. И для того чтобы предупредить и отвратить все бедствия, облекаю вас властью, не подвергаясь никакой ответственности, прекращать самые решительные атаки, даже обещающие полную победу. Париж, лишённый своих рассеянных защитников и своего великого мужа, не будет в состоянии противиться. Я твёрдо убеждён в этом. Богу, который даровал мне могущество и победу, угодно, чтобы я воспользовался тем и другим только для дарования мира и спокойствия Европе. Если мы можем приобрести этот мир не сражаясь, тем лучше; если же нет, то уступим необходимости, станем сражаться, потому что волей или неволей, с бою или парадным маршем, на развалинах или во дворцах, но Европа должна ныне же ночевать в Париже (73, 587).

На следующий день в присутствии маршала Мармона был подписан акт о капитуляции столицы Франции:

«Статья 1-я. Французские войска, состоящие под начальством маршалов герцогов Тревизского и Рагузского, очистят город Париж 19(31) марта в 7 часов утра.

Статья 2-я. Они возьмут с собой всю артиллерию и тяжести, принадлежащие к этим двум корпусам.

Статья 3-я. Военные действия должны начаться вновь не прежде, как спустя два часа по очищении города, т. е. 19(31) марта в 9 часов утра…»

Сдача Парижа гарантировала сохранение города, но не обязывала маршалов складывать оружие.

М. Ф. Орлов

…Орлова, прибывшего с радостной вестью, Александр I принял лёжа в постели:

— Ну что вы привезли нового? — спросил он.

— Вот капитуляцию Парижа, — ответил Михаил Фёдорович.

Прочитав документ, царь расчувствовался:

— Поцелуйте меня, поздравляю вас, что вы соединили имя ваше с этим великим происшествием.

В десятом часу этого дня союзные войска торжественно вступили в столицу мира. Их шествие продолжалось четыре часа. Жители города стояли у раскрытых окон, на балконах и улицах города; они махали белыми платками и восторженно приветствовали победителей. Один из очевидцев этого небывалого зрелища (будущий писатель Стендаль) ядовито заметил по этому поводу:

— Парижане выражали особую радость исключительно потому, что их завоевали.

Среди блестящей свиты союзных государей, состоявшей более чем из 30 владетельных особ, прусского короля и русского императора, находился и Орлов. Это зенит его славы, апогей карьеры. Один из современников двадцатишестилетнего генерала говорил:

— У него было в избытке всё: молодость, знатность,

богатство, расположение царя, открытый и смелый характер, прекрасная представительная наружность.

По возвращении из-за границы М. Ф. Орлов совместно с графом М. А. Дмитриевым-Мамоновым организовал «Орден русских рыцарей». Общество имело конспиративно-заговорщицкий характер. О целях общества Михаил Федорович говорил:

— Я возвратился из чужих краёв и вознамерился сделать тайное общество, составленное из самых честных людей, для сопротивления лихоимству и другим беспорядкам, кои слишком часто обличаются во внутреннем управлении России.

«Орден русских рыцарей» был наиболее ранней из преддекабристских организаций. Вскоре Орлов стал членом и первой организации декабристов — «Союза спасения». Позднее П. И. Пестель, А. П. Юшневский и М. А. Фонвизин приняли его в «Союз благоденствия». Это случилось в Тульчине, где Орлов останавливался, направляясь в 16-ю пехотную дивизию, командиром которой был назначен.

В годы господства в армии палочной муштры Орлов установил в 16-й дивизии совершенно новые порядки: отменил телесные наказания для солдат и ввёл систему ланкастерского обучения рядовых грамоте, предал суду ряд офицеров. «…В Охотском пехотном полку, — гласил один из его приказов, — господа майор Вержейский, капитан Гимбут и прапорщик Понаревский жестокостями своими вывели из терпения солдат. Общая жалоба нижних чинов побудила меня сделать подробное исследование, по которому открылись такие неистовства, что всех сих трёх офицеров принуждён представить я к военному суду. Да испытают они в солдатских крестах, какова солдатская должность. Для них и для им подобных не будет во мне ни помилования, ни сострадания».

В секретной инструкции для командного состава дивизии Орлов писал: «Всякий полковой командир должен иметь в полку и власть, и силу, ибо на его единственной ответственности лежат порядок и устройство. Но из сего не следует, что он может быть тираном своих подчинённых, ибо подчинённые такие же люди, как и он, служат не ему, а Отечеству. Обыкновенно у нас думают, что тот и молодец, кто больше бьёт. Оборони меня, Боже, жить с такими молодцами. Я лучше сам откажусь от дивизии, чем иметь перед собою постоянное зрелище столь несчастных солдат и столь подлых начальников. Терзать солдат я не намерен» (87, 270).

По своим политическим взглядам Орлов был сторонником конституционной монархии; он считал, что Европа вступила в

период социальных преобразований. Пушкин вспоминал:

— Орлов говорил в 1820 году: революция в Испании, революция в Италии, революция в Португалии, конституция тут, конституция там. Господа государи, вы сделали глупость, свергнув Наполеона.

Сосланного поэта Михаил Фёдорович взял под своё покровительство. В. П. Горчаков, квартирмейстер при штабе 16-й дивизии, как-то оказался свидетелем такой сцены: «Утром 8 ноября мне дали знать, что начальник дивизии возвратился в Кишинёв. Я поспешил явиться к генералу. Генерал благосклонно принял меня, наговорил много лестного, радушного, обнял, расцеловал меня… Вошёл Пушкин, генерал его обнял и начал декламировать: „Когда легковерен и молод я был…“ Пушкин засмеялся и покраснел.

— Как, вы уже знаете? — спросил он.

— Как видишь, — отвечал генерал.

— То есть как слышишь, — заметил Пушкин, смеясь.

Генерал на это замечание улыбнулся приветливо.

— Но шутки в сторону, — продолжал он, — а твоя баллада превосходна, в каждых двух стихах полнота неподражаемая, заключил он, и при этих словах выражение лица Михаила Фёдоровича приняло глубокомысленность знатока-мецената».

Орлов и Пушкин были знакомы с 1817 года по литературному обществу «Арзамас». Поэтому после приезда Александра Сергеевича в Кишинёв в совместном шутливом письме они известили об этом членов арзамасского братства: «Мы, превосходительный Рейн и жалобный Сверчок[40], на лужице города Кишинёва, именуемой Быком, сидели и плакали, вспоминая тебя, о „Арзамас“, ибо благородные гуси величественно барахтались пред нашими глазами в мутных водах упомянутой речки. Живо представились им ваши отсутствующие превосходительства, и в полноте сердца своего положили они уведомить о себе членов православного братства, украшающих берега Мойки и Фонтанки…».

Михаил Фёдорович имел определённую склонность к литературе, и это постоянно сказывалось на его отношениях с поэтом. Горчаков вспоминал такой эпизод: «Отправляясь на короткое время с Михаилом Фёдоровичем Орловым в Москву, я должен был расстаться с Пушкиным, но канун отъезда мы провели вместе у генерала. В этот вечер много было говорено о напечатанной уже поэме „Руслан и Людмила“. Генерал сам прочёл несколько строф, делал некоторые замечания и, обратясь к Пушкину, приветливо спросил его, не знает ли он автора этого колоссального произведения. Пушкин вместо ответа улыбнулся

той выразительной улыбкой, которой он умел как-то с особою яркостью выражать свои ощущения. При этом разговоре почему-то припомнили „Душеньку“ Богдановича.

Некоторые начали сравнивать и, желая похвалить Пушкина, уверяли с полным самодовольствием в знании дела, что его поэма нисколько не хуже „Душеньки“. „А ты как думаешь?“, — спросил меня Михаил Фёдорович. Я отвечал, что другого ничего не могу сказать, как повторить известный ответ о пушке и единороге…

— То есть пушка сама по себе, а единорог сам по себе, — прибавил, смеясь, генерал.

— Да, конечно, — произнёс я с некоторым смущением.

При этом Пушкин засмеялся и все захохотали. Я ещё более смутился, но вскоре общее одобрение уверило меня, что ответ мой делен».

21 мая 1821 года Орлов женился на Е. Н. Раевской, дочери Николая Николаевича. Молодые жили широко и гостеприимно, Александр Сергеевич часто бывал в их доме. Екатерина Николаевна писала о нём брату Александру: «Он очень часто приходит к нам курить свою трубку и рассуждает или болтает очень приятно».

А конкретно? Екатерина Николаевна дала ответ и на этот вопрос: «У нас беспрестанно идут шумные споры — философские, политические, литературные; мне слышно их из дальней комнаты». Сам Александр Сергеевич писал о себе этого времени:

Забыл я вечный ваш туман,
И вольный глас моей цевницы
Тревожит сонных молдаван.
Всё тот же я — как был и прежде;
С поклоном не хожу к невежде,
С Орловым спорю, мало пью,
Октавию[41] — в слепой надежде
Молебнов лести не пою.
И дружбе лёгкие посланья
Пою без строгого старанья.

Одной из тем, обсуждавшихся в застольях Михаила Фёдоровича, был «Проект вечного мира» аббата Сен-Пьера. Говорили о необходимости сокращения вооружённых сил, о пресечении всяких поползновений на власть победоносных генералов. Конечно, наиболее убедительным примером необходимости последнего была фигура недавно скончавшегося императора Франции. Все сходились на мнении, что «через 100 лет не будет уже постоянной армии» и что «идея вечного мира в

настоящее время весьма абсурдна». Все полагались на будущее, на то что люди станут разумнее. Пушкин эту мысль выразил так:

— Не может быть, чтобы людям со временем не стала ясна жестокость войны, так же как им стали ясны рабство, королевская власть и тому подобное. Они убедятся, что наше предназначение — есть, пить и быть свободными.

Дискутировали увлечённо и со знанием обсуждаемой темы, с пониманием её актуальности для человечества ещё на долгие-долгие годы. Е. Н. Орлова писала брату: «Мы очень часто видели Пушкина, который приходит спорить с мужем о всевозможных предметах. Его теперешний конёк — вечный мир аббата Сен-Пьера. Он убеждён, что правительства, совершенствуясь, постепенно водворят вечный и всеобщий мир. Я хотела бы видеть, как бы ты сцепился с этим спорщиком».

Не пришлось. 8 января 1822 года Орловы навсегда покинули Кишинёв.

«Лицо очень интересное». И. В. Сабанеев (1770–1829) принадлежал к числу наиболее видных боевых генералов своего времени. Службу начал в Русско-турецкую войну 1790–1791 годов, в ходе которой был отмечен Кутузовым. В Итальянском походе Суворова командовал передовыми цепями одной из колонн, из-за тяжёлого ранения был оставлен в Гларисе и попал в плен к французам. В Россию вернулся с проектом обучения пехоты рассыпному строю, разработанным на основе опыта последней войны. Проект оказался ко времени и был принят в русской армии.

В кампании 1807 года Иван Васильевич был ранен штыком в лицо, что, конечно, его не украсило. Современник так описывал внешность Сабанеева: «Росту не более двух аршин и трёх вершков[42], нос красный, губы отдутые, глаза весьма близорукие, рыже-русые волосы, осиплый и прерывистый голос… Он говорил как будто бы бранился. Человек желчный, спазматический и невоздержанный» (68, 373).

В войне со шведами Иван Васильевич находился в составе отряда, перешедшего по льду Ботнический залив, участвовал в ряде схваток с противником и опять был ранен. Войну закончил генерал-майором. В 1810–1811 годах ещё раз повоевал с турками. При Разграде он пленил пашу, при Батине командовал левым флангом русской армии. Его действия при Рущуке и Слободзее были отмечены особыми похвалами Кутузова. Сабанеев получил чин генерал-лейтенанта и назначение вторым уполномоченным от России на мирных переговорах в Бухаресте.

Во время Отечественной войны Иван Васильевич был

начальником штаба 3-й Западной армии, в заграничных походах оставался в этой же должности при Барклае-де-Толли. Участвовал во многих сражениях, отличился при Кульме и был награждён орденом Святого Александра Невского с алмазами. В 1815–1818 годах оставался во Франции в русском Оккупационном корпусе.

По возвращении в Россию Сабанеева назначили командующим 6-м пехотным корпусом 2-й армии, расквартированной на юге России. Знакомство с корпусом Иван Васильевич начал с 17-й дивизии. Положение в ней оказалось угнетающим. Сабанеев писал начальнику штаба 2-й армии генералу П. Д. Киселёву: «Какого ожидать успеха там, где сам дивизионный командир бьёт солдат по зубам? Нельзя без сердечного сокрушения видеть ужасное уныние измученных учением и переделкой амуниции солдат. Все усилия честных начальников недостаточны: нужна законная система для управления войсками. Пора, давно пора!.. Всё сводится к наружности, учебному шагу, выправке и прочее» (94, 78–79).

Иван Васильевич со страхом думал о возможности высочайшего смотра: «Если не будет войны, так будет смотр. Лично для меня последнее хуже первого». Царь и временщик А. А. Аракчеев страдали фронтоманией, и Сабанеев не жаловал обоих:

— Раб и льстец осмеливается говорить государю, что не поверил бы, что в победоносной армии Его Величества есть такой слабый по фронтовой службе батальон, как будто фронтовая механика есть необходимость для победы. Кто служил, тот знает, что для победы нужно. А как государь видит одну только наружность, то все прочие ни о чём другом не думают. Тиранство стало необходимым: учебный шаг, хорошая стойка, быстрый взор, ружейная скобка против рта, параллельность шеренг, неподвижность. У нас солдат для аммуниции, а не аммуниция для солдат.

По поводу этих сетований Киселёв просил А. А. Закревского, дежурного генерала Главного штаба и приятеля Сабанеева, чтобы он урезонил последнего, ибо он «говорит и пишет, что ученье для него статья последняя и в военном деле не нужная и что он служит не для парадов и смотров. Всё сие он может думать, но толковать офицерам не следует».

Иван Васильевич удивлялся безропотному терпению солдат, и вот 3 декабря 1821 года в 16-й дивизии М. Ф. Орлова произошёл неприятный для начальства инцидент. Ротный командир Камчатского полка Брюханов приказал подвергнуть наказанию каптенармуса.[43] Четверо солдат вырвали несчастного из рук экзекуторов. Михаил Фёдорович взял солдат под свою

защиту, но после Нового года он уехал в Киев и декабрьское происшествие повернулось в другую сторону. Корпусной командир, прибывший в Кишинёв, объявил случившееся бунтом и приказал примерно наказать «провинившихся».

20 февраля у Акерманского въезда в город происходила казнь, которую описал князь П. И. Долгоруков: «Секли кнутом четырёх солдат Камчатского полка. При собрании всего находящегося на лицо здесь войска, тысяч около двух, прочитали преступникам при звуке труб и литавр сентенцию военную, вследствие коей дали первому 81, а прочим трём по 71 удару. Стечение народа было большое; многие дамы не стыдились смотреть из своих колясок. И меня привлекло любопытство, но едва имел я столько духу, чтобы несколько раз взглянуть издали на экзекуцию. Одно приготовление ужасно. При мне сняли с плахи первого солдата, едва дышащего, и хотели накрыть военною шинелью, но полковой командир Соловкин закричал: „Смерть военная, не надобно шинели, пусть в одной везут рубахе“. На другом конце солдат простой не мог быть равнодушным зрителем. Он упал, и его вынесли за фрунт» (68, 353).

Двумя неделями раньше по распоряжению Сабанеева был арестован майор В. Ф. Раевский, вошедший в историю как первый декабрист. О командире корпуса он отзывался как о человеке, скрывавшем своё подлинное лицо:

— Он сначала явно говорил против существовавшего порядка и устройства администрации и правления в России и властей.

Иван Васильевич был известен своим злоязычием. В самом начале кампании 1813 года, занимая весьма ответственный пост, он послал А. Ф. Ланжерону письмо и стихотворение (оба на французском языке). В последнем советовал Александру Фёдоровичу: младший унтер-офицер, заведовавший ротным имуществом.

Остановитесь, генерал,
В своём большом желании сломать себе шею,
Не летите к славе,
Не предупредив по крайней мере нас.

Понимая, что представитель старой французской аристократии едва ли одобрит его стихи, Сабанеев оправдывал их рождение общей неразберихой в мире:

Они плохи, скажете Вы мне,
Все равно, я Вам признаюсь:

В этом прекрасном веке
Всё так делается.
Поэт из такого человека, как я,
Из поварёнка — король,
Из парикмахера — дипломат.
Император из Бонапарта,
Из адмирала — генерал,
Из маленького герцогства —
Большое королевство,
Из Великой армии — сотня человек,
Из сибарита — завоеватель,
Из жалкого труса — партизан… (97, 292)

Поварёнком армейский пиит назвал неаполитанского короля И. Мюрата, сына трактирщика; парикмахером — Ле Ду. В командующего сухопутными армиями был «произведён» адмирал П. В. Чичагов. В склонности к роскоши некоторые современники укоряли Кутузова. «Жалкий трус» — его зять полковник Н. Д. Кудашев, погибший в сражении под Лейпцигом.

Инвективы Сабанеева против главнокомандующего русской армией и его зятя многие историки считают пасквилем. Но даже если и допустить, что дыма без огня не бывает, порочить выдающегося военачальника в заграничном походе было не умно. Конечно, письмо Ивана Васильевича носило частный характер, но, как известно, нет ничего тайного, что бы не стало явным. По-видимому, в прошлом были за командующим 6-м пехотным корпусом и другие грешки.

— Скажите Сабанееву, — приказал Александр, — что, доживши до седых волос, он не видит того, что у него делается в 16-й дивизии. Обеспокоенный генерал писал Киселёву: «Каково мне, поседевшему на верной службе царю и царству, впасть в подозрение, столь чуждое чувствам моим. Сделаться жертвою легкомысленности молодых неопытных товарищей моих, словом, потерять доброе имя, купленное ценою крови».

Пятидесятилетнему генерал-лейтенанту, ждавшему производства в чин генерала от инфантерии, совсем не улыбалась перспектива отставки. Зажав сердце в кулак, он продолжал творить суд и расправу. «В кишинёвской шайке, — доносил Сабанеев, — кроме известных Вам[44] лиц, никого нет, но какую цель имеет сия шайка, ещё не знаю. Пушкин, щенок, всем известный, во всём городе прославляет меня карбонарием и выставляет виною всех неустройств. Конечно, не без намерения, и я полагаю его органом той же шайки» (94, 127).

К счастью, поэт не был военным, а потому особо Сабанеева не интересовал, а вот за В. Ф. Раевского он взялся серьёзно. Владимира Фёдосеевича заключили в Тираспольскую крепость и продержали в ней до восстания декабристов. Следственная комиссия, созданная командиром корпуса, так и не смогла за четыре года ни доказать вину Раевского, ни добиться от него признательных показаний. В глубине души Иван Васильевич сочувствовал Раевскому и советовал ему ходатайствовать о своём освобождении.

— Успех в ходатайстве об освобождении вас, — говорил он заключённому, — почёл бы я наивеличайшей ко мне милостью государя императора и день тот наисчастливейшим днём в моей жизни.

Сабанеев был не заинтересован в раскрытии «кишинёвского заговора». Следствие велось неспешно и неквалифицированно. Вот как оценили его позднее в Петербурге: «Следственное дело, произведённое над Раевским под непосредственным влиянием командира 6-го пехотного корпуса генерала от инфантерии Сабанеева, заключает в себе бесчисленные упущения, неправильности и даже противузаконности, ибо допросы отбираемы были от разных лиц вынудительно, некоторые бумаги скрыты, многих документов, к делу необходимо нужных, не имеется вовсе, а от других оторваны и утрачены листы, отчего оные суть неполны. В производстве самого следствия прилагаемо было старание к открытию обстоятельств малозначащих, а важнейшие, как оскорбление императорского величества и существование злоумышленных обществ, кои бы можно было обнаружить ещё в 1822 году и тем предупредить известные происшествия, хотя были в виду генерала Сабанеева, но оставлены им без внимания» (94, 371–372).

Последнее, конечно, было сделано сознательно: командир корпуса и начальник штаба 2-й армии прикрыли командира 16-й пехотной дивизии генерал-майора М. Ф. Орлова. Не случайно за мрачные стены Тираспольской крепости смогли выйти следующие строки её узника:

Скажите от меня Орлову,
Что я судьбу мою сурову
С терпеньем мраморным сносил,
Нигде себе не изменил
И в дни убийственныя жизни
Немрачен был, как день весной,
И даже мыслью и душой
Отвергнул право укоризны.

…Что касается Пушкина, упомянутого в одном из писем Сабанеева, то он неоднократно видел своего «доброхота» у Инзова, у которого обычно останавливался Иван Васильевич при своих наездах в Кишинёв, а однажды гостил у него. Это случилось, когда он и Липранди при поездке в Бендеры задержались в Тирасполе и были приглашены в дом Сабанеева.

— Пушкин не раскаивался в этом посещении, — вспоминал Иван Петрович, — был весел, разговорчив, даже до болтовни, и очень понравился Пульхерии Яковлевне, жене Сабанеева.

Простое обращение Сабанеева, его умный разговор сделали впечатление на Пушкина, и когда мы рассказали ему первый брак Сабанеева, то он сделался для него, как он выразился, «лицом очень интересным».

А рассказали Александру Сергеевичу о том, что свою супругу Иван Васильевич украл у законного мужа. Рассказали, по-видимому, в связи с тем, что за ужином хозяин поведал о случае, который стал сюжетом для повести Пушкина «Метель»: «В конце 1811 года, в эпоху нам достопамятную, жил в своём поместье Ненарадове добрый Гаврила Гаврилович Р. Он славился…».

Встречался Александр Сергеевич с Сабанеевым и в Одессе. Запомнился маскарад у Воронцовых. Иван Васильевич явился во фраке (при его-то фигуре!).

— Это было ещё ничего, — вспоминал современник, — но он на шею и на фрак нацепил все имевшиеся у него иностранные ордена, а их было много, ибо, будучи начальником Главного штаба главной армии в 1813 и 1814 годах, он получал оные от всех союзников и по нескольку раз, и ни одного русского.

Иностранные консулы восприняли это как оскорбление их наград в глазах русских. Пушкин так и понял этот демарш Сабанеева и был в восторге.

Да, в этом человеке много чего было намешано, но при всём этом две трети своей жизни Иван Васильевич отдал армии и был не последним в рядах её командного состава, на равных противостоявшего звёздным маршалам Наполеона.

Одесса

В начале 1820-х годов этот южный город был ещё молодым, ещё только начавшим развиваться, но всё же гораздо культурнее молдавско-турецкого Кишинёва, и жизнь в нём складывалась с гораздо большим разнообразием. В городе были итальянская опера, хорошие рестораны, казино, сюда исправно доходили западноевропейские газеты и книжные новинки; здесь было много образованных и культурных семейств (в том числе иностранных), а дом новороссийского генерал-губернатора и полномочного наместника Бессарабской области М. С. Воронцова был уголком настоящего большого света.

Развёрнутую характеристику одесского общества мы находим у В. И. Туманского, служившего в это время в канцелярии Воронцова: «Успев совершенно познакомиться с высшим и средним кругом здешнего общества, я смею наконец сказать о нём своё мнение. Начать с того, что оно, будучи составлено из каких-то отдельных лоскутков, чрезвычайно пёстро и потому не представляет возможности скучать человеку просвещённому и наблюдательному. Далее, что тон сего общества не хорош в том значении, в каком понимают это слово в столицах. То есть здесь нет некоторых особенных правил для обращения в свете, некоторых условных разговоров и даже условных наслаждений, при имени которых находит уже зевота. Большая часть нашего общества занята либо службою, либо торговлею и торговыми оборотами. Довольно этого одного обстоятельства, дабы почувствовать, что все они ищут в обществе отдохновения, а не нового труда. Следовательно, каждый поступает по — своему, не принуждая себя к строгому порядку столичных гостиных… Наши деловые господа сообразуются с принятыми обыкновениями во всём, что требуется благопристойностью, только не в старании скучать самому себе и наскучать другим.

Недостаток светского образования гораздо чувствительнее в светских дамах. Замужние наши женщины дичатся людей, скрывая под личиной скромности или свою простоту, или своё невежество. Девушки в обхождении совсем не умеют стать на настоящую точку: одне дики или грубы, другие слишком веселы и слишком рано постигают вещи, которые не заботятся скрывать. Впрочем, в общей массе всё это составляет вещь оригинальную и приятную. Конечно, девушка вольного обращения гораздо занимательнее дикой провинциальной барышни или безмолвной, жеманно-скромной дамы. Особливо гречанки меня утешают. Недавно ещё покинув землю, где женский пол не имеет

общественного существования, они вдруг хотят насладиться всею свободой оного. Некоторые из них очень пригожи и имеют прекрасные способности, но воспитание, воспитание!..»

Пушкин в Одессе был завсегдатаем итальянской оперы и ресторации Оттона. Большую часть своего времени тратил на шумные забавы в холостых компаниях. 4 ноября 1823 года писал Ф. Ф. Вигелю: «У нас холодно, грязно — обедаем славно — я пью, как Лот содомский, и жалею, что не имею с собой ни одной дочки. Недавно выдался нам молодой денёк — я был президентом попойки — все перепились и потом поехали по…».

Но было у поэта и серьёзное чувство, правда, довольно оригинальное — одновременная любовь к двум женщинам, не сходным ни по внешности, ни по характеру, — к Амалии Ризнич и Е. К. Воронцовой, супруге генерал-губернатора. С первой из них Александр Сергеевич познакомился в театре:

Но уж темнеет вечер синий,
Пора вам в оперу скорей:
Там упоительный Россини,
Европы баловень — Орфей.
Не внемля критике суровой,
Он вечно тот же, вечно новый,
Он звуки льёт — они кипят,
Они текут, они горят,
Как поцелуи молодые,
Все в неге, в пламени любви,
Как зашипевшего аи
Струя и брызги золотые…
А только ль там очарований?
А разыскательный лорнет?
А закулисные свиданья?
А prima donna? а балет?
А ложа, где, красой блистая,
Негоциантка молодая,
Самолюбива и томна,
Толпой рабов окружена?
Она и внемлет, и не внемлет
И каватине, и мольбам,
И шутке с лестью пополам…
А муж — в углу за нею дремлет,
Впросонках фора закричит,
Зевнёт — и снова захрапит.

Обеим посвятил массу великолепных стихов и память сердца.

При всей внешне неупорядоченной жизни Пушкин не откладывал в долгий ящик главное — творчество. Брат поэта свидетельствовал: «В Одессе Пушкин писал много, читал ещё более. Там он написал три первые главы „Онегина“. Он горячо взялся за него и каждый день им занимался. Пушкин просыпался рано и писал обыкновенно несколько часов, не вставая с постели. Приятели часто заставали его то задумчивого, то помирающего со смеху над строфою своего романа. Одесская осень благотворно действовала на его занятия» (23, 190).

Приобщению поэта к чтению серьёзной литературы и работе с архивными материалами во многом способствовал допуск его к сокровищнице генерал-губернатора Новороссии М. С. Воронцова — к его богатейшей библиотеке. Михаил Семёнович унаследовал книгохранилище от отца и систематически пополнял его. В библиотеке были подлинники летописей, разрядных книг, статейных списков, Псковская судная грамота, рукописные сочинения по истории, многочисленные мемуары, памфлеты французской революции, переписка А. Р. Воронцова с А. Н. Радищевым, копия замечаний Екатерины II на «Путешествие из Петербурга в Москву» и много других интересных и ценных изданий.

На первых порах Воронцов признавал талант Пушкина и считал, что основательное изучение великих классических поэтов со временем сделает из него замечательного писателя. В письме А. И. Тургеневу Михаил Семёнович сообщал, что хочет содействовать развитию молодого таланта. И действительно, работа в книжной сокровищнице генерал-губернатора Новороссии привила Александру Сергеевичу вкус к историческим источникам, что ему очень пригодилось в дальнейшем.

«Монаршей воли исполнитель». Михаил Семёнович был сыном С. Р. Воронцова, с 1786 по 1806 год пребывавшего в Лондоне в качестве посланника, а позднее — посла. Поэтому детские и юношеские годы Михаила Семёновича прошли в Великобритании, что сделало его англоманом. В четыре года он был записан капралом в лейб-гвардии Преображенский полк, в девятьнадцать — начал действительную военную службу. К этому времени Воронцов имел придворное звание камергера, что давало определённые преимущества по службе, но молодой офицер не воспользовался ими: в чине поручика он состоял волонтёром (добровольцем) на Кавказе и сражался с горцами, участвовал в Русско-персидской войне, а затем — в войнах 1805–1807 годов с Наполеоном. Отличился под Пултуском, был произведён в полковники и получил в командование 1-й батальон

Преображенского полка, в котором когда-то числился капралом.

Годы, предшествовавшие Отечественной войне, Воронцов служил в Дунайской армии и тоже отличился. За храбрость, проявленную при штурме Базарджика, был произведён в генерал-майоры, а за взятие Видина удостоен ордена Святого Георгия 3-го класса.

Отличился молодой генерал и на теоретическом поприще обобщения военных действий, написав «Наставление господам офицерам Нарвского пехотного полка в день сражения» (Воронцов был шефом этого полка). «Наставление» по приказу П. И. Багратиона отпечатали в походной типографии и распространяли в полках 2-й Западной армии.

В начале 1812 года была сформирована 2-я сводно-гренадёрская дивизия, её командующим назначили Воронцова. Дивизия участвовала во всех важнейших сражениях Отечественной войны. В начале Бородинского сражения она обороняла Семёновские флеши и приняла на себя главный удар неприятеля. Ранним утром французы атаковали флеши в лоб и выбили дивизию Воронцова из укреплений. Около восьми часов Михаил Семёнович возглавил контратаку, но был ранен и унесён с поля боя. Об этом этапе сражения в донесении М. И. Кутузова царю было сказано:

«Неприятель, построясь в несколько густых колонн, в сопровождении многочисленной кавалерии с бешенством бросился на наши укрепления. Артиллеристы, с мужественным хладнокровием выждав неприятеля на ближайший картечный выстрел, открыли по нём сильный огонь, равномерно и пехота встретила его самым пылким огнём ружейным, но порожение их колонн не удержало французов, которые стремились к своей цели и не прежде обратились в бегство, как уже граф Воронцов с сводными гренадёрскими батальонами ударил на них в штыки; сильный натиск сих батальонов смешал неприятеля, и он, отступая в величайшем беспорядке, был повсюду истребляем храбрыми нашими воинами. При сем нападении граф Воронцов, получив жестокую рану, принуждён был оставить свою дивизию» (90, 107–108).

Сам Михаил Семёнович об этом эпизоде сражения вспоминал следующее:

— Мы должны были выдержать первую и жестокую атаку пяти-шести французских дивизий. Сопротивление не могло быть продолжительным, оно кончилось, так сказать, с окончанием существования моей дивизии. Находясь лично в центре и видя, что один из редутов на моём левом фланге потерян, я взял батальон 2-й гренадерской дивизии и повёл его в штыки, чтобы

вернуть редут обратно. Там я был ранен, а батальон почти уничтожен. Час спустя дивизия не существовала.

За отличие в Бородинском сражении Воронцов был награждён орденом Святого Андрея Первозванного I степени с алмазами. Почти полгода Михаил Семёнович находился на излечении в своём имении Андреевское Владимирской губернии. Там он учредил госпиталь на 300 нижних чинов и 50 офицеров.

По выздоровлении Воронцов был назначен командовать авангардом 3-й Западной армии и удостоен чина генерал-лейтенанта. Участие в «Битве народов» (сражение под Лейпцигом) принесло ему орден Святого Александра Невского. В кампании 1814 года Михаил Семёнович отличился под Краоном и был удостоен ордена Святого Георгия 2-го класса.

Три года Михаил Семёнович возглавлял во Франции русский Оккупационный корпус. За гуманное обращение с жителями был награждён двумя медалями двух округов Мобёжа и, что необычно, из собственных средств уплатил все долги, сделанные офицерами его корпуса.

Воронцов пользовался репутацией гуманного и просвещённого начальника не только среди своих подчинённых. В истории не часто встречаются примеры искренней благодарности местного населения командующему армией, находившейся несколько лет на территории чужого государства. 21 октября 1818 года в мэрии Мобёжа было составлено благодарственное письмо на имя Михаила Семёновича от имени жителей города. В нём говорилось, что благодаря деятельности Воронцова жизнь города протекала в обстановке мира и спокойствия, а сам командующий являлся истинным примером благородного поведения для своих подчинённых. «Мы просим Ваше превосходительство, — говорилось в письме, — принять наши чувства искреннего уважения и признательности за благодеяния, оказанные нашему городу».

После возвращения в Россию Воронцов получил в командование 3-й пехотный корпус и совместно с Н. И. Тургеневым разрабатывал планы создания дворянского общества с целью постепенного освобождения крестьян от крепостной зависимости. Записка о необходимости этого была подана Александру I.

Это вызвало охлаждение царя к Воронцову и сильно задело его, что нашло отражение в частной переписке истинных доброжелателей Михаила Семёновича. «Кому же служить можно, если не служить графу Воронцову? — возмущался Н. Н. Раевский. — Его воспитание, его счастливые способности всегда уважаемы будут достойно, и, конечно, никто затмить его

не в состоянии».

С этим был согласен и А. П. Ермолов, писавший в феврале 1819 года дежурному генералу Главного штаба А. А. Закревскому: «Надобно беречь подобных ему людей: у вас нет таковых излишних! Не по дружбе к нему, но по самой справедливости оцените его и, без сомнения, найдёте, что люди с его достоинствами редки. Прибавьте и ту выгоду, что он молод и государство долго может пользоваться его услугами. Во всём свете люди на высокие ступени по большей части восходят поздно, тем лучше, что человек способный может достигнуть их в молодости» (41, 180).

В мае 1823 года Воронцов получил в управление южные территории Российской империи. В качестве новороссийского генерал-губернатора и наместника Бессарабской области он много способствовал заселению и хозяйственному освоению этой территории; много сделал для развития на ней городов. Благодаря его усилиям Одесса вскоре стала крупным портом и одним из главных центров юга России. По инициативе Воронцова по южному побережью Крыма и Бессарабии было высажено более четырёх миллионов виноградных лоз, что в дальнейшем способствовало развитию виноделия. Он поощрял искусство и литературу, что дало современникам повод характеризовать время его правления как золотой век одесской словесности. Один из местных поэтов, воздавая должное правителю края, писал:

Благословляют Воронцова
И город тот, и те края!
Монаршей воли исполнитель,
Наук, художеств покровитель,
Поборник правды, друг добра,
Сановник мудрый, храбрый воин,
Олив и лавров он достоин.

Высокий, худощавый, элегантный, с изящными чертами лица и твёрдым взглядом, он был невозмутим. Говорил со свистящим английским акцентом. «Если бы не русский генеральский мундир и военная форменная шинель, небрежно накинутая на плечи, — писал современник, — вы бы поклялись, что это английский пэр, тип утончённого временем и цивилизациею потомка одного из железных сподвижников Вильгельма Завоевателя; на тонких губах генерала вечно играла ласково-коварная улыбка». Его величали лордом, и он держал себя как вице-король одной из провинций империи. Да по сути таковым и был, окружённый услужливыми льстецами и молодыми карьеристами.

Воронцов покровительствовал евреям и иностранцам, большое внимание уделял развитию внешней торговли через порты Азовского и Чёрного морей. Словом, был весьма деятелен на фоне большинства местных князьков России. И это не оставалось незамеченным верховной властью. В марте 1825 года он был пожалован в генералы от инфантерии и назначен членом Государственного совета с оставлением в прежних должностях. С началом Русско-турецкой войны 1828–1829 годов Михаил Семёнович отбыл на театр военных действий и отличился при взятии Варны.

В декабре 1844 года новое назначение — главнокомандующий отдельным Кавказским корпусом. В мае следующего года, выполняя приказ царя, Воронцов предпринял штурм Дарго, резиденции вождя горцев Шамиля. Карательная экспедиция не дала желаемых результатов: Шамиль ускользнул, предварительно спалив Дарго; русские потеряли более 3000 человек. Пришлось переходить к планомерному вытеснению горцев с занимаемых ими территорий и создавать опорные пункты.

В апреля 1852 года Михаил Сергеевич был возведён в княжеское Российской империи достоинство с титулом светлости. Прослужив ещё два с половиной года, он подал в отставку, которая была принята. За плечами удачливого военачальника и талантливого администратора осталось 53 года беспорочной службы царю и Отечеству, а потому при коронации императора Александра II Воронцов был пожалован в генерал-фельдмаршалы. Это случилось за восемь месяцев до его кончины.

Похоронили Михаила Семёновича в кафедральном Преображенском соборе Одессы. На могильной плите было высечено: «Люди с властью и богатством должны жить так, чтобы другие прощали им эту власть и богатство». В своём многотрудном бытие Воронцов старался руководствоваться этой мыслью. И не безуспешно.

В 1936 году могила героя Отечественной войны была осквернена. Позднее прах Воронцова перезахоронили на кладбище посёлка Слободка-Романовка. Не повезло Михаилу Семёновичу и с памятью потомков: долгие годы его знали в основном по эпиграммам А. С. Пушкина.

«Поэт и вельможа». Из двух лет кишинёвской «ссылки» фактически поэт находился в этом захолустье не более года. Тем не менее старшие друзья, обеспокоенные судьбой младшего собрата, «пристроили» его к генерал-губернатору Новороссии. А. И. Тургенев писал по этому поводу П. А. Вяземскому: «Я после

и сам два раза говорил Воронцову, истолковал ему Пушкина и что нужно для его спасения. Кажется, это пойдёт на лад. Меценат, климат, море, исторические воспоминания — всё есть; за талантом дело не станет, лишь бы не захлебнулся. Впрочем, я одного боюсь: послали тебя в Варшаву, откуда тебя выслали; Батюшкова — в Италию — с ума сошёл; что-то будет с Пушкиным?» (36, 447).

А. И. Тургенев был в это время директором Департамента духовных дел иностранных исповеданий, и Воронцов не мог отказать в его просьбе, обещал пригреть поэта, чтобы «спасти его нравственность и дать его таланту досуг и силу развиться».

И. Н. Инзов, благодетель поэта, неохотно расстался с ним. Одному из своих сотрудников сказал: «А с Воронцовым, право, несдобровать ему».

Первая встреча поэта и воина произошла около 21 июля 1823 года. Михаил Семёнович принял Пушкина очень ласково, и он стал частым посетителем дома генерал-губернатора, пользовался его библиотекой (и весьма активно): переписал секретные записки императрицы Екатерины II — два переплетённых тома, то есть корпел над ними продолжительное время, проявив завидные терпение и усидчивость.

Воспитанный в Англии Воронцов своими привычками и вкусами напоминал больше британского лорда, чем русского генерала, так и воспринимали его современники: «В графе М. С. Воронцове была вся английская складка, и так же он сквозь зубы говорил, так же был сдержан и безукоризнен во внешних приёмах своих, так же горд, холоден и властителен пред своими подчинёнными, как любой из сыновей аристократической Британии. Наружность Воронцова поражала своим истинно барским изяществом. Высокий, сухой, замечательно благородные черты, словно отточенные резцом, взгляд необыкновенно спокойный, тонкие длинные губы с этою вечно игравшею на них ласково-коварною улыбкою.

Чем ненавистнее был ему человек, тем приветливее обходился он с ним; чем глубже вырывалась им яма, в которую собирался он пихнуть своего недоброхота, тем дружелюбнее жал он его руку в своей. Тонко рассчитанный и издалека заготовляемый удар падал всегда на голову жертвы в ту минуту, когда она менее всего ожидала такового» (22, 207).

М. С. Воронцов

Воронцов привлёк в Одессу множество знатных особ, желавших служить при нём. Он еженедельно принимал гостей в роскошных залах своего дворца и жил так, как и не снилось многим мелким германским князькам. Чиновники, служившие при Воронцове, была люди отборные, все хорошо воспитанные. Помещики приезжали в Одессу, наслышавшись о том, что в городе круглый год праздник. Одесса удивляла многочисленных иностранцев своей деловой и культурной активностью. Пушкин писал брату Льву: «Я опять в Одессе и всё ещё не могу привыкнуть к европейскому образу жизни».

Не смог он привыкнуть и к стилю руководства своего нового начальника. Воронцов был хорошим администратором и за короткое время многое сделал для Одессы. Был строг в отношении подчинённых ему гражданских и военных лиц. Наблюдая за более чем прохладным отношением Пушкина к службе, пытался приобщить его к оной. Раз обратился к Ф. Ф. Вигелю, одному из своих чиновников:

— Вы, кажется, любите Пушкина. Не можете ли вы склонить его заняться чем-нибудь путным под руководством вашим?

— Помилуйте, такие люди умеют быть только что великими поэтами, — ответил Филипп Филиппович.

Отношения между начальником и подчинённым осложнялись ещё и тем, что службу государству он рассматривал как отношения сюзерена с его подчинёнными и открыто домогался выражения личной преданности с их стороны. В отношениях Воронцова с подчинёнными процветала система фаворитизма. По свидетельству того же Вигеля, Михаил Семёнович «с презрительным изумлением смотрел на Пушкина, гордившегося своим 600-летним дворянством и желавшего быть на равной ноге с магнатами».

Воронцов любил лесть. Впрочем, и сам не чурался её. Характерен следующий случай. 1 октября 1823 года он присутствовал на обеде, который состоялся в Тульчине после смотра войск Александром I. Перед выходом к столу царь получил сообщение министра иностранных дел Франции Ф. Шатобриана об аресте Р. Риэго, одного из руководителей революции в Испании. Царь поспешил порадовать этой новостью присутствовавших на обеде.

— Какое счастливое известие, Ваше Величество! — откликнулся Воронцов.

Все были шокированы репликой новороссийского генерал-губернатора. Будущий декабрист Басаргин говорил:

— Эта выходка так была неуместна, что ответом этим он много потерял тогда в общем мнении. И в самом деле, зная, какая участь ожидала бедного Риэго, жестоко было радоваться этому известию. (2, 428).

О «выступлении» Воронцова узнали в Одессе, и Пушкин не удержался, чтобы не ответить на него:

Сказали раз царю, что наконец
Мятежный вождь Риэго был удавлен.
«Я очень рад, — сказал усердный льстец, —
От одного мерзавца мир избавлен».
Все смолкнули, все потупили взор,
Всех рассмешил проворный приговор.
Риэго был пред Фердинандом грешен,
Согласен я. Но он за то повешен.
Пристойно ли, скажите, сгоряча
Ругаться нам над жертвой палача?
Сам государь такого доброхотства
Не захотел улыбкой наградить:
Льстецы, льстецы! Старайтесь сохранить
И в подлости осанку благородства.

Одним словом, отношения поэта и крупного администратора империи не сложились, но в конце года к Михаилу Семёновичу приехала жена и Александр Сергеевич зачастил в его дом.

— Не нахожу слов, — говорил Н. С. Всеволожский, — которыми я мог бы описать прелесть графини Воронцовой, ум, очаровательную приятность в обхождении. Соединяя красоту с непринуждённою вежливостью графиня пленительна для всех и умеет занять всякого разговором приятным. В её обществе не чувствуешь новости своего положения.

Александр Сергеевич, как известно, красавцем не был, но, по свидетельству его брата: «Женщинам Пушкин нравился; он был с ними необыкновенно увлекателен и внушил не одну страсть на веку своём. Когда он кокетничал с женщиною или когда был действительно ею занят, разговор его становился необыкновенно заманчив. Он становился блестяще красноречив, когда дело шло о чём-либо близком его душе. Тогда-то он являлся поэтом, и гораздо более вдохновенным, чем во всех своих сочинениях».

Что наговорил великий поэт Елизавете Ксаверьевне Воронцовой, никто, конечно, не знает, но известно, что ей он посвятил полтора десятка стихотворений — шедевров любовной лирики:

Прощай, письмо любви, прощай! Она велела.
Как долго медлил я, как долго не хотела
Рука предать огню все радости мои!..
Но полно, час настал. Гори, письмо любви.
Готов я; ничему душа моя не внемлет.
Уж пламя жадное листы твои приемлет…
Минуту!.. Вспыхнули! Пылают — лёгкий дым,
Виясь, теряется с молением моим…

Шила в мешке не утаишь: о настойчивых ухаживаниях поэта за супругой генерал-губернатора стало известно последнему, и, конечно, он не замедлил принять меры, соответствовавшие его характеру и положению. Уже 28 марта 1824 года Михаил Семёнович писал министру иностранных дел графу К. В. Нессельроде:

«Я не могу пожаловаться на Пушкина за что-либо, напротив, казалось, он стал гораздо сдержаннее и умереннее прежнего, но собственный интерес молодого человека, не лишённого дарований, у которого недостатки происходят скорее от ума, нежели от сердца, заставляет меня желать его удаления из

Одессы. Главный недостаток Пушкина — честолюбие.

Он прожил здесь сезон морских купаний и имеет уже множество льстецов, хвалящих его произведения; это поддерживает в нём вредное заблуждение и кружит его голову тем, что он замечательный писатель, в то время как он только слабый подражатель писателя, в пользу которого можно сказать очень мало, — лорда Байрона. Это обстоятельство отдаляет его от основательного изучения великих классических поэтов, которые имели бы хорошее влияние на его талант, в чём ему нельзя отказать, и сделали бы из него со временем замечательного писателя. Удаление его отсюда будет лучшая услуга для него. Я не думаю, что служба при генерале Инзове поведёт к чему-нибудь, потому что хотя он и не будет в Одессе, но Кишинёв так близок отсюда, что ничего не помешает его почитателям поехать туда; да и, наконец, в самом Кишинёве он найдёт в молодых боярах и молодых греках скверное общество.

По всем этим причинам я прошу ваше сиятельство довести об этом деле до сведения государя и испросить его решения по оному. Ежели Пушкин будет жить в другой губернии, он найдёт более поощрителей к занятиям и избежит здешнего опасного общества. Повторяю, граф, что я прошу этого только ради него самого; надеюсь, моя просьба не будет истолкована ему во вред, и вполне убеждён, что, только согласившись со мною, ему можно будет дать более средств обработать его рождающийся талант, удалив его в то же время от того, что ему так вредно, от лести и столкновения с заблуждениями и опасными идеями» (23, 207–208).

Внешне отношение Воронцова к чиновнику 10-го класса Пушкину не изменилось, но поэт, обладавший высочайшей чувствительностью, понял: что-то произошло и выбрал весьма сомнительный способ защиты — эпиграмму:

Полу-милорд, полу-купец,
Полу-мудрец, полу-невежда,
Полу-подлец, но есть надежда,
Что будет полным наконец.

* * *

Певец Давид был ростом мал,
Но повалил же Голиафа,
Который был и генерал,

И, побожусь, не проще графа.

Повалить Голиафа — это ещё остатки подростковой психологии, от которой Пушкину удалось избавиться только в Михайловской ссылке. А пока на его потуги следует следующее письмо Воронцова графу Нессельроде: «…Кстати, повторяю мою просьбу: избавьте меня от Пушкина, это, может быть, превосходный малый и хороший поэт, но мне бы не хотелось иметь его дольше ни в Одессе, ни в Кишинёве».

И. П. Липранди, весной и летом 1824 года трижды бывший в Одессе, каждый раз находил Пушкина всё в более и более удручённом состоянии; исчезла весёлость, характерная для периода его пребывания в Кишинёве. Мрачное душевное состояние поэта породило множество устных эпиграмм, которые тем не менее попали на бумагу. Стихи эти касались не только чиновников из канцелярии Воронцова, но и посетителей балов его супруги. Конечно, это вызывало недовольство многих; начались сплетни и интриги, которые ещё больше тревожили Александра Сергеевича, заварившего эту кашу.

В. Ф. Вяземская, относившаяся к Пушкину как к собственному сыну, тем не менее писала супругу: «Ничего хорошего не могу сказать тебе о племяннике Василия Львовича. Это совершенно сумасшедшая голова, с которою никто не может совладать. Он натворил новых проказ. Вся вина — с его стороны…

Я делаю всё, что могу, чтобы успокоить его: браню его от твоего имени, уверяю его, что, разумеется, ты первым признал бы его виноватым, так как только ветреник мог так набедокурить. Он захотел выставить в смешном виде важную для него особу — и сделал это; это стало известно, и, как и следовало ожидать, на него не могли больше смотреть благосклонно. Он меня очень огорчает; никогда не приходилось мне встречать столько легкомыслия и склонности к злословию, как в нём, но вместе с тем я думаю, что у него доброе сердце и много мизантропии» (22, 401).

П. А. Вяземский, обеспокоенный тревожными сообщениями жены, пытался остеречь друга. В конце мая он писал ему: «Сделай милость, будь осторожен на язык и на перо. Не играй своим будущим. Теперешняя ссылка твоя лучше всякого места. Что тебе в Петербурге? Дай мне отделаться от дел своих, но не так, чтобы можно было всё бросить на несколько лет и ехать в чужие края, я охотно поселился бы у вас. Верные люди сказывали мне, что уже на Одессу смотрят, как на champ d'asyle[45], а в этом поле, верно, никакая ягодка более тебя не обращает внимания. В случае какой-

нибудь непогоды Воронцов не отстоит тебя и не защитит, если правда, что и он подозреваем в подозрительности. Да к тому же, признаюсь откровенно: я не твёрдо уповаю на рыцарство Воронцова. Он человек приятный, благонамеренный, но не пойдёт донкишотствовать против власти ни за лице, ни за мнение, какие бы они ни были, если власть поставит его в необходимость объявить себя за них или за неё. Ты довольно сыграл пажеских шуток с правительством; довольно подразнил его, и полно».

Но как раз в это время случилось то, что окончательно вывело Пушкина из равновесия: он получил следующее предписание Воронцова: «Состоящему в штате моём, Коллегии иностранных дел, коллежскому секретарю Пушкину. Поручаю вам отправиться в уезды Херсонский, Елизаветградский и Александрийский и по прибытии в города Херсон, Елизаветград и Александрию явиться в тамошние общие уездные присутствия и потребовать от них сведения: в каких местах саранча возродилась, в каком количестве, какие учинены распоряжения к истреблению оной и какие средства к тому употребляются. После сего имеете осмотреть важнейшие места, где саранча наиболее возродилась, и обозреть, с каким успехом действуют употреблённые к истреблению оной средства, и достаточны ли распоряжения, учинённые для этого уездными присутствиями. О всём, что по сему вами найдено будет, рекомендую донести мне».

Приказ привёл поэта в бешенство: исполнять какие бы то ни было обязанности, положенные чиновнику 10-го класса, он не собирался. Правителю канцелярии Михаилу Семёновичу А. И. Казначееву говорил:

— Семь лет я службою не занимался, не написал ни одной бумаги, не был в сношении ни с одним начальником. Мне скажут, что я, получая 700 рублей, обязан служить. Вы знаете, что только в Москве или в Петербурге можно вести книжный торг, ибо там находятся журналисты, цензоры и книгопродавцы; я поминутно должен отказываться от самых выгодных предложений единственно по той причине, что нахожусь за 2000 вёрст от столиц. Правительству угодно вознаграждать некоторым образом мои утраты, я принимаю эти 700 рублей не так, как жалованье чиновника, но как паёк ссылочного невольника.

Конечно, Казначеев мог бы спросить Александра Сергеевича, почему он не работал до перевода на юг и за какие «заслуги» попал туда. Но воздержался. Ибо очень хорошо относился к Пушкину, как к поэту и человеку, желал ему добра.

Пушкин между тем, повозмущавшись «произволом» начальника, предписание его выполнил; но, вернувшись из командировки, подал в отставку. Одному из своих покровителей

(А. И. Тургеневу) он писал: «Вы уж узнали, думаю, о просьбе моей в отставку; с нетерпеньем ожидаю решения своей участи и с надеждой поглядываю на ваш север. Не странно ли, что я поладил с Инзовым, а не мог ужиться с Воронцовым? Дело в том, что он начал вдруг обходиться со мною с непристойным неуважением, я мог дождаться больших неприятностей и своей просьбой предупредил его желания. Воронцов — вандал, придворный хам и мелкий эгоист. Он видел во мне коллежского секретаря, а я признаюсь, думаю о себе что-то другое» (10, 96).

Об этом «что-то другом» и весьма важном для поэта более откровенно он писал издателю журнала «Полярная звезда» А. А. Бестужеву: «У нас писатели взяты из высшего класса общества. Аристократическая гордость сливается у них с авторским самолюбием. Мы не хотим быть покровительствуемы равными. Вот чего подлец Воронцов не понимает. Он воображает, что русский поэт явится в его передней с посвящением или с одою, а тот является с требованием на уважение, как 600-летний дворянин, — дьявольская разница!».

После такого признания можно было ожидать, что Пушкин как-то дистанцируется от начальника. Нет, он продолжал посещать дом Михаила Семёновича, что никоим образом не было обязательным для чиновников канцелярии генерал-губернаторов. «Перед каждым обедом, к которому собиралось несколько человек, хозяйка обходила гостей и говорила каждому что-нибудь любезное. Однажды она прошла мимо Пушкина, не говоря ни слова, и тут же обратилась к кому-то с вопросом:

— Что нынче дают в театре?

Не успел спрошенный раскрыть рот для ответа, как подскочил Пушкин и, положа руку на сердце (что он делывал особливо, когда отпускал остроты), с улыбкой сказал:

— La sposa fedele, contessa. („Верная супруга“, — графиня).

Та отвернулась и воскликнула:

— Quelle impertinence! (Какая наглость!)»

Александр Сергеевич явно переусердствовал в своём порыве угодить любимой.

К середине июня Воронцов получил высочайшее повеление об увольнении Пушкина от службы, но что-то медлил с исполнением царской воли. Оказывается, к этому времени полиция перехватила письмо Александра Сергеевича, которое изменило решение царя, о чём граф Нессельроде сообщил 11 июля: «Его Величество вполне согласился с вашим предложением об удалении его из Одессы, после рассмотрения тех основательных доводов, на которых вы основываете ваши предложения, и подкреплённых в это время другими сведениями, полученными

Его Величеством об этом молодом человеке. Всё доказывает, к несчастью, что он слишком проникся вредными началами, так пагубно выразившимися при первом выступлении его на общественное поприще. Вы убедитесь в этом из приложенного при сём письма. Его Величество поручил мне переслать его вам; об нём узнала московская полиция, потому что оно ходило из рук в руки и получило всеобщую известность.

Вследствие этого Его Величество в видах законного наказания приказал мне исключить его из списков чиновников Министерства иностранных дел за дурное поведение; впрочем, Его Величество не соглашается оставить его совершенно без надзора на том основании, что, пользуясь своим независимым положением, он будет, без сомнения, всё более и более распространять те вредные идеи, которых он держится, и вынудит начальство употребить против него самые строгие меры. Чтобы отдалить по возможности такие последствия, император думает, что в этом случае нельзя ограничиться только его отставкой, но находит необходимым удалить его в имение родителей, в Псковскую губернию, под надзор местного начальства. Ваше сиятельство не замедлит сообщить Пушкину это решение, которое он должен выполнить в точности, и отправить его без отлагательства в Псков, снабдив прогонными деньгами» (23, 218).

Вместо отставки Александр Сергеевич получил ссылку (теперь уже формально). Этого он не ожидал и первое время был в растерянности. Современник вспоминал:

— Когда решена была его высылка из Одессы, Пушкин впопыхах прибежал к княгине Вяземской с дачи Воронцовых, весь растерянный, без шляпы и перчаток, так что за ними посылали человека от княгини Вяземской. Наказание поразило всех своею строгостью. Пушкин сделался сам не свой.

Причин для растерянности хватало, но главная (на тот момент) заключалась в том, что из его жизни уходила Она — Елизавета Ксаверьевна Воронцова:

Всё кончено: меж нами связи нет.
В последний раз обняв твои колени,
Произносил я горестные пени.
Всё кончено — я слышу твой ответ.
Обманывать себя не стану вновь,
Тебя тоской преследовать не буду,
Прошедшее, быть может, позабуду —
Не для меня сотворена любовь.

30 июля 1824 года Александр Сергеевич навсегда покинул

Одессу, а накануне одесский градоначальник доносил Воронцову: «Пушкин завтрашний день отправляется отсюда в город Псков по данному от меня маршруту. На прогоны к месту назначения, по числу вёрст 1621, на три лошади, выдано ему денег 389 руб. 4 коп.».

Кстати. Отношения между Воронцовым и поэтом пушкинисты, как правило, интерпретируют с заметным умалением значимости первого из них. Поэтому мы сочли нелишним привести на этот счёт мнение литературоведа и поклонника поэта Михаила Филина («Литературная газета», 2014/5):

«Исправно получая жалованье, чиновник Коллегии иностранных дел демонстративно игнорировал службу. Повесничал, пил и шумно кутил в ресторациях и на кораблях. Картёжничал и, возможно, подрался на дуэли. Не делал тайны из амурных похождений. „Брал уроки чистого афеизма“[46] и считал эту систему „более всего правдоподобной“. Посещал дом своего начальника, а потом на каждом углу злословил о нём. Вдобавок позволял себе вольности в обращении с его супругой.

Вердикт пушкинистов: граф М. С. Воронцов — полный подлец».

«Вещали книжники, тревожились цари». Весьма значимым (для данной книги) памятником о пребывании Пушкина в Одессе является стихотворение, обращённое к памяти Наполеона «Зачем ты прислан был…» (1824):

Зачем ты послан был и кто тебя послал?
Чего, добра иль зла, ты верный был свершитель?
Зачем потух, зачем блистал,
Земли чудесный посетитель?

Вопросом о ниспослании землянам «чудесного посетителя» поэт сразу вводит нас в мир мистических измерений: необъяснимое появление великого человека и столь же таинственное его исчезновение. Игнорируя реалии событий, Пушкин отвергал ординарность личности великого воителя и государственного деятеля. В интерпретации поэта французская революция — знак свыше о появлении необыкновенного деятеля:

Вещали книжники, тревожились цари,
Толпа пред ними волновалась,
Разоблачённые пустели алтари,

Свободы буря подымалась.

Эта строфа по смыслу и тональности очень близка следующим евангельским строкам: «Ирод царь встревожился… И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них: где должно родиться Христу» (Матфей, 2: 3–4). Сближение двух явлений (рождения Иисуса Христа и Наполеона Бонапарта) как бы уравновешивало их и отвечало на вопросы, поставленные в начале стихотворения. Зачем послан? Для великих деяний. Добрых или злых? И тех и других.

Наполеона упоминают чаще всего как непревзойдённого полководца, как гения военного искусства. При этом в вину ему вменяют покорение народов, захват некоторых территорий и наложение определённых обязательств на побеждённые страны.

Но территории, приобретённые Францией в результате наполеоновских войн, не идут ни в какое сравнение с колониальными завоеваниями Англии, ставшей империей, в которой не заходило солнце. Захватом чужих земель расширяла свои владения маленькая североамериканская республика, ставшая владычицей целого континента. Войнами увеличивала свои немалые владения и Россия — Финляндия, восточная часть Польши (герцогство Варшавское), позднее — Северный Кавказ и Средняя Азия.

На протяжении столетий захват чужих территорий был рядовым явлением, этим гордились, а не плакались по судьбе покорённых народов. И с этой точки зрения Наполеон не совершил ничего предосудительного. К тому же все его войны с ведущими державами Европы были оборонительными — он защищался от антифранцузских коалиций, в которые в основном входили Австрия, Англия, Пруссия и Россия.

Конечно, в абстрактном смысле — безусловное зло, но всякое явление конкретно, поэтому нельзя все войны, которые вёл Наполеон, чохом относить к завоевательным. Таковыми в чистом виде были только Испанская война и Отечественная война 1812 года. Тут оправданий у великого воителя нет.

Но были у завоеваний Наполеона и положительные моменты. На первых порах его армия несла народам Европы идеи великой революции — свободу, равенство, братство. Это способствовало упразднению крепостничества в немецких государствах и принятию буржуазного права. Сказывалось и влияние французской культуры.

Конечно, народы покорённой Европы роптали, были отдельные выступления против французского владычества, но не

было того, что последовало вскоре после свержения Наполеона с престола — почти одновременные восстания в Неаполитанском королевстве, Пьемонте, Испании и Греции. Монархи Европы инстинктивно почувствовали в них влияние революционных идей, принесённых на штыках наполеоновских солдат, и жестоко подавили народные движения. Наступила реакция:

И горд и наг пришёл разврат,
И перед ним сердца застыли,
За власть отечество забыли,
За злато продал брата брат.
Рекли безумцы: нет свободы,
И им поверили народы.
И безразлично, в их речах,
Добро и зло, всё стало тенью —
Всё было предано презренью,
Как ветру предан дольный прах.

Каждое явление имеет две стороны — светлую и тёмную. Это мы и видим на примере наполеоновских войн, о которых хорошо сказал А. И. Герцен:

— Я не могу равнодушно пройти мимо гравюры, представляющей встречу Веллингтона с Блюхером в минуту победы под Ватерлоо. Я долго смотрю на неё всякий раз, и всякий раз внутри груди делается холодно и страшно… Веллингтон и Блюхер приветствуют радостно друг друга. И как им не радоваться! Они только что своротили историю с большой дороги по ступицу в грязь, и в такую грязь, из которой её в полвека не вытащат… Наполеон «додразнил» другие народы до дикого бешенства отпора, и они стали отчаянно драться за свои рабства и своих господ (62, 341).

Победа седьмой антифранцузской коалиции отрицательно сказалась в социально-экономическом плане: на несколько десятилетий в континентальной Европе был заторможен процесс развития капитализма. И тут мы подходим к ответу на вторую часть вопроса, которым задавался (и конечно, не случайно) А. С. Пушкин: *«Чего, добра иль зла, ты верный был свершитель?».*

Наполеон

Восемь лет (1816–1824) Александр Сергеевич вращался в военной среде. Сначала это была молодёжь лейб-гвардии Гусарского полка, позднее — более зрелые офицеры 16-й пехотной дивизии генерала М. Ф. Орлова. И тем и другим было что порассказать весьма любознательному поэту — его вольнолюбивые стихотворения рождались не на пустом месте.

Были беседы и об экономическом положении германских государств и Франции (Орлов позднее даже издал книгу «О государственном кредите»). Военных они занимали меньше, но не Пушкина с его взыскующим умом, не довольствовавшимся официальной пропагандой. Разница здесь была более чем существенной. Обратимся к фактам.

Много говорилось и писалось об обезлюдении Франции. На самом деле при Наполеоне её население (без присоединённых территорий) увеличилось на три миллиона человек (на 12 %). Страна превратилась в экспортёра зерна, растительного и сливочного масла. Производство шёлка увеличилось в 11 раз. Впервые в мире было налажено производство сахара из свёклы. К 1813 году во Франции было 334 свекольно-сахарных завода. В два раза выросло производство стали, в пять раз — угля.

Франция покрылась сетью дорог и каналов. Дороги связали Париж с Миланом (через Альпы), Турином, Испанией и Италией. В Париже были построены рынки, бойни, общественные здания, фонтаны, ликвидирован дефицит воды. Наполеон хотел сделать из него мировой центр цивилизации. Суровый воин и жёсткий правитель говорил:

— Иногда мне хочется, чтобы Париж стал городом с двумя, тремя, четырьмя миллионами жителей, чем-то сказочным,

колоссальным, невиданным до наших дней и чтобы общественные учреждения в нём соответствовали количеству населения (60а, 154).

Но император заботился не только о Париже — шесть миллионов франков было потрачено на реставрацию памятников Рима. Всего на общественные работы ушло более миллиарда франков (Общественные работы — это реставрация зданий, обновление портов, строительство дорог и мостов, мелиорация, строительство больниц и приютов, содержание музеев).

Скучать французам не приходилось. И не случайно рабочие с окраин Парижа на протяжении многих лет после низвержения Наполеона выходили на улицы города с криками «Да здравствует император!».

Словом, интуицией гения Пушкин понял двойственность деяний другого гения, и у него не хватило решимости бесповоротно осудить его в атмосфере наступившей реакции.

Кстати. Пушкину очень повезло, что он очутился в военной среде и имел возможность черпать сведения о событиях 1812–1815 годов от непосредственных участников их. Особенно это относится к Отечественной войне, к которой Александр Благословенный отнюдь не благоговел (и который, по выражению Пушкина, «в 1812 году дрожал» и фактически был отстранён от руководства армией). И причины для этого были. Александра I связывали с 1812 годом самые мрачные ассоциации: ослабление в чрезвычайных военных условиях режима неограниченной власти, падение личного авторитета и острая, разделяемая царской семьёй критика в его адрес в разных слоях общества, угроза смещения с престола. Даже заграничные походы, в которых царь после смерти Кутузова играл главенствующую роль, как победитель Наполеона, «освободитель» и миротворец Европы, не могли сгладить тяжкие впечатления лета и осени 1812 года. Наконец, на события этого года неизгладимую печать накладывала атмосфера народной войны, пробудившая дух независимости и гражданских настроений, принципиально несовместимых с политической системой самодержавия и сословно-крепостным строем.

После окончательного сокрушения Наполеона Александр I проявил явное желание заслонить значение 1812 года последующими событиями, представив великую народную войну лишь как одну из серий кампаний, имевших главным политическим итогом вступление русского царя в Париж. Этой тенденцией были проникнуты планы царя по созданию истории наполеоновских войн, порученной А. Жомини.

А. И. Михайловский-Данилевский, флигель-адъютант царя, сопровождавший его в Москву, когда там торжественно праздновалась годовщина Бородинского сражения (1817), был оскорблён в своих патриотических чувствах при виде того, «как 26 августа государь не только не ездил в Бородино и не служил в Москве панихиды по убиенным, но даже в сей великий день, когда почти все дворянские семейства в России оплакивают кого-либо из родных, павших в бессмертной битве на берегах Колочи», предавался увеселениям на балу графини А. А. Орловой-Чесменской.

Глубоко неодобрительно писал Михайловский-Данилевский, подытоживая наблюдения прежних лет над поступками Александра I: «Император не посетил ни одного классического места войны 1812 года: Бородина, Тарутина, Малого Ярославца и других, хотя из Вены ездил на Ваграмские и Аспернские поля, а из Брюсселя — в Ватерлоо. Достойно примечания, что государь не любит вспоминать об Отечественной войне и говорить о ней». В более поздних воспоминаниях, уже в конце 1820-х годов, окидывая общим взором царствование Александра I, Михайловский-Данилевский с горечью отмечал, что при нём прославление подвигов Отечественной войны «у нас вовсе было пренебрежено», а в 1836 году в письме к генералу А. П. Никитину снова жаловался на то, что Александр I не поощрял их описаний, от чего «начали мало-помалу наши войны предавать забвению».

Демонстративное равнодушие Александра I к событиям Отечественной войны 1812 года на фоне его подчёркнутого внимания к местам, связанным с кампаниями 1813–1815 годов, отмечали и другие его современники. Н. Н. Муравьёв, будущий наместник Кавказа, посетив в 1816 году Бородино, писал: «Никакой памятник не сооружён в честь храбрых русских, погибших в сём сражении за Отечество. Окрестные селения в нищете и живут мирскими подаяниями, тогда как государь выдал два миллиона рублей русских денег в Нидерландах жителям Ватерлоо, потерпевшим от сражения, бывшего на том месте в 1815 году» (Русский архив. 1885, № 11, с. 338).

Д. В. Давыдов сетовал, имея ввиду царя и придворные круги: — Ныне стараются придать забвению и события, и людей, ознаменовавших сию великую эпоху, коей слава есть собственность России (88,185).

В среде, в которой Пушкин находился с 1820 по 1824 год, о грозе 1812 года не забывали, ибо были участниками войны и находились далеко от Петербурга, не стесняемые мнением царя и его окружения, одёргивавшего «непонятливых» офицеров. «Давно пора перестать говорить о кампании 1812 года или по крайней

мере быть скромнее. Если кто-либо сделал что хорошее, он должен быть доволен тем, что исполнил свой долг, как честный человек и достойный сын Отечества», — писал в марте 1821 года начальник Главного штаба П. М. Волконский командиру Гвардейского корпуса И. В. Васильчикову.

Отстранённость от темы Отечественной войны 1812 года чувствуется и в творениях великого поэта — его больше привлекали фигуры Наполеона и Александра I, хотя обстановка, в которой он находился, и впитываемые им впечатления давали пищу и для отражения в творчестве событий, более близких для русского человека. То есть высочайшая установка на прославление периода заграничных походов невольно сказалась на выборе Пушкиным творческих тем. Словом, невозможно, живя в обществе и не зависеть от него, как говаривали классики.

* * *

…Из лиц, с которыми поэт близко сошёлся в Одессе, отметим А. Н. Раевского и А. Ф. Ланжерона.

«Близкий мой приятель». Так Пушкин называл А. Н. Раевского. Он был на четыре года старше поэта. В пятнадцать лет его зачислили на военную службу подпрапорщиком в Симбирский гренадёрский полк.

В конце войны с Турцией Александр находился в армии с отцом. В Отечественную войну 1812 года отличился в сражении под Салтановкой и был произведён в подпоручики.

— Мой сын Александр храбрец, — говорил по этому поводу генерал Н. Н. Раевский, — получил чин и орден Святого Владимира. Я надеюсь, что он продвинется и получит золотую шпагу.

Золотую шпагу Александр получил за храбрость, проявленную в трёхдневном сражении под Красным. В двадцать два года был полковником, служил в Петербурге, тогда-то и познакомился с Пушкиным, но сблизились они только летом 1820 года на Кавказских Минеральных Водах:

С ним подружился я в то время.
Мне нравились его черты,
Мечтам невольная преданность,
Неподражательная странность
И резкий, охлаждённый ум.
Я был озлоблен, он угрюм;

Страстей игру мы знали оба;
Томила жизнь обоих нас;
В обоих сердца жар угас;
Обоих ожидала злоба
Слепой Фортуны и людей
На самом утре наших дней.

Затем была совместная поездка в Крым, встречи в Каменке и Киеве, тесное общение в Одессе и горькое разочарование в друге в Михайловском. А с каких надежд начиналось «утро» их отношений! Александр Раевский отличался яркой индивидуальностью. Человек блестящего и саркастического ума, он обладал всеразлагающей иронией. Современники называли его циником, воплощением духа отрицания, неверия, демонизма и прозвали Мельмотом — разочарованным человеконенавистником. Разность натур Пушкина и его нового приятеля вызывала их интерес друг к другу. Молодой поэт, увлечённый необычным и возвышенным, романтикой жизни, столкнулся со скептиком, охладелым человеком. Язвительное отрицание, душевный холод и равнодушие к жизни в сочетании с образованностью и большим умом привлекли Александра Сергеевича в тёзке. Он искал его общества и вскоре почти полностью подпал под его влияние.

Мне было грустно, тяжко, больно,
Но, одолев меня в борьбе,
Он сочетал меня невольно
Своей таинственной судьбе —
Я стал взирать его очами,
С его печальными речами
Мои слова звучали в лад, —

писал Александр Сергеевич в черновиках «Евгения Онегина».

В 1820 году Пушкин создал поэму «Кавказский пленник». Начал он её в августе в Гурзуфе, закончил 23 февраля следующего года в Каменке, имении Давыдовых. То есть поэма писалась в начальный период сближения с Александром Раевскии и «моделью» её героя в значительной мере стал новый друг с его страстным характером при внешней холодности:

Давно, давно привыкнул он
Себя таить в душе глубокой.
В самом себе привыкнул он

Таить… и скорбь, и наслажденье
Противу злобы хладный камень
Среди гонений, средь пиров
Везде казался хладный камень.

Отражая в характере пленника равнодушие к жизни и к её наслаждениям, преждевременную старость души — эти отличительные черты молодёжи начала XIX столетия — Пушкин имел перед собой типичного её представителя в лице Александра Раевского. В нём эти черты выступали с особой резкостью и были особенно близки поэту, испытавшему уже немало разочарований. Укреплению последних немало содействовал новый друг.:

Моё беспечное познанье
Лукавый демон возмутил,
И он моё существованье
С своим навек соединил.

Пушкин называл тёзку учителем в делах нравственных.
Чему же Раевский научил своего адепта?

Взглянул на мир я взором ясным
И изумился в тишине;
Ужели он казался мне
Столь величавым и прекрасным?
Чего, мечтатель молодой,
Ты в нём искал, к чему стремился,
Кого восторженной душой
Боготворить не устыдился?
И взор я бросил на людей,
Увидел их надменных, низких,
Жестоких ветреных судей,
Глупцов, всегда злодейству близких…

По-видимому, не без влияния Александра Раевского Пушкиным была написана поэма «Гаврилиада». В январе — феврале 1821 года поэт встречался с «близким приятелем» в Киеве, а 6 апреля уже набросал план поэмы, представляющей собой пародию на евангельский рассказ о благовещении, то есть о возвещении Марии устами архангела Гавриила воли Божией о зачатии и рождении Иисуса Христа от Духа Святого. В интерпретации Пушкина этот евангельский сюжет выглядит так:

Он[47] улетел. Усталая Мария
Подумала: «Вот шалости какие!
Один, два, три! — как это им не лень?
Могу сказать, перенесла тревогу:
Досталась я в один и тот же день
Лукавому[48], архангелу и Богу».

«Это как?» — спросят некоторые читатели, прытко перешагнувшие от полного неверия к показному почитанию Всевышнего. А вот читайте:

Одной рукой цветочек ей подносит,
Другая мнёт простое полотно
И крадется под ризы торопливо,
И лёгкий перст касается игриво
До милых тайн… Всё для Марии диво…
Она молчит, но вдруг не стало мочи,
Едва дыша, закрыла томны очи,
К лукавому склонив на грудь главу,
Вскричала: «Ах!»… и пала на траву…

Это картина первая, а вот вторая:

Потупя взор, прекрасная вздыхала,
И Гавриил её поцеловал.
Смутясь, она краснела и молчала;
Её груди дерзнул коснуться он…
«Оставь меня!» — Мария прошептала,
И в тот же миг лобзаньем заглушён
Невинности последний крик и стон…

Так, по Пушкину, архангел Гавриил донёс до Марии благостную весть о предстоящем визите Всевышнего, который не замедлил явиться в образе птицы:

И что же? Вдруг мохнатый белокрылый
В её окно влетает голубь милый,
Над нею он порхает и кружит
И пробует весёлые напевы,
И вдруг летит в колени милой девы,
Над розою садится и дрожит,
Клюёт её, колышется, вертится

И носиком и ножками трудится.

Рукописные списки поэмы расходились в узком кругу интеллигенции, и, что характерно, до 1828 года никто не выдал автора властям предержащим. То есть «критика» святого писания была воспринята с внутренним одобрением, хотя трудно назвать критикой прямое кощунство: Пушкин поставил под сомнение чистоту Богородицы в вопросе об отцовстве Иисуса Христа (за подобные «шутки» в средние века жгли на кострах).

Словом, влияние Александра Раевского на поэта было самым отрицательным, и Пушкин довольно быстро начал понимать это:

Печальны были наши встречи:
Его улыбка, чудный взгляд,
Его язвительные речи
Вливали в душу хладный яд.
Неистощимой клеветою
Он провиденье искушал;
Он звал прекрасное мечтою;
Он вдохновенье презирал;
Не верил он любви, свободе;
На жизнь насмешливо глядел —
И ничего во всей природе
Благословить он не хотел.

Современники узнавали в «Демоне» Раевского, видели в пушкинском герое черты его облика и душевного склада. Это признавали и близкие родственники Раевского, люди, хорошо его знавшие. А. Л. Давыдов, дядя А. Раевского, знал «Демона» наизусть и не раз с самодовольным видом декламировал стихотворение своим знакомым, «восхищаясь тем, что племянник увековечен стихами Пушкина». М. Н. Волконская говорила, «что образ пушкинского „Демона“ создавался не без влияния её брата на поэта, другом которого он был». Она вспоминала, что в Сибири её муж звал Александра Николаевича «демоном», «говоря, что Пушкин тоже называл его так, зная его очень хорошо».

Более пространно на эту тему писал адъютант Н. Н. Раевского-младшего М. В. Юзефович: «А. Н. Раевский, первообраз „Демона“, имел на Пушкина влияние, доходившее до смешного. Например, Пушкин мне сам рассказывал, что с Александром Николаевичем он не мог спорить иначе, как впотьмах, потушив свечи, и что он подходил, как смеясь выражался, из подлости к ручке его девки. Точь-в-точь то же

самое рассказывал мне потом Раевский, смеясь над фасинацией (очарованием), какую напустил он на Пушкина. Эту, впрочем, фасинацию испытывал и я. Раевский действительно имел в себе что-то такое, что придавливало душу других».

А. Н. Раевский

Оригинальности личности Александра Николаевича соответствовал его внешний вид. «Одна наружность Александра Раевского, — вспоминал П. И. Капнист, — была такова, что невольно, с первого взгляда, легко могла привлечь внимание каждого, кто даже не был с ним лично знаком: высокий, худой, даже костлявый, с большой круглой и коротко остриженной головой, с лицом тёмно-жёлтого цвета, с множеством морщин и складок, — он всегда (я думаю, даже когда спал) сохранял саркастическое выражение, чему, быть может, немало способствовал его очень широкий с тонкими губами рот. Он, по обычаю двадцатых годов, всегда был гладко выбрит, и хотя носил очки, но они ничего не отнимали у его глаз, которые были очень характеристичны. Маленькие, изжёлта-карие, они всегда блестели наблюдательно живым и смелым взглядом, с оттенком насмешливости, и напоминали глаза Вольтера. Раевский унаследовал у отца своего резкую морщину между бровями, которая никогда не исчезала.

Вообще он был скорее безобразен, но это было безобразие типичное, породистое, много лучше казённой и приторной красоты иных бесцветных эндимионов. Раевский одевался обыкновенно несколько небрежно и даже в молодости своей не был щёголем, что, однако, не мешало ему иметь всегда заметное положение в высшем обществе» (17, 191–192).

Александр Раевский был умён и хорошо образован, а главное — старше и житейски опытнее Пушкина, а в молодости это много значит. Эгоист до кончиков ногтей Александр никого не любил и не уважал, идеалов у него не было, поэтому ещё не утвердившийся в своих нравственных ориентирах поэт стал для него объектом мистификации, о которой писал Ф. Ф. Вигель, бывший в очень хороших отношениях с бывшим коллегой по Коллегии иностранных дел: «Известность Пушкина во всей России, хвалы, которые гремели ему во всех журналах, превосходство ума, которое внутренне Раевский должен был признавать в нём над собою, всё это тревожило, мучило его. Он стихов его никогда не читал, не упоминал ему даже о них: поэзия была ему дело вовсе чуждое, равномерно и нежные чувства, в которых видел он одно смешное сумасбродство. Однако же он умел воспалять их в других; и вздохи, сладкие мучения, восторженность Пушкина, коих один он был свидетелем, служили ему беспрестанной забавой. Вкравшись в его дружбу, он заставил его видеть в себе поверенного и усерднейшего помощника, одним словом, самым искусным образом дурачил его». Постепенно постигая противоречивость характера Раевского, Александр Сергеевич писал ему: «Я вижу ваше тщеславие и ваше слабое место под напускным цинизмом».

Кстати, в Одессе Раевский сыграл весьма неблаговидную роль в судьбе поэта, во многом поспособствовав его удалению из этого цивилизованного центра в Михайловское, туда и пришло ласкательное письмо Александра Николаевича с уверениями в любви и дружбе. «Теперь, когда мы так далеко друг от друга, я не стану сдерживаться в выражении чувств, которые питаю к вам», — уверял он друга.

Но Пушкин уже понял цену слов Раевского, а главное — трезво оценил его поведение в Одессе и ответил недавнему кумиру стихотворением «Коварность». Правда, окончательно с ним не порвал, так как Раевский интересовал его как прообраз творческих созданий:

Несносно (согласитесь в том)
Между людей благоразумных
Прослыть притворным чудаком

Или печальным сумасбродом,
Иль сатаническим уродом,
Иль даже Демоном моим.

Среди знакомых и родственников Александра Николаевича было немало людей, которые вошли в историю под именем декабристов. На исходе 1825 года Раевского арестовали и привезли в Петербург. На первом допросе царь заявил ему:

— Я знаю, что вы не принадлежите к тайному обществу, но, имея родных и знакомых там, вы всё знали и не уведомили правительство. Где же ваша присяга?

— Государь, — отвечал Александр Николаевич, — честь дороже присяги; нарушив первую, человек не может существовать, тогда как без второй он может обойтись ещё.

Это была дерзость (если не прямой вызов самодержцу), но всё обошлось: никаких улик, указывавших на принадлежность Раевского к когорте декабристов, не нашли, и 17 января его освободили с «очистительным аттестатом».

Пушкин, узнав об аресте Александра Николаевича, был в тревоге за вчерашнего друга, о чём мы узнаём из его обращения (из Михайловского) к А. А. Дельвигу: «Милый барон, вы обо мне беспокоитесь, и напрасно. Я человек мирный. Но я беспокоюсь. Дай Бог, чтобы было понапрасну. Мне сказывали, что А. Раевский под арестом. Не сомневаюсь в его политической безвинности. Но он болен ногами, и сырость казематов будет для него смертельна. Узнай, где он, и успокой меня».

После освобождения из Петропавловской крепости А. Раевский уехал в Одессу в надежде на восстановление близких отношений с женой М. С. Воронцова. Но супруги не приняли его. Александр Николаевич терзался ипохондрией, стал чудить и позволять себе поступки, явно выходящие из рамок приличия. Как-то он, с хлыстом в руках, остановил на улице экипаж графини и крикнул ей: «Заботьтесь хорошенько о наших детях!» (по другой версии — «о нашей дочери»). Скандал получился невероятный. Воронцов вышел из себя и под влиянием гнева решился на шаг совершенно неслыханный: он, генерал-губернатор Новороссии, в качестве частного лица подал одесскому полицеймейстеру жалобу на Раевского, не дающего прохода его жене.

Сохранился письменный отзыв Раевского на запрос полиции: «Вчерашнего числа вечером вы изволили приехать, чтобы прочитать мне просьбу, вам поданную графом Воронцовым, в которой, как частный человек, он требует от вас защиты за мнимые мои дерзости против почтеннейшей его супруги; в случае

продолжения оных е. с. угрожает мне прибегнуть к высшей власти. На сие имею честь вам отвечать, что я ничего дерзкого не мог сказать её сиятельству, и я не понимаю, что могло дать повод к такой небылице. Мне весьма прискорбно, что граф Воронцов вмешивает полицию в семейственные свои дела и через то даёт им столь неприятную гласность. Я покажу более умеренности и чувства приличия, не распространяясь далее о таковом предмете. Что же касается до донесений холопий его сиятельства, то оные совершенно ложны» (33, 137).

Воронцов быстро опомнился. Сообразив, что официальная жалоба делает его смешным, он прибегнул к уже испытанному средству: настрочил в Петербург донос. Через три недели из столицы пришло высочайшее повеление о немедленной высылке Раевского в Полтаву «за разговоры против правительства и военных действий». Демон был отлучён от высшего общества.

С января 1834 года А. Раевский жил в Москве. В старой столице он женился (из меркантильных соображений) на Е. П. Киндяковой. В этот период его встретил Пушкин, бывший в первопрестольной проездом. 28 ноября он писал в дневнике: «Видел А. Раевского, которого нашёл поглупевшим от ревматизмов в голове. Может быть, это пройдёт». Равнодушная констатация факта, без малейшей доли сочувствия к болящему, без воспоминаний о былом.

Через два года — новая встреча и упоминание (между прочим) в длинном письме жене идола молодости: «На днях обедал я у Орлова, у которого собрались московские наблюдатели[49]. Раевский (Александр), который с прошлого разу казался мне немного поглупевшим, кажется, опять оживился и поумнел. Жена его собою не красавица — говорят, очень умна».

Опять то же равнодушие, та же отстранённость! После окончания работы над романом «Евгений Онегин», прототипом главного героя которого во многом стал А. Раевский, Пушкин потерял к нему интерес. Да и было от чего: Александр Николаевич, человек большого ума и немалой образованности, вторую половину своего бытия провёл заурядным обывателем и салонным зубоскалом, ничего не достигнув и не сделав полезного. Будто предвидя это, Пушкин писал в своём великом романе:

> Но грустно думать, что напрасно
> Была нам молодость дана,
> Что изменяли ей всечасно,
> Что обманула нас она;
> Что наши лучшие желанья

Истлели быстрой чередой,
Как листья осенью гнилой.

Как Евгений Онегин, так и его прототип обманулись в жизни, которая жестоко отомстила себялюбцам за их эгоизм, пренебрежение к окружающим и плохо скрываемое презрение к ним. Демон завяз в трясине обыденности.

«Я был ему предан» Александр Фёдорович Ланжерон большую часть жизни провёл на русской службе. О превратностях судьбы этого эмигранта Ф. Ф. Вигель писал: «Революционною бурею выброшенный из своего отечества, он беззаботно и весело прожил свой век в чужой стране и дослужился унас до высокого чина и голубой ленты». Да был такой период в жизни Ланжерона, но в основном он воевал, с 1779 по 1829 год — 50 лет!

Александр Фёдорович происходил из аристократического рода. Во Франции он носил титулы: граф де Ланжерон, маркиз де ла Косс, барон де Конни, де ла Ферте и де Сасси. Воинскую службу начал сублейтенантом полка графа Дама. В 1782–1788 годах воевал в Северной Америке. Этот период его жизни завершился присвоением ему чина полковника.

Возвращение на родину совпало с началом революции. Спасаясь от начавшихся беспорядков, Ланжерон покинул Францию. В мае 1790 года он был принят на русскую службу полковником 1-го Сибирского гренадёрского полка. Участвовал в Русско-шведской и Русско-турецкой войнах рубежа 1780-х–1790-х годов; в обеих отличился, особенно при штурме Измаила. По распоряжению императрицы Екатерины II поступил волонтёром в австрийскую армию и воевал против революционной Франции. В 1796 году принял российское подданство.

Ланжерон пользовался особым расположением императора Павла I, поэтому чины и звания следовали одно за другим: генерал-майор, генерал-лейтенант, граф Российской империи. При Александре I удачливому беженцу сначала не повезло. При Аустерлице Ланжерон командовал колонной из шести пехотных полков, и ему было поручено провести охват французской армии, что он сделал крайне неудачно: колонна была разгромлена при атаке Праценских высот.

Много лет спустя, оценивая эту неудачу, Ланжерон писал: «Французские колонны, остановленные бригадой графа Каменского, развернулись в 300 шагах от неё под картечным огнём и построились на два фаса: один — против этой бригады, а другой — против австрийцев; последние стреляли снизу вверх и с

малою действительностью. Французы находились значительно выше них и немного выше русских; как только последние развернулись, французы открыли огонь. Чтобы воодушевить наших солдат, я решил идти вперёд. Команда была исполнена, как на учении. Французы отступили. Первый батальон Фанагорийского полка подошёл так близко к французам, что взял два орудия, брошенных ими. Но французские генералы и офицеры вернули своих солдат и поддержали их второй линией, которую мы только тогда увидали, и наши батальоны, в свою очередь, отступили и заняли свою прежнюю позицию. Лёгкость, с которой наши шесть батальонов, построенные в одну линию, оттеснили французов доказывает мне, что, если бы мы имели некоторые войска из тех, которые бесполезно стояли в полутора верстах, мы отбросили бы французов до Пунтовица и отбили бы Праценские высоты» (79, 46).

Словом, никакого разгрома не было: всего-то только, что отступили. Царь с такой концепцией Ланжерона был не согласен и приказал ему «добровольно» уйти в отставку, но уже через четыре месяца вновь призвал в армию. С этого времени Ланжерон воевал на юге: разбил авангард турецкой армии у крепости Журжа, руководил блокадой Силистрии, принудил к капитуляции гарнизон Рущука; в 1811 году временно исполнял обязанности главнокомандующего Молдавской армией. Затем был ближайшим сотрудником М. И. Кутузова, удостоен чина генерала от инфантерии (пехоты).

Во время Отечественной войны 1812 года Александр Фёдорович командовал корпусом в армии адмирала П. В. Чичагова, участвовал в сражениях при Брест-Литовске и Березине, в освобождении Вильно.

А. Ф. Ланжерон

В кампании 1813 года Ланжерон проявил себя при взятии Торна (награждён орденом Святого Георгия 2-го класса) и в сражении при Кёнигсварте. В последнем он командовал левым флангом союзных войск, отбил у неприятеля пять орудий, взял в плен четырёх генералов и 1200 нижних чинов. В Лейпцигском сражении части его корпуса ворвались в город и преследовали противника до Лютценских ворот. За это сражение Ланжерон удостоился ордена Святого Александра Невского с алмазами.

Это была вторая высшая (после ордена Андрея Первозванного) награда Российской империи. Девиз ордена: «За труды и Отечество». Лента ордена — красная муаровая, носилась через левое плечо. За 1812–1814 годы им были награждены только 48 человек.

В декабре и январе Александр Фёдорович руководил осадой Майнца. В кампании 1814 года он командовал левым флангом Силезской армии при Краоне, Лаоне и Фер-Шампенауз. 18(30) марта взял высоты Монмартра, после чего защита Парижа стала бессмысленной. На этих высотах Ланжерон получил из рук Александра I орден Святого Андрея Первозванного.

Это был первый и высший орден Российской империи. Девиз ордена — «За веру и верность», лента ордена — голубая муаровая. За 1812–1814 годы им были награждены только восемь человек: М. Б. Барклай де Толли, П. Х. Витгенштейн, А. Ф. Ланжерон, Д. И. Лобанов-Ростовский, М. А. Милорадович,

Ф. В. Остен-Сакен, М. И. Платов и А. П. Тормасов. Неплохая компания! Так что сарказм Вигеля по поводу голубой ленты и Ланжерона — это рядовое зубоскальство завистника.

После победы над Наполеоном Александр Фёдорович командовал Оккупационными войсками в Эльзас-Лотарингии; а в ноябре 1815 года был назначен военным губернатором Херсона, градоначальником Одессы, управляющим гражданской частью Херсонской, Таврической и Екатеринославской губерний, да ещё главноначальствующим над бугскими и черноморскими казаками. В этом обилии должностей имперские чиновники часто путались. Поэтому с мая 1820 года Ланжерона стали именовать новороссийским генерал-губернатором.

На этом посту Александр Фёдорович несколько расслабился, передоверил ведение всех дел помощникам, а сам занялся литературным трудом: работал над мемуарами, писал стихи и пьесы. Творческие потуги погружали его в себя, уводили в мир создаваемых образов. Это и подвело генерал-губернатора.

В 1823 году Одессу посетил Александр I. Остановился в доме Ланжерона и отдыхал после обеда в его спальне, которую хозяин по привычке закрыл на ключ, а когда открыл, то удивился:

— Государь, что вы делаете в моей комнате?

— Как что я делаю, сударь? — разгневался царь. — У вас очень плохая память; я крайне недоволен беспорядком, который нашёл здесь, и назначу другого генерал-губернатора.

7 мая 1823 года Александр Фёдорович «по болезни» был уволен в отставку. Это дало ему возможность с головой погрузиться в творчество. Поэтому когда в Одессе появился молодой, но уже широко известный поэт, он не замедлил связаться с ним, узнать его мнение о своих стихах. Они были откровенно слабыми, но Пушкин воздержался от их прямого порицания, так как его занимали рассказы Ланжерона о войнах, в которых он участвовал, и о людях, которых знал.

Недовольный своей отставкой Ланжерон показывал Александру Сергеевичу письма царя, о котором говорил:

— Он обращался со мною как со своим другом, всё мне поверял, зато и я был ему предан. Но теперь, право, я готов развязать мой собственный шарф.

По рассказам очевидцев, Павел I был задушен шарфом одного из покушавшихся. И они не таились, а благоденствовали всё царствование Александра I, который панически боялся участи отца и говорил Ланжерону:

— Я вам пишу мало и редко, потому что я под топором.

Об этом же царь обмолвился 11 мая 1811 года французскому послу Арману Коленкуру:

— Скажите императору Наполеону, что земля тут трясётся подо мною. Что в моей собственной империи мое положение стало нестерпимым.

О преступлении, совершённом в ночь с 11 на 12 марта 1801 года, Ланжерон знал от графов Петра Палена и Леонтия Беннигсена, участвовавших в заговоре, и оправдывал его:

— Нужны преступления, чтобы избавиться от незаконности, от безумия или от тирании, когда они опираются на деспотизм.

Александр Фёдорович был прекрасным рассказчиком, а главное, опирался в своих воспоминаниях на дневники, которые вёл с 1790 года. На их основе он написал ряд статей, которые были опубликованы в «Военном журнале» (1817, книги 3, 4 и 7), издавившимся Главным штабом, и написал обширные мемуары. Последними очень интересовался Пушкин, но Ланжерон отказался от их публикации в России, понимая, что воспоминания будут выхолощены цензурой. После его смерти мемуары были переправлены в Парижский архив и стали доступны исследователям только после 1881 года. В последнее десятилетие XIX века в печати появились обширные выдержки из них.

…Высочайшее расположение к себе Александр Фёдорович вернул, войдя в состав Верховного суда по делу о восстании декабристов. В 1828 году он сопровождал нового государя на русско-турецкий фронт. В это время он уже командовал войсками в Великой и Малой Валахии. Однако вскоре главнокомандование ими было передано «младшему по старшинству» генералу И. И. Дибичу. Обиженный этим Ланжерон подал в отставку, третью на его полувековом воинском поприще.

Последние два года своей жизни Александр Фёдорович пребывал в Петербурге. Там он встречался с Пушкиным в салоне дочери М. И. Кутузова Е. М. Хитрово. По словам П. И. Бартенева, он «мучил Пушкина чтением своих стихов и трагедий». К новому, 1830 году, Ланжерон получил от Александра Сергеевича его визитную карточку, а на следующий год его унесла холера, год гулявшая в европейской части Российской империи.

Часть третья
«Мир опустел… Теперь куда же?»
1824–1830

«Между ими друзей моих довольно»

Пенаты. «Сердце не на месте». К. Ф. Рылеев. П. И. Пестель. С. И. Муравьёв-Апостол. М. П. Бестужев-Рюмин. П. Г. Каховский. И. И. Пущин. В. К. Кюхельбекер. М. Ф. Орлов. С. Г. Волконский. В. Ф. Раевский.

«Мой Пушкин»

8 сентября. От романа к сатире. «В ожидании суда потомков». «Он мало стеснялся соображениями человечности». «Россию гражданским мужеством дивит». «Бывают странные сближенья». Видок Фиглярин.

«Отечество того не забыло»

Памятники воинской славы. «Гренадёры прибыли сюда не для пародов». Сожжённая глава. «Когда ж твой ум он поражает?»

«Между ими друзей моих довольно»

Пенаты. 9 августа Пушкин был уже в родовом гнезде Ганнибалов селе Михайловском Псковской губернии. Встреча с родителями, сестрой и братом была радостной. Это очень смягчало суть случившегося (ссылка) и хорошо отразилось на состоянии поэта. Правда, первое время тосковал по Одессе. На полученную оттуда весточку ответил литературным шедевром — «Сожжённое письмо»:

Прощай, письмо любви, прощай! Она велела…
Как долго медлил я, как долго не хотела
Рука предать огню все радости мои!..
Но полно, час настал: гори, письмо любви,
Готов я; ничему душа моя не внемлет…

В Михайловском поэт разобрался в двуличном поведении недавнего друга А. Н. Раевского. Отчуждение между ними возникло не вдруг, и это чувствуется по письму Александра Николаевича: «Вы были неправы, милый друг, не дав мне вашего адреса и воображая, что я не сумею разыскать вас на краю света, в Псковской губернии; вы сберегли бы для меня время, потраченное на поиски, и скорее получили бы моё письмо. Я испытываю действительную потребность написать к вам; нельзя провести безнаказанно столько времени вместе, не исчисляя всех причин, заставляющих меня питать к вам истинную дружбу, одной привычки достаточно, чтобы установить между нами прочную связь.

Теперь, когда мы находимся так далеко друг от друга, я не хочу более вносить никаких оговорок в выражение чувств, которые питаю к вам. Знайте же, что, не говоря уже о вашем великом и прекрасном таланте, я давно испытываю к вам братскую дружбу, от которой меня не заставят отречься никакие житейские обстоятельства. Если после этого первого письма вы мне не ответите и не дадите мне вашего адреса, я буду продолжать писать и надоедать вам, пока не заставлю вас ответить» (33,133).

В письме ощущаются какая-то неловкость, затаённое сознание своей неправоты, желание загладить её и восстановить пошатнувшиеся дружеские отношения. Но Пушкин не пошёл на это — до конца жизни он не написал ни строчки тому, кто довольно долго был героем его воображения. Вечным приговором

ему стало стихотворение «Коварность»:

Когда твой друг на глас твоих речей
Ответствует язвительным молчаньем;
Когда свою он от руки твоей,
Как от змеи, отдёрнет с содроганьем;
Как, на тебя взор острый пригвоздя,
Качает он с презреньем головою, —
Не говори: «Неблагодарен он;
Он слаб и зол, он дружбы не достоин;
Вся жизнь его какой-то тяжкий сон»…
Ужель ты прав? Ужели ты спокоен?
Ах, если так, он в прах готов упасть,
Чтоб вымолить у друга примиренье.
Но если ты святую дружбы власть
Употреблял на злобное гоненье,
Но если ты затейливо язвил
Пугливое его воображенье
И гордую забаву находил
В его тоске, рыданьях, униженье,
Но если сам презренной клеветы
Ты про него невидимым был эхом,
Но если цепь ему накинул ты
И сонного врагу предал со смехом
И он прочёл в немой душе твоей
Всё тайное своим печальным взором,
Тогда ступай, не трать пустых речей —
Ты осуждён последним приговором.

Наступившая осень бодрила. 10 октября Александр Сергеевич писал Вяземскому: «Сегодня кончил я поэму „Цыганы“. Посылаю тебе маленькое поминаньице за упокой души раба Божия Байрона» (стихотворение «К морю»).

Пушкин начал готовить к изданию первый сборник своих стихотворений и по сему поводу вспомнил, что немалая часть их находится у одного из его знакомых. «Милый Всеволожский, — обращался к нему поэт в том же октябре, — ты помнишь Пушкина, проведшего с тобою столько весёлых часов? Помнишь ли, что я тебе полупродал, полупроиграл рукопись моих стихотворений? Всеволожский, милый, продай мне назад мою рукопись — за ту же цену 1000 (я знаю, что ты со мной спорить не станешь; даром же взять не захочу)».

Но к концу месяца идиллия кончилась. Жуковскому Александр Сергеевич сообщал: «Приехав сюда, был я всеми

встречен как нельзя лучше, но скоро всё переменилось: отец, испуганный моей ссылкой, беспрестанно твердил, что и его ожидает та же участь. Пещуров[50], назначенный за мною смотреть, имел бесстыдство предложить отцу моему должность распечатывать мою переписку, короче, быть моим шпионом».

Узнав это, Александр Сергеевич попытался объясниться с родителями: «Голова моя закипела. Иду к отцу, нахожу его с матерью и высказываю всё, что имел на сердце целых три месяца. Кончаю тем, что говорю ему в последний раз. Отец мой, воспользуясь отсутствием свидетелей, выбегает и всему дому объявляет, что я его бил, хотел бить, замахнулся, мог прибить…

Перед тобою не оправдываюсь. Но чего же он хочет для меня с уголовным своим обвинением? Рудников сибирских и лишения чести? Спаси меня хоть крепостию, хоть Соловецким монастырём» (10, 105).

Ссора кончилась тем, что родители уехали в Москву, оставив старшего сына в провинциальной глуши и одиночестве. Потекли месяцы и годы, тягостные своим однообразием.

Пребывание в Михайловском, конечно, не радовало. 25 января 1825 года Пушкин писал Вяземскому: «Покамест я один-одинёшенек. Живу недорослем, валяюсь на лежанке и слушаю старые сказки да песни. Стихи не лезут».

В отношении стихов Александр Сергеевич скромничал.

На рубеже 1824–1825 годов были написаны стихотворения «К морю», «Коварность», «Сожжённое письмо», «Андрей Шенье» и десятка два других. В октябре 1824 года Пушкин начал работу над четвёртой главой романа «Евгений Онегин», в ноябре сел за трагедию «Борис Годунов», 13–14 декабря написал стихотворную повесть «Граф Нулин». Теме нашей работы было посвящено первое из названных здесь стихотворений:

Прощай, свободная стихия!
В последний раз передо мной
Ты катишь волны голубые
И блещешь гордою красой.

Как друга ропот заунывный,
Как зов его в прощальный час,
Твой грустный шум, твой шум призывный
Услышал я в последний раз…

Мощь морской стихии ассоциировалась в сознании поэта с титаническими фигурами его времени:

О чём жалеть? Куда бы ныне
Я путь беспечный устремил?
Один предмет в твоей пустыне
Мою бы душу поразил.
Одна скала, гробница славы…
Там погружались в хладный сон
Воспоминанья величавы:
Там угасал Наполеон.

Там он почил среди мучений.
И вслед за ним, как бури шум,
Другой от нас умчался гений,
Другой властитель наших дум…

Этот «другой» — английский поэт Байрон. Удивительно и весьма значимо соединение Пушкиным имён поэта и воина под эпитетами «гений» и «властитель наших дум». То есть он не разделял (по крайней мере в данном случае) деяния великих на «хорошие» и «плохие», а принимал Наполеона без оговорок о добре и зле, соотносил его деятельность с разгулом стихии, правомерной в любом своём качестве.

Наполеон. Последний портрет

Стихотворение «К морю» было напечатано в октябре 1825 года с большим пропуском, сохранившимся в рукописи:

Печальный остров заточенья
Без злобы путник посетит,
Святое слово примиренья
За нас на камне начертит.

Он искупил меча стяжанья
И зло погибельных чудес
Тоской, томлением изгнанья
Под сенью душной тех небес.

Там, устремив на волны очи,
Воспоминал он прежних дней
Пожар и ужас полуночи,
Кровавый прах и стук мечей.

Там иногда в своей пустыне,
Забыв войну, потомство, трон,
Один, один о юном сыне
С улыбкой горькой думал он.

Этот фрагмент стихотворения аналогичен 13-й и 14-й строфам другого — «Наполеон», и Пушкин отказался от их повторения. А вот конец оды «К морю» он опустил уже по другим соображениям — цензурным (автоцензура существовала всегда):

Мир опустел… Теперь куда же
Меня б ты вынес, океан?
Судьба земли повсюду та же:
Где капля блага, там на страже
Уж просвещенье иль тиран.

В своём сельском уединении не забывал Пушкин об антагонисте Наполеона — царе Александре I, к которому у него были претензии личного плана. Около 31 октября 1824 года Александр Сергеевич писал псковскому гражданскому губернатору Б. А. Адеркасу: «Милостивый государь Борис Антонович! Государь император высочайше соизволил меня послать в поместье моих родителей, думая тем облегчить их горесть и участь сына. Неважные обвинения правительства сильно подействовали на сердце моего отца и раздражили мнительность, простительную старости и нежной любви его к прочим детям. Решился для его спокойствия и своего собственного просить Его Императорское Величество, да соизволит меня перевести в одну

из своих крепостей. Ожидаю сей последней милости от ходатайства Вашего превосходительства».

За внешней благопристойностью письма чувствуются сарказм и ирония по отношению к «благодетелю», от милостей которого хочется спрятаться в застенок. К счастью для поэта, это письмо (как и то, в котором он признавался в намерении убить царя) осталось не отосланным.

Личность царя продолжала привлекать внимание Пушкина. На рубеже 1824–1825 годов он работал над биографическим очерком «Воображаемый разговор с Александром I»: «Когда б я был царь, то позвал бы Александра Пушкина и сказал ему:

— Александр Сергеевич, вы прекрасно сочиняете стихи.

Александр Пушкин поклонился бы мне с некоторым скромным замешательством, а я бы продолжал…»

Предполагаемая беседа с прославленным государем имела бы, по мнению поэта, один исход: «Но тут бы Пушкин разгорячился и наговорил мне много лишнего, я бы рассердился и сослал его в Сибирь, где бы он написал поэму „Ермак“ или „Кочум“».

Но пока до Сибири дело не дошло, поэт забавлялся юморесками, в которых Александр I выглядит туповатым острословом и пошляком:

Брови царь нахмуря,
Говорил: «Вчера
Повалила буря
Памятник Петра».
Тот перепугался:
«Я не знал!.. Ужель?»
Царь расхохотался:
«Первый, брат, апрель!»

Говорил он с горем
Фрейлинам дворца:
«Вешают за морем
За два яйца!
То есть разумею, —
Вдруг примолвил он, —
Вешают за шею,
Но жесток закон».

В эпиграмме «На Александра I» Пушкин буквально в восьми строчках обрисовал весь жизненный путь царя:

Воспитанный под барабаном,
Наш царь лихим был капитаном:
Под Австерлицем он бежал,
В двенадцатом году дрожал,
Зато был фрунтовой профессор!
Но фрукт герою надоел —
Теперь коллежский он асессор
По части иностранных дел!

Об Аустерлице мы уже говорили. Что касается «фрунтового профессора» — это о шагистике, которой изнуряли армию. Были и другие минусы внедрения прусской системы в боевой подготовке солдат и офицеров. Вот фрагмент разговора Пушкина с великим князем Михаилом Павловичем по этому поводу. Беседа проходила в саду Аничкова дворца 16 декабря 1834 года.

— Что ты один здесь философствуешь? — полюбопытствовал князь.

— Гуляю.

— Пойдём вместе.

Разговорились о плешивых, Пушкин заметил:

— Вы не в родню, в вашем семействе мужчины молодые оплешивливают.

Михаил Павлович понял намёк и дал своё пояснение:

— Государь Александр и Константин Павлович оттого рано оплешивели, что при отце моём носили пудру и зачёсывали волосы; на морозе сало леденело, и волосы лезли.

Плешь — это всё, что осталось у Александра от воинской науки папаши. Не лучше получилось у царя и с попыткой верховодить в международных отношениях, убедительным примером чего является отказ (под давлением коллег по Священному союзу) от помощи восставшей Греции. Поэтому Пушкин величал царя асессором «по части иностранных дел», то есть чиновником VIII класса по Табелю о рангах, что в армии соответствовало тому же капитану.

Словом, при всём внешнем блеске правления Александра I («Он взял Париж, он основал лицей») великий поэт внутренне так и не принял его как историческую личность, сопроводив иронией даже на тот свет. «Говорят, ты написал стихи на смерть Александра, — укорял он Жуковского в январе 1826 года, — предмет богатый. Но в течение 10 лет его царствования лира твоя молчала. Это лучший упрёк ему. Никто более тебя не имел права сказать: глас лиры — глас народа».

«Сердце не на месте». Пребывая в Михайловском, Пушкин вёл оживлённую деловую и дружескую переписку. Но после 14 декабря 1825 года связь с внешним миром почти оборвалась. «Что делается у вас в Петербурге? — спрашивал Александр Сергеевич издателя своих сочинений П. А. Плетнёва.

— Я ничего не знаю, все перестали ко мне писать. Верно, вы полагаете меня в Нерчинске. Напрасно, я туда не намерен, но неизвестность о людях, с которыми находился в короткой связи, меня мучит».

О том же — П. А. Вяземскому: «Насилу ты мне написал. Вообрази, что я в глуши ровно ничего не знаю, переписка моя отовсюду прекратилась, а ты пишешь мне, как будто вчера мы целый день были вместе и наговорились досыта».

Понимая, что Пётр Андреевич не случайно лаконичен в своём послании, Пушкин пояснял (не столько ему, сколько возможному цензору) состояние своего положения: «Конечно, я ни в чём не замешан, и если правительству досуг подумать обо мне, то оно в том легко удостоверится. Никогда я не проповедовал ни возмущения, ни революции. Напротив. Класс писателей более склонен к умозрению, нежели к деятельности. Как бы то ни было, я желал бы вполне и искренно помириться с правительством, и, конечно, это ни от кого, кроме него, не зависит…».

Понимая, что его письма перлюстрируются, Александр Сергеевич через своего адресата пытался уверить правительство в своей лояльности. Между тем в руках Следственного комитета находилось его стихотворение «Кинжал»:

> Как адский луч, как молния богов,
> Немое лезвие злодею в очи блещет,
> И, озираясь, он трепещет
> Среди своих пиров.
> Везде его найдёт удар нежданный твой…[51]

Были в распоряжении Следственного комитета и другие стихотворения Пушкина, отнюдь не славословящие самодержавие и крепостной строй, а подследственные один за другим говорили о том, что в своей деятельности вдохновлялись ими. Это создавало впечатление о поэте как об опасном и вредном для власти вольнодумце, сеявшем яд свободомыслия в обольстительной литературной форме.

И Пушкин, конечно, понимал, что у правительства (в связи с делом декабристов) будут претензии к нему, о чём писал позднее, набрасывая родословную своих предков: «В конце 1825 года, при открытии несчастного заговора, я принуждён был сжечь свои

тетради, которые могли замешать многих, а может быть, и умножить число жертв. Не могу не сожалеть об их потере. Они были любопытны. Я в них говорил о людях, которые после сделались историческими лицами, со всей откровенностью дружбы и короткого знакомства». (88, 121)

Поэт жил среди будущих декабристов начиная с лицея. Он знал князя С. П. Трубецкого, Н. М. Муравьёва, князя И. А. Долгорукова, М. С. Лунина, И. Д. Якушкина, М. Ф. Орлова, В. Д. Давыдова, князя С. Г. Волконского, А. И. Якубовича, Я. Н. Толстого, К. А. Охотникова, В. Ф. Раевского, П. И. Пестеля; был дружен с В. К. Кюхельбекером и И. И. Пущиным, переписывался с А. А. Бестужевым и К. Ф. Рылеевым. Вяземскому по этому поводу говорил:

— Я был в связи почти со всеми и в переписке со многими заговорщиками.

Внутренне сознавая шаткость своего положения, Пушкин уничтожал одни компрометировавшие его бумаги и тут же плодил другие. В начале января 1826 года он работал над пятой главой «Евгения Онегина». Поля страниц, на которых написана эта глава, исчерчены портретами в профиль. На них изображены Вольтер и Мирабо, Рылеев, Пестель и Каховский. Тут же автопортрет, в котором Александр Сергеевич придал себе сходство с Робеспьером! К своему характерному профилю он прибавил высокий галстук, надменную сухость и откинутые назад волосы трибуна французской революции. Как должны были толковать эти рисунки власть предержащие, если бы они попали в руки полиции? А ведь друзья остерегали импульсивного поэта: «…в бумагах каждого из действовавших находятся стихи твои», — упрекал его В. А. Жуковский.

На укор Василия Андреевича Пушкин ответил большим письмом (январь 1826 года), рассчитывая на его заступничество перед царём: «Вероятно, правительство удостоверилось, что я заговору не принадлежу и с возмутителями 14 декабря связей политических не имел, но оно в журналах объявило опалу и тем, которые, имея какие-нибудь сведения о заговоре, не объявили о том полиции. Но кто ж, кроме полиции и правительства, не знал о нём? О заговоре кричали по всем переулкам, и это одна из причин моей безвинности.

Всё-таки я от жандарма ещё не ушёл, легко, может, уличат меня в политических разговорах с каким-нибудь из обвинённых. А между ими друзей моих довольно. Моё будущее поведение зависит от обстоятельств, от обхождения со мною правительства. Итак, остаётся тебе положиться на моё благоразумие. Ты можешь требовать от меня свидетельств об этом новом качестве. Вот они.

В Кишинёве я был дружен с майором Раевским, с генералом Пущиным и Орловым. Я был масон в Кишинёвской ложе, то есть в той, за которую уничтожены в России все ложи.

Я, наконец, был в связи с большею частью нынешних заговорщиков. Покойный император, сослав меня, мог только упрекнуть меня в безверии.

Письмо это неблагоразумно, конечно, но должно же доверять иногда и счастию. Кажется, можно сказать царю: Ваше Величество, если Пушкин не замешан, то нельзя ли наконец позволить ему возвратиться?».

В период следствия по делу декабристов Пушкина обуревали два чувства: переживание за друзей и тревога за собственное будущее. Преодолев гордыню, Александр Сергеевич не стал дожидаться, когда правительство вспомнит о нём, а обратился за милосердием к новому монарху:

> «Всемилостивейший государь!
>
> В 1824 году, имея несчастие заслужить гнев покойного императора легкомысленным суждением касательно афеизма, изложенным в одном письме, я был выключен из службы и сослан в деревню, где и нахожусь под надзором губернского начальства. Ныне с надеждой на великодушие Вашего Императорского Величества, с истинным раскаянием и с твёрдым намерением не противуречить моими мнениями общепринятому порядку (в чём и готов обязаться подпискою и честным словом) решился я прибегнуть к Вашему Императорскому Величеству со всеподданнейшею моею просьбою».

На отдельном листе бумаги приписал: «Я, нижеподписавшийся, обязуюсь впредь никаким тайным обществам, под каким бы они именем ни существовали, не принадлежать; свидетельствую при сем, что я ни к какому тайному обществу таковому не принадлежал и не принадлежу, и никогда не знал о них.

10-го класса Александр Пушкин.

11 мая 1826 г.» (10, 209–210).

Обещание поэта не противоречить власть предержащим не означало ни его смирения, ни его согласия с тем порядком вещей, который он вроде бы согласился принять. Письмо царю — акт отчаяния. Пушкину нужно было только одно: свобода. Вот что он писал Вяземскому через две с половиной недели после обращения к Николаю I: «Я, конечно, презираю отечество моё с головы до ног. Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в

России? Если царь даст мне свободу, то я месяца не останусь. Мы живём в печальном веке, но когда воображаю Лондон, чугунные дороги, паровые корабли, английские журналы или парижские театры, то моё глухое Михайловское наводит на меня тоску и бешенство. В 4-й песне „Онегина“ я изобразил свою жизнь; когда-нибудь прочтёшь его и спросишь с милой улыбкой: где ж мой поэт? в нём дарование приметно — услышишь, милая, в ответ: он удрал в Париж и никогда в проклятую Русь не воротится — ай да умница» (10, 208).

Это строки мечущегося человека, не уверенного ни в дне сегодняшнем, ни в дне завтрашнем, алчущего справедливости и взыскующего правды. Первое полугодие нового царствования было для поэта очень тяжёлым: потеря Н. М. Карамзина, старшего друга и покровителя; неопределённость собственного положения; тревога за товарищей, восставших против самодержавия и крепостничества.

24 июля Пушкин узнал о казни пяти героев Сенатской площади. Вид виселицы с пятью казнёнными долго преследовал воображение поэта.

В этот же день Александр Сергеевич получил известие о смерти Амалии Ризнич, которой страстно увлекался в Одессе. Но на фоне первой вести недавние муки любви показались поэту чем-то далёким и нереальным для текущей жизни:

Под небом голубым страны своей родной
Она томилась, увядала…
Увяла наконец, и верно надо мной
Младая тень уже летала;
Но недоступная черта меж нами есть.
Напрасно чувство возбуждал я:
Из равнодушных уст я слышал смерти весть,
И равнодушно ей внимал я.

Бледная тень красавицы Амалии пронеслась перед умственным взором поэта как бы в единстве с пятью другими тенями, трагическими и зловещими, которые ещё долго тревожили его воображение. 14 августа Пушкин писал Вяземскому: «Ещё-таки я всё надеюсь на коронацию: повешенные повешены, но каторга 120 друзей, братьев, товарищей ужасна. Правда ли, что Николая Тургенева привезли в Петербург? Вот каково море наше хвалёное!»

Так море, древний душегубец,
Воспламеняет гений твой?

Ты славишь лирой золотой
Нептуна грозного трезубец.

Не славь его. В наш гнусный век
Седой Нептун земли союзник.
На всех стихиях человек —
Тиран, предатель или узник.

Стихи эти были вызваны слухами о том, что Н. И. Тургенев, видный член Северного общества, находившийся в Лондоне, выдан английским правительством и привезён морем в Россию. Николай Иванович один из политических учителей Пушкина, его воззрения оказали влияние на творчество поэта (стихотворение «Деревня»); в квартире Тургенева Александр Сергеевич «в половине сочинил» оду «Вольность». В 10-й главе «Евгения Онегина» есть строки, посвящённые политическому изгнаннику:

Одну Россию в мире видя,
Преследуя свой идеал,
Хромой Тургенев им[52] внимал
И, плети рабства ненавидя,
Предвидел в сей толпе дворян
Освободителей крестьян.

Кстати. Хорошо известен ответ Пушкина на вопрос Николая I о том, что бы он сделал, если бы 14 декабря был в Петербурге. Александр Сергеевич, не задумываясь, ответил:

— Стал бы в ряды восставших — все мои друзья были там.

Пушкинисты почти единогласно считают, что поэту повезло и Михайловское было его спасением. Соглашаясь с этим бесспорным фактом, укажем на то, что Александру Сергеевичу подфартило и с высылкой из Одессы. Вот что писал по этому поводу И. П. Липранди: «Я смотрю, со своей точки зрения, на этот отъезд Пушкина как на событие, самое счастливое в его жизни, ибо вслед за его выездом поселился в Одессе князь С. Г. Волконский, женившийся на Раевской; приехали оба графа Булгари, Поджио и другие; из Петербурга из Гвардейского генерального штаба штабс-капитан Корнилович — делегатом Северного общества; из армии явились генерал-интендант Юшневский, полковники Пестель, Абрамов, Бурцов и пр. и пр.

Всё это посещало князя Волконского (как это видно из донесения Следственной комиссии), и Пушкин, с

мрачноожесточённым духом, легко мог быть свидетелем бредней, обуревающих строителей государства, и невинно сделаться жертвой» (51, 63).

Мог бы! Но главное всё-таки в том, что руководители тайных обществ видели непредсказуемость поведения поэта и не доверяли ему. Пушкин начала 1820-х годов был совершенно другим человеком, чем с их середины, и в 1832 году, находясь в Оренбурге, сам говорил будущему автору «Толкового словаря живого великорусского языка» В. И. Далю: «Вы не знали меня в молодости, каков я был; я не так жил, как жить бы должно: бурный небосклон позади меня».

Словом, судьба уберегла Александра Сергеевича от того, что случилось десятилетием позже.

«Рисунки на рукописях». На рассвете 13 июля 1826 года в Петербурге были казнены: полковник П. И. Пестель, подпоручик К. Ф. Рылеев, подполковник С. И. Муравьёв-Апостол, подпоручик М. П. Бестужев-Рюмин и поручик П. Г. Каховский. 24 июля в своём Михайловском далеке об этом узнал Пушкин. На автографе стихотворения «Под небом голубым страны своей родной» он оставил следующую запись: «Услышал о с. Р. П. М. К. Б. 24», то есть «услышал о смерти»… а дальше начальными буквами обозначены фамилии героев 14 декабря.

Пушкин всех их знал. С Пестелем встречался в Кишинёве, с юношей Бестужевым-Рюминым — у Олениных; с Муравьёвым-Апостолом и Каховским общался в среде петербургских «молодых якобинцев»; с Рылеевым был в творческой дружбе и постоянной переписке, он и значится первым в «шифровке» поэта.

К. Ф. Рылеев. Кондратий Федорович был сыном захудалого помещика. Окончил кадетский корпус, участвовал в заграничном походе, побывал в Швейцарии, Париже. Позднее говорил членам Следственного комитета:

— Свободомыслием заразился я во время походов во Францию в 1814 и 1815 годах.

В декабре 1818 года в чине подпоручика артиллерии Рылеев вышел в отставку. В последующие годы служил заседателем Петербургской палаты уголовного суда и был правителем канцелярии Русско-американской компании.

Кондратий Фёдорович получил широкую известность сатирой на Аракчеева «К временщику»; она произвела впечатление разорвавшейся бомбы. Рылеев пробовал своё перо в самых разных поэтических жанрах. Он писал поэмы, оды, элегии, послания и эпиграммы. В начальный период своего творчества будущий

руководитель Северного общества познакомился с юным Пушкиным: изредка встречались у общих знакомых. После удаления Александра Сергеевича из Петербурга связь между поэтами поддерживалась перепиской.

В 1823–1825 годах Рылеев издавал (вместе с А. А. Бестужевым) альманах «Полярная звезда», в котором публиковал свои произведения. Пушкин следил за ними и часто критиковал, хотя видел в Кондратии Фёдоровиче серьёзного соперника; в марте 1825 года писал Бестужеву: «Откуда ты взял, что я льщу Рылееву? Мнение моё о его „Думах“ я сказал вслух и ясно, о поэмах его — также. Очень знаю, что я его учитель в стихотворном языке, но он идёт своей дорогой. Он в душе поэт. Я опасаюсь его не на шутку и жалею очень, что его не застрелил, когда имел тому случай, — да чёрт его знал!»[53].

«Думы» — сборник поэм об исторических героях. Основная их идея — любовь к Родине. Всех героев «Дум» объединяет пламенный патриотизм, за который они страдают. Н. А. Бестужев писал об авторе сборника: «Единственная мысль, постоянная его идея была пробудить в душах своих соотечественников чувствования любви к отечеству, зажечь желание свободы».

Кондратий Федорович высоко ценил творчество Пушкина и писал ему, например, по поводу поэмы «Цыганы»: «Рылеев обнимает Пушкина и поздравляет с „Цыганами“. Они совершенно оправдали наше мнение о твоём таланте. Ты идёшь шагами великана и радуешь истинно русские сердца. Я пишу к тебе ты, потому что холодное вы не ложится под перо; надеюсь, что имею на это право и по душе, и по мыслям» (77, 299).

Александр Сергеевич не замедлил ответить на душевный порыв старого знакомого: «Благодарю тебя за ты и за письмо. Пущин привезёт тебе отрывок из моих „Цыганов“. Желаю, чтоб они тебе понравились. Жду „Полярной звезды“ с нетерпением. Знаешь для чего? Для „Войнаровского“. Эта поэма нужна была для нашей словесности…».

К. Ф. Рылеев

Сохранилось три письма Пушкина Рылееву. Последнее относится к августу 1825 года и посвящено вопросу особенности творчества русских писателей. «Мне досадно, — сетовал Александр Сергеевич, — что Рылеев меня не понимает. В чём дело? Что у нас не покровительствуют литературе и это — слава богу? Зачем же об этом говорить? Чтобы разбудить спящего кота? Равнодушию правительства и притеснению цензуры обязаны мы духом нынешней нашей словесности. Чего же тебе более? Ты сердишься за то, что я чванюсь 600-летним дворянством. Как же ты не видишь, что дух нашей словесности отчасти зависит от сословия писателей? Мы не можем подносить наших сочинений вельможам, ибо по своему рождению почитаем себя равными им. Отселе гордость. Не должно русских писателей судить, как инстранных. Там пишут для денег, а у нас (кроме меня) из тщеславия. Там стихами живут, а у нас граф Хвостов прожился на них. Милый мой, ты поэт и я поэт, но я сужу более прозаически и чуть ли от этого не прав. Прощай, мой милый, что ты пишешь?».

Рылеев писал в это время агитационные песни, которые распространялись среди солдат петербургского гарнизона:

Как идёт кузнец из кузницы, слава!
Что несёт кузнец? Да три ножика:
Вот уж первый-то нож — на злодеев вельмож,
А другой-то нож — на судей на плутов.
А, молитву сотворя, третий нож — на царя.
Кому вынется, тому сбудется,

Кому сбудется, не минуется. Слава!

Смыслом жизни Рылеева было открытое выступление против царизма, чтобы зажечь в сердцах потомков желание свободы. Это была жертвенная натура:

Известно мне: погибель ждёт
Того, кто первый восстаёт
На утеснителей народа, —
Судьба меня уж обрекла.
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?

Будто предчувствуя приближение трагической развязки, Кондратий Фёдорович завещал Пушкину:

— Будь поэт и гражданин. На тебя устремлены глаза России; тебя любят, тебе верят, тебе подражают.

«Они не были друзьями», — утверждали их современники, забывая сказать, что сближению двух поэтов помешала ссылка Пушкина. Иначе как объяснишь, что в рукописях Александра Сергеевича сохранилось десять (!) зарисовок Рылеева. А он бумагу зря не марал. Да и не та была фигура, чтобы развлекаться её изображением.

Прекрасные строки о судьбе поэта-революционера и его соратников оставил потомкам В. К. Кюхельбекер:

Горька судьба поэтов всех времён,
Тяжеле всех судьба казнит Россию;
Для славы и Рылеев был рождён,
Но юноша в свободу был влюблён…
Стянула петля дерзостную выю…

Но и здесь не обошлось без компрометации трагедии происходящего: трое из повешенных сорвались с виселиц. Перед тем как тюремщики «исправили» свои промашки, Рылеев успел бросить в лицо распорядителю казни: «Подлый опричник тирана! Дай же палачу свои аксельбанты, чтобы нам не умирать третий раз».

* * *

Вторым в своей закодированной записи Пушкин поставил Павла Ивановича **Пестеля** (1793–1826), руководителя Южного общества декабристов. Отзывы самых разных людей сходятся на том, что он был выдающейся личностью «Умный человек во всём смысле этого слова», — писал о нём Пушкин. Граф П. Х. Витгенштейн говорил, что Пестель везде будет на своём месте: и на посту министра, и в командовании армией.

Пестель получил блестящее образование, участвовал в Отечественной войне. Боевое крещение принял на Бородинском поле, на котором действовал решительно и отважно. «Под самый уже вечер 26 августа, — вспоминал он, — ранен был жестоко ружейной пулей в ногу с раздроблением костей и повреждением жил». За участие в сражении и проявленное мужество Пестель был награждён золотой шпагой «За храбрость».

С весны 1813 года Павел Иванович участвовал в заграничном походе русской армии. За год военных действий (до взятия Парижа) награждался пять (!) раз: орденом Владимира IV степени, австрийским орденом Леопольда III степени, баденским — Карла Фридриха, российским — Анны II степени, прусским — «За заслуги».

В апреле — мае 1821 года Пестель находился в Кишинёве. В это время он был подполковником Мариупольского гусарского полка и в качестве такового общался с Пушкиным. 9 апреля Александр Сергеевич отметил в дневнике: «Утро провёл с Пестелем…

Сердцем я материалист, но мой разум этому противится. Мы с ним имели разговор метафизический, политический, нравственный и проч. Он один из самых оригинальных умов, которых я знаю».

А знал Пушкин к этому времени Н. М. Карамзина, П. Я. Чаадаева, Н. И. Тургенева, М. Ф. Орлова… Всё это были люди мыслящие, то есть у Александра Сергеевича было с кем сравнивать нового знакомого.

26 мая следующая запись: «Обедал у Инзова. После обеда приехали ко мне Пущин, Алексеев и Пестель».

Оценив ум и познания последнего, Александр Сергеевич не проникся к нему симпатией. По свидетельству современника (И. П. Липранди), Пестель не понравился Пушкину. Друзьями они не стали. Но это был человек недюжинных способностей (автор одного из первых проектов конституции — «Русской правды») и неуклонной целеустремлённости. Поэт почувствовал в нём натуру, склонную к деспотизму и подчинению своей воле всех и каждого. Не о нём ли думал он, когда писал:

Мы все глядим в Наполеоны;
Двуногих тварей миллионы
Для нас орудие одно…

Характерное свидетельство донесла до нас императрица Мария Фёдоровна (дневниковая запись 16 марта 1826 года): «Князь Голицын, Михаил, Бенкендорф, Николай рассказывали мне вчера, что на вчерашнем допросе Вадковский сообщил, что если бы тот, кто принял его в это общество, потребовал от него, чтобы он убил отца, мать, брата и сестру, то он бы выполнил это; его принял Пестель» (43, 216).

Словом, Павел Иванович впечатлял окружающих, и не случайно в черновых тетрадях Пушкина его портреты встречаются трижды — в 1921, 1823 и 1824 годах. Затем появляется сцена казни, и наконец имя Пестеля упоминается в десятый, зашифрованной главе романа «Евгений Онегин».

П. И. Пестель

Жизнь и гибель руководителя Южного общества впечатляли. Вот что писали историки К. Н. Левин и М. Н. Покровский о поведении Павла Ивановича на допросах Следственной комиссии: «Из всех показаний выделяются лишь ответы Пестеля. На первом допросе он ничего не показал о тайном обществе и не назвал ни одного члена. Но, когда увидел, что следователи уже всё знают, дал обстоятельнейшие и драгоценные для истории тайного общества показания. Показания Пестеля изложены в спокойном, почти эпическом тоне и полны достоинства и глубокого сознания

своей правоты. В них он не заискивает, не раскаивается, старается по возможности всех членов общества оправдать. В комиссии Пестель отвечал с видимой гордостью» (43, 140).

Павел Иванович не участвовал в вооружённом выступлении, но в ряду заговорщиков был поставлен первым и признан самым опасным из них. В справке Следственной комиссии о нём говорилось: «Пестель, глава Южного общества, хитрый, просвещённый, жестокий, настойчивый, предприимчивый. Он беспрестанно и ревностно предлагал ввесть республику посредством революции; доказывал необходимость истребления государя императора и всей августейшей фамилии. Был душою общества и главнейшею пружиною всех действий оного» (52, 228–230).

Семимесячное заключение не сломило Павла Ивановича. Протоиерей Мысловский, посещавший декабристов, находил, что он «есть отличнейший в сонме заговорщиков по твёрдости духа». В прощальной записке к родным Павел Иванович писал: «Настоящая моя история заключается в двух словах: я страстно люблю моё Отечество, я желал его счастья с энтузиазмом».

Когда осуждённые к повешению увидели виселицы, Пестель с большим присутствием духа сказал:

— Кажется, мы никогда не отвращали чела своего ни от пули, ни от ядер. Можно бы было нас и расстрелять!

Да, многие из декабристов были участниками войн с Наполеоном и называли себя детьми 1812 года.

С. М. Муравьёв-Апостол (1795–1826) был сыном академика и писателя Ивана Матвеевича Муравьёва-Апостола. Детство его прошло в Гамбурге. Затем он воспитывался в Париже в пансионе Хикса, который однажды посетил Наполеон. Войдя в класс, император сразу обратил внимание на Муравьёва и спросил: «Кто этот мальчик?» Услышав ответ, сказал:

— Я побился бы об заклад, что это мой сын, потому что он так похож на меня.

После окончания Петербургского института путей сообщения Сергей Иванович поступил в армию. Участвовал в Отечественной войне и заграничных походах. За отличие в сражении под Лейпцигом получил чин капитана.

После возвращения в Россию Муравьёв принял активное участие в учреждении «Союза спасения», первой тайной организации будущих декабристов. Находясь в Петербурге, он бывал у Олениных и Карамзиных, где встречался с юным Пушкиным. Сергей Иванович был остроумным собеседником, любил петь и танцевать. Одна из современниц рассказывала:

— Обыкновенно он был серьёзен и более молчалив, но когда говорил, то лицо его оживлялось, глаза блестели, и в те минуты он был истинно прекрасен.

С организацией Южного общества Муравьёв-Апостол возглавил Васильковскую управу. Совместно с М. П. Бестужевым-Рюминым он составил прокламацию для солдат («Православный катехизис»), призывавшую к свержению самодержавия и установлению в России республиканской формы правления.

После поражения восстания в Петербурге Муравьёв поднял против царизма Черниговский полк, неделю (29 декабря — 3 января) противостоявший правительственным войскам. Он не рассчитал время восстания, что и отметил Пушкин в 10-й главе «Евгения Онегина»:

> И Муравьёв, его[54] склоняя,
> И полон дерзости и сил,
> Минуты вспышки торопил.

М. П. Бестужев-Рюмин (1801–1826) происходил из дворян среднего достатка: за его родителями числилась 641 душа в Нижегородской и Московской губерниях. Образование получил домашнее; его учителями были профессора Мерзляков, Цветаев и Чумаков. Зачитывался работами просветителей. Военный историк В. И. Михайловский-Данилевский утверждал:

— Будучи исполнен чтением французских книг, особенно тех, которые писаны в революционном духе, он казался убеждённым в неоспоримой их истине, как в сиянии солнца, и не мог представить, чтобы образованные люди не разделяли его правил(52, 50).

Военную службу Михаил начал в семнадцать лет юнкером в Кавалергардском полку; после восстания Семёновского полка был переведён в армию, в Полтавский пехотный полк. С 1823 года — активный деятель Южного общества, один из руководителей Васильковской управы.

Бестужев-Рюмин был очень общителен, на поверхностный взгляд легкомыслен, нравился женщинам. Эти его качества использовались тайным обществом. Тот же Михайловский-Данилевский, осудивший выступление декабристов, писал о Михаиле Павловиче: «Этот Бестужев играл в обществах роль шута, но не менее того был много употребляем заговорщиками, которые посылали его повсюду в виде миссионера или вербовщика. Для сего он разъезжал по всей Малороссии и, декларируя против правительства, старался умножить число

сообщников. Он был во многих почтенных домах принят на самой дружеской ноге, например у генерала Раевского в Киеве и у бывшего министра Трощинского, жившего недалеко от Лубен. Его принимали все, а особенно прекрасный пол, весёлого собеседника; никому и в главу не приходило, чтоб человек рассеянный и ветреный мог быть заговорщиком».

Этот «ветреный» и «рассеянный» молодой человек содействовал слиянию Общества соединённых славян с Южным обществом. Как представитель последнего, установил связи с Польским тайным обществом, вёл пропаганду среди офицеров и солдат, активно участвовал в восстании Черниговского полка. После подавления восстания Бестужева-Рюмина в кандалах доставили в Петербург и заключили в Петропавловскую крепость. 5 апреля он показал Следственной комиссии, что в 1819 году в доме президента Академии художеств А. Н. Оленина встречался несколько раз с Пушкиным, что распространял его стихотворение «Кинжал». Это была плохая «услуга» поэту, который буквально в эти дни начал хлопотать о своём освобождении из Михайловского узилища.

П. Г. Каховский (1797–1826) — фигура в движении декабристов случайная, с ореолом мученика за лучшее будущее не вязущаяся.

Пётр Григорьевич был воспитанником Благородного пансиона при Московском университете, обучение в котором прервало занятие города неприятелем. Подросток остался в Москве и неплохо устроился: владея французским языком, нашёл себе приятеля, с которым бражничал и ходил «на добычу».

Только в девятнадцать лет Пётр вступил юнкером в гвардейский егерский полк. Юнкерами называли унтер-офицеров из дворян. Они имели льготы срока выслуги на офицерский чин. Каховский его не получил: был разжалован в рядовые и сослан на Кавказ. Это было сделано по приказу великого князя Константина Павловича за «шум и разные неблагопристойности в доме коллежской асессорши Вангерсгейм, за неплатёж денег в кондитерскую лавку и леность к службе».

На Кавказе Пётр Григорьевич служил под начальством А. П. Ермолова, который приходился ему сводным дядей. Служил недолго: получив чин подпоручика, тут же подал в отставку — не рождён был для дисциплины, порядка и подчинения. С Кавказа Каховский подался в Смоленскую губернию — под крылышко престарелых родителей. Какое-то время весело проводил время на выделяемые ему средства, а после кончины отца и матери проматывал наследство.

Управившись с этим, перебрался в столицу. Там его приметил и приблизил к себе Рылеев как яростного поборника с самодержавным режимом и безоговорочным сторонником ликвидации царской фамилии, о чём в справке Следственного комитета говорилось: «На совещаниях перед возмущением 14 декабря предлагал действовать решительно, занять дворец ночью и вообще являлся неистовым и кровожадным, твердил членам, что священных особ царствующего дома надобно истребить всех вдруг, чтобы менее было замешательств» (52, 196).

П. Г. Каховский

Действительно, на собрании руководителей Северного общества, состоявшемся за два дня до восстания, Каховский запальчиво говорил:

— Ну что ж, господа, ещё нашёлся человек, готовый пожертвовать собой! Мы готовы для цели общества убить кого угодно.

Накануне восстания Каховский жаловался Рылееву:

— С этими филантропами ничего не сделаешь; тут надобно резать, да и только.

И руководитель Северного общества благословил его на это: — Любезный друг, ты сир на сей земле; ты должен собою пожертвовать: убей завтра императора.

Царя Пётр Григорьевич не убил, но без дела 14 декабря не сидел: смертельно (и подло) ранил героя войн с Наполеоном генерал-губернатора Петербурга графа М. А. Милорадовича; убил полковника Стюрлера и ранил свитского генерала; прогнал

митрополита Серафима, подошедшего с крестом в руках увещевать восставших. По этим деяниям Следственный комитет так характеризовал Каховского: «Неистовый, отчаянный и дерзкий».

В этом дерзком и неистовом подпоручике уживались железная воля и сентиментальность. В беседе с императором Пётр Григорьевич был растроган «пониманием» Николаем I бедствий России и 17 декабря писал ему: «Я полюбил Вас, как человека, и хочу любить, как монарха». Но раскрываться всё же Каховский не торопился. Только после трёх месяцев крепостного режима и сильнейших нравственных пыток, когда Следственный комитет уже в мельчайших деталях знал степень его виновности, он, нервно истерзанный, заявил:

— Ради Бога, делайте со мной что хотите и не спрашивайте меня ни о чём. Я во всём виноват.

Пётр Григорьевич добавил, что умереть он сумеет. А умирать ему пришлось труднее всех: при прощании декабристов перед казнью друг с другом никто не подошёл к нему. Начальник кронверка Петропавловской крепости[55] В. И. Беркопф вспоминал:

— Пестель был слабее и истомлённее прочих. Он едва переступал по земле. Когда он, Муравьёв-Апостол, Бестужев и Рылеев были выведены на казнь, уже не в мундирных сюртуках, а в рубашках, они расцеловались друг с другом как братья, но когда последним вышел Каховский, ему никто не протянул руки. Причиною этого было убийство графа Милорадовича, учинённое Каховским, чего никто из преступников не мог простить ему и перед смертью (52, 198).

…Встречи Пушкина с Каховским сомнительны. Только об одной есть упоминание С. М. Салтыковой (жены А. А. Дельвига) в письме подруге от 22 августа 1824 года.

Кстати. Победа над Наполеоном, так возвысившая Россию, не покончила с преклонением перед Францией и поверженным императором. Русские дворяне по-прежнему говорили и писали по-французски, читали французскую литературу и бредили Парижем. Идеалом для многих оставался Наполеон. И что удивительно, этого поветрия не избежали и декабристы, наиболее мыслящая часть русского общества. В одной из бесед с Рылеевым Пестель говорил: «Вот истинно великий человек! По моему мнению, если иметь над собою деспота, то иметь Наполеона. Как он возвысил Францию! Сколько создал новых фортун! Он отличал не знатность, а дарования!» (43, 49)

Наполеоновские замашки Пестеля помешали сближению

Северного и Южного обществ декабристов. Руководители Северного общества заподозрили Пестеля в претендовании на роль диктатора, а Рылеев заявил:

— Пестель человек опасный для России и для видов общества.

Не избежал преклонения перед недавним врагом Отечества и Муравьёв-Апостол, так походивший в детстве на Наполеона. Михайловский-Данилевский писал: «Во время четырёхдневного командования своего Муравьёв брал все военные предосторожности. Проезжавших задерживали и провожали к нему. И он их обыкновенно сам расспрашивал, становясь, в подражание Наполеону, со сложенными накрест на груди руками. Неудивительно, что в продолжение кратковременного своего командования бунтовщиками он старался подражать Наполеону, находя, может быть, некоторое подобие в положении своём с тем, в котором Бонапарте был во время побега своего с острова Эльба» (43, 47).

Титаническая фигура Наполеона до сего дня будоражит воображение честолюбцев во всех областях человеческой деятельности, о чём Пушкин высказал замечательную мысль, приводившуюся выше.

И. М. Пущин В 1826 году Пушкин работал над шестой главой «Евгения Онегина». На рукописи сохранились портреты героев Сенатской площади: П. И. Пестеля, И. И. Пущина, В. К. Кюхельбекера и К. Ф. Рылеева. Первый и последний из названных — руководители тайных обществ, средние — их рядовые участники, но главное (для нас) — друзья Александра Сергеевича.

С именем Пущина связан ряд стихотворений великого поэта: «К Пущину», «Воспоминание» (К Пущину), «Помнишь ли, мой брат по чаше», «Надпись на стене больницы», «В альбом Пущину», «Мой первый друг», а также отдельные строфы и упоминания в стихотворениях «Пирующие студенты», «Мы недавно от печали», «Моё завещание друзьям», «19 октября», «19 октября 1827».

Пущин был внуком адмирала и сыном генерал-интенданта флота. Дед лично определил Ивана в лицей. Знакомство его с Пушкиным состоялось на приёмных экзаменах:

— Я слышу: Александр Пушкин! — выступает живой мальчик, курчавый, быстроглазый, несколько сконфуженный. По сходству ли фамилий, или по чему другому, несознательно сближающему, только я его заметил с первого взгляда.

А дальше было шесть лет совместной учёбы и весёлого препровождения времени:

Товарищ милый, друг прямой,
Тряхнём рукою руку,
Оставим в чаше круговой
Педантам сродни скуку:
Не в первый раз мы вместе пьём,
Нередко и бранимся,
Но чашу дружества нальём —
И тотчас помиримся.

4 мая 1815 года Пущину исполнилось 17 лет. Конечно, друзья отметили это событие, и Александр пожелал другу:

Дай Бог, чтоб я, с друзьями
Встречая сотый май,
Покрытый сединами,
Сказал тебе стихами:
Вот кубок, наливай!
Веселье! Будь до гроба
Сопутник верный наш,
И пусть умрём мы оба
При стуке полных чаш.

5 сентября того же года друзья устроили тайную пирушку, закончившуюся строжайшим взысканием, что немало не озаботило их. В стихотворении «Воспоминание» Пушкин спрашивал приятеля:

Помнишь ли друзей шептанье
Вкруг бокалов пуншевых,
Рюмок грозное молчанье,
Пламя трубок грошевых?

Закипев, о сколь прекрасно
Токи дымные текли!..
Вдруг педанта глас ужасный
Нам послышался вдали…

И бутылки вмиг разбиты,
И бокалы все в окно —
Всюду по полу разлиты
Пунш и светлое вино.

Учился Пущин с редким для его возраста прилежанием. Профессор российского и латинского классов Н. Ф. Кошанский так аттестовал его: «Иван Пущин один из тех немногих, кои при счастливых способностях отличаются редким прилежанием. Он соединяет понятливость с рассуждением и, кажется, лучше ищет твёрдых, нежели блистательных успехов».

Пущин пользовался авторитетом у однокашников. В одной из «национальных» песен лицея ему предрекали неомрачаемое будущее:

Не тужи, любезный Пущин,
Будешь в гвардию ты пущен…
Мы ж нули, мы нули,
Ай-люли-люли-люли.

В числе немногих Пущин был выпущен не в статскую, а в военную службу — офицером в гвардию. Оставляя стены лицея, Пушкин вписал в альбом друга следующие трепетные строки:

Взглянув когда-нибудь на тайный сей листок,
Исписанный когда-то мною,
На время улети в лицейский уголок
Всесильной, сладостной мечтою.
Ты вспомни быстрые минуты первых дней,
Неволю мирную, шесть лет соединенья,
Печали, радости, мечты души твоей,
Размолвки дружества и сладость примиренья.

И. И. Пущин

Всю свою короткую жизнь Пущин неизменно пользовался уважением окружающих. Он был олицетворением справедливости, правды и высокого ума. Он ничего не хотел для себя, но для других. Для него все люди были равны, и он хотел счастья для всех. Поэтому вступил в ряды «Священной артели» — первой преддекабристской организации. Затем состоял членом Союза спасения, Союза благоденствия и Северного общества. В последнее привлёк Рылеева, который возглавил его.

Конечно, рядом с собой Большой Жанно, как звали Пущина лицеисты, хотел видеть своего друга, но:

— Первая моя мысль была — открыться Пушкину: он всегда согласно со мною мыслил о деле общем, по-своему проповедовал в нашем смысле — и изустно и письменно, стихами и прозой. Не знаю, к счастью ли его или несчастью, он не был тогда в Петербурге, а то не ручаюсь, что в первых порывах, по исключительной дружбе моей к нему, я, может быть, увлёк бы его с собою. Впоследствии, когда думалось мне исполнить эту мысль, я уже не решался вверить ему тайну, не мне одному принадлежавшую, где малейшая неосторожность могла быть пагубна всему делу. Подвижность пылкого его нрава, сближение с людьми ненадёжными пугали меня (36, 160).

После окончания лицея редкие встречи случались у общих знакомых — чаще всего у Дельвига и братьев Тургеневых. Затем их разлучила ссылка поэта. 11 января 1825 года встретились в Михайловском, куда Пущин приехал навестить друга. Вспоминая об этом, Пушкин писал:

Мой первый друг, мой друг бесценный!
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединённый,
Печальным снегом занесённый,
Твой колокольчик огласил…

Это стихотворение Александр Сергеевич написал 13 декабря 1826 года, в канун первой годовщины восстания декабристов. Пущин, осуждённый на вечную каторгу в Сибирь, получил его 5 января 1828 года, когда его привезли в Читу. Это была последняя (заочная) встреча с поэтом, о которой он позднее писал: «Что делалось с Пушкиным в годы моего странствования по разным мытарствам, я решительно не знаю. Знаю только и глубоко чувствую, что Пушкин первый встретил меня в Сибири задушевным словом. В самый день моего приезда в Читу

призывает меня к частоколу А. Г. Муравьёва и отдаёт листок бумаги, на котором неизвестною рукой написано было: „Мой первый друг, мой друг бесценный…“ Отрадно отозвался во мне голос Пушкина! Преисполненный глубокой, живительной благодарности, я не мог обнять его, как он меня обнимал, когда я первый посетил его в изгнанье. Увы, я не мог даже пожать руку той женщине, которая так радостно спешила утешить меня воспоминанием друга, но она поняла моё чувство без всякого внешнего проявления, нужного, может быть, другим людям и при других обстоятельствах. А Пушкину, верно, тогда не раз икнулось» (36, 167).

Да, Александр Сергеевич не забыл первого друга даже на смертном одре. По свидетельству К. К. Данзаса, последними словами Пушкина были: «Как жаль, что нет теперь здесь ни Пущина, ни Малиновского, мне бы легче было умирать».

Пущин до конца своих дней не мог примириться с гибелью своего великого сопутника молодости. Отдавая дань его памяти, за год до смерти написал «Записки о Пушкине». Это один из наиболее важных и достоверных источников для воссоздания биографии и духовного облика молодого поэта.

Кстати. На допросе Пущина царь спросил, сообщал ли он своему родственнику Пушкину о готовящемся восстании. Подследственный твёрдо и категорично отверг это предположение:

— Я не родственник нашего великого национального поэта Пушкина, а товарищ его по Царскосельскому лицею. Общеизвестно, Пушкин автор «Руслана и Людмилы», был всегда противник тайных обществ и заговоров, говоря о первых, что они крысоловки, а о последних, что они похожи на те скороспелые плоды, которые выращиваются в теплицах и которые губят дерево, поглощая его соки.

Свидетельство Пущина (и других) о непричастности Александра Сергеевича к заговору, несомненно, было принято Николаем I во внимание при решении вопроса о вызволении поэта из Михайловской ссылки.

Вильгельм Карлович Кюхельбекер (1797–1846) родился в семье саксонского дворянина. Родственник семьи М. Б. Барклай де Толли помог определить подростка в Царскосельский лицей. Там он получил прозвище Кюхля. Неуклюжий, вечно занятый своими мыслями, рассеянный и крайне обидчивый, первоначально он был объектом насмешек и прямых издевательств лицеистов. Но постепенно «урод присовершенный»

покорил многих своим добродушием, любовью к справедливости и прекрасным знанием литературы, истории и философии.

Пушкин называл Кюхлю «живым лексиконом и вдохновенным комментатором», говоря, что много почерпнул из совместных с ним чтений. Тем не менее часто подшучивал над ним (и не только в эпиграммах):

Но что?.. Я вижу всё вдвоём;
Двоится шкаф с араком;
Вся комната пошла кругом;
Покрылись очи мраком…
Где вы, товарищи? Где я?
Скажите, Вакха ради…
Вы дремлете, мои друзья,
Склонившись на тетради…
Писатель за свои грехи!
Ты с виду всех трезвее;
Вильгельм, прочти свои стихи,
Чтоб мне заснуть скорее.

Кюхельбекер сначала писал неумелые, косноязычные стихи, которые Пушкин неизменно высмеивал:

Покойник Клит[56] в раю не будет:
Творил он тяжкие грехи.
Пусть Бог дела его забудет,
Как свет забыл его стихи!

Вильгельм был непоколебим в принципах добра, справедливости, самоотвержения в любви и дружбе. Он вёл рукописный «Словарь», в который выписывал понравившиеся ему высказывания авторов прочитанных книг. Под заголовком «Рабство» он поместил, например, следующее рассуждение: «Несчастный народ, находящийся под ярмом деспотизма, должен помнить, если хочет расторгнуть узы свои, что тирания похожа на петлю, которая суживается от сопротивления. Нет середины: или терпи, как держат тебя на верёвке, или борись, но с твёрдым намерением разорвать петлю или удавиться» (36, 225).

В пополнении «Словаря» участвовали и другие лицеисты. В стихотворении «19 октября (1825 год)» упомянул его Пушкин:

Златые дни! Уроки и забавы,
И чёрный стол, и бунты вечеров,

И наш словарь, и плески мирной славы,
И критики лицейских мудрецов!

Но «златые дни» не вечны. Пришёл срок оставить благословенные стены. Лицей Кюхельбекер окончил с серебряной медалью и был выпущен в Главный архив Иностранной коллегии, став сослуживцем Пушкина. Они довольно часто встречались и даже серьёзно поссорились. Причиной размолвки стала эпиграмма Александра Сергеевича:

За ужином объелся я,
А Яков запер дверь оплошно —
Так было мне, мои друзья,
И кюхельбекерно, и тошно.

Вильгельм обиделся и вызвал приятеля на дуэль. Н. А. Маркевич, историк и этнограф, вспоминал: «Они явились на Волково поле и затеяли стреляться в каком-то недостроенном фамильном склепе. Пушкин очень не хотел этой глупой дуэли, но отказаться было нельзя. Дельвиг был секундантом Кюхельбекера, он стоял налево от Кюхельбекера. Когда Кюхельбекер начал целиться, Пушкин закричал:

— Дельвиг! Стань на моё место, здесь безопаснее.

Кюхельбекер взбесился, рука его дрогнула, он сделал полоборота и пробил фуражку на голове Дельвига.

— Послушай, товарищ, без лести — ты стоишь дружбы, без эпиграммы — пороху не стоишь, — сказал Пушкин и бросил пистолет».

В архиве Вильгельм не прижился: поглощение творчеством не лучшим образом сказывалось на работе. Чашу терпения начальства переполнило его выступление в Вольном обществе любителей российской словесности со стихотворением «Поэты»:

И ты — наш новый Корифей,
Певец любви, певец Руслана!
Что для тебя шипенье змей,
Что крик и Филина и Врана? —
Лети и вырвись из тумана,
Из тьмы завистливых времён.

Стихотворение было написано в связи с удалением Пушкина из столицы. Самому Кюхельбекеру тоже пришлось покинуть её:

сначала уехал за границу, затем — на Кавказ, полтора года провёл в деревне. Поселившись наконец в Москве, издавал журнал «Мнемозина», который пользовался успехом и приносил доход. Ободрённый этим Вильгельм перебрался в Петербург.

В столице Кюхельбекер невольно вошёл в круг будущих декабристов, его друзьями были К. Рылеев, А Бестужев и А. Одоевский. Вскоре и он примкнул к ним. В «Алфавите декабристов» об этом говорится следующее: «Принят в Северное общество в последних числах ноября 1825 года. На совещаниях нигде не был, а 14 декабря, узнав о замышляемом возмущении, принял в оном живейшее участие; ходил в Московский полк и Гвардейский экипаж. 14 декабря был в числе мятежников с пистолетом, целился в великого князя Михаила Павловича и генерала Воинова (уверяет, что, имея замоченный пистолет, он целился с намерением отклонить других с лучшим орудием). По рассеянии мятежников картечами, он хотел построить Гвардейский экипаж и пойти на штыки, но его не послушали. После чего он скрывался побегом в разных местах, переодевшись в платье своего человека с ложным видом, в коем переправил год из 1823-й на 1825-й. Пойман в Варшаве» (36, 233).

За две недели пассивного пребывания в тайном обществе Кюхельбекер был причислен к преступникам, достойным казни «отсечением головы». Её заменили двадцатилетней каторгой. Десять лет Вильгельма продержали в крепостях: Петропавловской, Кексгольмской, Шлиссельбургской и Динабургской. При переводе в последнюю он неожиданно встретился с Пушкиным. Случилось это близ станции Залазы, около Боровичей Псковской губернии, 14 октября 1827 года.

В. К. Кюхельбекер

К станции подъехали четыре тройки с фельдъегерем. Александр Сергеевич вышел посмотреть, кого везут, и… «Один из арестантов стоял, опершись у колонны, — писал он на следующий день. — К нему подошёл высокий бледный и худой молодой человек с чёрною бородою, в фризовой шинели и с виду настоящий жид — я и принял его за жида, и неразлучные понятия жида и шпиона произвели во мне обыкновенное действие, я поворотился им спиною, подумав, что он был потребован в Петербург для доносов или объяснений.

Увидев меня, он с живостию на меня взглянул. Я невольно обратился к нему. Мы пристально смотрим друг на друга — и я узнаю Кюхельбекера. Мы кинулись друг другу в объятия.

Жандармы нас растащили. Фельдъегерь взял меня за руку с угрозами и ругательством — я его не слышал. Кюхельбекеру сделалось дурно. Жандармы дали ему воды, посадили в тележку и ускакали. Я поехал в свою сторону. На следующей станции узнал я, что их везут из Шлиссельбурга, но куда же?».

Из Динабургской крепости Кюхельбекеру иногда удавалось писать другу. Александр Сергеевич пытался помогать ему: содействовал публикации статьи «Мысли о Макбете», мистерии «Ижорский» и книги «Русский Декамерон». Творчество помогало Вильгельму переносить тяготы заключения; творчество было смыслом его жизни, о чём он писал из своей одиночной камеры: «Никогда не буду жалеть о том, что я был поэтом, утешения, которые мне доставляла поэзия в течение моей бурной жизни,

столь велики, что довольно и их… Поэтом же надеюсь остаться до самой минуты смерти, и признаюсь, если бы я, отказавшись от поэзии, мог бы купить этим отречением свободу, знатность, богатство, даю слово честного человека, я бы не поколебался: горесть, неволя, бедность, болезни душевные и телесные с поэзиею я предпочёл бы счастию без неё» (36, 227).

14 декабря 1835 года Кюхельбекера направили на вечное поселение в Сибирь. Через два месяца он писал Пушкину: «Моё заточение кончилось: я на свободе, т. е. хожу без няньки и сплю не под замком».

Через полгода следующее письмо: «Ты хочешь, чтоб я тебе говорил о самом себе. Ныне это мне ещё совершенно невозможно: в судьбе моей произошла такая огромная перемена, что и поныне душа не устоялась. Дышу чистым, свежим воздухом, иду куда хочу, не вижу ни ружей, ни конвоя, не слышу ни скрипу замков, ни шёпота часовых при смене: всё это прекрасно, а между тем — поверишь ли? — порою жалею о своём уединении. Там я был ближе к вере, к поэзии, к идеалу, здесь всё не так, как ожидал даже я, порядочно же, кажись, разочарованный насчёт людей и того, чего можно от них требовать…».

Надо ли говорить, что Вильгельм тяжело переживал гибель друга?

Итак, товарищ вдохновенный,
И ты! — а я на прах священный
Слезы не пролил ни одной:
С привычки к горю и страданьям,
Все высохли в груди моей.

…Ссылку Кюхельбекер отбывал в Баргузине. Это были последние десять лет его жизни — годы духовного одиночества, потери зрения и нищеты. Но не о себе думал умиравший в забвении поэт:

Узнал я изгнанье, узнал я тюрьму,
Узнал слепоты нерассветную тьму,
И совести грозной узнал укоризны,
И жаль мне невольницы милой отчизны.

М. Ф. Орлов. В январском письме В. А. Жуковскому, по-видимому, уже зная о первых арестах членов тайных обществ, Пушкин указал на круг своих знакомств в Кишинёве: майор

Раевский, генералы Пущин и Орлов.

В. Ф. Раевский был арестован ещё в феврале 1822 года. Генерал П. С. Пущин являлся основателем масонской ложи «Овидий», а М. Ф. Орлов — членом «Союза благоденствия» и главой его Кишинёвского отделения. Он считал, что Россия не должна оставаться в стороне от всемирного революционного процесса. Поэтому в январе 1821 года на московском съезде «Союза благоденствия» предложил немедленное вооружённое выступление, ядром которого должна была стать 16-я дивизия, готовая, по его мнению, к революционным действиям. Это предложение не было принято делегатами съезда. Тогда Орлов объявил о своём разрыве с тайным обществом.

С этого момента Михаил Фёдорович отошёл от революционной деятельности, что, однако, не спасло его от преследования царским самодержавием. За Орловым уже давно велась слежка. В вину ему вменялось то, что он встал на сторону солдат в выступлении против ротного командира, попустительствовал распространению в дивизии нежелательных для правительства взглядов, пытался поднять образовательный и культурный уровень рядовых и т. п. За революционную пропаганду был арестован его подчинённый В. Ф. Раевский, «первый декабрист». А вскоре и сам Орлов получил приказ «состоять по армии» без нового назначения. Это было равносильно отставке и означало конец военной карьере.

Годы, оставшиеся до восстания на Сенатской площади, Михаил Фёдорович прожил в беспокойстве и смятении. Тревожили неопределённость положения и вопросы следователей, присылаемые из Тирасполя и Кишинёва. «Вопрос: „Зачем он, Орлов, назначил Раевского вести дивизионную школу?“ Ответ: „Признав в нём способности ума, трудолюбие, желание быть употреблённым по сему предмету и, сверх того, познания, приобретённые в университетском воспитании, я поручил ему временно управление школы, и после короткого моего отсутствия, заметив в юнкерах большие успехи, я сделал общее положение и оставил его постоянным начальником. Пусть тот, кто меня обвиняет в назначении Раевского, назовёт хоть одного штаб-офицера 16-й дивизии, которого мог бы я с пользою назвать начальником школы. В течение сего времени я заметил только в нём несколько пылких выражений, таких каковым сам я был подвержен в моей молодости и коих теперь не упомню. Строгие наставления от меня и действие собственного его рассудка и в сём случае имели полезное влияние. В конце 1821 года Раевский был таков, каковым бы желал всегда его видеть“»(94, 204).

Находясь сам в «подвешенном» состоянии, Михаил Фёдорович отчаянно защищал бывшего подчинённого. Владимир Федосеевич отвечал тем же:

Скажите от меня Орлову,
Что я судьбу мою сурову
С терпеньем мраморным сносил,
Нигде себе не изменил.
И в дни убийственныя жизни
Немрачен был, как день весной,
И даже мыслью и душой
Отторгнул право укоризны.

Отказавшись от претворения слова в дело, Орлов остался верен передовым идеям своего времени. Зная это, его старые друзья старались остеречь Михаила Фёдоровича от импульсивных поступков. Начальник штаба 2-й армии П. Д. Киселёв убеждал: «Все твои суждения в теории прекраснейшие, в практике неисполнительные. Многие говорили и говорят в твоём смысле, но какая произошла от того кому польза?.. Везде идеологи, вводители нового в цели своей не успели, а лишь ждали предлог к большему и новому самовластию. В суждениях моих могу ошибаться, но цель есть благонамеренная — и потому одинаковая с твоею. Разница в том, что ты даёшь волю воображению твоему, а я ускромляю своё; ты ищешь средство к улучшению участи всех и не успеешь, а я — нескольких, и успеть могу; ты полагаешь, что исторгнуть должно корень зла, а я хоть срезать дурные ветви; ты определяешь себя к великому, а я к положительному… Я предпочитаю действие, сколь ни малое, но точное, — всем великим, обширным замыслам и блаженству, единственно на красноречивых прениях основанному» (94, 199–200).

Хотя Орлов и отошёл от тайных обществ, руководители их считали его своим человеком и прочили в министры Временного правительства. Накануне восстания декабристов с этим предложением к нему был направлен корнет П. Н. Свистунов, который в дороге узнал о трагедии на Сенатской площади и уничтожил данное ему письмо.

Михаил Фёдорович был арестован в Москве 21 декабря. Его первый допрос проводил сам царь, оставивший об этом следующую запись: «Быв с ним очень знаком, принял я его как старого товарища и сказал ему, посадив с собой, что мне очень больно видеть его у себя без шпаги, что, однако, участие его в заговоре нам вполне известно и вынудило его призвать к допросу, но не с тем, чтобы слепо верить уликам на него, но с душевным

желанием, чтоб мог вполне оправдаться».

Хотя Орлов и не был «товарищем» императора, он хорошо знал цену его словам.

— Он слушал с язвительной улыбкой, как бы насмехаясь надо мной, — вынужден был признаться Николай I, — отвечал, что ничего не знает, ибо никакого заговора не знал, не слышал и потому к нему принадлежать не мог. Всё это было сказано с насмешливым тоном и выражением.

На допросах в Следственном комитете и у самого императора Михаил Фёдорович держался с достоинством и почти всё отрицал. В связи с этим в журнале комитета появилась запись о том, что в показаниях Орлова не видно чистосердечности и объяснения его признаны неудовлетворительными.

Михаилу Фёдоровичу не удалось скрыть своего сочувствия восставшим, и он бросил в лицо их обвинителям:

— Теперь легко сказать: «Должно было донести», ибо всё известно и преступление совершилось. Но, к несчастью их, обстоятельства созрели прежде их замыслов и вот отчего они пропали.

Фразу подследственного о неблагоприятном стечении обстоятельств (ясно ведь, что надеялся на обратное, а значит, на победу восстания!) Николай I подчеркнул дважды, над словами «к несчастию» поставил 11 восклицательных знаков, а сбоку (на полях) — ещё один огромного размера…

Российского самодержца прямо-таки взбесило это открытое признание подследственного, что он считает поражение восстания несчастием.

Следствие между тем открывало всё новые и новые стороны «преступной» деятельности Михаила Фёдоровича. 11 января 1826 года Николай I сообщал брату Константину в Варшаву: «Якубович только что изобличён: он признался в намерении убить нашего ангела (Александра I), и Орлов знал это».

К счастью для подсудимого, Следственная комиссия не докопалась до другого факта. Накануне ареста Орлова к нему пришёл И. Д. Якушкин и сообщил о разгроме восстания. Вслед за ним приехал П. А. Муханов и заявил, что необходимо выручить арестованных. Для этого он поедет в Петербург и убьёт императора. В ответ Орлов подошёл к нему и поцеловал в лоб.

Таким образом, Михаил Фёдорович не донёс (как это было положено по российскому законодательству) о подготовке покушений даже не на одного, а на двух царей. Но и без этого улик против него было вполне достаточно. Показания декабристов говорили о том, что он был чрезвычайно заметной и популярной фигурой в их среде. Поэтому можно понять

недоумение великого князя Константина, писавшего царю после окончания процесса над декабристами: «Одно меня удивляет — поведение Орлова и то, что он как-то вышел сухим из воды и остался не преданным суду».

Да, Орлов избежал участи декабристов — помог брат, Алексей Фёдорович, ближайшее лицо к царю. Но Николай I вскоре пожалел о проявленной слабости, молвив как-то сокрушённо:

— Михаила Орлова следовало повесить первым.

Российский самодержец так никогда и не простил помилованного, обрёкши его на политическую и административную бездеятельность. Очень энергичный и деятельный Михаил Федорович напрасно пытался добиться какого-либо служебного назначения. В отчаянии он подал прошение о зачислении рядовым в армию и получил отказ. Но в 1831 году ему всё же разрешили поселиться в Москве. При этом городским властям было передано личное указание Николая I: за Орловым смотреть и смотреть строго. Это предписание неукоснительно выполнялось до последних дней Михаила Фёдоровича, неимоверно стесняя его действия и поступки.

В старой столице Орлов наконец-то нашёл какие-то точки приложения для выхода своей неуёмной энергии: общение с людьми науки и культуры; участие в заседаниях Московского общества испытателей природы; создание Московского художественного общества и художественного класса (будущее Московское училище живописи, ваяния и зодчества). Здесь же он написал великолепный экономический труд «О государственном кредите», хлопотал о его издании и удивлялся, что правительство не спешило с этим.

— Неужели можно отвергать мысли, полезные для всего общества, единственно от того, что они принадлежат человеку, находящемуся в бедствии и опале? — недоумевал Михаил Фёдорович.

Повсюду стесняемый в своих действиях и порывах Орлов писал А. Н. Раевскому, старшему сыну героя Отечественной войны 1812 года: «Я чувствую довольно силы в самом себе, чтобы служить не для карьеры, а из гражданского долга. Ведь чего я в сущности хочу? Несколько более широкой деятельности, потому что я чувствую в себе больше способностей, чем могу применить в моей обстановке».

Но в условиях самодержавного произвола, постоянной полицейской слежки и беззастенчивого пресечения всякой инициативы со стороны опального Орлов не смог выразить всю мощь своей натуры.

М. Ф. Орлов

Это постепенно родило состояние безысходности и психической угнетённости.

Отрешённость от гражданской деятельности привела к ранней гибели (в 54 года) этой незаурядной личности. Михаил Фёдорович скончался 19(30) марта 1842 года, в день 28-й годовщины капитуляции Парижа, в самый знаменательный день его в общем-то несостоявшейся жизни. Это чутко почувствовал А. И. Герцен, писавший: «Несчастное существование от того только, что случай хотел, чтобы он родился в эту эпоху и в этой стране».

С. Г. Волконский (1788–1865). Действительная военная служба Сергея Григорьевича началась с семнадцати лет поручиком кавалергардского полка и продолжалась двадцать лет. За это время он участвовал в 58 сражениях.

В самом начале Отечественной войны Волконский отличился, выполнив задание самого царя, о чём Сергей Григорьевич писал на склоне лет: «По прочтении оного[57] царь расспрашивал меня, как я мог учинить так успешно поездку и не попался в плен, что он полагал неизбежным, по полученным им после моего отъезда сведениям о движении неприятеля.

— Я очень доволен вами, прежде я не был расположен к вам, шалости ваши петербургские поставили меня против вас, но теперь я убедился, что вы дельный малый, и я рад, что вы дали мне случай изменить первое о вас моё впечатление. Я вас буду употреблять; служите и вперёд так дельно и усердно, как вы

теперь исполнили поручение»(73, 81).

Под «шалостями» молодого офицера Александр I подразумевал не легкомысленное препровождение свободного времени, а «диверсию», предпринятую против французского посла Коленкура.

— Мы знали, — рассказывал Сергей Григорьевич, — что в угловой гостиной занимаемого им дома был поставлен портрет Наполеона, а под ним как бы тронное кресло, а другой мебели не было, что мы почли обидой народности. Что же мы сделали? Зимней порой, в тёмную ночь, несколько из нас, сев в пошевни (широкие сани), поехали по Дворцовой набережной, взяв с собой удобно-метательные каменья, и, поравнявшись с этой комнатой, пустили в окна эти метательные вещества. Зеркальные стёкла были повреждены, а нас и след простыл. На другой день — жалоба, розыски…

После Аустерлица и Тильзита молодёжь пылала желанием отомстить французам за постыдное поражение и унизительный мир. Вторжение Великой армии в пределы России многими было воспринято, как возможность поквитаться с удачливыми завоевателями.

«…С конца июля Волконский сражался в составе „летучего корпуса“ генерал-майора Ф. Ф. Винцингероде. Отличился при защите переправы через реку Москву у села Орехова и был произведён в полковники. В конце сентября с поручением командира отряда он ездил в Петербург и был принят царём. Александр I спросил:

— Каков дух армии?

— Государь! — ответил Волконский. — От главнокомандующего до всякого солдата — все готовы положить свою жизнь к защите Отечества и Вашего Императорского Величества.

— А дух народный?

— Государь! Вы должны гордиться им: каждый крестьянин — герой, преданный Отечеству и Вам.

— А дворянство?

— Государь! Стыжусь, что принадлежу к нему, — было много слов, а на деле ничего».

После возвращения из Петербурга Волконскому был выделен небольшой отряд, с которым он действовал на пути отступления противника. Партизаны пленили одного генерала, 17 штаб- и обер-офицеров, до 800 рядовых. Но Сергей Григорьевич был скромен в оценке действий и отряда, и своих:

— Скажу во всеобщее сведение, что большей частью действие партизан не подвергает их опасностям ими выводимым в их

реляциях. Партизан рыщет там, где ему по силам, и всегда имеет в виду не попасть самому впросак… За мои успешные действия впоследствии я получил орден Святого Владимира III степени в награждение, признаюсь чистосердечно, легко схваченное.

Удачными для Волконского были и кампании 1813 и 1814 годов. В двадцать пять лет он получил чин генерал-майора и пользовался благосклонностью начальства; царь называл его monsieur Serge. Внук писал о круге знакомств деда: «На Венском конгрессе он знал всю Европу. Он был в Париже в тот день, когда Наполеон вернулся в свою столицу после побега с острова Эльбы» (26, 86).

С. Г. Волконский

По характеру Волконский был мягок и незлобив, страшно рассеян. Почти всегда его видели с книгой в руках. Его любимыми занятиями всю жизнь оставались чтение и переписка. В особую тетрадь записывались раздумья и впечатления о прочитанном. В этом Сергей Григорьевич был постоянен и аккуратен.

После возвращения из заграницы Волконский был назначен командиром 1-й бригады 2-й уланской дивизии; с 1818 по 1821 год находился в отпуске по болезни, на исходе которого познакомился с Пушкиным. Это произошло в доме И. Я. Бухарина, бывшего тогда губернатором Киева. Поэт приезжал туда с Раевскими на контрактные ярмарки. Внук Сергея Григорьевича писал позднее: «Деду моему было поручено завербовать Пушкина в члены тайного общества, но он, угадав великий талант, предвидя славное его будущее и не желая подвергать его случайностям политической кары, воздержался от исполнения возложенного на него поручения».

С 1812 года и до возвращения в Россию Сергей Григорьевич побывал членом четырёх масонских лож, на родине стал одним из основателей пятой — «Трёх добродетелей»; в 1819 году вступил в «Союз благоденствия», первую тайную организацию будущих декабристов. Через год он возглавил (вместе В. Л. Давыдовым) Коренную управу Южного общества. Тогда же был назначен командиром 1-й бригады 19-й пехотной дивизии. На одном из смотров дивизии присутствовал Александр I, который остался доволен состоянием части, вверенной Волконскому и «ободрил» его:

— Продолжайте, monsieur Serge, это лучше, нежели заниматься переустройством моей империи.

Но, как известно, декабристы не вняли царскому предупреждению. Более того, Сергей Григорьевич проявил крайнюю опрометчивость и в личной жизни. Осенью Пушкин получил следующее письмо: «Имев опыты вашей ко мне дружбы и уверен будучи, что всякое доброе о мне известие будет вам приятным, уведомляю вас о помолвке моей с Мариею Николаевною Раевскою. Не буду вам говорить о моём счастии, будущая жена моя была вам известна».

Выражая сожаление о новых гонениях «баловника муз», Волконский делал весьма прозрачный намёк на то, что поэт находится в краю былых вольностей: «Соседство и воспоминания о Великом Новгороде, о вечевом колоколе и об осаде Пскова будут для вас предметом пиитических занятий».

Через три недели после восстания на Сенатской площади Сергей Григорьевич был арестован, доставлен в Петербург и заключён в Петропавловскую крепость. Верховный уголовный суд приговорил Волконского к смертной казни, которая была заменена двадцатилетней каторгой. Год Сергей Григорьевич содержался на Благодатном руднике (Иркутская губерния), четыре — в Читинском остроге, пять — на Петровском заводе. В 1835 году по ходатайству матери Волконский был обращён на поселение.

Нелёгкую участь ссыльного разделяла его жена Мария Николаевна, дочь генерала Н. Н. Раевского. Ни уговоры родных, ни предупреждения царской администрации не смогли сломить воли двадцатилетней женщины. Перед её решимостью разделить судьбу мужа не устоял даже царь. «Я получил, княгиня, Ваше письмо от 15-го числа сего месяца, — писал ей Николай I. — Я прочёл в нём с удовольствием выражение чувств благодарности ко мне за то участие, которое я в Вас принимаю. Но во имя этого участия к вам я и считаю себя обязанным ещё раз повторить здесь предостережение, мною уже Вам высказанное, относительно того,

что вас ожидает, лишь только Вы проедете далее Иркутска. Впрочем, предоставляю вполне Вашему усмотрению избрать тот образ действия, который покажется Вам наиболее соответствующим Вашему настоящему положению» (26, 253).

В ночь с 26 на 27 декабря 1826 года начался её крестный путь, но перед отъездом в Сибирь она бодро писала родным: «Дорогая обожаемая матушка, я отправляюсь сию минуту; ночь превосходная, дорога чудесная. Сёстры мои нежные, хорошие, чудесные и совершенные сёстры, я счастлива, потому что довольна собой».

Через два месяца Мария Николаевна была на Благодатном руднике, и с того дня — вся жизнь вместе с изгнанником.

Вместе переживали смерть сына Николеньки, оставленного Волконской на попечение родителей:

В сиянье, в радостном покое,
У трона вечного творца,
С улыбкой он глядит в изгнание земное,
Благословляет мать и молит за отца.

Эту эпитафию написал Пушкин. Александр Сергеевич не забывал своих друзей. В 1829 году вышла его поэма «Полтава»; он посвятил её Марии Николаевне, которую многие пушкинисты считают его утаённой любовью:

Тебе — но голос музы томной
Коснётся ль уха твоего?
Поймёшь ли ты душою скромной
Стремленье сердца моего?
Иль посвящение поэта,
Как некогда его любовь,
Перед тобою без ответа
Пройдёт, непризнанное вновь?

Узнай по крайней мере звуки,
Бывало, милые тебе —
И думай, что во дни разлуки,
В моей изменчивой судьбе,
Твоя печальная пустыня[58],
Последний звук твоих речей
Одно сокровище, святыня,
Одна любовь души моей.

…Из Читы Сергея Григорьевича перевели на Петровский завод. Там Мария Николаевна разделяла с мужем его камеру в каземате, позднее поселилась в собственном домике. Там же она родила дочь Софью, которая умерла в тот же день. Это была ещё одна травма для супругов. Мария Николаевна писала родным: «Из всей окружающей природы одно мне только родное — трава на могиле моего ребёнка».

Годы ссылки тянулись мучительно долго. Мария Николаевна писала: «Первое время нашего изгнания я думала, что оно кончится через пять лет, затем я себе говорила, что будет через десять, потом через пятнадцать, но после пятнадцати лет я перестала ждать. Просила у Бога только одного, чтобы он вывел из Сибири моих детей»[59].

До появления детей первой заботой Марии был супруг. «Чем несчастнее мой муж, — писала она свекрови, — тем более он может рассчитывать на мою привязанность и стойкость. Я совершенно счастлива, находясь подле Сергея. Я довольна своей судьбой, у меня нет других печалей, кроме тех, которые касаются Сергея».

Но через роковые пятнадцать лет (Волконские жили уже на поселении под Иркутском) — откровение сестре Елене: «Я совершенно потеряла живость характера, вы бы меня в этом отношении не узнали. У меня нет более ртути в венах. Чаще всего я апатична; единственная вещь, которую я могла бы сказать в свою пользу, — это то, что во всяком испытании у меня терпение мула, в остальном мне всё равно, лишь бы мои дети были здоровы».

Изменилось отношение Марии Николаевны и к мужу: в 1840-х годах они жили уже раздельно. Сергей Григорьевич тяжело принял отчуждённость любимой женщины, но не роптал — «ушёл» в народ. Современник свидетельствует: «Старик Волконский слыл в Иркутске большим оригиналом.

Попав в Сибирь, он как-то резко порвал связь со своим блестящим и знатным прошедшим, преобразился в хлопотливого и практического хозяина и именно опростился, как это принято называть нынче. С товарищами своими он хотя и был дружен, но в их кругу бывал редко, а больше водил дружбу с крестьянами; летом пропадал по целым дням на работах в поле, а зимой его любимым времяпрепровождением в городе было посещение базара, где он встречал много приятелей среди подгородних крестьян и любил с ними потолковать по душе о их нуждах и ходе хозяйства.

Знавшие его горожане немало шокировались, когда, проходя в воскресенье от обедни по базару видели, как князь,

примостившись на облучке мужицкой телеги с наваленными хлебными мешками, ведёт живой разговор с обступившими его мужиками, завтракая тут же вместе с ними краюхой серой пшеничной булки. Когда семья переселилась в город и заняла большой двухэтажный дом, то старый князь, тяготея больше к деревне, проживал постоянно в Урике и только время от времени наезжал к семейству, но и тут — до того барская роскошь дома не гармонировала с его вкусами и наклонностями — он не останавливался в самом доме, а отвёл для себя комнатку где-то на дворе, и это его собственное помещение смахивало скорее на кладовую…» (52, 186).

Декабристы надеялись на досрочное освобождение из ссылки, но оно пришло только после смерти царя Николая I. К этому времени из 121 ссыльного в живых оставалось 19 человек. Волконские покинули край физических и душевных страданий 23 сентября 1856 года.

Оказавшись в коренной России, Сергей Григорьевич потребовал вернуть ему две награды: Георгиевский крест, полученный за сражение при Прейсиш-Эйлау, и медаль «В память Отечественной войны 1812 года». Были у него и другие ордена: Святого Владимира III степени, Святой Анны I степени с алмазами, прусские ордена «За заслуги» и «Красного орла» II степени, австрийский орден Леопольда, шведский военный орден Меча и гессен-кассельский «За военную доблесть». Но, как писал Сергей Григорьевич о требуемых им наградах, «они мне дороги, как доказательство того, что и я когда-то имел счастье проливать кровь свою за Россию». Александр II приказал удовлетворить желание вчерашнего ссыльного.

Известие об отмене крепостного права застало Волконского в православном храме Парижа. Слушая царский манифест, Сергей Григорьевич тихо плакал. И тут произошёл эпизод, больно резанувший вчерашнего изгнанника по душе. «Весь в слезах, с трясущимися ногами, подходя к кресту, Волконский столкнулся с Н. И. Тургеневым, которого декабристы не любили, как человека когда-то близкого к ним, а потом отдалившегося; но в минуту исполнения одной из целей движения декабристов всё было забыто. Уступая дорогу Тургеневу, сибирский страдалец сказал:

— Тебе, Николай, тебе первому подходить.

Автор одного из первых проектов освобождения крестьян[60] отступил на шаг, с недоумением взглянул на Сергея Григорьевича и изрёк:

— Кто вы такой?»

В августе 1863 года скончалась Мария Николаевна. Жизнь Сергея Григорьевича стала медленно угасать. Он поселился в

имении дочери Вороньки (Черниговская губерния, Козелецкий уезд), чтобы, как он выражался, «сложить жизнь рядом с той, которая ему её сохранила».

Ум Волконского не угасал. Подводя итоги своей жизни, он писал: «Мои убеждения привели меня в Верховный уголовный суд, на каторгу, к 30-летнему изгнанию, и тем не менее ни от одного слова своего и сейчас не откажусь» (26, 98).

Последняя книга, прочитанная Сергеем Григорьевичем, была «Революция и старый порядок» Токвиля. Ещё за день до смерти он писал письма, давал распоряжения о выписке журналов на следующий год.

Конец борца за справедливость был тих. «Смерть подошла к нему неслышно, — писал о кончине С. Г. Волконского внук, — не оспаривая его у жизни, она подождала, чтобы жизнь уступила его. Рано утром он исповедался и причастился. Потом стал писать письмо сыну; устал, перешёл на кровать и попросил дочь почитать ему. Она читала вслух. Когда заметила, что дыхание его стало затруднительно и учащённо, она заменила книжку „Отечественных записок“ Евангелием и продолжала читать. Он отошёл под это чтение. Было утро 28 ноября 1865 года, ему было 77 лет».

Кстати. Сын Михаил, родившийся в Сибири, не унаследовал идеалов отца. Отвечая на одно из писем А. Н. Раевского, он заверял его: «Вы мне советуете не мечтать о несбыточном усовершенствовании мира, бояться германской умозрительности пр. Поверьте, дядюшка, что у меня такое отвращение от всего этого, в особенности же от политики, что я никаких политических книг никогда и в руки не беру, а русские газеты читаю для того только, чтобы знать, что на свете делается» (52, 187).

Михаил Сергеевич сделал успешную карьеру: был членом Государственного совета, удостоился кисти И. Е. Репина. Преуспел и на амурной стезе — был возлюбленным императрицы Франции Евгении, жены Наполеона III.

В. Ф. Раевского арестовали 5 февраля 1822 года в Кишинёве и заключили в Тираспольскую крепость. Четыре года следствие шло, так сказать, на местном уровне. После событий 14 декабря 1825 года его связали с делом декабристов и отправили Владимира Фёдосеевича в Петербург, в Петропавловскую крепость. 11 февраля состоялся его первый допрос. Раевский вспоминал: «Передо мною явилась новая картина: огромный стол, покрытый красным сукном. Три шандала по три свечи освещали стол, по стенам лампы. Вокруг стола следующие лица: Татищев, по правую сторону его — Михаил Павлович, по левую — морской

министр князь Голицын, Дибич, Чернышёв, по правую — Голенищев-Кутузов, Бенкендорф, Левашов и Потапов. Блудов, секретарь, вставал и садился на самом краю правой стороны» (94, 330).

Некоторые из декабристов «зачислили» Владимира Федосеевича в тайное общество, образовавшееся перед его арестом. Конечно, Раевский это отрицал:

— Я совершенно ничего не знаю. И если господа Юшневский, Бурцов, Пестель, Аврамов, Лорер и Майборода называют меня членом, то пусть покажут, кто из них принимал меня в члены или присутствовал при принятии или даже при разговорах моих с Филипповичем или Комаровым. Говорили ли со мною о постановлениях общества? Были ли со мною в переписке или в других непосредственных сношениях в продолжение семи лет? Видели ли меня во всё сиё время? Последних двух, т. е. Лорера и Майбороду, я не только от рождения моего не видал, но имена их в первый раз слышу. Показания их основаны на догадках или слухах (94, 331–332).

В тетрадях, изъятых у Раевского, нашли запись о конституционном правлении, которое он называл лучшим из возможных. Члены Следственного комитета полюбопытствовали: «Почему лучшее?»

— Конституционное правление, — отвечал Владимир Федосеевич, — я назвал лучшим потому, что покойный император, давая конституцию царству Польскому, в своей речи сказал, что «я вам даю такую конституцию, какую приготовляю для своего народа». Мог ли я назвать намерения такого императора иначе?

Не понравилось допрашивающим и определение Раевским формы правления в России как деспотическое.

— В России правление монархическое, неограниченное, следственно, чисто самовластное, и такое правление по-книжному называется деспотическим, — пояснил Владимир Федосеевич. На это Дибич возразил:

— У нас правление хотя и неограниченное, но есть законы. — Иван Васильевич Грозный… — начал Раевский. Но Дибич прервал его:

— Начните от Рюрика.

— Можно и ближе. В истории Константинова для Екатерининского института сказано: «В царствование императрицы Анны, по слабости её, в девять лет казнены и сосланы на работы 21 тысяча русских дворян по проискам немца Бирона».

— Вы это говорите начальнику штаба Его Императорского

Величества! — возмутился Дибич, немец по национальности.

Все молчали, только Михаил Павлович отозвался как бы в раздумье:

— Зачем было юнкеров всему этому учить?

— Не всё же учить только маршировать, — ответил великому князю Дибич, почувствовавший некий намёк на работу Главного штаба, и вновь перевёл разговор на Северное и Южное тайные общества.

— Я и ныне едва сообразить могу, чтобы патриотическое общество, о коем я знал, составляло одно с тем разрушительным обществом, о коем мне учинены запросы, — решительно отмёл подсудимый попытку Следственного комитета связать «Союз благоденствия» с последующими организациями декабристов.

В бумагах, изъятых у Раевского, была статья «О рабстве крестьян»; по её поводу Владимиру Федосеевичу задали абсолютно ханжеский вопрос:

— Какие Вы имеете примеры, доказывающие, сколь вредно рабство для народа русского?

— Рабство вредно не только народу русскому, но излишнее отягощение вредно и для скотов. Сколь презрительно рабство, доказывается тем, что императрица Екатерина именным указом воспретила подписывать и в делах означать слово «раб».

Ссылки подследственного на особ царствовавших совсем недавно ни обсуждению, ни опровержению не подлежали. Личность подсудимого раздражала, но одновременно вызывала и удивление, поэтому Раевскому был задан, казалось бы, совершенно отвлечённый вопрос:

— Какой патриотизм и какая таинственная сила управляли Вами?

Вопрос этот (в разных вариациях) задавался Владимиру Федосеевичу не в первый раз, и он, конечно, немало думал над ним, потому ответил с полной готовностью к нему:

— Если патриотизм есть преступление я преступник! Пусть члены суда подпишут мне самый ужасный приговор, я подпишу его. Но считать сию высокую святую добродетель за преступление, делать вопросы, что значит сия высокая добродетель, — значит унижать не меня, но людей, которые суть алмазы для короны царской, людей, которые на сильных раменах своих подъемлют тягость правления. Это то высокое чувство, которое великие монархи внедряли в души своих подданных, та великая сила, которая вознесла на степень величия Рим и Россию (94, 362).

Невероятно, но судьям пришлось оправдываться перед подследственным:

— Комиссия, будучи уверена, что тот, кто принадлежал к тайным обществам, совсем другое мог иметь понятие о любви к Отечеству и не может называться истинным патриотом, потому и спросила Вас по Вашим же словам: какой патриотизм управлял Вами?

Долголетнее заключение не сломило Раевского, а укрепило его волю и желание противостоять власть предержащим. В своих ответах следователям он был логичен и дерзок:

— Хотя принадлежал я к тайному обществу, но я не нарушил нигде и ни в каком отношении присяги моей. Тайные общества не воспрещены были верховной властию, что доказывается многими ложами вольных каменщиков. А с воспрещения, т. е. от 1822 года я не принадлежал ни к какому тайному обществу (94, 363).

На письменные вопросы Следственного комитета Раевский писал «диссертации», и следователи вынуждены были разбираться в них, оставляя Владимира Федосеевича время от времени в покое. В один из таких моментов Раевский стал невольным свидетелем казни своих единомышленников. «В пристройке Кронверкской куртины был дом, принадлежащий бывшему коменданту Сафонову. Чуть свет я услышал необыкновенный стук вдали. Окно моё было прямо против дома. Я был в 3-м номере Кронверкской куртины[61]. Направо от дому, шагах во ста, на крепостном укреплении стояла толпа людей. Это было часа в четыре утра. Тусклое окно мешало сначала видеть хорошо, но с рассветом я увидел очень ясно, что на валу сделана платформа, поставлено два столба и на столбах перекладина. Вслед за тем рота Павловского гвардейского полка вошла в ворота и стала лицом к дому. Чрез несколько минут въехали двое дрожек. На одних был протопоп Казанского собора, на других пастор. Они вошли в дом. У дверей стояли шесть часовых.

В этом доме находились, как всё это я узнал после, Пестель (лютеранин), Сергей Муравьёв-Апостол, Рылеев, Каховский и Бестужев-Рюмин. Через полчаса из этого дома вышли один за одним пять человек, осуждённых на смерть. Они шли один после другого под конвоем с обеих сторон солдат Павловского полка. Все они были одеты в белых длинных саванах. У каждого на груди была привешена чёрная доска с надписью: преступник такой-то. Они взошли на вал и потом на платформу.

На перекладине было привязано пять верёвок с петлями. Внизу стояла скамейка.

Осуждённые были в ножных кандалах, им очень трудно было стать на скамейку, но им помогли. Потом два человека в куртках начали накладывать петли на каждого и, когда кончили, дёрнули скамейку из-под ног. Двое остались на виселице, трое упали:

Муравьёв-Апостол, Рылеев и Пестель. Их стащили с платформы и опять поставили на скамейку, надели петли крепче, дёрнули скамейку, и они остались на виселице. Через полчаса трупы сняли, сложили на телегу и увезли в ворота. Рота сделала направо и вышла — раздался новый стук. Виселицу и платформу разобрали.

Остальных осуждённых вывели из каземата. Снимали с них ордена, эполеты и ломали шпаги над головами и бросали в разведённый огонь» (94, 342–343).

После казни руководителей революционного движения царь отбыл в Москву на коронацию, за ним в старую столицу потянулось его ближайшее окружение, и следствие по делу Раевского опять было отложено. Окончательный приговор Владимиру Федосеевичу был вынесен только 15 октября 1827 года, через 2077 дней после ареста. Раевского лишили дворянства и сослали на вечное поселение в Сибирь. Владимир Федосеевич предвидел такой исход своего долгого томления по тюрьмам. Ещё в стихотворении «К друзьям в Кишинёв» (март 1822) он писал:

Исчезнет всё, как в вечность день;
Из милой родины изгнанный,
Средь черни дикой, зверонравной
Я буду жизнь влачить, как тень,
Вдали от ветреного света,
В жилье тунгуса иль бурета,
Где вечно царствует зима
И где природа как тюрьма;
Где прежде жертвы зверской власти,
Как я, свои влачили дни;
Где я погибну, как они,
Под игом скорбей и напастей.

Государственного «крестьянина» Владимира Федосеевича, сына Раевского, привезли в село Олонки Идинской волости Иркутской губернии, где он и провёл сорок пять лет своей жизни. В ссылке Раевский написал воспоминания, которые начинаются с рассказа о Пушкине, друге его молодости: «Я Пушкина знал как молодого человека со способностями, с благородными наклонностями, живого, даже ветреного, но не так, как великого поэта, каким его признали на святой Руси за неимением ни Данте, ни Шекспира, ни Шиллера и прочих знаменитостей. Пушкина я любил по симпатии и его любви ко мне самой искренней. В нём было много доброго и хорошего и очень мало дурного. Он был моложе меня пятью или шестью годами.

Различие лет ничего не составляло. О смерти его я очень, очень сожалел и, конечно, столько же, если не более, сколько он о моём заточении и ссылке» (94, 267).

…Отвечая на вопрос Следственного комитета о цели тайного общества, в котором он состоял, Раевский говорил:

— Цель есть то нравственное совершенство, та высокая любовь к добродетели, которая научает нас при всех изменениях судьбы, не преступая обязанностей своих, быть в союзе со своею совестью и, опираясь на чистую веру, не бледнеть в последнюю минуту жизни.

Первый декабрист Владимир Федосеевич Раевский мужественно перенёс долгое тюремное заключение и терзания следствия. Он не выдал ни одного из членов «Союза благоденствия» и, конечно, не бледнел в последние минуты своего бытия — жизнь он прожил достойно.

«Мой Пушкин»

8 сентября. Через пять месяцев после восстания на Сенатской площади Пушкин, не потревоженный властями, решился просить царя об освобождении из сельского заточения. Николай I не доверял поэтам, склонным, по его мнению, к утопиям и вообще к мыслям, расшатывающим основы государственности. Но он хорошо усвоил наставления своего предшественника на российском престоле.

— Запомни, — говорил ему Александр, — поэзия для народа играет приблизительно ту же роль, что музыка для полка: она усиливает благородные идеи, разгорячает сердца, она говорит с душой посреди печальных необходимостей материальной жизни.

Поэтому император был не прочь привлечь поэта на свою сторону, но на слово (обращение Александра Сергеевича от 11 мая 1826 года) ему не поверил. В Псков был направлен чиновник Коллегии иностранных дел Бошняк. Сведения, собранные им, характеризовали Пушкина вполне положительно. Отличился только П. С. Пущин, отставной генерал, бывший глава кишинёвской масонской ложи. Он нашёл подозрительным поведение поэта:

— Пушкин дружески обходится с крестьянами, брал за руку знакомых, здороваясь с ними.

Даже в верховой езде соседа генерал видел опасный уклон и говорил, что после езды Пушкин «приказал человеку своему отпустить лошадь одну, говоря, что всякое животное имеет право на свободу».

Бошняк был большим поклонником знаменитого поэта, а главное — разумным человеком, поэтому в отчёте о своём расследовании написал: «Пушкин не действует к возмущению крестьян. Он действительно не может быть почтен, по крайней мере ныне, распространителем в народе слухов, а ещё меньше возмутителем. Я, согласно с данным мне повелением, и не приступил к арестованию его» (88, 134).

Так вместо предполагавшегося ареста 8 сентября Александр Сергеевич предстал перед новым владыкой Российской империи. Царь принимал его в чертогах Чудова дворца. Обстановка в обширном помещении была спокойной и торжественной. В мраморном камине потрескивали поленья. Перед камином стоял высокий мужчина, затянутый в мундир. Полные бёдра, живот втянут, грудь колесом. Продолговатое лицо с лучистыми глазами, фиксирующий взгляд. Пушкину стало не по себе. Вернулись сомнения и страхи. Что его ждёт? В кармане у него был листок с

новым стихотворением «Пророк», заканчивавшимся строками:

Восстань, восстань, пророк России,
В позорны ризы облекись
И с вервием вокруг смиренной выи
К убийце гнусному явись![62]

Николай I

Решил, если царь будет грозить ссылкой, он вручит ему эти стихи — по крайней мере красивый конец. К счастью, это был не конец, а начало… весьма благожелательного разговора российского владыки с одним из его подданных. Александр Сергеевич рассказывал позднее: «Фельдъегерь всего в пыли ввёл меня в кабинет императора, который сказал мне:

— А здравствуй, Пушкин, доволен ли ты, что возвращён?

Я ответил, как следовало в подобном случае. Император долго беседовал со мною и спросил меня:

— Пушкин, если бы ты был в Петербурге, принял ли бы ты участие в 14 декабря?

— Неизбежно, государь; все мои друзья были в заговоре, и я был бы в невозможности отстать от них. Одно отсутствие спасло меня, и я благодарю за то небо.

— Ты довольно шалил, — возразил император, — надеюсь,

что теперь ты образумишься и что размолвки у нас вперёд не будет. Присылай всё, что напишешь, ко мне; отныне я буду твоим цензором» (95, 195).

На первый вопрос царя Пушкин ответил, «как следовало», то есть поблагодарил Николая I за оказанную ему милость.

Вопрос о событиях 14 декабря вызвал «дискуссию»: поэт заявил, что никогда не был врагом своего государя, но был противником абсолютной монархии. На это царь заметил:

— Сила страны — в сосредоточении власти, ибо, где все правят — никто не правит, где всякий — законодатель, там нет ни твёрдого закона, ни единства политических целей, ни внутреннего лада. Каково следствие всего этого? Анархия!

— Кроме республиканской формы правления, которой препятствуют огромность России и разнородность населения, — возразил Пушкин, — существует ещё одна политическая форма — конституционная монархия.

Царь сходу отмёл эту форму власти как непригодную ввиду размеров страны и её общей отсталости.

— Неужели ты думаешь, — увещевал он поэта, — что, будучи конституционным монархом, я мог бы сокрушить главу революционной гидры, которую вы сами, сыны России, вскормили на гибель ей? Неужели ты думаешь, что обаяние самодержавной власти, вручённой мне Богом, мало содействовало удержанию в повиновении остатков гвардии и обузданию уличной черни, всегда готовой к бесчинству и насилию?

В ответ Пушкин указал «оппоненту» на другую «гидру»:

— Самоуправство административных властей, развращённость чиновничества и подкупность судов России. Россия стонет в тисках этой гидры поборов, насилия и грабежа, которая до сих пор издевается даже над высшей властью. На всём пространстве государства нет такого места, куда бы это чудовище не досягнуло!.. Что же удивительного, Ваше Величество, если они, возмущённые зрелищем униженного и страдающего Отечества, подняли знамя сопротивления, разожгли огонь мятежа, чтобы уничтожить то, что есть, и построить то, что должно быть; вместо притеснения — свободу, вместо насилия — безопасность, вместо продажности — нравственность, вместо произвола — покровительство закона, стоящего надо всеми и равного для всех! Вы, Ваше Величество, можете осудить развитие этой мысли, незаконность средств к её осуществлению, излишнюю дерзость предпринятого, но не можете не признать в ней порывы благородного!

Николай счёл речь поэта слишком смелой и оправдывающей

мятеж, но Пушкин возразил:

— Я оправдываю только цель замысла, а не средства.

Царь, признав благородство убеждений поэта, посоветовал ему быть рассудительнее, опытнее, основательнее и заговорил о возможных преобразованиях:

— Для глубокой реформы, которой Россия требует, мало одной воли монарха, как бы он ни был твёрд и силён. Ему нужно содействие людей и времени. Пусть все благонамеренные и способные люди объединятся вокруг меня. Пусть в меня уверуют.

Пусть самоотверженно и мирно идут туда, куда я поведу их, — и гидра будет побеждена! Гангрена, разъедающая Россию, исчезнет, ибо только в общих усилиях — победа, в согласии благородных сердец — спасение! Что же до тебя, Пушкин… ты свободен. Я забываю прошлое, даже уже забыл. Не вижу пред собой государственного преступника, вижу лишь человека с сердцем и талантом, вижу певца народной славы, на котором лежит высокое призвание — воспламенять души вечными добродетелями и ради великих подвигов. Теперь можешь идти! Пиши для современников и для потомства. Пиши со всей полнотой вдохновения и с совершенной свободой, ибо цензором твоим буду я! (95, 202–203)

Из кабинета хозяина вышли вместе — царь и поэт. Прощаясь, Николай I сказал: «Ну, ты теперь не прежний Пушкин, а мой Пушкин».

Александр Сергеевич не распространялся о часовой беседе с монархом; пушкинисты по крохам собирали сведения о ней среди современников поэта. Но хорошо известно, что оба — и царь, и Пушкин встречей остались довольны. Николай I на балу у маршала Мармона подозвал Д. Н. Блудова, делопроизводителя Верховной следственной комиссии по делу декабристов, и сказал ему:

— Знаешь, что я нынче долго говорил с умнейшим человеком в России?

На вопросительный взгляд Дмитрия Николаевича царь назвал Пушкина.

П. В. Нащокин, один из ближайших друзей поэта, рассказывал, что Пушкин вышел от Николая I со слезами на глазах. Другой собеседник Александра Сергеевича, польский поэт Адам Мицкевич, утверждал то же:

— Пушкин был тронут и ушёл глубоко взволнованный. Он рассказывал своим друзьям-иностранцам, что, слушая императора, не мог не подчиниться ему. «Как я хотел бы его ненавидеть! — говорил он. — Но что мне делать? За что мне ненавидеть его?»

Полная версия встречи императора с Пушкиным существует в записи князя П. Б. Козловского, известного дипломата и популяризатора науки, сотрудника журнала «Современник». Пётр Борисович изложил содержание беседы царя и поэта в дневнике сразу после того, как Николай I поведал ему о ней:

«Пушкин легко отклонил подозрения, которые в разных случаях проявлялись относительно его поведения и которые были вызваны приписанными ему неосторожными высказываниями. Он изложил открыто и прямо свои политические убеждения, не колеблясь заявив, что, если бы и был адептам нововведений в области управления, он никогда не был сторонником беспорядка и анархии. Он с достоинством и искренностью приветствовал императора за мужество и великодушие, проявленные им на глазах у всех 14 декабря. Но он не мог не выразить своего сочувствия к судьбе некоторых вождей того рокового восстания, обманутых и ослеплённых своим патриотизмом.

Николай I выслушал его без нетерпения и отвечал ему благосклонно. Заговорив, в свою очередь, об этом ужасном заговоре, который подготовлял цареубийство, крушение общественного порядка и отмену основных законов империи, он нашёл те красноречивые и убедительные слова, которые глубоко тронули Пушкина и взволновали его до слёз. Император протянул ему руку и проникновенным голосом сказал:

— Я был бы в отчаянии встретить среди соучастников Пестеля и Рылеева того человека, которому я искренно симпатизировал и которого теперь уважаю от всего сердца. Продолжайте оказывать честь России вашими произведениями и считайте меня своим другом» (32, 266).

Приведённый рассказ, записанный со слов самого Николая I, выставляет его в самом выгодном свете. Но поскольку он поддаётся сверке с другими свидетельствами современников, пушкинисты признают его весьма близким к истине.

…Вернувшись с аудиенции, Пушкин исправил окончание стихотворения «Пророк», о котором литературовед Михаил Филин писал: «Под пушкинским „Пророком“ стоит дата „8 сентября 1826“ — день встречи поэта с императором Николаем Павловичем. Раньше об этом мало кто знал, теперь ведают все, но мало кто рад обретённому знанию и оперирует им» («Литературная газета», 2014/5).

«Почему?» — спросят некоторые любители поэзии. А вот читайте:

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился,

И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился;
Перстами лёгкими как сон
Моих зениц коснулся он:
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы,
Моих ушей коснулся он,
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полёт,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный, и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой…

Это стихотворение — перевод на язык поэзии того, что дала Пушкину встреча с царём: извлечение из «пустыни мрачной» (Михайловского); душевное просветление и освобождение («вырвал грешный мой язык») от заблуждений молодости, к каковым, по-видимому, относятся стихотворения «Вольность», «Деревня», «Кинжал» и другие. Это — отказ от прежнего свободомыслия и переход на позицию примирения с существующей действительностью. В таком же ключе 22 декабря были написаны «Стансы»:

В надежде славы и добра
Гляжу вперёд я без боязни.

После этого оптимистического заявления следует прославление деяний Петра I, завершающееся обращением к правящему государю:

Семейным сходством будь же горд;
Во всём будь пращуру подобен:
Как он, неутомим и твёрд,
И памятью, как он, незлобен.

Пушкин рассматривал это стихотворение как план

прогрессивной политики, на которую он пытался направить Николая I и о чём у него был разговор с царём. Но по существу «Стансы» — декларация о его примирении с властями, что вызвало осуждение поэта в близких ему кругах и заставило его оправдываться:

Нет, я не льстец, когда царю
Хвалу свободную слагаю:
Я смело чувства выражаю,
Языком сердца говорю.
Его я просто полюбил[63].
Он бодро, честно правит нами;
Россию вдруг он оживил
Войной, надеждами, трудами…

В самом начале своего царствования Николай I действительно хотел провести ряд кардинальных реформ, подготовка их шла в нескольких комиссиях. Получил задание и Пушкин. 30 сентября, через три недели после аудиенции, А. Х. Бенкендорф писал ему: «Его Императорскому Величеству благоугодно, чтобы вы занялись предметом о воспитании юношества».

Подчиняясь царской воле, Александр Сергеевич 15 ноября подготовил записку «О народном воспитании». Начинается она с осуждения восстания декабристов: «Последние происшествия обнаружили много печальных истин. Недостаток просвещения и нравственности вовлёк многих молодых людей в преступные заблуждения».

Критикуя существующую систему воспитания, Пушкин предлагал некоторые меры по его улучшению. Сегодня интересен его взгляд на роль истории в формировании личности: «Изучение России должно будет преимущественно занять в окончательные годы умы молодых дворян, готовящихся служить Отечеству верою и правдою, имея целью искренно и усердно соединиться с правительством в великом подвиге улучшения государственных постановлений, а не препятствовать ему, безумно упорствуя в тайной недоброжелательности». Критику российской системы воспитания Николай I принял, а предложения поэта по её изменению отверг, поставив в рукописи 35 вопросительных знаков. 23 декабря Бенкендорф известил Александра Сергеевича о прочтении царём его записки «О народном воспитании» и изложил мнение монарха о ней:

«Государь император с удовольствием изволил читать рассуждения Ваши о народном восстании и поручил мне изъявить

Вам высочайшую свою признательность. Его Величество при сём заметить изволил, что принятое Вами правило, будто бы просвещение и гений служат исключительным основанием совершенству, есть правило, опасное для общего спокойствия, завлёкшее Вас самих на край пропасти и повергшее в оную толикое число молодых людей. Нравственность, прилежное служение, усердие предпочесть должно просвещению неопытному, безнравственному и бесполезному. На сих-то началах должно быть основано благонаправленное воспитание. Впрочем, рассуждения ваши заключают в себе много полезных истин» (7, 660–661).

Вопрос о том, может ли просвещение «удержать новые безумства», был для Николая I спорен и сомнителен. Недостаток благонамеренного усердия — вот корень всего зла, полагал самодержец. Взгляды царя и поэта на воспитание разошлись; не случилось сближения и по другим проблемам российской действительности. Власти не удалось сделать Пушкина ручным. Польский писатель Ю. Струтыньский передал потомкам гордое заявление поэта об итоге его отношений с российским монархом:

— Не купил он меня ни золотом, ни лестными обещаниями, потому что знал, что я непродажен и придворных милостей не ищу; не ослепил он меня и блеском царского ореола, потому что в высоких сферах вдохновения, куда достигает мой дух, я привык созерцать сияния гораздо более яркие; не мог он и угрозами заставить меня отречься от моих убеждений, ибо, кроме совести и Бога, я не боюсь никого, не задрожу ни перед кем. Я таков, каким был, каким в глубине естества моего останусь до конца дней; я люблю свою землю, люблю свободу и славу Отечества, чту правду и стремлюсь к ней в меру душевных и сердечных сил (95, 213–214).

Николай I чувствовал внутреннее противление поэта верховной власти. Это вызывало у него раздражение и недоверие к поэту.

От романа к сатире. Во второй половине 1820-х годов Пушкин написал поэму «Полтава», множество стихотворений и два произведения прозы — «Арап Петра Великого», «Роман в письмах», продолжал работать над последними главами «Евгения Онегина». На написание седьмой главы романа в стихах ушло два года. Начиналась она первоначально с 36-й строфы, в которой рассказывается о приезде Лариных в старую столицу:

Но вот уж близко. Перед ними
Уж белокаменной Москвы,

Как жар, крестами золотыми
Горят старинные главы.

По существу, семье Татьяны в строфе посвящено лишь два слова («перед ними»), остальной текст — воспоминания поэта о встрече с древней столицей после возвращения из ссылки и гимн великому городу:

Ах, братцы, как я был доволен,
Когда церквей и колоколен,
Садов, чертогов полукруг
Открылся предо мною вдруг!
Как часто в горестной разлуке,
В моей блуждающей судьбе,
Москва, я думал о тебе!

За пятнадцать лет разлуки у поэта, конечно, было немало времени и случаев, чтобы вспомнить о родном городе и поразмышлять о истории бывшей столицы:

Москва… как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нём отозвалось!

Да, прошлое города, объединившего вокруг себя разрозненные княжества и возглавившего борьбу Руси с враждебным окружением, насыщено многими знаменательными событиями, но поэт вспоминает о последних, наиболее ему близких:

Вот окружён своей дубравой,
Петровский замок. Мрачно он
Недавнею гордится славой.
Напрасно ждал Наполеон,
Последним счастьем упоённый,
Москвы коленопреклонённой
С ключами старого Кремля:
Нет, не пошла Москва моя
К нему с повинной головою.
Не праздник, не приёмный дар,
Она готовила пожар
Нетерпеливому герою,

Отселе, в думу погружён,
Глядел на грозный пламень он.

Петровский замок — это Петровский дворец (Ленинградское шоссе, 40). Он был построен на подъезде к Москве в 1776–1796 годах по проекту архитектора М. Ф. Казакова. Эффектное сооружение в виде средневекового замка хорошо сохранилось до нашего времени. Спасаясь от пожара, французский император провёл в нём два дня — 5 и 6(17–18) сентября. Пожар ошеломил его. На острове Святой Елены Наполеон говорил доктору О'Мира:

— Одно это не было предусмотрено: кто бы подумал, что народ может сжечь свою столицу? Я был готов ко всему, кроме этого.

За пятнадцать лет беспрерывных войн Наполеон привык к тому, что вражеские столицы сдавались без сопротивления и ему подносились символические ключи от них. В России этого не случилось. Более того, русские сами сожгли древний город. А это означало одно: царь не будет просить мира. Два дня раздумий в Петровском дворце привели завоевателя к мысли о том, что «брат» Александр не явится в Москву «с повинной головою» и мир русским он должен предложить (как победитель) сам. Считать себя победителем было его последним счастьем в России.

…Пушкин отдавал должное личности Наполеона, но, как говорится, знал меру. На 1820-е годы пришёлся расцвет бонапартистского движения и славословия покойного императора. Как-то Александру Сергеевичу попалось стихотворение «T'en souviens-tu, disait un copitaine». Автором его Пушкин считал П. Беранже, поэтому на бахвальства героя его опуса ответил «Рефутацией[64] г-на Беранже» (1827):

Ты помнишь ли, ах, ваше благородье,
Мусьё француз, г… капитан,
Как помнится у нас в простонародье
Над нехристем победы россиян?
Хоть это нам не составляет много,
Не из иных мы прочих, так сказать,
Но встарь мы вас наказывали строго,
Ты помнишь ли, скажи, …?

Отклик на воспоминания ветерана Великой армии дан поэтом в откровенно ироническом стиле: это и издевательское «ах» перед обращением «ваше благородие», и нарочитое искажение слова «месье», и ругательство за следующим.

Основной текст строфы заканчивается четырьмя строчками, которые станут рефреном ко всем следующим. Стихотворение построено в форме ответа французскому офицеру (явно из благородных) простого русского солдата, который не стесняется в выражениях, пересыпая свой монолог матом. Он тоже не новичок в ратном деле, а потому начинает свои воспоминания с довольно отдалённого времени:

Ты помнишь ли, как за горы Суворов
Перешагнув, напал на вас врасплох?
Как наш старик трепал вас, живодёров,
И вас давил на ноготке, как блох?
Хоть это нам не составляет много,
Не из иных мы прочих, так сказать,
Но встарь мы вас наказывали строго,
Ты помнишь ли, скажи,…?

От воспоминаний о Суворове старый солдат обращается к тому, кто мог бы стать достойным соперником гениальному русскому полководцу:

Ты помнишь ли, как всю пригнал Европу
На нас одних ваш Бонапарт-буян?
Французов видели тогда мы многих…
Да и твою, г… капитан!
Хоть это нам не составляет много
Не из иных мы прочих, так сказать;
Но встарь мы вас наказывали строго,
Ты помнишь ли, скажи…?

В следующих двух строфах схематично упоминается о двух событиях Отечественной войны — пожаре старой столицы и отступлении Великой армии, превратившемся в беспорядочное бегство:

Ты помнишь ли как царь ваш от угара
Вдруг одурел, как бубен гол и лыс,
Как на огне московского пожара
Вы жарили московских наших крыс?
Хоть это нам не составляет много,
Не из иных мы прочих, так сказать,
Но встарь мы вас наказывали строго,
Ты помнишь ли, скажи,…?

Ты помнишь ли, фальшивый песнопевец,
Ты, наш мороз среди родных снегов
И батарей задорный подогревец,
Солдатский штык и петлю казаков?
Хоть это нам не составляет много,
Не из иных мы прочих, так сказать,
Но встарь мы вас наказывали строго,
Ты помнишь ли, скажи,…

Свои назидания недавнему противнику старый солдат закончил напоминанием об апогее русского оружия и русского великодушия:

Ты помнишь ли как были мы в Париже,
Где наш казак иль полковой наш поп
Морочил вас, к винцу подсев поближе
И ваших жён похваливал да…?
Хоть это нам не составляет много,
Не из иных мы прочих, так сказать,
Но встарь мы вас наказывали строго,
Ты помнишь ли, скажи,…?

Казаки в Париже

Из-за обилия матерщины стихотворение «Рефутация г-на Беранже» не печаталось, но оно широко распространялось в рукописном виде и пользовалось большим успехом. Патриотически настроенные круги разделяли точку зрения поэта на необходимость отпора инсинуациям Запада.

Здесь кстати заметить, что отечественные пушкинисты избегают упоминать о стихотворении «Рефутация г-на Беранже». А всякого рода «доброхоты» России с удовольствием распространяются о нём. Ю. Дружников, автор пасквиля «Доносчик 001, или Вознесение Павлика Морозова», позднее — профессор Калифорнийского университета и вице-президент Международного ПЕН-клуба, так охарактеризовал «Рефутацию г-на Беранже»: «Одно из самых неуместных стихотворений Пушкина хвастливо-патриотические вирши о победе христиан над „нехристями“. Приём, использованный в этих стихах, — обвинение иностранцев во всех смертных грехах и восхваление „наших“. Иностранцы — нехристи, живодёры, блохи. Бить, стрелять и вешать их — подлинное наслаждение, и автор издевается над побеждёнными когда-то французами. Ещё никто,

кроме Пушкина, кажется, не гордился тем, что русская армия — это мародёры и насильники» (35, 227–228).

И это пишет профессор, к тому же русский по национальности! Впрочем, оставим эмоции и разберёмся с замечаниями Дружникова по существу.

Критика Пушкина особенно задело, что в стихотворении иностранцы названы нехристями. Это говорит о том, что он не знает (а скорее делает вид, что не знает) общеизвестного факта: во время Великой французской революции религия в этой стране была отменена и молодые солдаты Великой армии были неверующими, потому и безобразничали в православных храмах. Объясняя причины святотатства французов, настоятель московского костёла Святого Людовика аббат Сюрюг говорил:

— Вам будут понятны отношения этих войск к христианской вере, когда вы узнаете, что при 400 тысячах человек, перешедших Неман, не было ни одного священника. Для них «религия» — слово, лишённое всякого смысла.

То есть Пушкин не обзывал солдат и офицеров Великой армии нехристями, а констатировал этим понятием непреложный факт, о котором знал каждый его современник[65].

Но пойдём далее. «Бить, стрелять и вешать их — подлинное наслаждение». Перечитайте стихотворение, и вы этих слов в нём не найдёте. Это клевета продажного писаки на нашего национального поэта.

А на чём основывается его утверждение, что «русская армия — это мародёры и насильники»? На том, что в Париже, освобождённом от власти Наполеона, победители не пренебрегали ласками женщин. «А существовали ли когда-либо на грешной земле армии, игнорировавшие прекрасную половину человечества?» — спросим мы критика. Это, во-первых. А далее мы напомним заморскому профессору, что во все времена француженки славились лёгкостью поведения. Характеризуя их нравы, русский офицер Ф. Н. Глинка восклицал:

— Избави Господи от мора, потопа, огня и французского духа!

Да и официальных данных о мародёрстве и насилиях русских солдат нет. Бросая им обвинение в этом, Дружников отрабатывает свои долги заокеанским «благодетелям» и в радении перед новыми хозяевами не останавливается перед клеветой на величайшего русского поэта.

…Одному из своих стихотворений («Герой») Пушкин предпослал эпиграф, который раскрывает его смысл, — «Что есть истина?» Для поэта было истиной, что великий человек без сердца, без простых человеческих чувств и нравственности не

может почитаться героем, какие бы свершения ни венчали его имя. Антигероем для поэта был Александр I.

Уже на заре своей юности Пушкин интуитивно почувствовал к нему недоверие и, работая над стихотворением «Воспоминания в Царском Селе», признавался, что личность царя не вдохновляет его:

> Достойный внук Екатерины!
> Почто небесных аонид,
> Как наших дней певец, славянской бард дружины,
> Мой дух восторгом не горит?

А когда юный выпускник лицея узнал о неприглядной роли Александра I в судьбе собственного отца, он совершенно пал в его глазах, что отразилось на его творчестве: «Вольность», «Двум Александрам Павловичам», «Сказки» («Ура! В Россию скачет кочующий деспот»), «Кинжал», «Недвижный страж», отдельные строфы в романе «Евгений Онегин». Более того, поэт помышлял об убийстве царя, в чём признавался ему в письме от 22 сентября 1825 года, к счастью, не отправленном адресату (10, 791).

И вот при таком настрое к покойному государю Александр Сергеевич стал свидетелем культа его личности, возведения убийцы отца в ранг Благословенного, царя царей и русского Агамемнона. Славословие почившего, приписывание ему всех заслуг по итогам Отечественной войны и заграничных походов возмущали поэта. Это было лицемерием власти и напоминало ханжество самого Александра I. Итогом раздумий поэта стало стихотворение «К бюсту завоевателя» (1829):

> Напрасно видишь тут ошибку:
> Рука искусства навела
> На мрамор этих уст улыбку,
> А гнев на хладный лоск чела.
> Недаром лик сей двуязычен.
> Таков и был сей властелин:
> К противочувствиям привычен,
> В лице и в жизни арлекин.

При жизни Пушкина стихотворение не печаталось — слишком узнаваем был портрет «завоевателя». Кстати, о названии. Оно говорит о том, что поэт не очень-то был убеждён в необходимости заграничных походов русской армии и освобождении народов Европы от наполеоновского засилья

(будучи вхож в семью М. И. Кутузова, по-видимому, знал его точку зрения по этому вопросу). Русская кровь была ему дороже славы, за которую наше Отечество расплачивается по сей день.

…Кроме стихотворения, посвящённого изображению Александра I в мраморе, Пушкин написал и заметку об этом произведении искусства: «Торвальдсен, делая бюст известного человека, удивлялся странному разделению лица — верх нахмуренный, грозный, низ — выражающий всегдашнюю улыбку. Это не нравилось Торвальдсену» (7, 513).

Это было противоестественно, что и отразил в своём стихотворении великий поэт.

В ожидании суда потомков. Весь период пребывания в Михайловском Пушкин находился под надзором властей в лице начальника Главного штаба И. И. Дибича (1785–1831) и нижестоящих инстанций. Иван Иванович (Иоганн-Антон) происходил из силезского рода, известного с XV столетия. Образование получил в Берлинском кадетском корпусе. На русскую службу поступил в 1801 году в лейб-гвардии Семёновский полк и сразу был замечен императором. Павел I говорил о нём:

— Фигура поручика Дибича наводит уныние на целую роту. Иоганна-Антона в России звали Иван Ивановичем. Внешне он был неказист: маленького роста, кривобокий, с короткой шеей и огромной головой, багрово-красным лицом и ярко-рыжими волосами, вспыльчивый и крикливый, часто нетрезвый. В армии его не любили. Дибич чувствовал это и быстро перешёл на штабную работу, на которой сразу выдвинулся смелостью и энергией. В кампании 1805 года он был ранен в кисть правой руки, но переложил шпагу в левую и остался в строю. Отличился и в других сражениях. В 1810 году в чине подполковника был переведён в свиту Александра I.

В начале Отечественной войны Дибич сражался в рядах 1-го корпуса генерала П. Х. Витгенштейна, о котором лицеист Пушкин писал:

> Хорошие стихи не так легко писать,
> Как Витгенштейну французов побеждать.

За отличие, проявленное в разных сражениях, Дибич был произведён в генерал-майоры и награждён орденом Святого Георгия 3-го класса, орденом Святой Анны I степени и золотой шпагой «За храбрость» с алмазами.

На исходе Отечественной войны Дибич командовал

двухтысячным отрядом, который действовал против 10-го армейского корпуса маршала Макдональда. Ему удалось склонить к мирным переговорам генерала Йорка, командовавшего прусскими войсками в составе Великой армии, и 18(30) декабря на мельнице Пошерунской близ Таурогена была подписана конвенция, по которой прусские войска прекратили военные действия против России.

Во время заграничного похода русской армии Дибич принимал активное участие в разработке оперативных планов союзных войск. Сражался при Лютцене, Баутцене и Дрездене. В сражении при Кульме возглавил кавалерийскую атаку, которая способствовала успеху русской армии. За отличие в «Битве народов» получил чин генерал-лейтенанта.

Дибич активно поддержал идею движения союзных армий на Париж. Во время «Ста дней» он занимал пост начальника Главного штаба русских войск, предназначавшихся ко второму походу на столицу Франции. В июне 1818 года был пожалован в генерал-адъютанты и с этого времени неоднократно сопровождал царя в его поездках за границу и по России.

В апреле 1824 года Дибич получил назначение на пост начальника Главного штаба. Эта должность обязывала его следить за лицами, подозреваемыми в неблагонадёжности. За Пушкиным тайный надзор осуществлялся через генерал-губернатора Псковской губернии. Иван Иванович был человеком хорошо образованным. Пушкин писал о нём:

> Ты просвещением свой разум осветил,
> Ты правды чистый свет увидел…

Поэтому его интересовало всё: с кем поэт встречается, о чём говорит, что пишет и что собирается писать, что готовит к печати? Дошло до того, что к слежке за Пушкиным привлекли его отца. В октябре первого года ссылки в Михайловское Александр Сергеевич жаловался В. Ф. Вяземской: «Мой отец имел слабость согласиться на выполнение обязанностей, которые, во всех обстоятельствах, поставили его в ложное положение по отношению ко мне, вследствие этого всё то время, что я не в постели, я провожу верхом в полях».

Не много мог получить Дибич сведений о поэте, если даже от отца он таил свои мысли в чистом поле. Но вот до Михайловского дошла весть о кончине Александра I и восшествии на престол его младшего брата Николая. Уже в конце января Пушкин писал литератору П. А. Плетнёву: «Кстати, не может ли Жуковский узнать, могу ли я надеяться на высочайшее снисхождение. Я

шесть лет нахожусь в опале, а что ни говори — мне всего двадцать шесть. Покойный император сослал меня в деревню за две строчки нерелигиозные — других художеств за собою не знаю. Ужели молодой наш царь не позволит удалиться куда-нибудь, где бы потеплее, если уж никак нельзя мне показаться в Петербурге, а?».

В. А. Жуковский и Н. М. Карамзин постарались вызволить Александра Сергеевича из провинциальной глуши. Как говорится, не прошло и года, а псковский гражданский губернатор Б. А. Адеркас получил следующее предписание Дибича: «По высочайшему государя императора повелению, последовавшему по всеподданнейший просьбе, прошу покорнейшее ваше превосходительство находящемуся во вверенной вам губернии 10-го класса Александру Пушкину позволить отправиться сюда при посылаемом вместе с сим нарочном фельдъегере. Г-н Пушкин может ехать в своём экипаже свободно, не в виде арестанта, но в сопровождении только фельдъегеря, по прибытии же в Москву имеет явиться прямо к дежурному генералу Главного штаба е. в.» (77, 312).

В ночь на 4 сентября фельдъегерь уже был в Михайловском и приказал собираться в дорогу, ничего не объяснив хозяину дома. Но в Пскове Пушкину вручили письмо Дибича, которое успокоило его и подняло настроение: он понял, что дело склоняется к окончанию ссылки. На радостях набросал весточку П. А. Осиповой, помещице соседнего села Тригорское:

«Полагаю, сударыня, что мой внезапный отъезд с фельдъегерем удивил вас столько же, сколько и меня. Дело в том, что без фельдъегеря у нас, грешных, ничего не делается; мне также дали его для большей безопасности. Впрочем, судя по любезному письму барона Дибича, мне остаётся только гордиться этим. Я еду прямо в Москву. Лишь только буду свободен, тотчас же поспешу вернуться в Тригорское, к которому отныне навсегда привязано моё сердце».

Прасковья Александровна относилась к поэту как мать, и он очень ценил это, посвятил ей четыре стихотворения, в одном из которых писал о скором освобождении из сельской неволи:

Быть может, уж недолго мне
В изгнанье мирном оставаться,
Вздыхать о мирной старине
И сельской музе в тишине
Душой беспечной предаваться.

Но и в дали, в краю чужом

Я буду мыслию всегдашней
Бродить Тригорского кругом,
В лугах, у речки, над холмом,
В саду под сенью лип домашней…

8 сентября Пушкин был в Москве, но, перед тем как узреть императора, встретился с Дибичем, после разговора с которым окончательно уверился в своём скором возвращении на лоно цивилизации. Это была их единственная очная встреча, и Дибич произвёл на Александра Сергеевича неплохое впечатление. Вот характеристика, которую дал позднее начальнику Главного штаба его современник историк Д. Н. Бантыш-Каменский: «Граф Иван Иванович Дибич-Забалканский был малого роста, имел большую голову, быстрый взгляд, разговор несвязный, отрывистый, затруднявший людей, редко с ним обращавшихся; не занимался своею одеждою, был неловок в обращении, с нравом пылким, скорым, соединял добродушие, сострадательность, строгую справедливость; незлопамятен, доступен, ласков с подчинёнными; на верху почестей не знал гордости, помнил прежние связи; искренно любил родных своих. „Будь всегда добрым сыном, — наставлял он племянника, — и тогда ты с весёлым духом и твёрдостию преодолеешь все препятствия, которые, встречаясь более или менее на всяком пути жизни, лишь сильнее укрепляют истинного христианина и сына Отечества к исполнению долга“» (76, 314).

Писал это уже не просто Дибич, а генерал-фельдмаршал[66] Дибич-Забалканский, удостоенный этой почётной приставки за выигранную войну с турками. Тогда же он был награждён орденами Святого Георгия 1-го класса и Святого Андрея Первозванного с алмазами. Такого набора наград не было даже у императора.

Французский историк А. Дебидур, явно не симпатизировавший Дибичу, писал о его действиях на Балканах: «Русская армия, усиленная, реорганизованная и поддержанная диверсией греков, разбила турок при Кулевче, взяла Силистрию и, совершив необычайно смелый период через Балканы, дошла до Адрианополя. А спустя несколько дней русские аванпосты оказались на расстоянии нескольких миль от Константинополя» (75, 313–314).

12 декабря 1830 года Дибич был назначен главнокомандующим армией, направленной на подавление восстания Польши. В первом сражении (под Сточком) русские потерпели поражение, но уже через полторы недели взяли реванш

под Гроховом. 26 мая при Остроленке польские войска потерпели ещё одно крупное поражение и отступили к Варшаве. Развить успешные действия русской армии помешала смерть главнокомандующего.

И. И. Дибич скончался 29 мая 1831 года. В письме П. В. Нащёкину Пушкин так откликнулся на это событие: «О смерти Дибича горевать, кажется, нечего. Он уронил Россию во мнении Европы и медленностию успехов в Турции, и неудачами против польских мятежников».

Более осторожен в приговоре Дибичу был Д. Н. Бантыш-Каменский, автор «Биографий российских генералиссимусов и генерал-фельдмаршалов»: «В кампанию 1831 года он отступил от Варшавы, имел разные неудачи, но, со всем тем, нанёс чувствительные удары мятежникам. Современники произвели приговор над Дибичем. Его ожидает суд потомков» (76, 314).

«Он мало стеснялся соображениями человечности». А. Х. Бенкендорф (1781–1844) был сыном рижского военного губернатора. Службу начал в семнадцать лет унтер-офицером лейб-гвардии Семёновского полка, в тридцать восемь — генерал-адъютант, через десять лет — генерал от кавалерии, на следующий год — почётный член Петербургской академии наук. В начале XIX столетия участвовал в войне на Кавказе, затем — в войнах с Наполеоном. После оставления французами Москвы некоторое время был комендантом города.

В кампании 1813 года Бенкендорф участвовал в сражениях под Дрезденом и Лейпцигом, во взятии Роттердама и крепости Бреда. В следующем году воевал под командованием Г. Л. Блюхера. Неспешно и ровно продвигался по службе и в последующие годы.

Пиком карьеры Александра Христофоровича стало назначение 25 июня 1826 года шефом корпуса жандармов, командиром Императорской Главной квартиры и начальником Третьего отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Функции Третьего отделения были весьма обширны, но все их можно выразить одним словом — сыск. Тотальный и всеобъемлющий. Третье отделение было, по свидетельству современников, государством в государстве. Оно развернуло по всей стране сеть агентуры, которая пронизывала все слои общества и вселяла страх тайными доносами. Будущая тёща А. С. Пушкина даже потребовала от него справку о политической благонадёжности, и Александр Сергеевич вынужден был обратиться к Бенкендорфу: «Генерал, г-жа Гончарова боится отдать дочь за человека, который имел бы несчастье быть на

дурном счету у государя. Счастье моё зависит от одного благосклонного слова того, к кому я и так уже питаю искреннюю и безграничную преданность и благодарность».

Надеясь на то, что с женитьбой поэт остепенится, царь приказал дать ему положительную «характеристику», что Александр Христофорович и поспешил сделать: «Его Величество Император, с истинно отеческим благоволением к Вам, соизволил поручить мне, генералу Бенкендорфу, не как шефу жандармов, но как человеку, которому он изволит оказывать доверие, наблюдать за Вами и руководствовать Вас советами. Никогда никакая полиция не получала приказания следить за Вами… Какие же теневые стороны можно найти в Вашем положении в этом отношении? Уполномочиваю вас, милостивый государь, показывать это письмо всем, кому вы сочтёте нужным показать его» (76, 59).

Всего от шефа жандармов Пушкин получил 36 писем. В первом, от 30 сентября 1826 года, Бенкендорф писал о разрешении Александру Сергеевичу въезда в столицу и о намерении царя лично цензуровать его произведения. Сам поэт обращался к тёзке 58 раз, первый — 28 ноября 1826 года:

«Милостивый государь, Александр Христофорович!

Будучи совершенно чужд ходу деловых бумаг, я не знал, должно ли мне было отвечать на письмо, которое удостоился получить от Вашего превосходительства и которым был я тронут до глубины сердца. Конечно, никто живее меня не чувствует милость и великодушие Государя Императора, также как снисходительную благосклонность Вашего превосходительства».

А. Х. Бенкендорф

30 сентября Бенкендорф сообщил Пушкину о том, что ему запрещается что-либо печать, не представляя рукопись царю.

Поэт на письмо шефа жандармов не отреагировал («не знал», что на письма принято отвечать!). Последовал выговор и за это пренебрежение представителя власти, и за чтение друзьям и любителям поэзии трагедии «Борис Годунов», о чём мы узнаём из последующих строк ответа Александра Сергеевича: «Так как я действительно в Москве читал свою трагедию (конечно, не из ослушания, но только потому, что худо понял высочайшую волю государя), то поставляю за долг препроводить её Вашему превосходительству в том самом виде, как она была мною читана, дабы Вы сами изволили видеть дух, в котором она сочинена;

я не осмелился прежде сего представить её глазам императора, намереваясь сперва выбросить некоторые непристойные выражения. Мне было совестно беспокоить ничтожными литературными занятиями моими человека государственного среди огромных забот. Я раздал несколько мелких моих сочинений в разные журналы и альманахи по просьбе издателей. Прошу от Вашего превосходительства разрешения сей неумышленной вины, если не успею остановить их в цензуре».

Бенкендорф был ограниченным сухим карьеристом. В обществе его не любили, причисляя к немецкой партии, придворное влияние которой раздражало русскую знать. Лицеист барон М. А. Корф, сам из немецкой семьи, говорил, что за 10 лет заседаний в Комитете министров и в Государственном совете ни разу не слышал там голоса шефа жандармов. По его мнению, Бенкендорф ничего не читал и был малограмотен, что не мешало ему давать советы царю.

— В России, — наставлял Александр Христофорович Николая I, — со времён Петра Великого всегда стояли впереди нации её монархи. Поэтому не должно слишком торопиться с её просвещением, чтоб народ не стал по кругу своих понятий в уровень с монархом и не посягал тогда на ослабление их власти (88, 216).

Вот эту посредственность и реакционера царь поставил между собой и Пушкиным, которого сам признавал одним из умнейших людей России. Великому поэту не раз приходилось обращаться к Бенкендорфу по поводу печати своих произведений, даже уже одобренных царём. Николай I обязал Пушкина представлять на высочайшее одобрение не всё написанное им, а только сочинения, достойные его внимания. Шеф жандармов посчитал этого недостаточным и приказал Александру Сергеевичу присылать на его рассмотрение всё, что предназначается для публикации. Возмущённый поэт попытался убедить своего «поводыря» в сфере социальных отношений, что его требование пагубно для человека, живущего на литературные заработки:

«Позвольте доложить Вашему высокопревосходительству, что сие представляет разные неудобства.

1) Ваше высокопревосходительство не всегда изволите пребывать в Петербурге, а книжная торговля, как и всякая, имеет свои сроки, свои ярмарки, так что оттого, что книга будет напечатана в марте, а не в январе, сочинитель может потерять несколько тысяч рублей, а журналист несколько сот подписчиков.

2) Подвергаясь один особой, от Вас единственно зависящей цензуре, я вопреки права, данного государем, изо всех писателей буду подвержен самой стеснительной цензуре, ибо весьма простым образом сия цензура будет смотреть на меня с предубеждением и находить везде тайные применения allusions[67] и затруднительности, а обвинения в применениях и подразумениях не имеют ни границ, ни оправданий, если под словом „дерево“ будут разуметь конституцию, а под словом „стрела“ самодержавие. Осмеливаюсь просить об одной милости: впредь иметь право с мелкими сочинениями своими относиться к

обыкновенной цензуре».

Понимаете, читатель, что было для великого поэта милостью? Иметь те же права, что и у всех других литераторов, хотя, надо заметить, что с правами в николаевской России было неважно. А. А. Дельвигу, ближайшему лицейскому товарищу Пушкина, Бенкендорф как-то заявил:

— Законы пишутся для подчинённых, а не для начальства, и вы не имеете права в объяснениях со мною на них ссылаться или ими оправдываться.

Четыре года заняла переписка Александра Сергеевича с шефом жандармов по вопросу издания трагедии «Борис Годунов». Все десять лет общения с начальником Третьего отделения Пушкин периодически поднимал вопрос о поездке за границу: в Италию или во Францию, в Париж, в Китай… Не пустили даже в Полтаву, куда был выслан опальный А. Н. Раевский.

Поэт обращался к Бенкендорфу с просьбой поработать с библиотекой Вольтера, находившейся в Зимнем дворце, ходатайствовал о допуске к архивным материалам по истории крестьянского восстания под руководством Е. Пугачёва и, наконец, просил разрешения (дважды) на продажу «бабы» — статуи Екатерины II:

«Генерал, покорнейше прошу Ваше превосходительство ещё раз простить мне мою докучливость.

Прадед моей невесты некогда получил разрешение поставить в своём имении Полотняный Завод памятник императрице Екатерине II. Колоссальная статуя, отлитая по его заказу из бронзы в Берлине, совершенно не удалась и так и не могла быть воздвигнута. Уже более тридцати пяти лет погребена она в подвалах усадьбы…».

Как это ни покажется рискованным, Пушкин просвещал Александра Христофоровича по вопросам литературы (большие письма от 11 июля 1830 года и 21 июля 1831-го), хлопотал об издании газеты и журнала, даже информировал шефа жандармов о полученной им анонимке:

«Граф![68]

Считаю себя вправе и даже обязанным сообщить вашему сиятельству о том, что недавно произошло в моём семействе.

Утром 4 ноября я получил три экземпляра анонимного письма, оскорбительного для моей чести и чести моей жены. По виду бумаги, по слогу письма, по тому, как оно было составлено, я с первой же минуты понял, что оно исходит от иностранца, от человека высшего общества, от дипломата. Я узнал, что семь или восемь человек получили в один и тот же день по экземпляру того же письма.

Мне не подобало видеть, чтобы имя моей жены было в данном случае связано с чьим бы то ни было именем. Я поручил сказать это г-ну Дантесу. Барон Геккерн приехал ко мне и принял вызов от имени г-на Дантеса, прося у меня отсрочки на две недели».

О случившемся Бенкендорф доложил царю. Николай I вызвал Александра Сергеевича и взял с него слово отказаться от дуэли. Пушкин обещал, но… Почему? Объяснение этому находим в том же письме шефу жандармов: «Будучи единственным судьёй и хранителем моей чести и чести моей жены и не требуя вследствие этого ни правосудия, ни мщения, я не могу и не хочу представлять кому бы то ни было доказательство того, что утверждаю». Дальнейшие события показали, что Александр Сергеевич был не намерен отчитываться и в своих действиях по поводу «разборки» с Дантесом.

…Бенкендорф на семь лет пережил своего непокладистого подопечного (а вернее — поднадзорного). За это время успел написать «Записки», в которые вошли очерки «1812 год. Отечественная война», «1813 год. Освобождение Нидерландов». Отечественной войне посвящена и работа «Описание военных действий отряда, находившегося под начальством князя Винцингероде». То есть Александр Христофорович внёс свою лепту в историографию 1812 года как воин и очевидец событий.

Хуже обстояло дело в его деятельности на посту шефа жандармов: «Чрезмерная цензурная строгость Бенкендорфа и чрезвычайно суровое отношение его ко всем, кто казался ему политически опасным, тяжёлым бременем ложились на духовное развитие русского общества. С упорством и нетерпимостью узкого во взглядах и неумного человека Бенкендорф старался во всех самостоятельных стремлениях лиц и всего русского общества найти и уничтожить зародыши ужасного будущего. При этом он мало стеснялся соображениями человечности и даже законом» («Энциклопедический словарь» Брокгауза и Эфрона).

Этот вывод о жандармской деятельности нашего героя хорошо иллюстрируют его отношения с Пушкиным, итог которым подвёл В. А. Жуковский в письме Бенкендорфу от 28 февраля, через три недели после гибели поэта: «Пушкин мужал зрелым умом и поэтическим дарованием, несмотря на раздражительную тягость своего положения, которому не мог конца предвидеть, ибо не мог постичь, что не изменившееся в течение десяти лет останется таким и на целую жизнь и что ему никогда не освободиться от того надзора, которому он, уже отец семейства, в свои лета подвержен был как двадцатилетний шалун. Ваше сиятельство не могли заметить этого угнетающего чувства,

которое грызло и портило жизнь его. Вы делали изредка свои выговоры с благим намерением и забывали о них, переходя к другим важнейшим вашим занятиям, которые не могли дать вам никакой свободы, чтобы заняться Пушкиным. А эти выговоры для вас столь мелкие, определяли целую жизнь его: ему нельзя было тронуться с места свободно, он лишён был наслаждения видеть Европу, ему нельзя было своим друзьям и своему избранному обществу читать свои сочинения, в каждых стихах его, напечатанных не им, а издателем альманаха с дозволения цензуры, было видно возмущение» (36, 361).

А. И. Герцен, младший современник великого поэта, говорил о его бдительном «опекуне»:

— Может, Бенкендорф и не сделал всего зла, которое мог сделать, будучи начальником этой страшной полиции, стоящей вне закона и над законом, имеющей право вмешиваться во всё, но и добра он не сделал (76,57).

Ни для Пушкина, ни для русской литературы, — добавим мы от себя.

«Россию гражданским мужеством дивит». Н. С. Мордвинов (1754–1845), будущий адмирал и морской министр, азы флотоводческой науки осваивал на английских судах, там же набирался либеральных идей, которым оставался верен всю жизнь, но верой и правдой служил Отечеству, в 1796 году удостоился следующих строк поэта В. Петрова:

Природный разум твой, твой нрав, твои науки,
Твоя к Отечеству любовь,
Мордвинов, по тебе суть верные поруки,
Что вся твоя нам жертва кровь.

Николай Семёнович проявил себя и как финансист: семнадцать лет был председателем Вольного экономического общества, с 1821 года — председатель Департамента гражданских и духовных дел. Кроме того, он был членом Государственного совета и официальным шефом Российско-американской компании, самого крупного акционерного общества в России.

Потомок заложника-аманата, взятого от племени буйной мордвы в царствование Ивана Грозного, Мордвинов олицетворял в себе сам аристократизм. Предки его медленно, но неуклонно приближались к трону. При Екатерине II Николай был выбран в товарищи наследнику престола, дружбу которого приобрёл, воспитываясь при дворе.

По окончании образования великого князя Мордвинова

послали в Англию. Три года Николай Семёнович плавал на английских судах, побывал в Америке. Англия произвела на него огромное впечатление, и он всю жизнь оставался её ревностным поклонником. Мордвинов был убеждён в необходимости государственного и экономического преобразования России. Он выступал за развитие промышленности, за внедрение в народное хозяйство научных и технических достижений, за помощь предпринимателям льготными кредитами, за введение протекционистских тарифов и создание частных банков в губерниях.

«Мнения» Мордвинова, постоянно отвергаемые Сенатом и Государственным советом, во множестве копий расходились по Петербургу. Как-то в разговоре с Николаем Семёновичем Н. И. Тургенев сказал, что мирится с существующей властью, так как надеется, что она даст свободу крепостным.

— Надо начинать с трона, а не с крепостных, — ответил старый политик. — Пословица говорит, что лестницу метут сверху.

В среде сановного Петербурга Мордвинов выглядел белой вороной. И не случайно. К. Рылеев посвятил ему следующие пламенные строки:

Но нам ли унывать душой,
Когда ещё в стране родной,
Один из дивных исполинов
Екатерины славных дней,
Средь сонма избранных мужей
В Совете бодрствует Мордвинов.

Уже полвека он Россию
Гражданским мужеством дивит;
Вотще коварство вкруг шипит —
Он наступил ему на выю…

Николай Семёнович действительно поражал современников мужеством и независимостью от верховной власти. Так, в 1824 году он выступил за упразднение кнута как орудия наказания: «С того знаменитого для правосудия и человечества времени, когда европейские народы отменили пытки и истребили орудия её, одна Россия сохранила у себя кнут, коего одно наименование поражает ужасом народ российский и даёт повод иностранцам заключать, что Россия находится ещё в диком состоянии, без просвещения и нравственных понятий о человеке, существе в высшей степени чувствительном. Все просвещённые народы

оставили мучительные зрелища. Наступило и для нас время отменить оные».

Большинство членов Государственного совета поддержало мнение Мордвинова, но «либеральный» царь Александр не принял его, и кнут ещё несколько десятилетий правил бал в российском правосудии.

Выступление Мордвинова высоко оценил Ф. Н. Глинка, хорошо осведомлённый о российской пенитенциарной системе. Одно из своих писем Николаю Семёновичу он начал со слов смоленского князя Мстислава Давыдовича, почерпнутых в его грамоте 1228 года: «Люди приходят и отходят, но содеянное ими остаётся надолго». И продолжал: «Мы судим современников, потомство судит нас. Вы поставлены, как светильник, на месте высоком, да светите в широте и во благо. Высокое провидение наградило Вас сердцем, ведающим милосердие. Все великие мысли проистекают от сердца, а милосердие ублажает суд. Если сравнивают чистоту суда с сиянием солнца, то милосердие равняется с теплотою того же светила, и чтобы было солнце без теплоты, то бывает суд, на котором не хватает милосердия. Итак, муж правды, подвизайтесь на прекрасном поприще общего блага, дабы хладная буква закона не осталась без живительной теплоты, влагаемой любовью к человечеству. Потомство оценит труды Ваши…» (76, 11).

Афористично определил роль «мужа правды» в общественной жизни России 1820-х годов А. С. Пушкин: «Мордвинов заключает в себе одном всю русскую оппозицию». Эту оценку значимости престарелого государственного деятеля поэт подкрепил и в стихотворной форме:

Мордвинов, не вотще Петров тебя любил,
Тобой гордится он и на брегах Коцита:
Ты лиру оправдал, ты ввек не изменил
Надеждам вещего пиита,

Как славно ты сдержал пророчество его!
Сияя доблестью, и славой, и наукой,
В советах недвижим у места своего,
Стоишь ты, новый Долгорукий.

Так, в пенистый поток с вершины гор скатясь,
Стоит седой утёс, вотще брега трепещут,
Вотще грохочет гром и волны, вкруг мутясь,
И увиваются, и плещут.

Один, на рамена поднявши мощный труд,
Ты зорко бодрствуешь над царскою казною,
Вдовицы бедный лепт и дань сибирских руд
Равно священны пред тобою.

22 декабря 1825 года (через неделю после разгрома восстания декабристов) Мордвинов подал Николаю I записку об отмене смертной казни государственным преступникам.

Зная жестокий нрав нового государя, Николай Семёнович уже предвидел, чем кончится дело руководителей восстания.

Это был поступок чрезвычайного мужества, ибо Мордвинов сам находился на подозрении у властей. Буквально на следующий день после получения его записки царь писал брату Константину в Варшаву: «Наше следствие идёт прекрасно, так же как и аресты всех имеющихся под рукой этого ужасного, необычайного заговора; выписка о том, что происходит по этой части, вам посылается с курьером. Вы увидите в ней хорошо знакомые имена, и у меня весьма основательные подозрения, чтобы быть уверенным, что всё это восходит до Государственного совета, именно до Мордвинова. Но я держусь правила налагать руку только на тех, которые изобличены или на которых падает слишком большое подозрение, чтобы им оставаться на свободе, поэтому я ничего не ускоряю» (76, 12).

Не получив никаких улик против Мордвинова, император включил его в состав Верховного уголовного суда и… просчитался. Когда дошло до вынесения приговора, Николай Семёнович не подписал его (единственный из состава суда) и в особом мнении обосновал необходимость смягчения наказания всем осуждённым. На это демонстративное противление Мордвинова вердикту Верховного суда Пушкин откликнулся стихотворением «Под хладом старости угрюмо угасал» (Николаю Семёновичу было уже 72 года).

Следующее пересечение судеб поэта и государственного воителя произошло летом 1828 года — 11 июня Мордвинов, как председатель Департамента гражданских и духовных дел, подписал определение по поводу распространения стихов из элегии Пушкина «Андрей Шенье». По этому документу Александр Сергеевич обязывался не распространять свои произведения без представления их цензору.

В стихотворении были строки, которые царские сатрапы с полным основанием могли отнести к России, да и распространялось оно под заголовком «На 14 декабря»:

Умолкни, ропот малодушный!

Гордись и радуйся, поэт:
Ты не поник главой послушной
Перед позором наших лет;
Ты презрел мощного злодея;
Твой светоч, грозно пламенея,
Жестоким блеском озарил
Совет правителей бесславных;
Твой бич настигнул их, казнил
Сих палачей самодержавных;
Твой стих свистал по их главам;
Ты звал на них, ты славил Немезиду;
Ты пел Маратовым жрецам
Кинжал и деву-эвмениду!

Стихи дошли до властей предержащих, и началось длительное политическое дело. Пушкину пришлось доказывать, что «Андрей Шенье» посвящён исключительно событиям французской революции. Запрещение впредь распространять свои произведения без разрешения на это цензуры было сравнительно мягким ущемлением прав личности в условиях наступившей реакции.

3 декабря 1832 года Мордвинов голосовал за избрание Пушкина в члены Российской академии. Через год с Александром Сергеевичем и другими лицами он подписал прошение об издании «Краткого священного словаря» А. И. Малова. Существует мнение, что поэт бывал у Николая Семёновича. Так, бабушка Лермонтова — Е. А. Арсеньева в письме одной из знакомых сообщала в марте 1835 года о посещении Мордвинова поэтом. Она это слышала от родного брата Аркадия Столыпина, который был женат на дочери Николая Семёновича Вере. Другая его дочь говорила, что её отец с удовольствием читал некоторые сочинения Пушкина. Словом, так или иначе в жизни великого поэта последний екатерининский сановник присутствовал.

«Бывают странные сближенья». Ф. И. Толстой (1782–1846), по мнению сына великого писателя Сергея, «был человек необыкновенный, преступный и привлекательный. Он прожил бурную жизнь, нередко преступая основы общечеловеческой нравственности и уголовный кодекс. Вместе с тем он был человек храбрый, энергичный, неглупый, остроумный, образованный и преданный друг своих друзей» (20, 384).

Фёдор Иванович окончил Морской кадетский корпус, после чего служил в Преображенском полку, в который был записан в

девятилетнем возрасте. Как моряк (по образованию) участвовал в первом кругосветном плавании И. Ф. Крузенштерна, но закончил его посуху. Начальник экспедиции высадил Толстого на один из островов близ побережья Америки за порчу вахтенного журнала обученной им обезьяной. Числились за «юмористом» и другие провинности. После благополучного возвращения на родину путешественник получил прозвище Американец и попал на страницы бессмертной комедии А. С. Грибоедова:

Но голова у нас, какой в России нету.
Не надо называть, узнаешь по портрету:
Ночной разбойник, дуэлист.
В Камчатку сослан был, вернулся алеутом,
И крепко на руку нечист.

За дуэльные поединки Толстого дважды разжаловали в солдаты. Наказание, конечно, символическое, учитывая число его жертв. Графиня М. Ф. Калинская писала о них: «Убитых им на дуэлях он насчитывал одиннадцать человек. Он аккуратно записывал имена убитых в свой синодик. У него было двенадцать человек детей, которые все умерли в младенчестве, кроме двух дочерей. По мере того как умирали дети, он вычёркивал из своего синодика по одному имени из убитых им людей и ставил сбоку слово „квит“. Когда у него умер одиннадцатый ребёнок, прелестная умная девочка, он вычеркнул последнее им убитого и сказал:

— Ну, слава богу, хоть мой курчавый цыганёнок будет жив. Рассчитался с Богом невинными крошками!»

Удобная мораль. Кстати, последняя из умерших дочерей Толстого была одарённой поэтессой. Пушкин писал о ней супруге: «Видел я свата нашего; дочь у него почти сумасшедшая, живёт в мечтательном мире, окружённая видениями, переводит с греческого Анакреона и лечится омеопатически».

Но мы несколько забежали вперёд, вернёмся к началу XIX столетия. Завзятый дуэлянт, поучаствовав в войне со Швецией, вышел в отставку, но летом 1812 года возобновил службу, вступив добровольцем в Московское ополчение. В Бородинском сражении был ранен в ногу и не без задней мысли («голова, какой в России нету») демонстрировал свою рану высокому начальству. Д. В. Давыдов вспоминал:

— Ермолов, проезжая после сражения мимо раненых, коих везли в большом числе на подводах, услышал знакомый голос и своё имя. Обернувшись, он в груде раненых с трудом мог узнать графа Толстого, который, желая убедить его в полученной им

ране, сорвал бинт с ноги, откуда струями потекла кровь. Ермолов[69] исходатайствовал ему чин полковника.

Представление о повышении Фёдора Ивановича в чин подписал Н. Н. Раевский. В нём сказано о Толстом: «Командуя батальоном, отличился своею храбростью, поощрял своих подчинённых. Когда же при атаке неприятеля на наш редут ранен Ладожского полка шеф полковник Савоини, то, вступя в командование полка, бросался неоднократно с оным в штыки и тем содействовал в истреблении неприятельских колонн, причём ранен пулею в ногу» (20, 183).

Через месяц Толстой вернулся в строй и участвовал в сражениях при Тарутине, Малоярославце и Красном. В каждом из них Фёдор Иванович «отличил себя мужеством» и был представлен к ордену Святого Владимира IV степени с бантом.

О дальнейшем боевом пути Толстого сведений не сохранилось. Известен лишь финал его воинской службы. В «пашпорте» Фёдора Ивановича сообщается: «А сего 1816 года марта 16-го дня по Высочайшему Его Императорского Величества повелению за раною уволен от службы с мундиром, во свидетельство чего ему сей пашпорт дан из Инспекторского департамента Главного штаба в С.-Петербурге марта 27-го дня 1816 года. Подлинный подписали: дежурный генерал генерал-адъютант Закревский, начальник отделения военный советник Киселёв» (20, 393).

Что-то в этом хладнокровном убийце импонировало многим из его знаменитых современников. В. А. Жуковский говорил о Толстом:

— В нём было много хороших качеств. Мне лично были известны только хорошие. Всё остальное было ведомо только по преданию, и у меня к нему всегда лежало сердце.

Друзьями этого носителя «хороших» качеств были К. Н. Батюшков, Д. В. Давыдов и П. А. Вяземский. Последний писал о своём приятеле:

Американец и цыган,
На свете нравственном загадка,
Которого, как лихорадка,
Мятежных склонностей дурман
Или страстей кипящих схватка
Всегда из края мечет в край,
Из рая в ад, из ада в рай!
Которого душа есть пламень,
А ум — холодный эгоист;
Под бурей рока — твёрдый камень!

В волненьи страсти — лёгкий лист!

То есть, даже по мнению друга, Толстой был человеком неуравновешенным, крайне эгоистичным и абсолютно безнравственным — «на свете нравственном загадка» (Какая уж тут загадка при убийстве одиннадцати (!) человек!). Л. Н. Толстой, двоюродный племянник Фёдора Ивановича, прямо называл его преступным человеком. Другие определения писателя, относящиеся к его родственнику («необыкновенный», «привлекательный»), совершенно не вяжутся с первым.

И вот с этим воплощением безнравственности Пушкин познакомился осенью 1819 года. В мае следующего поэт был удалён из Петербурга, то есть мог встречаться с Толстым полгода, и за этот короткий срок 37-летний муж, многое повидавший и немало натворивший, распустил в Москве слух о том, что молодого поэта высекли в тайной канцелярии за вольнолюбивые стихи. Александр Сергеевич узнал об этом, находясь уже в Кишинёве, и решил, что за клевету обидчик должен заплатить кровью, а пока уколол его эпиграммой:

В жизни мрачной и презренной
Был он долго погружён,
Долго все концы вселенной
Осквернял развратом он.
Но, исправясь понемногу,
Он загладил свой позор,
И теперь он, слава богу,
Только что картёжный вор.

Фёдор Толстой был профессиональным шулером, жил карточной игрой, и хорошо жил. Однажды обыграл молоденького дворянина С. Д. Полторацкого на 700 тысяч рублей, сумму для того времени заоблачную. Известны случаи, когда его ловили на передёргивании карт. Из позорной ситуации он выходил, угрожая пистолетом. Связываться с известным убийцей охотников обычно не находилось. Ни грани порядочности в этой ошибке природы не было. Не моргнув глазом, Толстой ответил поэту, и тоже эпиграммой:

Сатиры нравственной язвительное жало
С пасквильной клеветой не сходствует нимало.
В восторге подлых чувств ты, Чушкин, то забыл,
Презренным чту тебя, ничтожным сколько чтил.

Примером ты рази, а не стихом пороки.
И вспомни, милый друг, что у тебя есть щёки.

Скучая на юге по оставленным друзьям, Пушкин 6 апреля 1821 года написал стихотворение Чаадаеву:

В стране, где я забыл тревоги прежних лет,
Где прах Овидиев пустынный мой сосед,
Где слава для меня предмет заботы малой,
Тебя не достаёт душе моей усталой…

Стихотворение большое, но нас интересуют в нём строчки, связанные с Толстым, которого Александр Сергеевич называл философом. Но, чтобы был ясен их смысл, цитируем «издалека»:

В минуту гибели над бездной потаённой
Ты[70] поддержал меня недремлющей рукой;
Ты другу заменил надежду и покой;
Во глубину души вникая строгим взором,
Ты оживлял её советом иль укором;
Твой жар воспламенял к высокому любовь;
Терпенье смелое во мне рождалось вновь;
Уж голос клеветы не мог меня обидеть:
Умел я презирать, умея ненавидеть.
Что нужды было мне в торжественном суде
Холопа знатного, невежды при звезде,
Или философа, который в прежни лета
Развратом изумил четыре части света,
Но, просветив себя, загладил свой позор:
Отвыкнул от вина и стал картёжный вор?

Итак, по признанию поэта, Чаадаев помог ему презирать голос клеветы, но не прощать. К последнему его призывал Вяземский, которому Пушкин отвечал 1 сентября 1822 года: «Ты говоришь, что стихи мои никуда не годятся. Знаю, но моё намерение было не заводить остроумную литературную войну, но резкой обидой отплатить за тайные обиды человека, с которым расстался я приятелем и которого с жаром защищал всякий раз, как представлялся к тому случай. Ему показалось забавно сделать из меня неприятеля и смешить на мой счёт письмами чердак князя Шаховского, я узнал обо всём, будучи уже сослан, и, почитая мщение одной из первых христианских добродетелей, в

бессилии своего бешенства закидал издали Толстого журнальной грязью… Ты упрекаешь меня в том, что из Кишинёва, под эгидою ссылки, печатаю ругательства на человека, живущего в Москве. Но тогда я не сомневался в своём возвращении. Намерение моё было ехать в Москву, где только и могу совершенно очиститься. Столь явное нападение на графа Толстого не есть малодушие».

«Очиститься», по воззрениям того времени, означало вызвать противника на дуэль и смыть оскорбление его кровью. Поэт был крайне самолюбив и обид не прощал.

— Пушкин, — вспоминал Вяземский, — в жизни обыкновенной, ежедневной, в сношениях житейских был непомерно добросердечен и простосердечен. Но умом, при некоторых обстоятельствах, бывал он злопамятен, не только в отношении к недоброжелателям, но и к посторонним, и даже к приятелям своим. Он, так сказать, строго держал в памяти своей бухгалтерскую книгу, в которую вносил имена должников своих и долги, которые считал за ними (27, 117).

В отношении Толстого случай подвести дебет с кредитом представился Александру Сергеевичу только в сентябре 1825 года, после возвращения из ссылки. Приехав в Москву из Михайловского, Пушкин сразу поручил С. А. Соболевскому, однокашнику брата, передать вызов своему давнему обидчику. Фёдора Ивановича на тот момент в городе не оказалось. Друзья поэта, понимая, что у него много шансов стать двенадцатым в «расстрельном» списке Американца, приложили максимум усилий, чтобы примирить противников. Более того, произошло их сближение. Это, по-видимому, объясняется тем, что оба были людьми крайностей.

В апреле 1829 года Пушкин, страстно влюбившийся в Н. Н. Гончарову, избрал Фёдора Ивановича своим сватом. Мать Натальи Николаевны, зная скандальную репутацию Толстого, не решилась на отрицательный ответ. Обнадёженный поэт писал ей 1 мая: «На коленях, проливая слёзы благодарности, должен был бы я писать вам теперь, после того как граф Толстой передал мне ваш ответ: этот ответ — не отказ, вы позволяете мне надеяться. Не обвиняйте меня в неблагодарности, если я всё ещё ропщу, если к чувству счастья примешиваются ещё печаль и горечь; мне понятна осторожность и нежная заботливость матери! Но извините нетерпение сердца больного, которому недоступно счастье».

Письмо это было написано накануне отъезда Александра Сергеевича на Кавказ. Оттуда он извещал свата: «Сейчас узнаю, что было здесь на моё имя письмо, полагаю, любезный граф, что от тебя. Путешествие моё было довольно скучно. Начать, что

поехав на Орёл, а не прямо на Воронеж, сделал я около 200 вёрст лишних, зато видел Ермолова. Хоть ты его не очень жалуешь, принуждён я тебе сказать, что я нашёл в нём разительное сходство с тобою не только в обороте мыслей и во мнениях, но даже и в чертах лица и в их выражении».

То есть перед отъездом на Кавказ у Пушкина был разговор с Фёдором Ивановичем о недавнем наместнике этого края. Чем тот не угодил Толстому — загадка (не тем же что в своё время ходатайствовал о повышении Толстого в чине). И ещё: тридцатилетний поэт обращается к 47-летнему отставному полковнику на ты. Это вроде бы говорит о их близости. Но, скорее всего, она была внешней, формальной. Истинной привязанности не получилось. 7 июня 1830 года Фёдор Иванович писал Вяземскому: «Пушкин с его страстью к картам и нежностью к Гончаровой — для меня погиб».

После женитьбы Александр Сергеевич виделся с кумом редко. Их кратковременная «дружба» была случайной, а со стороны Пушкина и вынужденной. В жизни они были антиподами (особенно в нравственном отношении). Толстой на девять лет пережил поэта; эпитафией ему может служить характеристика, данная Сергеем Львовичем, сыном великого однофамильца Фёдора Ивановича: «В Толстом-Американце были и хорошие качества. Он проявил независимость характера, преданность друзьям и семье, готовность рисковать жизнею на войне ради приятелей или хотя бы для восстановления своей чести, и в конце жизни он раскаялся в своих преступлениях. Тем не менее он был не только „в мире нравственном загадка“, но человеком безнравственным и преступным. Он жил лишь в своё удовольствие, пьянствовал, обжирался, развратничал, обыгрывал, убивал, мучил своих крепостных слуг. Всё, что он делал, делалось также и другими. Он только делал это откровеннее и с большей страстью, чем другие, и он был убеждён, что имеет на это полное право» (77, 386).

Словом, замечательный человек, но… палач, развратник и шулер.

Видок Фиглярин. Ф. В. Булгарин (1789–1859) родился в имении Перышево Минской губернии. Учился в Сухопутном кадетском корпусе. Принимал участие в войне 1805–1807 годов. В 1811-м получил отставку и перешёл на сторону противников России. Во французских войсках сражался в Испании, Италии и России. Попал в плен и поселился в Варшаве, затем перебрался в Петербург, где занялся литературной деятельностью.

Как на воинском поприще (заслужил орден Почётного

легиона), так и на литературном, Фаддей Венедиктович достиг заметных успехов. В 1820-х годах редактировал журналы «Северный архив» и «Литературные листки», тогда же начал издавать «Северную пчелу» и «Сына Отечества».

В 1829 году Булгарин выпустил роман «Иван Выжигин», затем последовали другие: «Пётр Иванович Выжигин», «Дмитрий Самозванец», «Памятные записки титулярного советника Чухина», «Мазепа». Они имели успех у провинциальных русских помещиков.

Журнально-литературная деятельность сблизила Фаддея Венедиктовича с Рылеевым, Грибоедовым, Кюхельбекером, братьями Бестужевыми и Тургеневыми. Вполне доброжелательно (на первых порах) относился к баловню случая Пушкин, хотя и называл его «славопевцем». Булгарин дал высокую оценку «Кавказскому пленнику», «Бахчисарайскому фонтану» и первым главам «Евгения Онегина». 1 февраля 1824 года Александр Сергеевич писал своему критику: «С искренней благодарностью получил я первый номер „Северного архива“, полагая, что тем обязан самому почтенному издателю, с тем же чувством видел я снисходительный ваш отзыв о татарской моей поэме. Вы принадлежите к малому числу тех литераторов, коих порицания или похвалы могут быть и должны быть уважаемы. Вы очень меня обяжете, если поместите в своих листках здесь прилагаемые две пьесы. Они были с ошибками напечатаны в „Полярной звезде“, оттого в них нет никакого смысла. Это в людях беда не большая, но стихи не люди. Свидетельствую вам искреннее почтение».

После расправы Николая I с декабристами Булгарин, отринув свой поверхностный либерализм, переметнулся в лагерь реакции и стал негласным осведомителем Третьего отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Первой его услугой правительству был донос на своих литературных противников из «Арзамаса», членом которого был Александр Сергеевич.

В мае 1827 года, с приездом Пушкина в Петербург, состоялось знакомство поэта с Фаддеем Венедиктовичем. Затем последовало ещё несколько встреч.

Пушкин — Булгарину, ноябрь 1828: «Напрасно думали Вы, любезнейший Фаддей Венедиктович, чтоб я мог забыть своё обещание — Дельвиг и я непременно явимся к Вам с повинным желудком сегодня в 31/2 часа. Голова и сердце моё давно Ваши».

Но шила в мешке не утаишь, и тайная деятельность Булгарина стала достоянием гласности. Пушкин, и до этого воспринимавший Фаддея Венедиктовича с лёгкой иронией, проникся полным презрением к человеку, отличавшемуся

беспринципностью, лицемерием, приспособленчеством и стяжательствам. Литература была для Булгарина лишь средством обогащения, поэтому он потрафлял мещанским вкусам провинциального дворянства, самой широкой читательской аудитории.

О гражданской позиции Фаддея Венедиктовича вообще говорить не приходится: он её убедительно продемонстрировал в 1812 году службой капитаном в Великой армии Наполеона, и это ни для кого не было секретом:

Ну, исполать Фаддею!
Пример прекрасный подаёт!
Против Отечества давно ль служил злодею?
А «Сын Отечества» теперь он издаёт!

Следующий выпад Александра Сергеевича против Булгарина случился в 1830 году:

Не то беда, что ты поляк:
Костюшко лях, Мицкевич лях!
Пожалуй, будь себе татарин, —
И тут не вижу я стыда;
Будь жид — и это не беда;
Беда, что ты Видок Фиглярин.

Видок — имя знаменитого французского сыщика, который был не слишком разборчив в средствах для достижения своих целей. Прозвище для порядочного человека отнюдь не лестное. Но Фаддея Венедиктовича это не смутило, и он напечатал эпиграмму в своём журнале «Сын Отечества», при этом заменил кличку, данную ему поэтом, на Фаддей Булгарин, а пушкинский текст сопроводил следующим пояснением: «В Москве ходит по рукам и пришла сюда для раздачи любопытствующим эпиграмма одного известного поэта. Желая угодить нашим противникам и читателям и сберечь сие драгоценное произведение от искажений при переписке, печатаем оное» (3, 507).

Человека открыто назвали шпионом, а ему как с гуся вода — иронизирует.

В 1830 году вышла повесть Булгарина «Дмитрий Самозванец». Пушкин отметил это «событие» очередной эпиграммой:

Не то беда, Авдей Флюгарин,

Что родом ты не русский барин,
Что на Парнасе ты цыган,
Что в свете ты Видок Фиглярин:
Беда, что скучен твой роман.

Но Фаддей Венедиктович был не из робкого десятка (к тому же «крышу» имел солидную) и разразился пасквилем, в котором говорилось о неком литераторе, который претендует на благородное происхождение, в то время как он лишь мещанин во дворянстве. Мать его мулатка, а её отец бедный негритёнок, купленный каким-то матросом за бутылку рома. Это было прямое оскорбление не только Пушкина, но его матери и деда. Конечно, Александр Сергеевич пылал жаждой мести, но, как писал он позднее, поскольку «журналисты наши не дерутся на дуэлях, я счёл своим долгом ответить анонимному сатирику, что и сделал в стихах, и притом очень круто». Так появился поэтический шедевр «Моя родословная»:

Мой предок Рача мышцей бранной
Святому Невскому служил;
Его потомство гнев венчанный,
Иван IV пощадил.
Водились Пушкины с царями;
Из них был славен не один
Когда тягался с поляками
Нижегородский мещанин.

Смирив крамолу и коварство
И ярость бранных непогод,
Когда Романовых на царство
Звал в грамоте своей народ,
Мы к оной руку приложили,
Нас жаловал страдальца сын.
Бывало нами дорожили;
Бывало…

Это был достойный ответ зарвавшемуся писаке, но… не последний. На протяжении 1830–1834 годов Булгарин сварганил ещё ряд пасквилей на Пушкина, носивших характер политических доносов. Александр Сергеевич отвечал Видоку Фиглярину эпиграммами и памфлетами, в которых отражались факты общественной и литературной биографии Булгарина — его политическое ренегатство, связь с полицией и Третьим

отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии, коммерческий характер его литературной деятельности. Эти памфлеты, печатавшиеся в «Литературной газете» и «Телескопе», подорвали влияние «Северной пчелы» и положили основание весьма одиозной репутации Фаддея Венедиктовича, в частности утвердившейся ассоциации Булгарина с Видоком.

Литературная жизнь Петербурга не давала Пушкину возможности избегать контактов с Фаддеем Венедиктовичем, но он говорил о них:

— Если встречу Булгарина где-нибудь в переулке — раскланяюсь. И даже иной раз поговорю с ним. На большой улице — у меня не хватит храбрости.

Булгарин последнюю точку в своём отношении к великому поэту поставил 4 февраля 1837 года в письме к А. А. Стороженко: «Жаль поэта, и великого, а человек был дрянной» (75, 53).

«Отечество того не забыло»

Памятники воинской славы. Осенью 1818 года в Ахене проходил конгресс Священного союза. В городе в это время находился английский художник Джордж Доу, большой мастер портретной живописи. Его работы понравились царю. Через флигель-адъютанта А. И. Михайловского-Данилевского Александр I пригласил художника в Россию.

Перед Доу была поставлена задача написать серию портретов российских генералов и высших военачальников, участников Отечественной войны и заграничных походов русской армии. В помощь зарубежному мастеру были приданы русские художника А. В. Поляков и В. А. Голике. Доу лично написал около 150 портретов, ставших основой Военной галереи Зимнего дворца. Её торжественное открытие состоялось 25 декабря 1826 года — в ежегодный праздник изгнания неприятеля из пределов России, приуроченный к Рождеству Христову.

Доу писал чрезвычайно быстро и хорошо схватывал сходство лиц. Его высоко ценил Пушкин:

Зачем твой дивный карандаш
Рисует мой арапский профиль?
Хоть ты векам его предашь,
Его освищет Мефистофель.

Рисуй Олениной черты.
В жару сердечных вдохновений,
Лишь юности и красоты
Поклонником быть должен гений.

Эти строки были набросаны Александром Сергеевичем 9 мая 1828 года на пароходе при поездке в Кронштадт, где произошла его встреча с художником, отбывавшим на родину.

Были у них и другие соприкосновения — Доу рисовал поэта; портрет, к сожалению. не сохранился. Пушкин упомянул художника в стихотворении «Полководец» и в очерке «Путешествие в Арзрум».

В следующем году проходила закладка Нарвских триумфальных ворот. Газета «Северная пчела» писала: «В пятницу, 26 августа, в день незабвенного в воинских летописях России сражения Бородинского, происходила здесь, в Санкт-Петербурге, за Нарвской заставой, закладка новых триумфальных

ворот в честь Гвардейского корпуса. Там собраны были в строю все служащие в гвардейском корпусе генералы, офицеры и нижние чины, имеющие медали за 1812 год и за взятие Парижа, также Кульмские кресты, всего более 9000 человек».

На празднике присутствовала царская семья и члены императорской фамилии, военачальники и духовенство. Архитектор В. П. Стасов раздал Романовым закладные камни с гравировкой; получили их и те, кто принимал участие в подготовке строительства. Первый камень опустил в котлован протопресвитер Санкт-Петербургской духовной семинарии Н. В. Музовский, последний — сам зодчий.

Кроме этих именных камней, был ещё один — закладной камень в память генерала Ф. П. Уварова, который оставил по завещанию на постройку ворот 400 тысяч рублей. В конце церемонии в основание будущего памятника положили медали: памятные — «За 1812 год» и «За вход в Париж» и боевые — Георгиевские и Кульмские кресты. Завершилась церемония парадом гвардейских полков.

Что касается жертвователя, он был боевым генералом, скончался за три года до описанных торжеств в возрасте пятидесяти пяти лет. Головокружительную карьеру сделал за годы царствования Павла I: полковник, генерал-майор, генерал-лейтенант. Кроме того, был пожалован в генерал-адъютанты императора и определён шефом Кавалергардского полка.

Уваров участвовал во всех войнах с Наполеоном. Отличился в сражениях под Аустерлицем и под Лейпцигом. В Бородинском сражении совместно с казачьим корпусом М. И. Платова совершил рейд в тыл неприятеля, что вызвало непродолжительную растерянность в рядах противника, однако задачи, поставленной Кутузовым (оттянуть часть сил неприятеля с левого фланга русской армии) не выполнил. В итоге из всех высших русских генералов только он и Платов не были награждены за участие в главном сражении Отечественной войны.

В последние годы своей непродолжительной жизни Фёдор Петрович командовал Гвардейским корпусом.

24 октября 1828 года, в очередную годовщину сражения при Малоярославце, в Петербурге состоялось торжественное открытие арки Главного штаба, посвящённой подвигу российских воинов в войнах 1812–1814 годов. Она была сооружена по проекту архитектора К. И. России. Скульптурные убранства арки выполнены В. И. Демут-Малиновским и С. С. Пименовым.

Арка соединила два крыла Главного штаба, корпуса которого полукругом окаймляют Дворцовую площадь. Её венчает

триумфальная шестиконная колесница, удерживаемая двумя воинами, и крылатая слава. В правой руке богини — лавровый венок. Высота арки со скульптурной группой 36 метров, ширина проезжей части — 17.

Со стороны Дворцовой площади на постаментах из красного гранита на уровень бельэтажа подняты композиции из различных предметов вооружения. Над ними (между парами коринфских колонн) — фигуры античных воинов. Со стороны Невского проспекта арка декорирована литыми рельефами, составленными из воинских доспехов, оружия и знамён, увенчанных орлами и обрамлённых дубовыми листьями.

В 1820-х годах в усадьбе генерал-губернатора Москвы А. А. Закревского в парке[71], который прорезали каналы, на шести островках были установлены монументы М. Б. Барклаю де Толли, П. М. Волконскому, Н. М. Каменскому и другим участникам наполеоновских войн, которые не обошли и самого владельца усадьбы: отличился при Аустерлице, под Кульмом и Лейпцигом, участвовал во взятии Парижа. То есть, не довольствуясь деятельностью государства по увековечиванию событий 1812 и следующих годов, в этот процесс включились (тем или иным способом) частные лица. Шли Русско-иранская и Русско-турецкие войны, взгляд общества был обращён к событиям и людям недавнего прошлого, вздыбившего всю Россию. Мог ли остаться в стороне от них поэт, которого уже стали именовать национальным?

«Гренадёры прибыли сюда не для парадов». Героя Отечественной войны Н. Н. Раевского Пушкин называл памятником 1812 года, таким же памятником был для него и генерал от артиллерии Алексей Петрович Ермолов. В мае 1829 года поэт отправился на Кавказ. Дорога неблизкая, тем не менее Александр Сергеевич отклонился в сторону на 200 вёрст, чтобы повидать в Орле опального генерала.

…В четырнадцати лет Ермолов был записан унтер-офицером в лейб-гвардии Преображенский полк. Его боевая служба продолжалась треть столетия. В 1794 году Алексей Петрович участвовал в штурме Праги, предместье польской столицы, и получил из рук А. В. Суворова свою первую награду — скромный крестик Святого Георгия 4-го класса.

Отличаясь большой храбростью, решительностью и организационными способностями, Ермолов тем не менее медленно продвигался по служебной лестнице, на что сетовал позднее в своих «Записках»: «Несчастьями гоним был тяжело и продолжительное время».

При Павле I Алексею Петровичу пришлось побывать в казематах Петропавловской крепости и ссылке. Причиной этого были его прямота и чувство собственного достоинства — нагрубил генералу из немцев. Ермолов был остёр на язык, и это тоже не благоприятствовало его карьере. Д. В. Давыдов, двоюродный брат Алексея Петровича, спрашивал в одном из своих писем: «Во что обмакиваете вы перо ваше, потому что с него стекают не чернила, а желчь?».

При восшествии на престол Александра I Ермолов был освобождён. 9 июня 1801 года в чине подполковника его зачислили в 8-й артиллерийский полк. Алексей Петрович получил в командование роту конной артиллерии, располагавшуюся в Вильно. Там у него произошёл конфликт с А. А. Аракчеевым, бывшим в это время инспектором всей артиллерии. Как-то осмотрев роту Ермолова после трудного 30-вёрстного перехода и не найдя к чему бы придраться, Аракчеев отметил, что лошади утомлены, а ведь в артиллерии репутация офицеров зависит от их содержания. «Очень жаль, — ответил Алексей Петрович, — что в русской артиллерии репутация офицеров слишком часто зависит от скотов».

Эта фраза в бесчисленных вариантах разнеслась по всей России и сильно осложнила Ермолову жизнь. Одному из своих друзей Алексей Петрович писал: «Мне остаётся или выйти в отставку, или ожидать войны, чтобы с конца своей шпаги добыть себе всё мною потерянное».

Из общей массы офицеров среднего уровня Ермолов выделился только в тридцать лет, проявив все свои достоинства в войнах 1805–1807 годов. Его незаурядные способности военного руководителя заметил П. И. Багратион. «Произведён я был в полковники, — вспоминал Ермолов. — Кампания против французов в Пруссии расточила тьму, омрачавшую существование моё: я появился в свете замеченным со стороны усердия и доброй воли к службе. Вечно в памяти моей будут благодеяния князя Багратиона, как первого бросившего несколько цветков на трудный путь, пробегаемый мною на военной службе, без покровительства, не без трудов. Я боролся с сими, и счастье допустило меня собрать некоторые плоды их. Великий князь Константин Павлович удостоил меня милостивого своего внимания, и его отзывами обо мне сделался я известен государю» (73, 28).

И не только государю В 1807 году Алексей Петрович вернулся в Россию с репутацией одного из лучших артиллеристов русской армии. К 1812 году Ермолов был уже генерал-майором, а в начале Отечественной войны получил должность начальника

Главного штаба 1-й Западной армии, которой командовал Барклай де Толли, не ладивший с командующим 2-й Западной армии П. И. Багратионом, и Алексею Петровичу приходилось лавировать между ними. В докладах Барклаю де Толли он передавал резкие и дерзкие отзывы Багратиона в «выражениях самых обязательных», а в письмах Багратиону холодность и грубость Барклая де Толли представлял в «видах приятных». В итоге Багратион писал Ермолову, что он не ожидал найти в Барклае де Толли столько хорошего, как нашёл, а Барклай де Толли говорил, что он «не думал, чтобы с Багратионом можно было так легко служить».

Лавирование между командующими нелегко давалось начальнику штаба 1-й армии. «Когда гибнет всё, — увещевал Алексей Петрович Багратиона, — когда Отечеству грозит не только срам, но и величайшая опасность, там нет ни боязни частной, ни выгод личных. Принесите ваше самолюбие в жертву погибающему Отечеству нашему, уступите другому и ожидайте, пока не назначат человека, какого требуют обстоятельства».

Сам Ермолов пассивно ждать назначения единого главнокомандующего не желал и просил царя о решении этого вопроса, послав ему с 16 июля по 10 августа четыре письма, в которых взывал: «Необходим начальник обеих армий. Нужно единоначалие!»

Касаясь положения в армии, он указывал на вредное влияние на войска непрерывного отступления: «Отступление, долгое время продолжающееся, тяжёлые марши возбуждают ропот в людях, теряется доверие к начальнику. Солдат, сражаясь как лев, всегда уверен, что употребляет напрасные усилия и что ему надобно будет отступать» (45, 33).

За три недели до оставления старой русской столицы Ермолов предвидел такую возможность и убеждал царя: «Москва не далека, драться надобно! Россиянин каждый умереть умеет!.. Если никто уже в случае поражения армии не приспеет к защите Москвы, с падением столицы не разрушаются все государственные способы. Не всё Москва в себе заключает! Есть средства неисчерпаемые, есть способы всё обратить на гибель врагов Отечества нашего, завиствующих могуществу и славе нашего народа».

На Бородинском поле Алексей Петрович фактически выполнял обязанности начальника штаба главнокомандующего. В один из моментов сражения Кутузов послал его на левый фланг русской армии, чтобы заменить раненого Багратиона. Но, проезжая мимо Курганной высоты, Ермолов увидел, что она взята французами и центр русской позиции вот-вот рухнет. Собрав

отступавших, Алексей Петрович повёл их в штыковую атаку. О её результате Барклай де Толли докладывал Кутузову следующее: «Начальник главного штаба генерал-майор Ермолов с свойственною ему решительностью, взяв один только 3-й батальон Уфимского полка, остановил бегущих и толпою в образе колонны ударил в штыки. Неприятель защищался жестоко: батареи его делали страшное опустошение, но ничто не устояло. 3-й батальон Уфимского полка и 18-й егерский полк бросились прямо на батарею, 19-й и 40-й егерские — по левую сторону оной, и в четверть часа наказана дерзость неприятеля. Батарея во власти нашей, вся высота и поле оной покрыты телами… Бригадный генерал Бонами был один из снискавших пощаду, а неприятель преследован был гораздо далее батареи. Генерал-майор Ермолов удержал оную с малыми силами до прибытия 24-й дивизии, которой я велел сменить расстроенную неприятельской атакой 26-ю дивизию» (45, 182).

По словам одного из участников сражения, «это была скорее бойня, нежели бой, дрались только холодным оружием».

Блестящая атака Курганной высоты вернула русским этот важнейший пункт, дала возможность восстановить положение в центре и выиграть время для подхода подкреплений как к Курганной высоте, так и к Семёновским флешам. Военный деятель Н. Н. Муравьёв-Карсский говорил, что «сим подвигом Ермолов спас всю армию».

Барклай де Толли просил главнокомандующего удостоить Алексея Петровича ордена Святого Георгия 2-го класса. Но эта награда была пожалована самому командующему 1-й армией, поэтому Ермолов получил лишь знаки Святой Анны I степени.

В последние дни Отечественной войны Алексей Петрович был назначен начальником артиллерии русской армии. В заграничном походе 1813 года он прославился в сражении под Кульмом. После ранения А. И. Остермана-Толстого, командовавшего отдельным корпусом, Ермолов заменил его и одержал блестящую победу, которая решила исход всей кампании. За это сражение Остерман-Толстой был награждён орденом Святого Георгия 2-го класса, что считал не совсем справедливым и говорил:

— Этот орден должен был принадлежать не мне, а Ермолову, который принимал важное участие в битве и окончил её с такою славой.

А. П. Ермолов

При вступлении в Париж царь остался недоволен выправкой солдат одного из полков и приказал посадить трёх штаб-офицеров на гауптвахту, занятую в тот день англичанами. Это возмутило Ермолова, который говорил, что если офицеры заслужили наказание, то их приличнее арестовать в собственных казармах, а не срамить в глазах чужеземцев.

— Таким образом, — говорил он, — нельзя приобрести любви и расположения войск.

Недовольный Александр повторил приказ. Ермолов ослушался и уехал в театр; встретив там великого князя Николая Павловича, сказал ему:

— Я имел несчастье подвергнуться гневу его величества. Государь властен посадить нас в крепость, сослать в Сибирь, но он не должен ронять храбрую армию в глазах чужестранцев. Гренадёры прибыли сюда не для парадов, но для спасения Отечества и Европы.

Царю, конечно, доложили об упрямстве Ермолова, и он отступил: приказал держать арестованных офицеров в трёх комнатах Елисейского дворца, своей временной резиденции.

В 1815 году Ермолов получил пост командующего отдельным Грузинским (позднее Кавказским) корпусом и одновременно чрезвычайного и полномочного посла в Иране. В то время когда в Центральной России процветали муштра солдат и наказание их палками, Алексей Петрович запретил изнурять войска фронтовыми учениями. Он разрешил носить полушубки вместо

шинелей и папахи вместо киверов, а вместо громоздких ранцев — холщовые мешки; деятельно занимался устройством госпиталей и учебных учреждений. При нём начались систематические работы по прокладке в крае дорог.

Подчинённые любили Ермолова. Он был строг, но никогда не позволял себе хамства и грубостей. «Я люблю видеть сего Ахилла в гневе, — говорил генерал Марин, — из уст которого никогда не вырывается ничего оскорбительного для провинившегося».

Деяния Ермолова на Кавказе отмечал А. С. Пушкин. 24 сентября 1820 года он писал брату Льву: «Кавказский край, знойная граница Азии, любопытен во всех отношениях. Ермолов наполнил его своим именем и благотворным гением. Дикие черкесы напуганы: древняя дерзость их исчезает. Дороги становятся час от часу безопаснее, многочисленные конвои — излишними. Должно надеяться, что эта завоёванная сторона скоро сблизит нас с персиянами безопасною торговлею, не будет нам преградою в будущих войнах».

В эпилоге поэмы «Кавказский пленник», перечисляя завоевателей этого края, Александр Сергеевич упомянул и Ермолова:

Впервые грянул битвы гром
И грохот русских барабанов,
И в сече, с дерзостным челом,
Явился пылкий Цицианов;
Тебя я воспою, герой,
О Котляревский, бич Кавказа!
Куда ни мчался ты грозой —
Твой ход, как чёрная зараза,
Губил, ничтожил племена…
Ты днесь покинул саблю мести,
Тебя не радует война;
Скучая миром, в язвах чести,
Вкушаешь праздный ты покой
И тишину домашних долов…
Но се — Восток подъемлет вой!..
Поникни снежною главой,
Смирись, Кавказ: идёт Ермолов!

Персидская война на Кавказе сменилась Русско-турецкой (1828–1829), но завершить её Алексею Петровичу не пришлось. После восстания декабристов его отстранили от командования Кавказским корпусом, так как была обнаружена его связь с «мятежниками»: государственными преступниками оказались

бывшие адъютанты генерала — Павел Граббе, Михаил Фонвизин и ряд других офицеров. В протоколах Следственного комитета по делу декабристов появилась следующая запись: «Генералу Ермолову хотя неизвестно существование тайного общества, но он покровительствовал оному посредством приближённых лиц, которые суть члены того общества» (76, 335).

25 ноября 1827 года Алексей Петрович был уволен в отставку «по домашним обстоятельствам» с мундиром и пенсионом полного жалованья.

Удаление с Кавказа военачальника, едва достигшего пятидесяти лет и бывшего в полном расцвете своих способностей, произвело неприятное впечатление на русское общество, в котором он был популярен. Даже осторожный И. А. Крылов отозвался на это событие баснями «Конь» и «Булат». В первой из них говорится о прекрасном испытанном в боях коне, который достался:

Наезднику, да на беду — плохому,
Тот приказал его в конюшню свесть
И там, на привязи, давать и пить и есть…

Во второй басне рассказывается о булатном клинке. Он заброшен под лавку крестьянской избы, где с ним заговаривает сосед-ёж:

«В руках бы воина врагам я был ужасен, —
Булат ответствует, — а здесь мой дар напрасен;
Так, низким лишь трудом я занят здесь в дому;
Но разве я свободен?
Нет стыдно-то не мне, а стыдно лишь тому,
Кто не умел понять, к чему я годен».

В период опалы прославленного генерала его посетил Пушкин, о чём и поведал потомкам в очерке «Путешествие в Арзрум»: «Из Москвы поехал я на Калугу, Белев, Орёл и сделал таким образом 200 вёрст лишних, зато увидел Ермолова. Он живёт в Орле, близ коего находится его деревня. С первого взгляда я не нашёл в нём ни малейшего сходства с его портретами, писанными обыкновенно профилем. Лицо круглое, огненные серые глаза, седые волосы дыбом. Голова тигра на Геркулесовом торсе. Когда же он задумывается и хмурится, то он становится прекрасен и разительно напоминает поэтический портрет, писанный Довом».

Что заставляло Алексея Петровича в разговоре с поэтом хмуриться? Действия русской армии против турок и упоминание Паскевича, сменившего Ермолова на посту главнокомандующего Кавказским корпусом. «Он сравнивал его с Навином, перед которым стены падали от трубного звука, и называл графа Эриванского графом Иерихонским. „Пускай нападёт он, — говорил Ермолов, — на пашу не умного, но только упрямого, например на пашу, начальствовавшего в Шумле, — и Паскевич пропал“. Я передал Ермолову слова графа Ф. И. Толстого (Американца) о том, что Паскевич так хорошо действовал в персидскую кампанию, что умному человеку осталось бы только действовать похуже, чтобы отличиться от него. Алексей Петрович засмеялся, но не согласился: „Можно было бы сберечь людей и издержки“.

Он недоволен „Историей“ Карамзина; он желал бы, чтобы пламенное перо изобразило переход русского народа из ничтожества к славе и могуществу. О записках князя Курбского говорил он с увлечением. Немцам досталось. „Лет через 50, — сказал Ермолов, — подумают, что в нынешнем походе была прусская или австрийская армия, предводительствованная такими-то немецкими генералами“. Разговор несколько раз касался литературы. О стихах Грибоедова говорит он, что от их чтения скулы болят. О правительстве и политике не было ни слова».

Последнее сомнительно: если о политике и власть предержащих не говорили, то зачем писать об этом?

Расстались довольные друг другом. Александр Сергеевич писал графу Толстому: «Он был до крайности мил».

Ермолов со своей стороны уведомлял Д. В. Давыдова, своего двоюродного брата: «Был у меня Пушкин. Я первый раз видел его и, как можешь себе вообразить, смотрел на него с живейшим любопытством. В первый раз не знакомятся коротко, но какая власть высокого таланта! Я не нашёл в себе чувства, кроме невольного уважения. Вот это поэзия! Это не стихи нашего знакомого Грибоедова, от жевания которых скулы болят».

Ещё раз Пушкин виделся с Алексеем Петровичем в декабре 1831 года, когда он приезжал в Петербург, а в апреле 1833-го пытался получить его «Записки». «Собирая памятники отечественной истории, — писал Александр Сергеевич прославленному военачальнику, — напрасно ожидал я, чтобы вышло наконец описание Ваших закавказских подвигов. До сих пор поход Наполеона затемняет и заглушает всё, и только некоторые военные люди знают, что в то же самое время происходило на Востоке».

«Записки» Ермолаева были опубликованы вскоре после его кончины. Они вышли в пяти (!) изданиях и в двух редакциях. То есть имели большой читательский успех.

Уволенный в отставку Ермолов прожил в вынужденном бездействии ещё 35 лет. Единственный раз ему предложили вновь поступить на службу — возглавить военный аудиториат, то есть военно-судебную часть армии. Алексей Петрович резко отклонил эту «честь»:

— Единым своим утешением считаю любовь войск и наказителем их быть не могу.

…Лейб-медик Вилье называл Алексея Петровича человеком больших возможностей (Homme aux grands moyens). В России Николая I полностью реализовать их оказалось нереально. И, к сожалению, не одному Ермолову.

* * *

16 сентября 1829 года в родовом имении Болтышка в возрасте 58 лет скончался генерал от кавалерии Николай Николаевич Раевский. Две трети своей жизни он прослужил в армии. Наполеон говорил о нём:

— Этот русский генерал сделан из материала, из которого делаются маршалы.

В своей стране Раевский не удостоился этого высокого звания — умер, подозреваемый властями в связи с героями 14 декабря. На кончину прославленного генерала широкого откликнулась общественность России. В «Русском инвалиде», «Санкт-Петербургских ведомостях», «Московском телеграфе», «Московских ведомостях» и «Военном журнале» была напечатана «Некрология генерала от кавалерии Николая Николаевича Раевского». Автором «Некрологии» был опальный генерал М. Ф. Орлов, поэтому её опубликовали без подписи.

Откликнулся на это скорбное событие и А. С. Пушкин. В первом номере «Литературной газеты» он поместил заметку о «Некрологии генерала от кавалерии Н. Н. Раевского», в которой писал: «Сие сжатое обозрение, писанное, как нам кажется, человеком, сведущим в военном деле, отличается благородною теплотою слога и чувств. С удивлением заметили мы непонятное упущение со стороны неизвестного некролога: он не упомянул о двух отроках, приведённых отцом на поля сражений в кровавом 1812 году! Отечество того не забыло».

Поэт не только почтил память Раевского откликом в своей газете, но и подтолкнул правительство к тому, чтобы обеспечить

семью усопшего материально. 18 января 1830 года он направил следующее письмо шефу жандармов А. Х. Бенкендорфу: «Весьма не вовремя хочу прибегнуть к благосклонности Вашего превосходительства, но священный долг меня к тому обязывает. Я связан узами дружбы и признательности с семейством, которое ныне находится в большом несчастье. Вдова генерала Раевского пишет ко мне и просит предпринять шаги в её пользу перед теми, кто мог бы довести её голос до престола Его Величества. Уже то, что она с этим обратилась ко мне, свидетельствует, до какой степени у неё мало друзей, надежд и способов. Половина семьи в ссылке, другая — накануне полного разорения. Доходов едва хватает на уплату процентов громадного долга. Г-жа Раевская ходатайствует, чтобы полное жалованье её мужа было обращено ей в пенсию с переходом, в случае её смерти, к её дочерям. Этого будет достаточно, чтобы предохранить её от нищеты. Обращаюсь к вам, генерал, надеюсь заинтересовать скорее воина, чем министра, и скорее человека с добрым сердцем, чем государственного мужа, судьбою вдовы героя 1812 года, великого человека, жизнь которого была столь блистательна, а смерть так печальна».

Сожжённая глава. Осень 1830 года Пушкин провёл в Болдине, родовом имении родителей, находившемся в Нижегородской губернии. Там он работал над 10-й главой «Евгения Онегина». В ней нравоописательный роман переходит в политическую хронику современности. События в нём развёртывались от наполеоновских войн до европейских революций и подготовки восстания декабристов. В 10-й главе упоминались собрания вольных петербургских кружков, говорилось о революционном движении на юге России (Тульчин и Каменка) и очень сочувственно упоминались имена П. И. Пестеля и С. И. Муравьёва-Апостола. Начиналась глава с памфлетной характеристики Александра I:

Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щёголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда.

Александр правил с марта 1801-го по ноябрь 1825 года. Слабым он не был, лукавым и плешивым — да. Наполеон называл его византийцем, как воплощение хитрости и беспринципности. Пушкина, разочаровавшегося в императоре, когда он узнал о его неблаговидной роли в заговоре против отца, всё раздражало в

Александре, в том числе его злополучная плешь, которая возбуждала поэта и через 10 лет после смерти царя. «Утром я в дворцовом саду, — записывал Александр Сергеевич 18 декабря 1834 года, — встретил великого князя[72].

— Что ты один здесь философствуешь?

— Гуляю.

— Пойдём вместе.

Разговорились о плешивых.

— Вы не в родню, в вашем семействе мужчины молодые оплешивливают.

— Государь Александр и Константин Павлович оттого рано оплешивели, что при отце моём носили пудру и зачёсывали волосы; на морозе сало леденело и волосы лезли» (8, 58).

Что касается славы Александра I, которую Пушкин считал незаслуженной, то она связана с заграничными походами 1813–1814 годов, завершившимися взятием Парижа. В этих кампаниях русская армия сыграла ключевую роль (особенно в стремительном броске на Париж)[73], а верховная власть в ней принадлежала царю.

После окончания наполеоновских войн царь играл ведущую роль в «Священном союзе», целями которого было сохранение спокойствия в Европе и защита европейских государей от народных волнений. Александр преуспел в этом, но за десятилетие до славы были страшное поражение под Аустерлицем и Тильзитский мир. Под Аустерлицем царь, пытаясь проявить свои полководческие «способности», командовал Кутузовым. В итоге — полный разгром русской иавстрийской армий. В Тильзите царь заключил мир и союз с Наполеоном, признав себя побеждённым:

Его мы очень смирным знали,
Когда не наши повара
Орла двуглавого щипали
У Бонапартова шатра.

В шатре проходила первая встреча русского и французского императоров. Он был поставлен на плоту посредине пограничной реки Неман. Затем последовали переговоры, празднества и обмен визитами. Царь писал любимой сестре Екатерине: «Я провожу целые дни с Бонапартом, целые часы наедине с ним! Бонапарт считает, что я дурачок. Ну что ж, смеётся тот, кто смеётся последним».

Российская знать встретила мир и союз с Францией недовольным брюзжанием, но Александр I был вполне

удовлетворён: «Господь нас спас. Вместо жертв мы выходим из борьбы даже с некоторым блеском». С ним согласен современный исследователь О. В. Соколов: «Договор о союзе был столь же туманным, как и кратким. Молодой царь[74] явно обыграл своего партнёра в дипломатической игре. Он не хотел брать на себя никаких обязательств, их в договоре о союзе фактически и не было» (79, 191):

> Гроза двенадцатого года
> Настала. Кто тут нам помог?
> Остервенение народа,
> Барклай, зима иль русский Бог?

Вопросы эти волновали не только россиян, но и французов. Ветераны Великой армии полагали, что их победил мороз. Этой же точки зрения придерживалось большинство французских мемуаристов; истоки её восходят к 29-му бюллетеню, изданному Наполеоном 3 декабря(22 ноября) в Молодечно: «По 6-е число ноября погода была прекрасная и движение армии происходило с наилучшим успехом. Морозы начались 7-го числа. С сего времени не происходило ни одной ночи, в которую бы мы не лишились нескольких сот лошадей, которые падали на биваках.

Армия, бывшая 6-го числа в самом лучшем состоянии, 14-го уже совсем переменилась; она лишилась конницы, артиллерии и обозов. Без конницы нельзя было нам ни на четверть мили делать рекогносцирования, а без артиллерии не могли отважиться ни на какое сражение и (вынуждены были) выжидать на себя неприятеля.

Сие затруднение, сопряженное с наступившими вдруг морозами, привело нас в самое жалостное состояние. Те, кои не имели от природы достаточной твёрдости духа к перенесению перемен случая и счастья, поколебались, потеряли всю свою весёлость и бодрость и видели перед собою одни бедствия и гибель; другие ж, одарённые силою к преодолению всех злоключений, пребыли бодрыми и весёлыми и в побеждении разных трудностей видели новую для себя славу. Неприятель, встречая повсюду следы сего ужасного несчастия, поразившего французскую армию, старался воспользоваться оным. Он окружил все колонны казаками, которые, подобно аравитянам в пустынях и степях, брали отставшие и сбившиеся с дороги повозки и обозы. Сия жалкая конница, один только шум производящая и не могущая пробиться сквозь роту вольтижеров, сделалась страшною от благоприятствовавших ей обстоятельств.

Что армия имеет нужду в восстановлении дисциплины, в

отдохновении, в снабжении лошадьми конницы, артиллерии и обозов, то сие не иное что есть, как следствие происшествий выше сего описанных. Отдохновение есть первая нужда армии. Во время всех сих движений император находился всегда при своей гвардии. Его Величество был доволен поступками гвардии; она всегда была готова идти всюду, куда только призывали её обстоятельства, но сии всегда были таковы, что единого её присутствия было довольно и что ей никогда не представлялось случая к учинению нападения. Здравие Его Величества находится в самом лучшем состоянии».

Победители, конечно, отдавая должное так вовремя наступившим холодам, фатального значения им не придавали, хотя и сами понесли большие потери от непогоды.

В отношении М. Б. Барклая де Толли мнения русских безоговорочно склонялись на сторону М. И. Кутузова. Отдавая дань памяти последнему, Пушкин считал, что не следует занижать и достоинства первого, проявившего необычайную твёрдость в начальный период Отечественной войны: «О вождь несчастливый! Суров был жребий твой».

Что касается народной войны с захватчиками, то Пушкин нашёл ей ёмкое определение — остервенение. Да, жители тысяч сёл и деревень, оставшиеся без крова, не церемонились с врагом. Вот характерное свидетельство участника войны 1812 года: «Шестьдесят голых мужчин, лежащих шеями на спиленном дереве. Прыгающие вокруг них с песнями русские мужчины и женщины ударом толстых прутьев разбивают одну за другой головы» (Р. Вильсон)[75].

В отношении вопроса о том, кто помог русским победить «непобедимого» Наполеона, существовала официальная точка зрения — Бог. Александр I, не стяжавший лавров в «грозу двенадцатого года», никому не хотел отдавать славу победителя. Характерна его «исповедь» английскому эмиссару перед награждением Михаила Илларионовича высшим военным орденом Российской империи.

М. И. Кутузов

— Генерал, — говорил царь, — я призвал вас к себе, дабы сделать вам весьма тягостное признание. Впрочем, полагаюсь на вашу честь и благоразумие. Как бы я ни хотел избежать этого, мне было бы непереносимо оказаться несостоятельным в ваших глазах. Мне известно, что маршал не исполнил ничего из того, что должен был сделать. Он избегал, насколько сие оказывалось в его силах, любых действий против неприятеля. Все его успехи были вынуждены внешнею силою. Он разыгрывает свои прежние турецкие фокусы, но московское дворянство стоит за него и желает, дыбы он вёл нацию к славному завершению сей войны. Посему я должен наградить этого человека орденом Святого Георгия, хотя тем самым нарушу его статут, ибо это есть высочайшая награда в империи. Однако я не прошу вас присутствовать при сём — сие было бы для меня слишком большим уничижением. Но, к сожалению, выбора нет — надобно подчиниться вынужденной необходимости (25, 283).

Не хотел первый крепостник России признать и исключительную роль народа, поднявшегося на борьбу с захватчиками.

Итак, ни армия, ни её полководцы, ни народ! Так кто же

привёл северную империю к победе? Конечно, если не царь, то Бог.

Участники войны 1812 года награждались медалью, на одной стороне которой было изображено Всевидящее око, а на другой — выбито: «Не нам, не нам, а имени Твоему». Полная определённость. Поэтому сомнения поэта («кто тут помог?») с точки зрения верховной власти были не патриотичны, а с точки зрения Русской православной церкви — кощунственны.

Но Бог помог — стал ропот ниже,
И скоро силою вещей
Мы очутилися в Париже,
А русский царь главой царей.

Ну не совсем скоро — через год, два месяца и три недели. За это время русская армия участвовала в ряде больших сражений, самое кровопролитное из которых произошло под Лейпцигом — «Битва народов». В «Известиях Главной квартиры русской армии» сообщалось об её итогах: «С начала мира никогда столько войск на одном месте не сражалось. Не прибавляя ничего, можно сказать, что в сем деле находилось до 500 тысяч человек и более 2000 орудий. Превосходство сил было с нашей стороны.

На утро 7-го числа неприятель показывался только в предместиях. Атака возобновилась со всех сторон, и менее, нежели в два часа, город был взят. Четыре армии наши — Блюхера, наследного принца шведского, Беннигсена и главная, Богемская, сошлись головами на площади Лейпцигской. Мгновение сие было единственное. Никогда подобного торжества не существовало, и подобного зрелища более одного раза в жизни видеть невозможно. Удивительно, сколько неприятель потерял багажу, повозок и артиллерии. Орудий взято до 300, и находят ещё зарытые. Число пленных вместе с ранеными, которых неприятель оставил, простирается до 37 тысяч. Список генералов, прилагаемый при сём, не полон потому, что некоторые раненые находятся в домах» (90, 143–144)

…В Париже русские очутились не «силою вещей», то есть случайных обстоятельств, а переступив через трупы доброй сотни тысяч сынов России. Не случайно акт о капитуляции столицы Франции было поручено подготовить русской стороне. Подписал его полковник (!) М. Ф. Орлов, только через две недели ставший генерал-майором. Это было единственное унижение, которое Александр I допустил по отношению к Франции[76], это был предел его торжества. «Александр Павлович, — пишет современный историк Н. А. Троицкий, — переживал в то утро

свой звёздный час, апогей величия, славы и счастья. Теперь всё было отомщено: позор и слёзы Аустерлица, страшный урок Фридланда, унижения Тильзита и Эрфурта, пожар Москвы, горести Лютцена, Баутцена, Дрездена, Шампобера, Краона, Реймса…» (85,316).

Именно в Париже русский царь стал «главой царей», создав на следующий год «Священный союз» монархов, направленный против народов Европы. А его многолетний противник?

Сей муж судьбы, сей странник бранный,
Пред кем унизились цари,
Сей всадник, папою венчанный,
Исчезнувший как тень зари…

Наполеон короновался 2 декабря(21 ноября) 1804 года. Для церемонии коронации в Париж прибыл из Рима папа Пий VII. Он благословил шпагу Наполеона, императорскую державу, скипетр, жезл правосудия, кольца супругов. В кульминационный момент коронационного ритуала Наполеон выхватил из рук «святого отца» корону и сам надел её на свою голову. Затем, не обращая внимания на папу, увенчал короной и голову Жозефины. Нарушением векового ритуала блистательный воитель показал, что корона — не дар небесный, а награда за его реальные успехи на государственном поприще.

«Унизились цари». Монархическая Европа кипела гневом. Её правители восприняли коронацию «разбойника» с дикого острова как личное оскорбление, ибо Наполеон встал вровень с ними, августейшими государями, помазанниками Божиими. Против Франции была сколочена очередная коалиция, которой при Аустерлице был преподан наглядный урок.

«Исчезнувший как тень». Да, победители сослали Наполеона сначала на остров Эльба, а через полтора года — на остров Святой Елены, о чём в сожжённой главе сохранилась только одна строчка: «Измучен казнию покоя».

Удалив пленника на тысячи вёрст от всякой цивилизации, победители не смогли вытравить память о нём. Это крайне беспокоило их. Англичане превратили далёкий остров в крепость, ощетинившуюся пушками с каждого удобного выступа. Место заточения Наполеона (Лонгвуд) охраняли около 3000 солдат. Вокруг острова постоянно курсировала флотилия из одиннадцати военных судов.

Это при жизни свергнутого императора. Но и после его кончины, боясь самозванцев и двойников, англичане девятнадцать (!) лет держали у могилы усопшего караул из

двенадцати солдат. И что симптоматично, великий поэт связал смерть Наполеона с началом народных волнений в Европе:

Тряслися грозно Пиренеи,
Волкан Неаполя пылал…

Эти и следующие строки 10-й главы посвящены национально-освободительным движениям начала 1820-х годов:

восстаниям в Испании, Неаполитанском королевстве, Португалии, Пьемонте и Греции. Народы Европы неописуемо радовались победе над Наполеоном при Ватерлоо, надеясь на свободную жизнь после получения независимости от Франции. Но победители заковали весь континент в цепи феодализма, инквизиции и мракобесия. Словом, битву при Ватерлоо выиграли монархи, а проиграло, по словам Г. Гейне, всё человечество.

Позднее подобную мысль высказал А. И Герцен: «Я не могу равнодушно пройти мимо гравюры, представляющей встречу Веллингтона с Блюхером в минуту победы при Ватерлоо. Я долго смотрю на неё всякий раз, и всякий раз в груди делается холодно и страшно. Ирландец на английской службе, человек без отечества, и пруссак, у которого отечество в казармах, приветствуют радостно друг друга. И как им не радоваться, они только что своротили историю с большой дороги по ступицу в грязь, в такую грязь, из которой её в полвека не вытащат».

Русский писатель Д. С. Мережковский выразился ещё резче: «Победа над ним Веллингтона и Блюхера есть поражение человеческого смысла бессмыслицей. Ватерлоо решило судьбы мира, и если это решение окончательно — значит мир достоин не Наполеона-человека, а человеческого навоза» (85, 330).

…10-я глава «Евгения Онегина» получилась с резко антиправительственным смыслом (упоминание европейских революций и декабристов, критика Александра I и возвеличивание Наполеона). Это заставило Пушкина уничтожить её — не хотел рисковать накануне женитьбы. Но он дорожил своим детищем и для себя сохранил шифрованную запись этой «хроники». В течение восьмидесяти лет она оставалась под спудом. Только в 1910 году редактор Пушкина П. А. Морозов открыл ключ к шифру и восстановил текст главы, сожжённой 19 октября 1830 года, в предъюбилейную лицейскую годовщину.

* * *

Из-за карантина, связанного с эпидемией холеры, всю осень

1830 года Пушкин провёл в Болдине. 9 сентября он писал П. А. Плетнёву: «Ах, мой милый, что за прелесть здешняя деревня! Вообрази: степь да степь; соседей ни души; езди верхом сколько душе угодно, пиши дома сколько вздумается, никто не помешает». Он и писал: четыре маленьких трагедии, тридцать мелких стихотворений, пять повестей; подготовил к печати 8-ю и 9-ю главы «Евгения Онегина». Тревожило уничтожение 10-й главы, которая обращала мысли к «лихой године». Так появились повесть «Метель» и стихотворение «Герой».

Повесть невелика по объёму и проста по сюжету: офицер Бурмин нежданно-негаданно становится мужем провинциальной девушки. Когда ошибка раскрывается, он безрассудно бежит. Попав через два года в то же место, знакомится со своей будущей супругой. Оба не узнают друг друга, но испытывают взаимное влечение. Всё раскрывается в случайном разговоре.

Сюжет повести во временном отношении был крайне близок поэту, посвятившему эпохе наполеоновских войн уже несколько стихотворений, а также уничтоженную главу «Евгения Онегина». И Александр Сергеевич великолепной прозой воспел завершающие дни ратного подвига соотечественников:

«Война со славою была кончена. Полки наши возвращались из-за границы. Народ бежал им навстречу. Музыка играла завоёванные песни: Vive Henri — Quatre, тирольские вальсы и арии из „Жоконды“. Офицеры, ушедшие в поход почти отроками, возвращались, возмужав на бранном воздухе, обвешанные крестами. Солдаты весело разговаривали между собою, вмешивая поминутно в речь немецкие и французские слова.

Время незабвенное! Время славы и восторга! Как сильно билось русское сердце при слове Отечество! Как сладки были слёзы свидания! С каким единодушием мы соединяли чувства народной гордости и любви к государю! А для него какая была минута!

Женщины, русские женщины, были тогда бесподобны. Обыкновенная холодность их исчезла. Восторг их был истинно упоителен, когда, встречая победителей, кричали они „Ура!“ Кто из тогдашних офицеров не сознается, что русской женщине обязан он был лучшей драгоценнейшей наградою?..».

«Когда ж твой ум он поражает?» Во время путешествия в Арзрум Пушкин дважды встречался с командиром 4-й батарейной роты 21-й артиллерийской бригады подполковником И. Т. Радожицким. В корреспонденции с театра военных действий Илья Тимофеевич сообщал читателям «Северной пчелы»: «Вы можете ожидать ещё чего-либо нового, превосходного от

А. С. Пушкина, который теперь с нами в Арзруме».

Радожицкий воспитывался в Императорском военно-сиротском доме. Никаких покровителей у него не было, поэтому военная служба (1806–1850) шла туго. Только при окончательном уходе в отставку он получил чин генерал-майора. А человеком Илья Тимофеевич был умным. Он автор «Походных записок артиллериста, с 1812 по 1816 год»[77] (в четырёх частях), в которых писал: «Наполеон был гением войны и политики, гению подражали, а врага ненавидели» (64, 315).

Именно в первом качестве воспринимал Пушкин поверженного императора Франции, не случайно одно из его стихотворений, посвящённых Наполеону, называется «Герой». Оно было написано в Болдине, где поэт пережидал карантин, введённый в связи с эпидемией холеры. В начале ноября 1830 года Александр Сергеевич извещал издателю «Московского вестника» М. П. Погодина: «Посылаю вам из моего Пафмоса[78] апокалипсическую песнь. Напечатайте, где хотите, хоть в „Ведомостях“, но прошу вас и требую именем нашей дружбы не объявлять никому моего имени. Если московская цензура не пропустит её, то перешлите Дельвигу, но также без моего имени и не моей рукой переписанную».

Стихотворение «Герой» написано в форме диалога поэта и его друга. Последний задаёт вопрос о славе и её наиболее ярком воплощении в представителе рода человеческого:

Да, слава в прихотях вольна.
Как огненный язык, она
По избранным главам летает,
С одной сегодня исчезает
И на другой уже видна.
За новизной бежать смиренно
Народ бессмысленный привык;
Но нам уж то чело священно,
Над коим вспыхнул сей язык.
На троне, на кровавом поле,
Меж граждан на чреде иной
Из сих избранных кто всех боле
Твоею властвует душой?

Для поэта ответ самоочевиден, и он, не колеблясь говорит:

Всё он, всё он — пришлец сей бранный,
Пред кем смирялися цари,
Сей ратник, вольностью венчанный,

Исчезнувший, как тень зари.

Друг не удивлён выбором поэта, но уточняет: в каком эпизоде своей необычной карьеры больше всего привлекает его Наполеон?

Когда ж твой ум он поражает
Своею чудною звездой?
Тогда ль, как с Альпов он взирает
На дно Италии святой;
Тогда ли, как хватает знамя
Иль жезл диктаторский; тогда ль,
Как водит и кругом и вдаль
Войны стремительное пламя,
И пролетает ряд побед
Над ним одна другой вослед;
Тогда ль, как рать героя плещет,
Перед громадой пирамид,
Иль как Москва пустынно блещет,
Его приемля, — и молчит?

Вопросы друга поэта охватывают почти все годы военной и политической карьеры Наполеона, начиная со знаменитой итальянской кампании 1795–1796 годов. Тогда небольшая республиканская армия, состоявшая из полуголодных оборванцев, наголову разгромила отборные войска Священной Римской империи, как называлась Австрия с присоединёнными к ней территориями. В этой войне молодой генерал не раз рисковал своей жизнью, бросаясь во главе войск прямо на неприятельские орудия. Эпизод со знаменем произошёл в сражении при Аркале. После Италии Наполеон воевал в Египте и совершил поход в Сирию. В первом серьёзном сражении, вдохновляя свою небольшую армию, Наполеон говорил:

— Солдаты, сорок веков смотрят на вас сегодня с высоты этих пирамид!

В ноябре 1799 года победоносный генерал стал первым консулом Французской республики, а через пять лет — императором. К этим событиям относится упоминание Пушкина о жезле диктатора. На это надо заметить, что формально вопрос о провозглашении империи решался по результатам плебисцита (всенародного голосования).

Конечно, не случайно Москва упомянута в стихотворении именно в день вступления в неё Великой армии. Неприятель входил в старую столицу России с музыкой и барабанным боем.

Полковые оркестры играли марши, часто звучала «Марсельеза», которая призывала:

О, дети родины, вперед!
Настал день нашей славы;
На нас тиранов рать идёт,
Поднявши стяг кровавый!
Вам слышны ли среди полей
Солдат свирепых эти крики?
Они сулят, зловеще дики,
Убийства женщин и детей.

Безусловно, многие солдаты и офицеры знали слова революционного гимна, звавшего когда-то французов на защиту республики. А кого они пришли защищать в Москву? Кто угрожает им? Их семьям? Кто несёт им рабство? Несмотря на торжественность момента, настроение в рядах победителей было напряжённым. Граф Сегюр вспоминал:

— Ни один москвич не показывался, ни одной струйки дыма не поднималось из труб домов, ни малейшего шума не доносилось из этого обширного и многолюдного города. Казалось, как будто 300 тысяч жителей точно по волшебству были поражены немой неподвижностью. Это было молчание пустыни!

Тревожное состояние покорителей Европы передаёт офицер Цезарь де Ложье: «Молча, в порядке, проходим мы по длинным пустынным улицам; глухим эхом отдаётся барабанный бой от стен пустых домов. Мы тщетно стараемся казаться спокойными, но на душе у нас неспокойно: нам кажется, что должно случиться что-то необыкновенное. Москва представляется нам огромным трупом; это царство молчания, сказочный город, где все здания, воздвигнуты как бы чарами нас одних. Мы нигде не видим ни одного русского и ни одного французского солдата. Страх наш вырастает с каждым шагом: он доходит до высшей точки, когда мы видим вдали, над центром города, густой столб дыма» (61, 318).

…На картину жизни завоевателя, нарисованную другом, поэт ответил полным отрицанием:

Нет, не у счастия на лоне
Его я вижу, не в бою.
Не зятем кесаря на троне,
Не там, где на скалу свою
Сев, мучим казнию покоя,
Осмеян прозвищем героя,

Он угасает недвижим,
Плащом, закрывшись боевым;
Не та картина предо мною.

То есть ни воинская слава Наполеона, ни его восхождение от безвестного лейтенанта до полноправного члена семьи одного из старейших монархических родов Европы (Гасбургов), ни трагический конец столь феноменальной карьеры особенно поэта не вдохновляли. Так что же возбуждало у него особый интерес, кого он назвал героем?

Одров я вижу длинный строй,
Лежит на каждом труп живой,
Клеймённый мощною чумою,
Царицею болезней; он,
Не бранной смертью окружён,
Нахмурясь ходит меж одрами
И хладно руку жмёт чуме,
И в погибающем уме
Рождает бодрость…

Этот эпизод случился, когда армия Наполеона возвращалась из Серии в Египет. Пушкин узнал о нём из «Мемуаров» Бурьена, выходивших в 1829–1830 годах. Описание страшной болезни, поразившей французов, живо напомнило Александру Сергеевичу о собственных наблюдениях, сделанных во время путешествия в Арзрум:

— Мысль о присутствии чумы очень неприятна с непривычки. Желая изгладить это впечатление, я пошёл гулять по базару. Остановясь перед лавкою оружейного мастера, я стал рассматривать какой-то кинжал, как вдруг ударили меня по плечу. Я оглянулся: за мной стоял ужасный нищий. Он был бледен как смерть; из красных загноённых глаз его текли слёзы. Мысль о чуме опять мелькнула в моём воображении. Я оттолкнул нищего с чувством отвращения неизъяснимого и воротился домой очень недовольный своею прогулкою.

Поэтому на следующий день Александр Сергеевич повторил свой променад:

— Я отправился с лекарем в лагерь, где находились зачумлённые. Я не сошёл с лошади и взял предосторожность встать по ветру. Из палатки вывели нам больного; он был чрезвычайно бледен и шатался как пьяный. Другой больной лежал без памяти. Осмотрев чумного и обещав несчастному

скорое выздоровление, я обратил внимание на двух турков, которые выводили его под руки, раздевали, щупали, как будто чума была не что иное, как насморк. Признаюсь, я устыдился моей европейской робости в присутствии такого равнодушия.

Наполеон

Словом, Пушкин воочию соприкоснулся с чумой и мог оценить мужество человека, дерзнувшего находиться среди поражённых этой болезнью. Свои ощущения он передал через стихотворного поэта:

Клянусь: кто жизнею своей
Играл пред сумрачным недугом,
Чтоб ободрить угасший взор,
Клянусь, тот будет небу другом,
Каков бы ни был приговор
Земли слепой.

Прагматичный друг пытается охладить восторженность приятеля:

Мечты поэта,
Историк строгий гонит вас!
Увы! Его раздался глас, —
И где ж очарованье света!

Друг напоминает поэту, что, описывая бедствия, принесённые

страшной болезнью, Бурьен опровергает распространённое мнение об общении командующего армией с чумными. Поэт не отрицает этого, но и не приемлет прозаизма и бесчувственности толпы:

Да будет проклят правды свет,
Когда посредственности хладной,
Завистливой, к соблазну жадной,
Он угождает праздно! — Нет!
Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман…
Оставь герою сердце…! Что же
Он будет без него? Тиран!

Таковым и представляли монархи Европы своим народам великого полководца и государственного деятеля, что не очень соответствовало действительности: «тиран» не хотел власти ради власти и отказался от неё, когда почувствовал, что Франции грозит гражданская война. На острове Святой Елены он говорил доктору О'Мира: «Я должен был погрузить в кровь мои руки вплоть до этого места». И показывал на подмышки.

После изгнания Наполеона борьба между его сторонниками и приверженцами короля Людовика XVIII продолжалась ещё несколько месяцев, принимая в некоторых департаментах ожесточённый характер. Американский историк В. Слоон писал: «Надо принять во внимание, что даже в летописях революционных неистовств не отыщется ничего, способного сравняться со злодейской свирепостью роялистского белого террора, разразившегося в Провансе и южной Франции. Этот мерзостный террор быстро распространился, хотя и в более слабой степени, и по другим местностям Франции».

В стране происходило то, от чего Наполеон хотел её уберечь, — малая гражданская война. Но в связи с тем, что Франция была обезглавлена, реакция победила (и конечно, не без поддержки Бурбонов монархами Европы). Страна смирилась с иностранной оккупацией и не потонула в крови своих граждан.

Вторичное отречение Наполеона от престола, когда он ещё мог противостоять нашествию, но предпочёл этому умиротворение страны и спасение нации, пожалуй, самое значительное деяние в жизни великого воина и человека.

Именно человека угадал в нём великий русский поэт. Гений понял гения.

Часть четвёртая
«Того и гляди навяжется Европа на нас»

«А там что будет — вольны боги!»

Патриотическая трилогия. «Могучий мститель злых обид». «Сабля, водка, конь гусарский». «Великодушный гражданин». Первый ратник.

«Недаром — нет — промчалась четверть века!»

«Слава России». «Черногорцы? Что такое?». «Вождь несчастливый». «Была пора». «Современник», «Кавалерист-девица». Редакторские будни. Скупой царедворец. «Сей старец дорог нам». «Звал меня обедать». «Написал славный маршрут». Национальный поэт.

«А там что будет — вольны боги!»

Патриотическая трилогия. 17(29) ноября 1830 года группа младших польских офицеров ворвалась в резиденцию наместника Царства Польского великого князя Константина. Рабочие и студенты овладели арсеналом и начали вооружаться. Было образовано Временное правительство, началось формирование повстанческой армии. 13(25) января следующего года состоялась детронизация — лишение Николая I польского престола. В этот же день Сейм провозгласил независимость Польши и восстановление её в прежних границах «от моря до моря», то есть с присоединением прибалтийских, белорусских и украинских (до Днепра) земель.

На подавление восстания была направлена армия в 120 тысяч человек, по численности она превосходила противника в два раза, но на первых порах успехами похвастать не могла. Это удручало истинных патриотов России, наводило на невесёлые мысли. Ностальгия по недавней славе русского оружия обратила мысли Пушкина к спасителю России М. И. Кутузову:

Перед гробницею святой
Стою с поникшею главой…
Всё спит кругом; одни лампады
Во мраке храма золотят
Столпов гранитные громады
И их знамён нависший ряд.

Под ними спит сей властелин,
Сей идол северных дружин,
Маститый страж страны державной,
Смиритель всех её врагов.
Сей остальной из стаи славной
Екатерининских орлов.

М. И. Кутузов

Останки полководца были погребены 19 июня 1813 года в склепе, устроенном в приделе Святого Антония Феодосийского Казанского собора Петербурга. К этому времени в соборе было собрано 115 трофейных знамён и штандартов, под сенью которых покоился Кутузов, один из славной плеяды полководцев и государственных деятелей конца XVIII столетия, времени императрицы Екатерины II.

О создании стихотворения «Перед гробницею святой» Пушкин говорил Е. М. Хитрово, дочери Михаила Илларионовича:

— Стихи эти были написаны в такую минуту, когда позволительно было пасть духом — слава Богу, это время миновало. Мы опять заняли положение, которое не должны были терять. Это, правда, не то положение, каким мы были обязаны руке князя, вашего батюшки, но всё же оно достаточно хорошо.

Миновавшее время — это весна 1831 года. Именно тогда поэт обращался к тени полководца, вспоминая его славные деяния:

В твоём гробу восторг живёт!
Он русский глас нам издаёт;
Он нам твердит о той године,
Когда народной веры глас

Воззвал к святой твоей седине:
«Иди, спасай!» Ты встал — и спас.

Заканчивается стихотворение призывом к почившему помочь стране и сейчас в треволнениях мятежной Польши:

Внемли ж и днесь наш верный глас,
Встань и спасай царя и нас,
О старец грозный! На мгновенье
Явись у двери гробовой,
Явись, вдохни восторг и рвенье
Полкам, оставленным тобой!

Явись и дланию своей
Нам укажи в толпе вождей,
Кто твой наследник, твой избранный!
Но храм — в молчанье погружён,
И тих твоей могилы бранной
Невозмутимый, вечный сон.

Последние две строфы, по-видимому, не понравились самодержавному цензору поэта: Николай I был достаточно уверен в себе, чтобы не полагаться на помощь кого бы то ни было, и совсем не нуждался в советчиках по назначению главнокомандующего армией (пусть даже и в виртуальной форме). Поэтому-то патриотическое стихотворение было опубликовано только в 1836 году, но без двух последних строф. И не отдельно, а в «Объяснении» к другому стихотворению — «Полководец». В этом «Объяснении» Пушкин писал:

«Слава Кутузова неразрывно соединена со славою России, с памятью о величайшем событии новейшей истории. Его титло: спаситель России; его памятник: скала Святой Елены! Имя его не только священно для нас, но не должны ли мы ещё радоваться, мы, русские, что оно звучит русским звуком?» (7, 483–484).

…В ходе восстания Польша фактически отделилась от России. Притязания бывшей Речи Посполитой на отторгнутые от неё украинские, белорусские и литовские земли, детронизация династии Романовых глубоко уязвили национальные чувства широких кругов русского общества и дворянства прежде всего, а призывы со стороны Франции к вооружённому вмешательству в русско-польский конфликт, который, казалось, мог перерасти во всеобщий поход западных держав против России, ещё более эти чувства обострили. Угроза новой войны, поднимавшейся на волне

революций, с необычайной силой всколыхнула воспоминания о нашествии «двунадесяти языцев», стойко державшиеся в общественном сознании.

Пушкин, внимательно следивший за политическими событиями, был встревожен. Это заметил даже цензор Е. Е. Комаровский, спросивший поэта о причине его волнения.

— Разве вы не понимаете, что теперь время чуть ли не столь же грозное, как в 1812 году? — удивился Александр Сергеевич аполитичности чиновника.

Соближение польских событий с 1812 годом подогревалось первыми неудачами русской армии. Отечественная война рисовалась легендарной, эпической порой русской истории, полной «дивных, почти мифических потрясений», временем независимых характеров, подъёма духовных сил народа и нравственного раскрепощения общества.

Но в 1830 году, в отличие от 1812-го, объявились «гуманисты», переживавшие не за гибнувших русских солдат, а за исторического врага России. Это были узкий слой демократически настроенной интеллигенции, студенчество и салонные доброхоты. Так графиня Д. Ф. Фикельмон, внучка М. И. Кутузова, писала П. А. Вяземскому: «Вот мы мрачнее, печальнее, меланхоличнее чем когда-либо! Мы поражены событиями в Польше! Вы некоторое время жили в Варшаве и привезли оттуда достаточно воспоминаний, чтобы быть глубоко опечаленным этой прискорбной историей. Здесь[79], как вы легко себе это представите, нет речи ни о чём другом! Во всех умах полностью отсутствуют все иные мысли».

Пётр Андреевич отвечал Дарье Фёдоровне из Остафьева в том же тоне: «Вы правы, полагая, что варшавские события глубоко опечаливают моё сердце. Я нахожу в этой кровавой драме столько знакомых и дружеских имён среди жертв и главных участников, которые не замедлят стать жертвами, что чтение газеты заставляет трепетать моё сердце так, как если бы я присутствовал при ужасном спектакле».

Свой салон имела и мать Дарьи Фёдоровны — Елизавета Михайловна Хитрово (дочь Кутузова). Оба находились в здании австрийского посольства и оба посещал Пушкин, черпая в них европейские новости. Осанну им пропел тот же Вяземский: «Вся животрепещущая жизнь — европейская и русская, политическая, литературная и общественная имела верные отголоски в этих двух родственных салонах. Не нужно было читать газеты, как у афинян, которые также не нуждались в газетах, а жили, учились, мудрствовали и умственно наслаждались в портиках и на площади. Так и в этих двух салонах можно было запастись

сведениями о всех вопросах дня — начиная от политической брошюры и парламентской речи французского или английского оратора и кончая романом или драматическим творением одного из любимцев той литературной эпохи. Было тут обозрение и текущих событий, была и передовая статья с суждениями своими, а иногда и осуждениями, был и лёгкий фельетон, нравоописательный и живописный.

А что всего лучше, эта всемирная, изустная, разговорная газета издавалась по направлению и под редакцией двух любезных и милых женщин. Подобных издателей не скоро найдёшь! А какая была непринуждённость, терпимость, вежливая, и себя и других уважающая свобода в этих разнообразных и разноречивых разговорах! Даже при выражении спорных мнений не было слишком кипучих прений; это был мирный обмен мыслей, воззрений, оценок, система свободной торговли, приложенная к разговору» (71а, 229).

Конечно, для Европы во всём были виноваты русские. В палате депутатов Франции Лафайет, Моген и другие призывали к вооружённому вмешательству в русско-польской конфликт. Пушкин был крайне обеспокоен этим, но 26 августа(7 сентября), в день 19-й годовщины Бородинской битвы, Варшава была взята, что вызвало ещё более негативную реакцию в Европе. Николай I писал по этому поводу Паскевичу: «В Париже бесились несколько дней сряду и нас ругали до крайности».

Французские газеты опубликовали ряд статей, полных злобы, слёз и жажды мщения: «О благородное сердце Варшава! Она погибла ради нас! Погибла с оружием в руках, колени не склонив! О пусть наш лоб осенят стыд и позор! Хотите видеть приход русских? Они придут!» (87, 739). Ответом на речи, звучавшие в палате депутатов Франции, и неистовство зарубежной прессы стало стихотворение Пушкина **«Клеветникам России»**. Уже в сентябре оно было напечатано в брошюре «На взятие Варшавы». В первой строфе стихотворения поэт обращался к парламентариям и законодателям Европы:

О чём шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России?
Что возмутило вас? Волнения Литвы?
Оставьте: это спор славян между собою,
Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,
Вопрос, который не разрешите вы.

Далее в стихотворении говорится о застарелой вражде двух народов и ставится вопрос о судьбе славянства:

Уже давно между собою
Враждуют эти племена;
Не раз клонилась под грозою
То их, то наша сторона.
Кто устоит в неравном споре:
Кичливый лях иль верный росс?
Славянские ль ручьи сольются в русском море?
Оно ль иссякнет? Вот вопрос.

И Пушкин не советовал Европе лезть в его разрешение:

Оставьте нас: вы не читали
Сии кровавые скрижали;
Вам непонятна, вам чужда
Сия семейная вражда;
Для вас безмолвны Кремль и Прага[80];
Бессмысленно прельщает вас
Борьбы отчаянной отвага —
И ненавидите вы нас…

За что же? Чем Россия провинилась перед Европой? И поэт напоминал ретивым ораторам оной о совсем недавних событиях:

За что ж, ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?
За то ль, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?

Недвусмысленным (и совсем недипломатичным) предупреждением звучат последние строфы стихотворения, обращённые ко всем недоброжелателям России:

Вы грозны на словах — попробуйте на деле!
Иль старый богатырь, покойный на постели,
Не в силах завинтить свой измаильский штык?
Иль русского царя уже бессильно слово?
Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?

Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясённого Кремля
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет Русская земля?
Так высылайте ж к нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов.

Многие представители высшего общества не приняли стихотворение «Клеветникам России», и среди них — убеждённый западник и полонофил Вяземский. 22 сентября, защищая любимую им Европу и европейцев, он писал: «Пушкин в стихах „Клеветникам России“ кажет европейцам шиш из кармана. Он знает, что они не прочтут стихов его, следовательно, и отвечать не будут на „вопросы“, на которые отвечать было бы очень легко даже самому Пушкину. За что возрождающейся Европе любить нас? Вносим ли мы хоть грош в казну общего просвещения? Мы тормоз в движениях народов к постепенному усовершенствованию нравственному и политическому. Мы вне возрождающейся Европы, а между тем тяготеем к ней. Народные витии, если бы удалось им как-нибудь проведать о стихах Пушкина и о возвышенности таланта его, могли бы отвечать ему коротко и ясно: мы ненавидим или, лучше сказать, презираем вас, потому что в России поэту, как вы, не стыдно писать и печатать стихи, подобные вашим».

И так мыслил один из ближайших друзей Пушкина, уже почти официальное лицо — с 1832 года вице-директор Департамента внешней торговли! 7 октября Пётр Андреевич спрашивал Хитрово: «Что делается в Петербурге после взятия Варшавы?» И просил: «Именем Бога (если он есть) и человечности (если она есть), умоляю вас, распространяйте чувства прощения и сострадания. Мир жертвам! Будем снова европейцами, чтобы искупить стихи совсем не европейского свойства. Как огорчили меня эти стихи! Власть, государственный порядок часто должны исполнять печальные, кровавые обязанности, но у поэта, слава Богу, нет обязанности их воспевать. Всё это должно быть сказано между нами, но я не в силах, говоря с вами, сдерживать свою скорбь и негодование» (71а, 231).

Позиция, занятая Вяземским (Рюриковичем в 25-м поколении!) в отношении России, поражает. Откуда у русского

дворянина такая ненависть к своей стране? Или это лишь отражение сиюминутного настроения? Нет, вот письмо 1828 года, когда никаких конфликтов с Польшей не было, не было и причин для неудовольствия, не говоря уже о более сильных чувствах: «Русский патриотизм может заключаться в одной ненависти к России. Россию можно любить, как б…, которую любишь со всеми её недостатками, проказами, но нельзя любить, как жену, потому что в любви к жене должна быть примесь уважения, а настоящую Россию уважать нельзя» (Вяземский — Н. И. Тургеневу в Лондон, 35, 307).

Польский вопрос разделил русское общество на русофилов и русофобов. Писатель Н. А. Мельгунов укорял С. П. Шевырёва, одного из создателей журналов «Московский вестник» и «Московский наблюдатель»: «Мне досадно, что ты хвалишь Пушкина за последние его вирши („Клеветникам России“ и „Бородинская годовщина“). Он мне так огадился как человек, что я потерял к нему уважение даже как к поэту. Теперешний же Пушкин есть человек, остановившийся на половине своего поприща, который, вместо того чтобы смотреть прямо в лицо Аполлона, оглядывается по сторонам и ищет других божеств для принесения им в жертву своего дара. Упал, упал Пушкин. О честолюбие и златолюбие!» (87, 741).

В стихотворениях, разочаровавших Мельгунова, так ярко звучала национальная гордость, что они возмутили многих радетелей западных свобод. Ну как же! Поляки боролись за демократический статус, а Пушкин смешал их с грязью. Европа негодует на варварство русского царя, а Пушкин рассыпается перед ним мелким бисером. Критики исключали возможность сочетания любви к России и неудовлетворения политическим режимом в ней. Поэта обвиняли в попрании им своих демократических взглядов и в фактическом отказе от них.

Сочувствующих «несчастным» полякам хватало, критиков Пушкина — тоже. Поэтому Александра Сергеевича очень обрадовала реакция на его стихотворение П. Я. Чаадаева, который писал ему: «Вот наконец вы национальный поэт. Вы наконец нашли своё призвание. Особенно изумительны стихи к врагам России, я вам это говорю. В них мыслей больше, чем было сказано и создано у нас в целый век. Все здесь одного со мною мнения, вы, конечно, не сомневаетесь в этом, пусть говорят что хотят, а мы пойдём вперёд».

И пошли. Чаадаев занялся «Философическими письмами», а Александр Сергеевич — ответом радетелям Польши (в лице одного из их представителей):

Ты просвещением свой разум осветил,
Ты правды чистый свет увидел,
И нежно чуждые народы возлюбил
И мудро свой возненавидел.

Когда безмолвная Варшава поднялась
И Польша буйством опьянела,
И смертная борьба (с Россией) началась,
При клике «Польска не згинела!»

Ты руки потирал от наших неудач,
С лукавым смехом слушал вести,
Когда полки бежали вскачь
И гибло знамя нашей чести…

Тогда ненавистники России ликовали и с вожделением ожидали вооружённого вмешательство любимой ими Европы. Но ситуация довольно быстро изменилась в пользу России. И что же? Как отнёсся к этому завзятый отечественный либерал?

Поникнул ты головой и горько возрыдал,
Как жид о Иерусалиме.

К сожалению, стихотворение это не было закончено и не печаталось, его автограф не сохранился, и известно оно по весьма несовершенной копии.

…Восстание поляков и июльская (1830) революция во Франции способствовали оживлению интереса к событиям 1812–1815 годов. Угроза новой европейской войны всколыхнула воспоминания о нашествии Наполеона. В 1830-х годах в России вышли труды А. И. Михайловского-Данилевского, посвящённые Отечественной войне 1812 года. Не осталась в стороне и художественная литература.

Кстати. Стихотворение Пушкина «Клеветникам России» актуально и в наши дни. В апреле 2016 года в «Литературной газете» даже появилась рубрика под таким названием, и открылась она следующей информацией Геннадия Красникова: «Не так давно два „правдоруба“ русской литературы Виктор Шендерович и Игорь Иртеньев в передаче на „Свободе“ умилялись талантами друг друга, наперегонки спеша блеснуть собственным остроумием. Главным предметом их язвительных стрел и хохм была, конечно же, Россия, с которой ребятам не

подфартило: народ рылом не вышел, власть занята какими-то „духовными скрепами“ и восстановлением опорно-двигательного аппарата страны, поднимая оглоушенную с колен после нанесённой тяжёлой демократической травмы 90-х; писатели не те, не их поля и масштаба ягода. Вот, скажем, Пушкин. Взял да, не спросившись Иртеньева и Шендеровича, написал стихотворение „Клеветникам России“. Уж их-то либеральное Третье отделение ни за что не допустило бы подобный патриотический разворот поэта. Антипатриотический, антироссийский, русофобский, это — пожалуйста, это — сколько угодно.

И тут оба юмориста принялись утомительно перемалывать избитую побасёнку про патриотизм как „последнее прибежище негодяя“, упирая на то, что себя они, в отличие от Пушкина, негодяями не считают. Пушкин, по их высокому приговору, после таких стихов кончился как поэт. Одним словом, „погиб поэт“!.. Так два грошовых современных дантесика вновь хладнокровно „навели“ удар на русскую литературу, при этом ведая, что творят, понимая, на что „руку поднимают“».

Только бы на литературе! Читайте:

Дм. Быков, журналист: «Россия — бросовая страна с безнадёжным населением».

Ксения Собчак, телеведущая: «Россия стала страной генетического отребья. Я бы вообще запретила эту страну».

Нина Хрущёва, правнучка Н. С. Хрущёва: «Первая задача — уменьшить размер страны».

Валерий Панюшкин, литератор: «Всем на свете стало бы легче, если бы русская нация прекратилась».

Юрий Нестеренко, поэт: «Нашим врагом является не только кремлёвский режим. Нашим врагом и врагом всего свободного мира, всей западной цивилизации, всех принципов, которые нам дороги, является Россия как таковая. Россия есть зло, причём мирового масштаба. Зло должно быть уничтожено».

Борис Стомахин, публицист: «Эта страна пережила себя, её существование не нужно больше никому — ни оккупированным ею народам, ни её собственному народу, и, более того, представляет собой смертельную угрозу для человечества. Убивать, убивать, убивать! Россию можно только уничтожить. И её надо уничтожить. Русских надо убивать и только убивать».

Это какая-то патология! Что это за «граждане» России и сколько таких «граждан»? На эти вопросы отвечает Андрей Фефелов в статье «Нерусь, куда несёшься ты?!» («Завтра», 16/38, с. 4): «Раскрою вам одну страшную тайну: 0,7 % населения России страстно желают, чтобы „эта страна“ — развалилась, погибла,

канула в Лету, трансформировалась в свою противоположность, рассыпалась на множество осколков, сдалась в плен, вывернулась наизнанку, покаялась и заплатила всем, кому надо, максимальные контрибуции.

0,7 — это не смешно, это очень-очень много. Явный перебор. Это миллион человек, многие из которых проживают в Москве и Питере. Это целый слой, активный, образованный, аффинированный с властью, интегрированный в СМИ, занимающий сильные позиции в образовании и культуре, сидящий на информационных и финансовых потоках. Это семьи, поколениями воспитанные в определённом ключе, имеющие свои предания, живущие отдельными от большинства мечтами и смыслами».

Добавим от себя: эти 0,7 % населения, отнюдь не обойдённая судьбой, не только клевещет на страну, которая ему всё дала, а ненавидят её. И легко представить, что они сделают с Россией, если дорвутся до власти. Впрочем, они и не скрывают этого: упразднят (вместе с населением) как политическую единицу, «позорящую» западную цивилизацию.

В крепостнической России пушкинского времени немалая часть дворянства тоже не благоговела к основной массе россиян, тоже поглядывала на Запад, но до такого маразма не доходила. Что это, «прогресс» цивилизации? Расцвет демократии? Или недееспособность власть предержащих?

«Бородинская годовщина». Это стихотворение было написано через девять дней после «Клеветникам России» и связано с ним тематически, но начинается издалека:

Великий день Бородина
Мы братской тризной поминая,
Твердили: «Шли же племена,
Бедой России угрожая;
Не вся ль Европа тут была?
А чья звезда её вела!..
Но стали ж мы пятою твёрдой
И грудью приняли напор
Племён, послушных воле гордой,
И равен был неравный спор».

Вопросы о Европе и предводителе агрессии здесь, конечно, риторические: в России каждый подросток знал о нашествии «двунадесяти языцев», а молва о великом полководце, возглавлявшем его, давно облетела весь мир. Поэтому поэт

спрашивал парламентских говорунов, угрожавших России в связи с событиями в Польше:

И что ж? Свой бедственный побег,
Кичась, они забыли ныне;
Забыли русский штык и снег,
Погрёбший славу их в пустыне.
Знакомый пир их манит вновь —
Хмельна для них славянов кровь,
Но тяжко будет им похмелье,
Но долог будет сон гостей
На тесном хладном новоселье,
Под злаком северных полей!

В сочетании «штык и снег» Пушкин не случайно поставил на первое место существительное «штык». Гениальный поэт не первый год интересовался событиями Отечественной войны 1812 года и почти десять лет вращался в среде военных. То есть знал о перипетиях 1812 года не понаслышке, неоднократно внимал рассказам тех, кто громил корпуса Великой армии, читал воспоминания графа Сегюра, взывавшего к соратникам по оружию:

— Товарищи! Помните ли вы это злосчастное место, на котором остановилось завоевание мира, где двадцать лет побед рассыпались в прах, где началось крушение нашего счастья?

Это не о переправе через Березину, а о сражении за Малоярославец 12(24) октября, когда ни морозов, ни снега не было и в помине, а были славный суворовский штык, отвага русских солдат и искусство военачальников. Вот когда в середине русской осени 1812 года была сломлена мощь Великой армии, вынужденной начать отступление, перешедшее в беспорядочное бегство и рассеивание воинских контингентов по городам и весям России.

…Напомнив западным воителям о судьбе их предшественников, Пушкин с немалой язвительностью приглашал их повторить подзабытые «подвиги» старшего поколения:

Ступайте ж к нам: вас Русь зовёт!
Но знайте, прошеные гости,
Уж Польша вас не поведёт:
Через её шагнёте кости!..

Стихотворение «Бородинская годовщина» Пушкин написал 5

сентября, Варшава пала 26 августа, а это значило, что Польша выпала из игры как возможный союзник новых тевтонов. При этом решающий удар восставшим был нанесён в священный для русских день:

Сбылось — и в день Бородина
Вновь наши вторглись знамена
В проломы падшей вновь Варшавы;
И Польша, как бегущий полк,
Во прах бросает стяг кровавый —
И бунт раздавленный умолк.

«Россия, встань и возвышайся». До 26 августа 1831 года Варшава дважды сдавалась русским. Первый раз (1794) — после того как армия А. В. Суворова овладела её предместьем на правом берегу Вислы — Прагой. Русский офицер Ф. Н. Глинка, увидевший его почти через два десятилетия, писал: «Мы поехали посмотреть на Прагу, которая за 20 пред сим лет не уступала в красоте, великолепии и даже в обширности и богатстве самой Варшаве. Переезжаешь Вислу, едешь чрез Прагу — и не видишь её! Тут только одни пространные поля, засеянные хлебом, разрушенные окопы и бедные дома. Где же Прага? Её нет: она высилась, как кедр ливанский; прошёл мимо герой — и странник не находит места, где она была! Суворов, победив отдалённость и все неслыханные препятствия, принёс, так сказать, в горсти небольшое число уматерелых в победах воинов под самые стены Варшавы и стёр Прагу с лица земли.»

Второй раз польская столица покорялась силе русского оружия 27 января(8 февраля) 1813 года. Сдачу города принимал генерал от инфантерии М. А. Милорадович. Вручение ключей от города было назначено в Мокатове в два часа после полудня. Небольшая свита генерала собралась в садовом домике. Перед его крыльцом стоял эскадрон Ахтырского полка. Свидетель церемонии Ф. Н. Глинка вспоминал:

— Ровно в два часа передовой посланный возвестил скорое прибытие депутатов. Любопытство подвинуло всех к окнам. Сперва показались вершники из Польской народной гвардии, и вдруг богатая карета, восьмью английскими лощадьми запряжённая, сопровождаемая отрядом сей же гвардии, загремела и остановилась у крыльца. Эскадрон отдал честь. Вслед за первою подъехала такая же другая. Эскадрон повторил приветствие. Префект Варшавы, мэр, подпрефект, два члена духовенства, бургомистр и ещё пять или шесть человек в нарядных шитых

мундирах, с разноцветными перевязями через плечо собрались на крыльце.

Двери настежь — и гости вступили в комнату. Между ними находился тот самый старик, который вручал ключи Суворову. Толпа отшатнулась. Генерал Милорадович выступил вперёд. «Столица герцогства Варшавскаго в знак миролюбивого приветствия победоносному русскому воинству посылает сие», — сказал префект, поднося хлеб и соль. «Вот и залог её покорности знаменитому оружию всеавгустейшего императора Александра I», — прибавил мэр, подал знак — и старец вручил генералу золотые ключи. Все поклонились очень низко. У некоторых блеснули слёзы на глазах…

Генерал Милорадович отвечал со свойственными ему благородством и красноречием. Он говорил, между прочим, что для государя, который подъемлет меч только для расторжения оков, воюет для мира и покорять народы желает одною благостию, ключи сии будут тем более драгоценны, что они не обагрены кровью. «Ваши храмы, законы и самые обычаи, — продолжал он, — останутся неприкосновенны, жизнь, собственность и дома граждан — не подвержены никакой опасности. Пища кроткой души императора — благотворение».

И вот третье покорение Варшавы за какие-то тридцать семь лет! Было от чего волноваться лучшим умам России. Пушкин не желал зла полякам и, предваряя события, писал:

В боренье падший невредим,
Врагов мы в прахе не топтали,
Мы не напомним ныне им
Того, что старые скрижали
Хранят в преданиях немых,
Мы не сожжём Варшавы их,
Они народной Немезиды
Не узрят гневного лица
И не услышат песнь обиды
От лиры русского певца.

Гнев поэта был направлен не на простых людей, а на тех краснобаев, кто делал политику и разжигал низменные страсти. Поэтому он с позиции победителя напоминал парламентским говорунам о их недавних наветах и с иронией спрашивал, в каких границах они хотели бы видеть Россию:

Но вы, мутители палат,
Легкоязычные витии,

Вы, черни бедственный набат,
Клеветники, враги России!
Что взяли вы?.. Ещё ли росс
Больной, расслабленный колосс?
Ещё ли северная слава
Пустая притча, лживый сон?
Скажите: скоро ль нам Варшава
Предпишет гордый свой закон?

Куда отдвинем строй твердынь?
За Буг, до Ворсклы, до Лимана?
За кем останется Волынь?
За кем наследие Богдана?
Признав мятежные права,
От нас отторгнется ль Литва?
Наш Киев дряхлый, златоглавый,
Сей пращур русских городов,
Сроднит ли с буйною Варшавой
Святыню всех своих гробов?

Великому поэту и в страшном сне не могло предвидеться, что его не столь уж отдалённые потомки допустят увод от России не только Литвы, Украины, но и других национальных образований; что её западная граница отодвинется не только во времена Андрусовского мира с Польшей (1667), но ещё ниже по шкале исторической жизни — в эпоху Ивана Грозного, а его далёкий собрат по профессии с надрывом сердца будет стенать:

У карты бывшего Союза
С обвальным грохотом в груди
Стою. Не плачу, не молюся,
А просто нету сил уйти.
Я глажу горы, глажу реки,
Касаюсь пальцами морей,
Как будто закрываю веки
Несчастной Родины моей…[81]

Да, канули в Лету годы, когда поэт с гордостью за свою страну мог спрашивать её ненавистников:

Ваш бурный шум и хриплый крик
Смутил ли русского владыку?
Скажите, кто главой поник?

Кому венец: мечу иль крику?
Сильна ли Русь? Война и мор,
И бунт, и внешних бурь напор
Её, беснуясь, потрясали —
Смотрите ж: всё стоит она!
А вкруг её волненья пали —
И Польши участь решена…

Следующая строфа посвящена генерал-фельдмаршалу И. Ф. Паскевичу, который подавил восстание, а при взятии Варшавы был контужен:

Победа! Сердцу сладкий час!
Россия, встань и возвышайся!
Греми, восторгов общий глас!..
Но тише, тише раздавайся
Вокруг одра, где он лежит,
Могучий мститель злых обид,
Кто покорил вершины Тавра,
Пред кем смирилась Эривань,
Кому суворовского лавра
Венок сплела тройная брань.

За усмирение восставших поляков Паскевич был удостоен титула светлейшего князя с прибавлением приставки «Варшавский» и назначением наместником Царства Польского. В войсках И. Ф. Паскевича служил полковник А. А. Суворов, внук генералиссимуса. Иван Фёдорович направил его в Петербург с известием о падении Варшавы, а Пушкин в последней строфе своего стихотворения воздал должное деду Александра Аркадьевича, благословляющего генерал-фельдмаршала:

Восстав из гроба своего,
Суворов видит плен Варшавы;
Вострепетала тень его
От блеска им начатой славы!
Благословляет он, герой,
Твоё страданье, твой покой,
Твоих сподвижников отвагу,
И весть триумфа твоего,
И с ней летящего за Прагу
Младого внука своего.

Сплошная символика: Бородино, Варшава, Суворов и его внук! Мог ли предполагать гениальный поэт, что сочувствие русских либералов падшим через два столетия выльется в ненависть к своей стране, ко всему русскому и к русским?

Кстати. Гениальный поэт очень щадяще отнёсся к полякам: в его патриотической трилогии нет и следа вражды к Польше и её народу. Упомянутые выше стихотворения направлены против политиков и публицистов Европы (в основном Франции), стремившихся разжечь большую войну против России.

В противовес Пушкину открыто враждебную позицию в отношении России и русских занял его недавний друг А. Мицкевич. При этом ему были ненавистны не только царь и его окружение, а всё русское: природа, города и деревни, люди. Страна дикая и пустынная, белая, как лист бумаги, ожидающий чьей-то записи — Бога или сатаны. В этой стране даже лица «пусты, как окружающие их равнины. Всё в России безобразно, надо всем царят страх и кнут».

Лягнул Мицкевич и бывшего друга: «Он продажным языком восхваляет царские победы и радуется страданиям своих друзей, быть может, на родине моей упивается нашей кровью и хвалится перед царём своими проклятиями, как заслугой».

То есть уверенность Вяземского в том, что стихи Пушкина до Европы не дойдут, не оправдались (Мицкевич жил в Париже) — дошли! Александр Сергеевич явно приуменьшал свою значимость, когда писал: «Слух обо мне пройдёт по всей Руси великой…»

* * *

За треть века (1794–1831) Варшава трижды сдавалась российским главнокомандующим: А. В. Суворову, М. А. Милорадовичу и И. Ф. Паскевичу. Последнего Пушкин знал и встречался с ним в Закавказье.

«Могучий мститель злых обид». Военную службу Иван Фёдорович Паскевич начал в восемнадцать лет поручиком лейб-гвардии Преображенского полка. Он участвовал во всех войнах (вплоть до Крымской) и быстро продвигался по службе, что отмечалось высокими чинами и званиями: генерал-адъютант, генерал-фельдмаршал, граф Эриванский, светлейший князь Варшавский.

В 1812 году Паскевич командовал 26-й пехотной дивизией, входившей в состав 2-й Западной армии. В Бородинском

сражении он защищал батарею Раевского, центральный пункт русской позиции; позднее участвовал в сражениях под Малоярославцем, Вязьмой и Красным.

В январе 1813 года Иван Фёдорович получил в командование 7-й пехотный корпус, с ним участвовал в основных сражениях на территории германских земель. За отличие в «Битве народов» был произведён в генерал-лейтенанты. Вскоре после этого был назначен командиром 2-й пехотной дивизии, с которой участвовал в сражениях при Лаоне, Арси-сюр-Обе и Париже.

С июля 1819 года Паскевич состоял при великом князе Михаиле Павловиче, пользовался милостями царя, но был недоволен фрунтоманией, насаждавшейся в армии. Этот порок имел глубокие корни.

Ещё в самом начале Отечественной войны 1812 года адмирал А. С. Шишков отмечал склонность Александра I и его братьев к внешней стороне обучения войск, о чём позднее и рассказал в своих «Записках»: «Меня удивило, что великий князь Константин Павлович, приехав на короткое время в Вильну, остановился в каком-то об одной комнате домике. Мы пришли к нему и должны были стоять на дворе, покуда нас позовут. В это время, в продолжение более часа, вводили к нему, человек по человеку, несколько солдат с оружиями. Я не мог иного себе представить, как то, что он увещевает их быть храбрыми, стоять твёрдо, смыкаться, не разрывать рядов, наставляет, как проворнее заряжать ружьё, не торопясь целить метко, или тому подобное. Но когда позвали меня к нему, то увидел я совсем иное: он показывал им, в каком положении держать тело, голову, грудь, где у ружья быть руке и пальцу, как красивее шагать, повёртываться и другие тому подобные приёмы, часто с переменою мыслей переменяемые и всегда связывающие человека, отъемля у него ловкость и свободу движения. Как, думал я, то ли теперь время, чтоб заниматься такими пустыми мелочами?» (73, 122)

От своих подчинённых Паскевич требовал строгой дисциплины, но был против «акробатства» с носками и коленками солдат. В результате этих вывертов, полагал Иван Фёдорович, армия не выиграла, а, потеряв достойных офицеров, осталась с экзерцирмейстерами. И пояснял свою мысль:

— Это экзерцирмейстерство переняли мы у Фридриха II, который от своего характера наследовал эту выучку. Хотели видеть в том секрет его побед, не понимая его гения, принимая наружное за существенное. Фридрих был рад, что принимают то, что лишнее, и, как всегда случается, перенимая, ещё более портят.

Возвращаясь с плаца, Паскевич не раз говорил, что хочет бросить службу и уйти в отставку, но волнения в Греции подавали надежду на войну с Турцией, и он решил ждать часа, когда будет нужен России. В начале 1825 года Паскевич уже командовал корпусом (1-м пехотным). В нём под его началом служил будущий царь Николай I, который называл Ивана Фёдоровича «отцом-командиром».

В самый разгар Русско-персидской войны Паскевич сменил (март 1827 года) на посту командующего войсками отдельного Кавказского корпуса генерала А. П. Ермолова. За подписание Туркманчайского мирного договора был пожалован графским титулом с прибавлением почётной приставки «Эриванский».

Во время Русско-турецкой войны (1828–1829) Паскевич командовал российскими войсками на Кавказе. В этот период он познакомился с Пушкиным. Александр Сергеевич ехал на Кавказ, чтобы повидаться с братом Львом, Н. Н. Раевским-младшим и некоторыми декабристами, разжалованными из офицеров в солдаты и сосланными на Кавказ искупать свою вину. Знакомство поэта и будущего фельдмаршала произошло 14 июня 1829 года в районе Карска.

— В пятом часу войско выступило, — вспоминал Пушкин. — Я ехал с нижегородским драгунским полком, разговаривая с Раевским. Настала ночь. Мы остановились в долине, где всё войско имело привал. Здесь имел я честь быть представлен графу Паскевичу. Я нашёл графа дома, перед бивачным огнём, окружённого своим штабом. Он был весел и принял меня ласково.

Пушкин пылал желанием участвовать в сражении, но Паскевич не отпускал его от себя. В этом сказалась осторожность главнокомандующего: он оберегал поэта и не поощрял его контакты с декабристами. Вот характерный пример. Паскевич верхом на коне наблюдал за ходом боя за Арзрум. Пушкин стоял впереди главнокомандующего. Когда русская батарея сделала первый выстрел по противнику, Александр Сергеевич воскликнул: «Славно!».

И. Ф. Паскевич

— Куда попало? — спросил Иван Фёдорович.

— Прямо в город! — довольный сообщил Пушкин.

— Гадко, а не славно, — поправил его Паскевич.

Поэт рвался в схватки с противником — его не пускали, он хотел общения с интересовавшими его людьми — его отвлекали от них, он убегал — его разыскивали. Наконец, Паскевичу надоела эта игра и 18 июля он объявил Александру Сергеевичу:

— Господин Пушкин! Мне вас жаль, жизнь ваша дорога для России, вам здесь делать нечего, а потому я советую немедленно уехать из армии обратно, и я уже велел приготовить для вас благонадёжный конвой.

Александр Сергеевич несколько иначе излагал этот эпизод своих взаимоотношений с главнокомандующим: «19 июля пришёл я проститься с графом Паскевичем. Он предлагал мне быть свидетелем дальнейших предприятий, но я спешил в Россию. Граф подарил мне на память турецкую саблю. В тот же день я оставил Арзрум».

Расстались оба недовольные друг другом: Паскевич своеволием поэта, Александр Сергеевич стеснениями его естественного желания распоряжаться собою, по поводу чего говорил:

— Ужасно мне надоело вечное хождение на помочах этих

опекунов, мне крайне было жаль расстаться с моими друзьями, но я вынужден был покинуть их. Паскевич надоел мне своими любезностями; я хотел воспеть геройские подвиги наших молодцов-кавказцев; это славная часть нашей родной эпопеи, но он не понял меня и старался выпроводить из армии.

«Молодцов-кавказцев» поэт не восславил, а вот Паскевичу посвятил две строфы в стихотворении «Бородинская годовщина».

…В 1836 году вышла работа Н. И. Ушакова «История военных действий в Азиатской Турции в 1828 и 1829 годах» Автор прислал её Пушкину. Благодаря за подарок, Александр Сергеевич писал: «Возвратясь из Москвы, имел я честь получить вашу книгу — и с жадностию её прочёл. Отныне имя покорителя Эривани, Арзрума и Варшавы соединено будет с именем его блестящего историка. С изумлением увидел я, что вы и мне даровали бессмертие — одною чертою вашего пера. Вы впустили меня в храм славы, как некогда граф Эриванский позволил мне въехать вслед за ним в завоёванный Арзрум».

В письме чувствуется ирония Пушкина как по отношению к самому себе, так и по отношению к Паскевичу. Последний тоже не питал к поэту симпатий. Узнав о гибели Александра Сергеевича, он писал императору: «Жаль Пушкина как литератора, в то время как талант его созревал, но человек он был дурной». В ответ Николай, предугадывая посмертную славу великого поэта, писал: «Я совершенно разделяю твоё мнение о Пушкине. По этому поводу можно сказать, что мы оплакиваем его будущее, но вовсе не его прошлое».

…И. Ф. Паскевич был одним из известнейших военачальников своего времени. Правда, не все признавали это — недоброжелателей и критиков хватало, но несомненным фактом в истории остались его удачные военные операции, которые нельзя объяснить только случайностью и счастьем. Известность его началась в эпоху наполеоновских войн, а служба в армии продолжалась до конца жизни.

Паскевича ценили П. И. Багратион и М. Б. Барклай де Толли, которые упрочили за ним репутацию «неизречённой храбрости». Даже Денис Давыдов, мало расположенный к Ивану Фёдоровичу и не жалевший красок для изображения его недостатков, считал своим долгом «отдать полную справедливость его примерному бесстрашию, высокому хладнокровию в минуты опасности, решительности, выказанных во многих случаях, и вполне замечательной заботливости о нижних чинах».

К этому замечанию лихого гусара следует добавить, что в пятьдесят девять лет Паскевич лично участвовал в штурме Варшавы (и был контужен ядром), а в восемьдесят три года

руководил осадой Силистрии и тоже был ранен.

«Сабля, водка, конь гусарский». Можно сказать, что Д. В. Давыдов (1794–1837) родился солдатом: он участвовал во всех войнах, которые вела Россия в первой трети XIX столетия. В десять лет резвого ребёнка заметил Суворов и предрёк ему будущее: «Ты выиграешь три сражения!»

Не откладывая дела в долгий ящик, Денис «замахал саблею, выколол глаз дядьке, проткнул шлык няне и отрубил хвост борзой собаке, думая тем исполнить пророчество великого человека. Розга обратила его к миру и учению» (76, 272).

На восемнадцатом году жизни Денис поступил эстандарт-юнкером в Кавалергардский полк, о чём позднее вспоминал с юмором: «Привязали недоросля нашего к огромному палашу, опустили его в глубокие ботфорты и покрыли святилище поэтического его гения мукою и треугольною шляпою».

Денис был мал ростом и имел петушиный голос. Словом, не командир, но в конце 1803 года был произведён в поручики. Авторитет у сослуживцев помогали поддерживать стихи, особенно басни, некоторые из которых задевали молодого государя:

Да между нами, ведь признаться,
Коль ты имеешь право управлять,
То мы имеем право спотыкаться
И можем иногда, споткнувшись, — как же быть, —
Твоё величество об камень расшибить

(«Голова и ноги»).

В басне «Река и зеркало» говорилось о монархе, который злобится на критику и этим напоминает ребёнка, желающего разбить зеркало. В следующей басне прямо указывалось на физический недостаток царя (недослышал):

Хоть он глухая тварь,
Хоть он разиня бестолковый,
Хоть всякому стрелку подарок он готовый, —
Но все в надежде той,
Что Тетерев глухой
Пойдёт стезёй Орлицы…

(«Орлица, Турухтан и Тетерев»[82]).

Довольно быстро Денис Васильевич приобрёл широкую известность как автор «гусарских» стихов, в которых воспевал удаль, вино и беззаботное веселье:

А завтра — чёрт возьми! — как зюзя натянуся,
На тройке ухарской стрелою полечу;
Проспавшись до Твери, в Твери опять напьюся,
И пьяный в Петербург на пьянство прискачу!

После того как Александру I попалась на глаза басня «Голова и ноги», Давыдов был переведён в Белорусский гусарский полк. Войну 1806–1807 годов провёл в лейб-гвардии Гусарском полку. За отличие в ней был произведён в штабс-ротмистры и награждён орденами Святого Владимира IV степени и «За заслуги» (прусский), отмечен золотой саблей «За храбрость». Участие в следующих войнах — со Швецией и Турцией — было поощрено орденом Святой Анны II степени (с алмазами).

Перед началом Отечественной войны Денис Васильевич был переведён подполковником в Ахтырский гусарский полк. Сражался под Романовом, Салтановкой и Смоленском, участвовал в арьергардных боях. Накануне Бородинской битвы Давыдов подал командующему 2-й армией князю П. И. Багратиону рапорт с просьбой выделить в его распоряжение партизанский отряд: «Ваше сиятельство! Вам известно, что я, оставя место адъютанта вашего, столь лестное для моего самолюбия, и вступя в гусарский полк, имел предметом партизанскую службу и по силам лет моих, и по опытности, и, если смею сказать, по отваге моей. Обстоятельства ведут меня по сие время в рядах моих товарищей, где я своей воли не имею и, следовательно, не могу ни предпринять, ни исполнить ничего замечательного. Князь! Вы мой единственный благодетель, позвольте мне предстать к вам для объяснений моих намерений, если они будут вам угодны, употребите меня по желанию моему и будьте надёжны, что тот, который носил звание адъютанта Багратиона пять лет сряду, тот поддержит честь сию со всею ревностию, какой бедственное положение любезного нашего Отечества требует» (96, 178).

21 августа Багратион принял Дениса Васильевича и тот изложил ему свои соображения по поводу партизанской войны.

— Неприятель идёт одним путём, — говорил он, — путь сей протяжением своим вышел из меры; транспорты жизненного и боевого продовольствия неприятеля покрывают пространство от

Гжатска до Смоленска и далее. Между тем обширность части России, лежащей на юге Московского пути, способствует изворотам не только партий, но и целой нашей армии. Что делают толпы казаков при авангарде? Оставя достаточное число их для содержания аванпостов, надо разделить остальное на партии и пустить их в средину каравана, следующего за Наполеоном.

Князь, откровенно вам скажу: душа болит от вседневных параллельных позиций! Пора видеть, что они не закрывают недра России. Кому неизвестно, что лучший способ защищать предмет неприятельского стремления состоит не в параллельном, а в перпендикулярном или по крайней мере в косвенном положении армии относительно к сему предмету? И потому, если не прекратится избранный Барклаем и продолжаемый светлейшим род отступления, Москва будет взята, мир в ней подписан и мы пойдём в Индию сражаться за французов!.. Я теперь обращаюсь к себе собственно: если должно непременно погибнуть, то лучше я лягу здесь! В Индии я пропаду со 100 тысячами моих соотечественников, без имени и за пользу, чуждую России, а здесь я умру под знамёнами независимости, около которых столпятся поселяне, ропщущие на насилие и безбожие врагов наших (96, 179).

Багратион доложил о предложении Дениса Васильевича М. И. Кутузову, и тот одобрил его. Давыдов получил в своё распоряжение 50 ахтырских гусар и 80 казаков, с которыми развернул активные действия на Старой Смоленской дороге. Самым эффективным из этих действий стало сражение в районе Ельни. Там действовали партизанские отряды Дениса Давыдова, Александра Сеславина и Александра Фигнера, шесть казачьих полков генерала В. В. Орлова-Денисова. Денис Васильевич предложил всем объединиться для нападения на сильный отряд неприятеля, располагавшийся в селе Ляхове. Генералу он послал следующую записку:

«По встрече и разлуке нашей я приметил, граф, что вы считаете меня непримиримым врагом всякого начальства — кто без властолюбия? И я, при малых дарованиях моих, более люблю быть первым, нежели вторым, а ещё менее четвёртым. Но властолюбие моё простирается до черты общей пользы. Вот пример вам: я открыл в селе Ляхове неприятеля. Сеславин, Фигнер и я соединились. Мы готовы драться. Но дело не в драке, а в успехе. Нас не более 1200 человек, а французов 2000 и ещё свежих. Поспешите к нам в Белкино, возьмите нас под своё начальство — и ура, с Богом!»

Так и сделали. Сражение продолжалось до вечера. Итогом его

были 2000 пленных, в том числе 60 офицеров и генерал Ожеро. Кутузов высоко оценил действия армейских партизан: «Победа сия тем более знаменита, что в первый раз в продолжение нынешней кампании неприятельский корпус положил перед нами оружие».

Партизанская война была для Дениса Васильевича стихией, в которой он чувствовал себя как рыба в воде. Ощущение им удалого разгула нашло отражение в стихотворении «Песня»:

Я люблю кровавый бой,
Я рождён для службы царской!
Сабля, водка, конь гусарский,
С вами век мне золотой!
Я люблю кровавый бой,
Я рождён для службы царской!

Отряд Давыдова только со 2 сентября по 23 октября взял в плен 3560 рядовых и 43 штаб- и обер-офицеров Великой армии. Поэтому Денис Васильевич не счёл зазорным попросить вознаграждение за свой ратный труд. «Ваша светлость! — обращался он к Кутузову. — Пока продолжалась Отечественная война, я считал за грех думать об ином, чем как об истреблении врагов Отечества. Ныне я за границей, то покорнейше прошу вашу светлость прислать мне Владимира III степени и Георгия 4-го класса».

В ответ Давыдов получил пакет с наградами и письмо дежурного генерала П. П. Коновницына по поводу их: «Я имел счастье всеподданнейше докладывать Государю Императору об оказанных вами подвигах и трудах в течение нынешней кампании. Его Императорское Величество соизволил повелеть наградить вас орденами Святого Георгия 4-го класса и Святого Владимира III степени. С приятностью уведомляю вас о сём. Декабря 20-го дня 1812 года. Вильна» (96, 281).

Д. В. Давыдов

В следующем году Денис Васильевич сражался под Калишем, Баутценом, Рейхенбахом и Лейпцигом. Его отряд входил в состав корпуса генерала от кавалерии Ф. Ф. Винцингероде. По собственной инициативе Давыдов провёл набег на Дрезден и заставил французский гарнизон капитулировать.

За это Винцингероде отстранил его от командования, расформировал подчинённый ему отряд и потребовал предать суду. Но царь вернул отважного воина в армию. За отличие при Ла-Ротьере Денис Васильевич был произведён в генерал-майоры, но из-за путаницы в рапортах получил этот чин только в самом конце 1815 года (вместо 20 января 1814-го).

Этот эпизод в его карьере нашёл отражение в стихотворении П. А. Вяземского «К партизану-поэту»:

Пусть генеральских эполетов
Не вижу на плечах твоих,
От коих часто поневоле
Вздымаются плеча других;
Не все быть могут в равной доле,
И жребий с жребием не схож!
Иной, бесстрашный в ратном поле,
Застенчив при дверях вельмож;

Другой, застенчивый средь боя,
С неколебимостью героя
Вельможей осаждает дверь;
Но не тужи о том теперь!
На барскую ты половину
Ходить с поклоном не любил,
И скромную свою судьбину
Ты благородством золотил.
Врагам был грозен не по чину,
Друзьям ты не по чину мил!
Спеши в объятья их без страха
И, в соприсутствии нам Вакха,
С друзьями здесь возобнови
Союз священный и прекрасный,
Союз и братства, и любви,
Судьбе могущей неподвластный!..

В десятилетний период, последовавший после низвержения Наполеона, Давыдов первое время ещё служил, но в 1820 году ушёл в длительный отпуск, а затем вышел в отставку. Свободное время Денис Васильевич использовал для творчества, которым до этого занимался только на коне и в солдатских куренях.

С 1814 года Давыдов работал над «Дневником партизанских действий», но не спешил завершать этот труд, не надеясь на его публикацию из-за ряда теневых моментов в Отечественной войне. Вот один из них — нелицеприятная характеристика начальника армейского партизанского отряда А. С. Фигнера:

«Я уже давно слышал о варварстве сего последнего, но не мог верить, чтобы оно простиралось до убийства врагов безоружных, особенно в такое время, когда обстоятельства Отечества стали исправляться и, казалось, никакое низкое чувство, ещё менее мщение, не имело места в сердцах, исполненных сильнейшею и совершеннейшею радостью! Но едва он узнал о моих пленных, как бросился просить меня, чтобы я позволил растерзать их каким-то новым казакам его, которые, как говорил он, ещё не натравлены.

Не могу выразить, что почувствовал я при противуположности слов сих с красивыми чертами лица Фигнера и взором его — добрым и приятным! Но когда вспомнил превосходные военные дарования его: отважность, предприимчивость, деятельность — все качества, составляющие необыкновенного воина, я с сожалением сказал ему:

— Не лишай меня, Александр Самойлович, заблуждения.

Оставь меня думать, что великодушие есть душа твоих дарований; без него они — вред, а не польза, а, как русскому, мне бы хотелось, чтобы у нас полезных людей было побольше» (96, 236).

«Дневник партизанских действий» был опубликован лишь через два десятилетия после кончины Дениса Васильевича.

В 1821 году вышла книга Давыдова «Опыт теории партизанских действий», на что с заметным разочарованием откликнулся А. С. Пушкин:

Недавно я в часы свободы
Устав наездника читал
И даже ясно понимал
Его искусные доводы;
Узнал я резкие черты
Неподражаемого слога;
Но перевёртывал листы
И, признаюсь, роптал на Бога.
Я думал: ветреный певец,
Не сотвори себе кумира,
Перебесилась наконец
Твоя проказливая лира,
И, сердцем охладев навек,
Ты, видно, стал в угоду мира
Благоразумный человек!
«О горе, — молвил я сквозь слёзы, —
Кто дал Давыдову совет
Оставить лавр, оставить розы?
Как мог унизиться до прозы
Венчанный музою поэт…»

Александр Сергеевич рано познакомился с поэтическим творчеством Дениса Давыдова, воздействие которого было для него самым благотворным. Позднее он признавался, что не сделался подражателем Батюшкова и Жуковского благодаря Давыдову, «который дал ему почувствовать ещё в лицее возможность быть оригинальным».

В 1816 году Пушкин написал стихотворение «Наездники», посвящённое Денису Васильевичу. Личное знакомство поэтов состоялось в конце 1818-го или в начале 1819 года.

Затем они встречались в Киеве (в январе — феврале 1821-го), тогда Александр Сергеевич написал второе стихотворение, посвящённое Денису Васильевичу:

Певец — гусар, ты пел биваки,
Раздолье ухарских пиров
И грозную потеху драки,
И завитки своих усов.
С весёлых струн во дни покоя
Походную сдувая пыль,
Ты славил, лиру перестроя,
Любовь и мирную бутыль.

Перестрой лиры поэта-партизана, певца вина, любви и славы на пасторальные темы был связан с женитьбой Давыдова, чему А. Ф. Воейков посвятил шуточное стихотворение «Послание к Д. В. Давыдову»:

Давыдов, витязь и певец
Вина, любви и славы!
Я слышу, что твои совсем
Переменились нравы:
Что ты шампанского не пьёшь,
А пьёшь простую воду,
И что на розовую цепь
Ты променял свободу;
Что ныне реже скачешь в клоб,
В шумливые беседы,
И скромные в семье своей
Тебе вкусней обеды.
Не завиваешь ты уса́;
Конь праздный в стойле тужит,
И сабельная полоса
За зеркало не служит…

Сам же Денис Васильевич с умилением вспоминал бивуачную жизнь:

— Кочевье на соломе под крышею неба! Вседневная встреча со смертию! Неугомонная, залётная жизнь партизанская! Вспоминаю о вас с любовью и тогда, как покой и безмятежие нежат меня, беспечного, в кругу милого моего семейства! Я счастлив… Но отчего тоскую и теперь о времени, когда голова кипела отважными замыслами и грудь, полная обширнейших надежд, трепетала честолюбием изящным, поэтическим?

Тогда же Денисов написал стихотворение «Партизан», в котором дал свой портрет в период суровой годины:

Начальник, в бурке на плечах,
В косматой шапке кабардинской,
Горит в передовых рядах
Особой яростью воинской,
Сын белокаменной Москвы,
Но рано брошенный в тревоги,
Он жаждет сечи и молвы,
А там что будет — вольны боги!..

В период отдыха от ратной службы Денис Васильевич завязал переписку с английским романистом В. Скоттом. Вышло это случайно. Его двоюродный племянник В. П. Орлов-Давыдов, будучи в Англии, посетил В. Скотта в Абботсфорде. Писатель очень интересовался войной 1812 года и расспрашивал гостя о его знаменитом дяде. Начался обмен информацией.

«Милостивый государь, — писал В. Скотт 17 апреля 1826 года. — Для человека вроде меня, живущего на покое, немалая честь быть отмеченным в столь лестных выражениях лицом, вызвавшим такое восхищение патриотической отвагой, с которой он служил Отечеству в час его крайней нужды и чьё имя будет много веков читаться на самой гордой, хотя и самой печальной странице русской истории… Мне удалось достать изображение капитана Давыдова, которое висит на одном из предметов самых драгоценных для меня, а именно над добрым мечом, который достался мне от предков и который в своё время не раз бывал в деле, хотя три последних поколения нашего рода были люди мирные» (76, 272).

В. Скотт в это время работал над книгой «Жизнь Наполеона Бонапарта, императора французов». Давыдов послал ему некоторые материалы по Отечественной войне и дал объяснения по вопросам, интересовавшим писателя.

В марте 1826 года Денис Васильевич вернулся в армию. Во время Русско-персидской войны в урочище Мирок он разбил четырёхтысячный корпус противника. Позже участвовал в подавлении Польского восстания 1830–1831 годов, после чего вышел в отставку в чине генерал-лейтенанта.

С 1829 года возобновилась связь поэта-партизана с Пушкиным. В апреле они встретились у московского знакомого Александра Сергеевича С. Д. Кисилёва, о чём Денис Васильевич сообщил П. А. Вяземскому: «Пушкин хвалил стихи мои, сказал, что в молодости своей от стихов моих стал писать свои круче и приноравливаться к оборотам моим» (92, 126).

2 января 1831 года Александр Сергеевич упомянул Давыдова

в письме из Москвы в Остафьево: «Денис здесь. Он написал красноречивый Eloge[83] Раевского. Мы советуем написать ему жизнь его».

Через день оба были в этом имении, о чём Вяземский сообщал приятелю: «Жаль мне, что ты не был у нас в воскресенье. У нас был уголок Москвы, но он был бы ещё краснее тобою. Были Денис Давыдов, Трубецкой, Пушкин, Муханов, Четвертинские; к вечеру съехались соседки, запиликала пьяная скрипка, и пошёл бал балом».

В 20-х числах января Давыдов и Пушкин опять были в Остафьеве. На этот раз беседовали о восстании поляков, в усмирении которых уже успел отметиться Денис Васильевич. 11 февраля он навестил Александра Сергеевича в доме Н. Н. Хитрово близ Смоленской площади (Арбат, 53). В нём поэт снял второй этаж для предстоящей семейной жизни.

17 февраля, накануне свадьбы, Пушкин устроил в этой квартире мальчишник — прощание с холостой жизнью. Были приглашены ближайшие друзья: Нащокин, Давыдов, Баратынский, Вяземский, Языков, И. Киреевский и композитор А. Н. Верстовский. По воспоминаниям Киреевского, «Пушкин был необыкновенно грустен, так что гостям даже было неловко. Он читал свои стихи „Прощание с молодостью“».

Вскоре после женитьбы Александра Сергеевича Давыдов встречался с ним у Вяземского и Нащокина. Там Пушкин читал Денису Васильевичу свои новые произведения.

В 1830-х годах Давыдов жил с семьёй в своём имении Маза Сызранского уезда Симбирской губернии и редко бывал в столицах, но в своей обширной переписке с Вяземским и другими современниками неизменно передавал поклоны Пушкину и интересовался его литературными занятиями. В 1832 году вышел первый (и единственный) сборник стихотворений поэта-партизана и Денис Васильевич послал Александру Сергеевичу экземпляр этого издания.

В апреле 1834 года Денис Васильевич справлялся у Вяземского о новых работах Пушкина: «Жду с нетерпением „Пугачёва“. Уведомь, что ещё пишет. Да ради Бога, заставьте его продолжать „Онегина“, эта прелесть у меня вечно в руках».

Прочитав повесть Пушкина «Пиковая дама», Давыдов напомнил ему о их мимолётном разговоре («когда-то налету») относительно служанок, которые свежее великосветских женщин: «Ты слово в слово поставил это эпиграфом в одном из отделений „Пиковой дамы“». Денис Васильевич также подсказал Пушкину поговорку «Береги платье снову, а честь смолоду», которую Александр Сергеевич использовал в качестве эпиграфа к роману

«Капитанская дочка».

В январе 1836 года Давыдов приезжал в Петербург для устройства в учебное заведение своих сыновей. Пушкин подарил ему «Историю Пугачёва», сопроводив презент стихотворным посланием:

Тебе, певцу, тебе, герою!
Не удалось мне за тобою
При громе пушечном, в огне
Скакать на бешеном коне.
Наездник смирного Пегаса
Носил я старого Парнаса
Из моды вышедший мундир,
Но и по этой службе трудной,
И тут, о мой наездник чудный,
Ты мой отец и командир…

Во время кратковременного пребывания Давыдова в Северной столице Александр Сергеевич привлёк его к сотрудничеству в «Современнике». В нём было опубликовано шесть стихотворений Дениса Васильевича и две статьи — «Занятие Дрездена» и «О партизанской войне».

Смерть Пушкина поразила Давыдова. «Какое ужасное происшествие! Какая потеря для всей России!» — говорил он Вяземскому.

Потерей для России была и кончина Дениса Васильевича, на которую Вяземский откликнулся стихотворением «Эперне»[84]:

Так из чужбины отдалённой
Мой стих искал тебя, Денис!
А уж тебя ждал неизменный
Не виноград, а кипарис.

На мой привет Отчизне милой
Ответом скорбный голос был,
Что свежей братскою могилой
Дополнен ряд моих могил…

«Великодушный гражданин». Повесть Пушкина «Метель» начинается с фразы: «В коне 1811 года, в эпоху нам достопамятную…» Это её окончательная редакция, а изначально было: «В эпоху, столь живо описанную Ф. Н. Глинкой, перед

кампаниею…» Упоминание в повести автора «Писем русского офицера» не случайно: весной 1830 года он вернулся из ссылки, и Александр Сергеевич содействовал изданию его поэмы «Карелия». Это стало началом возобновления их старых дружеских отношений.

Фёдор Николаевич Глинка принадлежал к той категории русских людей, деятельность которых поражает своей разносторонностью, глубиной и оригинальностью. Он — и воин, и гражданин, и поэт, и прозаик, и драматург, и мемуарист, и путешественник, и учёный, и археолог, и организатор народных училищ, и вообще человек необычайно добрый и великодушный, неистовый правдолюб. Одни знают и любят его стихотворения «Тройка» («Вот мчится тройка удалая вдоль по дорожке столбовой») и «Узник», ставшие народными песнями. Другим ближе его величественный гимн «Москва» («Город чудный, город древний»). Третьи предпочитают его вдохновенную прозу.

Глинка многолик в проявлениях своей незаурядной натуры. Поэтому знакомство с его литературным наследием непросто. Но жизнь и творчество человека, которого высоко ценили многие из его великих современников (Пушкин, Жуковский, Крылов, Рылеев и другие), несомненно, заслуживает внимания потомков.

В семнадцать лет Глинка окончил 1-й кадетский корпус, а в девятнадцать уже воевал. В сражении при Аустерлице участвовал в штыковой атаке и был отмечен самим Кутузовым.

Отечественная война застала Фёдора Николаевича в его имении Сутоки. Оставив пенаты, он устремился в Смоленск и присоединился к отступавшей армии. В эти тревожные дни появилась его «Военная песнь», в которой уже звучал призыв к народной войне:

Теперь ли нам дремать в покое,
России верные сыны!
Пойдём, сомкнёмся в ратном строе,
Пойдём и в ужасах войны
Друзьям, Отечеству, народу
Отыщем славу и свободу
Иль все падём в родных полях!
Что лучше: жизнь, где узы плена,
Иль смерть, где русские знамёна?
В героях быть или в рабах?

Поэт-воин прошёл дорогами войны всю страну — от её западных границ до Тарутина и обратно. На Бородинском поле он участвовал в «Битве гигантов», как образно называли это

сражение. Затем в составе корпуса генерала Милорадовича бился под Малоярославцем, Вязьмой и Красным, участвовал в заграничном походе русской армии. За ратные подвиги Глинка был награждён орденом Святого Владимира IV степени, орденом Святой Анны II степени, золотой медалью и золотой шпагой с надписью «За храбрость», а также двумя иностранными орденами — прусским и баденским. Кроме того, он получил от прусского короля драгоценный перстень.

Но главным итогом отшумевших грозовых лет стали для Фёдора Николаевича, конечно, не воинские отличия и звания, а тот огромный материал наблюдений и фактов, который позволил ему создать замечательный труд — «Письма русского офицера», вышедшие в Москве в 1815–1816 годах и имевшие шумный успех. Восхищённый В. А. Жуковский послал Фёдору Николаевичу своего «Певца во стане русских воинов» с надписью «Ксенофонту Бородина». К. Н. Батюшков писал из Неаполя И. И. Гнедичу: «Один Глинка писывал в походе. Обними его за меня очень крепко и скажи ему, что его люблю и вечно буду любить».

Но значение «Писем русского офицера» Глинки не исчерпывалось их историзмом. Читателей, несомненно, привлекали раздумья автора о судьбе России, его мечта об освобождении Отечества от гнёта и произвола чиновников. Фёдор Николаевич выносил, например, на общий суд решение таких вопросов:

Почётна ль истина в судах?
Всего ль чтут выше добродетель?
Несчастных друг и благодетель
Всегда ль уважен и почтен?
Везде ли совесть чтут законом?
Сирот и вдов внимают стонам?

Выход в свет «Писем русского офицера» совпал по времени с вступлением Глинки в «Союз спасения», первую декабристскую организацию. Вскоре Фёдор Николаевич вместе с М. Ф. Орловым и А. Н. Муравьёвым основал «Союз благоденствия северных рыцарей». Именно тогда в его памятной книжке появились правила, которых он намеревался придерживаться: «Порицать Аракчеева и Долгорукова, военные поселения, рабство и палки, леность вельмож, слепую доверенность к правителям, жестокость и неосмотрительность уголовной палаты, крайнюю небрежность полиции при первоначальных следствиях».

Ф. Н. Глинка

В январе 1820 года на квартире Глинки состоялось совещание руководителей «Союза благоденствия». С докладом о формах правления выступил П. И. Пестель. Все присутствовавшие высказались за республику, только хозяин квартиры склонялся к конституционной монархии. Обнаружился и другой важный пункт расхождения Фёдора Николаевича с будущими героями Сенатской площади: он категорически отрицал все формы насилия, в том числе и вооружённое восстание. Вскоре он совсем отошёл от тайного общества.

На 1820-е годы приходится расцвет поэтического творчества Глинки. Широкое признание писательскими кругами литературных заслуг Фёдора Николаевича выразилось в избрании его председателем Вольного общества любителей российской словесности. Членами общества были Рылеев, братья Бестужевы, Гнедич и другие представители литературного олимпа России. Чтобы придать ещё больший вес обществу, многие из его членов начали склонять Глинку к тому, чтобы пригласить в него молодого Пушкина. Фёдор Николаевич категорически отклонил эту мысль. «Овцы густятся в стадо, а лев ходит один», — резонно рассудил он.

Глинка был одним из тех, кто помог смягчить участь молодого барда, навлёкшего гнев русского самодержца своими эпиграммами и политическими ноэлями. На южную ссылку поэта Фёдор Николаевич откликнулся посланием «К Пушкину»:

Судьбы и времени седого

Не бойся, молодой поэт!
Следы исчезнут поколений,
Но жив талант, бессмертен гений!

Александр Сергеевич, до глубины души взволнованный поддержкой старшего собрата по перу, ответил ему замечательным стихотворением, в котором сравнил Фёдора Николаевича с Аристидом[85] и дал ему почётный в демократических кругах титул гражданина:

Когда средь оргий жизни шумной
Меня постигнул остракизм,
Увидел я толпы безумной
Презренный робкий эгоизм,
Без слёз оставил я с досадой
Венки пиров и блеск Афин,
Но голос твой мне был отрадой,
Великодушный гражданин!

Годы, когда страна была потрясена сначала открытым вооружённым выступлением против самодержавия, а затем жестокой расправой с восставшими, оказались самыми выдающимися в поэтической судьбе Глинки. В 1825 году в № 74 «Северной пчелы» появилось его стихотворение «Сон русского на чужбине», часть которого вскоре стала народной песней и сегодня широко известной под названием «Тройка».

В следующем году появился замечательный «Узник», первый вариант которого сложился у Фёдора Николаевича в каземате Петропавловской крепости.

Да, Глинка разделил участь своих друзей по ранним декабристским организациям. Правда, наказание его было значительно более лёгким, чем у многих из них, но всё же и оно оказалось достаточно суровым. Пять лет Фёдор Николаевич провёл в Петрозаводске, где большая часть его времени уходила на чтение казённых бумаг — нарядов, указов, меморий. Оттуда он был вызволен стараниями Пушкина, Жуковского и Гнедича. За этим последовали пять лет жизни под негласным надзором в Твери и Орле, где положение было не намного лучше. В одном из писем этого времени поэт жаловался на то, что совсем не имеет возможности работать над прозаическими произведениями: «Прозы у меня совсем нет! Проза губернского правления съела весь мой досуг».

Основным итогом прошедшего десятилетия стали две поэмы

— «Дева карельских лесов» и «Карелия». Последнюю автор называл произведением лесным, горнокаменным, лесной сиротой. Этим он подчёркивал обособленность поэмы в русской лирике начала 1830-х годов. Фёдор Николаевич боялся, что новые читатели его не поймут, так как уже в это время чувствовал себя человеком, «в котором совсем не отразился настоящий век». Но его опасения оказались напрасными: поэма «Карелия» была хорошо принята как критикой, так и крупнейшими литераторами того времени. Пушкин в заметке, посвящённой поэту, высказал мнение о совершенной особенности его творчества. «Изо всех наших поэтов, — писал Александр Сергеевич, — Глинка, может быть, самый оригинальный».

Не успел Фёдор Николаевич перебраться в Тверь, как возобновились его связи с петербургскими и московскими литераторами. Дельвиг писал ему по этому поводу: «Кто не ездит в Москву из Петербурга и обратно? Кто из добрых людей не посмотрит на вас и не привезёт к нам об вас весточки?»

12 августа у Глинки побывали Пушкин и Вяземский. Поводом для этого визита был архив Ходаковского, который они считали «золотым рудником». В 1826 году его заполучил Н. А. Полевой и за пять лет не опубликовал ни одной бумажки. Это вызывало беспокойство, и гости «умоляли Глинку одной строкой уполномочить их на отнятие у Полевого» (через вдову Ходаковского) «сокровища».

Зная о прошлой близости учёного и Фёдора Николаевича, гости рассчитывали на содействие последнего. И не ошиблись. В 1836 году большая часть архива Ходаковского перешла к историку М. П. Погодину, который тут же начал его публикацию.

Конечно, кроме хлопот о наследии известного этнографа и археолога, были разговоры о литературе, о самом хозяине дома, о его поэме «Карелия» и о его пребывании в ссылке в Олонецкой губернии. Глинка был тронут визитом гения (таковым он считал Пушкина с его лицейских лет) и позднее с благодарностью писал: «Драгоценное посещение Ваше для меня сугубо памятно. Вы утешили меня как почитателя Вашего, давно желавшего Вас видеть и обнять, и в то же время Вы приняли во мне участие, как человек, в котором совсем не отразился настоящий век».

Недоброжелатели, которых у Александра Сергеевича хватало, пытались рассорить его с Глинкой. В ноябре 1831 года Пушкин писал старшему коллеге по перу: «Милостивый государь, Фёдор Николаевич. Мы здесь затеяли в память нашего Дельвига издать последние „Северные цветы“. Изо всех его друзей только Вас да Баратынского не досчитались мы на поэтической тризне, именно тех двух поэтов, с коими, после лицейских его друзей, более всего

был он связан. Мне говорят, будто Вы на меня сердиты. Это не резон: сердце сердцем, а дружба дружбой. Хороши те, которые ссорят нас Бог ведает какими сплетнями. С моей стороны, моим искренним, глубоким уважением к Вам и Вашему прекрасному таланту я перед Вами совершенно чист. Надеюсь ещё на Вашу благосклонность и на Ваши стихи. Может быть, увижу Вас скоро, по крайней мере приятно кончить мне письмо моё сим желанием. Весь Ваш без церемонии А. Пушкин».

Фёдор Николаевич, восторженный почитатель великого поэта, поспешил рассеять его сомнения: «Почтенный и любезнейший Александр Сергеевич! Вчера имел честь получить письмо Ваше от 21 ноября. Весело было мне взглянуть на почерк руки Вашей; спасибо сплетникам за доставленное мне удовольствие читать строки Ваши. Но я долго думал и не мог додуматься, из чего бы можно было вывести, что якобы я на вас сердит?!.. Смею уверить, что я Вас любил, люблю и (сколько за будущее ручаться можно) любить не перестану! Многие любят Ваш талант; я любил и люблю в Вас — всего Вас…»

Без преувеличения можно сказать, что Глинка взирал на младшего коллегу по литературе с колен, трепетно относился к нему не только как к гениальному поэту, но и просто как к человеку. Сильнейшим потрясением для него была гибель Пушкина. Но Фёдор Николаевич, человек сильной воли, быстро взял себя в руки. Итогом его переживаний и горьких раздумий стало стихотворение «Воспоминания о пиитической жизни Пушкина», которое он называл беглым очерком бытия поэта. Действительно, стихотворение состоит из девяти строф, в каждой освещается какой-либо эпизод из творческой биографии Пушкина:

Я помню: в детские он лета
Уж с музой важною играл.
И отрок с думою поэта
Науку песен заучал.

Ещё мне памятней те лета,
Та радость русския земли,
Когда к нам юношу-поэта
Камены[86] за руку ввели,
И он, наш вещий, про Руслана,
Про старину заговорил…

Палатной[87] жизни с тесной рамой
Поэт душою был не в лад

И в ней смешное эпиграммой
Хлестал и метко, и впопад!
А между тем на лак паркета
Со всей воздушностью поэта
И сам с толпою поспешал,
Но в блеске пышности и неги
Уж в голове его «Онегин»,
Как плод под бурей, созревал,
А рок его подстерегал!..

Старинный блеск жилища хана
Затмил он блеском юных дум:
Бахчисарайского фонтана
Не смолкнет долго, долго шум!

Вдруг слышишь в тишине ночной,
За чащей свежего бурьяна,
Трещат огни кругом кургана.
Друзья, то старого цыгана
Кочует пёстрая семья…

Наш Чайльд Гарольд, любя Тавриду,
В волнах зелёных из-за скал
Подстерегал нам Нереиду[88],
А рок его подстерегал!..
И вот от бурь остепенённый
По сделке с жизнью мировой
Поэт, отец и муж почтенный,
Он мог бы задремать душой.

Но яд уж пьёт одна стрела,
Расставшись с гибельным колчаном,
Её таинственно взяла
Рука, обвитая туманом.
Как многого за дань похвал
В его полуденные лета
От бытописца и поэта
Ещё край Русский ожидал!!!
Но рок его подстерегал!

И подстерёг творца «Полтавы»
Сей рок враждебный, рок лукавый!..
Ах, сколько дара, сколько славы
Взяла минута тут одна!

Мы смотрим, всё глазам не веря,
Ужель народная потеря
Так неизбежна, так верна?!
Ужель ни искренность привета,
Ни светлый взор царя-отца
Не воскресят для нас поэта? —
Теперь не лавры для венца,
Несите кроткую молитву.
Друзья! Он кончил с жизнью битву;
Едва ль о жизни воздохнув,
Сжал руку дружбы… И, уснув
Каким-то сном отрадно-сладким,
Теперь он там, чтоб снова быть:
Былые здесь ему загадки
Там разгадают, может быть!..

Могила свежая холмится
Под лёгкой ледяной корой,
Ночного месяца игрой
Хрусталь холодный серебрится,
И строй воздушный бардов мчится,
Теней и звуков высь полна…
Но что там ярче, чем луна,
Вершину холма осветило?
То песнь поэта!.. То она
Горит над раннею могилой!
Не плачь, растерзанный отец!
Он лишь сменил существованье:
Не умирая, как преданье
Живут поэты для сердец! —
Как ни свята тоски причина,
Не сетуй за такого сына —
Он для России не умрёт!
Теперь уж рок из вероломства
Пяты Ахилла не стрежёт:
В защитной области потомства
Поэт бессмертен — и живёт!

Шесть из девяти строф стихотворения заканчиваются рефреном «а рок его подстерегал». Многие в литературной среде сопоставляли это настойчивое повторение с прогремевшими на всю страну строками М. Ю. Лермонтова «А вы, надменные потомки». Это было прямое обвинение в случившемся царского

окружения.

Для Глинки пора горячей молодости давно миновала. Заключение, ссылка и постоянный надзор Третьего отделения сделали его более осторожным и осмотрительным. Тем не менее рефрен стихотворения — это тоже обвинение власть предержащую, правда, скрытое. Но его поняли и оценили — эзоповым языком тогда владели многие. «Воспоминание о пиитической жизни Пушкина» — посильный вклад Фёдора Николаевича в сокровищницу благодарной памяти народа о своём сыне и великом гражданине России.

…В 1835 году Глинка получил возможность поселиться в Москве. Жил он на Большой Спасской улице, вблизи Сухаревой башни. Его маленький домик в пять окон по фасаду был местом встреч многих московских литераторов. В нём он написал «Очерки Бородинского сражения». В. Г. Белинский высоко оценил их и говорил, что стыдно не читать эту книгу, которая достойна называться народной.

Под влиянием собственных воспоминаний Фёдор Николаевич тогда же написал большое стихотворение «1812 год», в котором дал образное описание Бородинской битвы:

На Бородинские вершины
Седой орёл с детьми засел,
И там схватились исполины,
И воздух рделся и горел.
Кто вам опишет эту сечу,
Тот гром орудий, стон долин? —
Со всей Европы эту встречу
Мог русский выдержать один!

В старой столице поэт встретил её 700-летие, на которое откликнулся стихотворением «Москва», прозвучавшим в те дни гимном древнему городу. С нескрываемой гордостью за его славное прошлое Глинка спрашивал:

Кто, силач, возьмёт в охапку
Холм Кремля-богатыря?
Кто собьёт златую шапку
У Ивана-звонаря?..
Кто Царь-колокол подымет?
Кто Царь-пушку повернёт?
Шляпы кто, гордец, не снимет
У святых в Кремле ворот?!

В 1861 году в России было отменено крепостное право, страна вступила в новую стадию своего развития. Глинка не принял тех «лекарств», которые ориентировали на «хороший» капитализм и экономические достижения Европы, инстинктивно почувствовав античеловеческую сущность господства капитала, денег, бездуховность буржуазного общества:

Умней Европа — я не спорю!
Но на добро ли этот ум?!
Идёт с умом от горя к горю,
А в результате только шум…

Ей быт земной дороже неба!
Торговля — вот её потреба;
Ей биржа храм! Сама ж без хлеба
И при уме — кругом в долгу!

Фёдору Николаевичу было в то время 75 лет, возраст более чем старческий для середины XIX столетия. Но Глинка был здоров, бодр, подвижен. На вопрос о возрасте обычно отвечал: «Бог создал время, а люди выдумали годы».

Но, конечно, старый поэт понимал приближение неотвратимого. Это не пугало его, а становилось новой темой для раздумий и осмысления:

Уж медленней вертится колесо
И скоро довертится;
Уж перья врозь летят из крыл часов,
Пора остановиться!

Правда, до этого оказалось ещё довольно далеко — почти 20 лет. И хотя Глинка отошёл от большой литературы, но активно участвовал в общественной и культурной жизни Твери, куда окончательно перебрался. Он занимался историей края, способствовал организации в городе музея, много времени и сил отдавал благотворительности, посещал все вечера. Современник отмечал:

— У подъезда почти всех собраний видна была его карета; сам он небольшого роста, тщедушный, черноволосый, всегда во фраке и во всех орденах, присутствовал и на собраниях, и на вечерах, и званых обедах, и на пикниках, и на станции железной дороги.

Фёдор Николаевич продолжал писать, но уже ничего не

печатал. Он размышлял о новом для него времени и новых людях. Оставил после себя много нелестных и верных записей об обнищании народа, алчности и беспринципности новых богачей, их бездушии.

Умер Ф. Н. Глинка в феврале 1880 года, почти в возрасте 94 лет. Похоронили его как героя Отечественной войны — с воинскими почестями. Для Твери это было событие. К сожалению, оно не переросло местные рамки.

Литературная судьба Глинки оказалась нелёгкой. Он был забыт как поэт уже при жизни. Дореволюционные историки литературы вспоминали о нём между строк, мимоходом — как об эпигоне Жуковского, мистике и филантропе.

Не сразу пришёл поэт и к современному читателю. Но в грозные годы Великой Отечественной проза Глинки стала оружием советских бойцов и командиров. Именно тогда в «Библиотеке офицера» вышли выдержки из «Писем русского офицера» и «Очерков Бородинского сражения». Вскоре после окончания войны появился сборник его избранных произведений. С тех пор литературное наследие Глинки вновь стало достоянием народа. Интерес к творчеству «витязя добра и чести», как называл его Яков Толстой, неуклонно рос.

Первый ратник. С. Н. Глинка (1775–1847) родился в многодетной дворянской семье. Семи лет был отдал в Сухопутный кадетский корпус, по окончании которого служил в Москве. В 1800 году в чине майора вышел в отставку.

В начале XIX столетия Сергей Николаевич снискал широкую литературную известность. На его журнал «Русский вестник» были подписаны все члены великосветского «Английского клуба». Его пьесы с большим успехом шли на сцене Большого театра. Н. А. Полевой вспоминал:

— Когда давали пьесу «Минин», зрители хлопали с восторгом каждому стиху, имевшему отношение к тому, что происходило в великом театре отечественной брани. Когда Минин восклицал «Бог сил! Предшествуй нам, правь нашими рядами! Дай нам всем умереть Отечества сынам!», стены потрясались от «ура» и рукоплесканий.

Огромной популярностью пользовался журнал Сергея Николаевича, выходивший немалым для того времени тиражом (до 700 экземпляров).

— По всей России, особенно в провинциях, читали его с жадностью и верою, — вспоминал Вяземский. — Одно заглавие его было уже знамя. В то время властолюбие и победа Наполеона, постепенно порабощая Европу, грозили независимости всех

государств. Перо Глинки первое на Руси начало перестреливаться с неприятелем. Он не заключал перемирия даже и в те роздыхи, когда русские штыки отмыкались, уступая силе обстоятельств и выжидая нового вызова к действию.

Сергей Николаевич был на удивление плодовитым писателем. В начале 1840-х годов в служебной записке, в разделе «Печатные труды», он отмечал: «Не стану здесь напоминать всех чернильных моих грехов». И тем не менее насчитал таковых 130.

— А много ли листов отделит от них потомство? — резонно спрашивал себя Глинка. И отвечал:

— Не знаю. Покойный А. Ф. Воейков сказал мне однажды, что из всех его «многоплодных сочинений выкроится маленькая книжечка». Если и это сбудется, то будет для меня пальмою бессмертною. На моём веку сколько поколений книг пали в Лету не с шумом, но безмолвно.

Писатель до самозабвения любил литературу, творческий труд, поэтому с готовностью брался за любую работу в этой области.

— Хотя и сказано, что надежда — неразлучная спутница человека, но я всегда начинал и принимался за труд безнадёжно, был бы только труд. А я без всякой запасной мысли, шагая изо дня в день, высматривал только, откуда блеснёт луч чернильной работы и, если угодно, даже и подёнщины.

К 25-летию Отечественной войны 1812 года Сергей Николаевич выпустил две книги, связанные с этой героической эпохой: «Записки о 1812 годе Сергея Глинки, первого ратника Московского ополчения» и «Записки о Москве и о заграничных происшествиях от исхода 1812 до половины 1813 года». Основная мысль первой книги состоит в том, что не усилия правительства, а единодушный и повсеместный отпор народных масс был причиною разгрома Наполеона; войну вёл и довёл до победы народ. Среди подписчиков на «Записки о 1812 годе…» были А. И Михайловский-Данилевский, В. А. Жуковский, П. А. Вяземский, М. Ю. Виельгорский, Н. М. Карамзин, Н. И. Греч, А. С. Пушкин, митрополит Филарет, И. В. Киреевский, Н. А. Полевой, А. П. Краевский, И. Н. Скобелев.

«Записки о 1812 годе…» начинаются со следующего пассажа: «В достопамятный и бурный 1812 год жил я в переулке Тишинке близ Драгомиловского моста. 11 июля на ранней заре утренней разбудил меня внезапный приход хозяйки дома. Едва вышел я к ней, она со слезами вскричала: „Мы пропали! Мы пропали!“ — и подала мне печатный лист. То было воззвание к первопрестольной столице Москве от 6-ого июля из Полоцка».

Манифест «Первопрестольной столице нашей Москве»

гласил: «Неприятель вошёл с великими силами в пределы России. Он идёт разорять любезное наше Отечество. Хотя пылающее мужеством ополчённое российское воинство готово встретить и низложить дерзость его и зломыслие, однако же по отеческому сердолюбию и попечению нашему о всех верных наших подданных не можем мы оставить без предварения их о сей угрожающей им опасности. Да не возникнет из неосторожности нашей преимущество врагу. Того ради, имея в намерении для дальнейшей обороны собрать новые внутренние силы, наипервее обращаемся мы к древней столице предков наших — Москве.

Никогда не настояло в том вящей надобности, как ныне. Спасение веры, престола, царства того требует. Итак, да распространится в сердцах знаменитого дворянства нашего и во всех прочих сословиях дух той праведной брани, какую благословляют Бог и православная наша Церковь. Да составит и ныне сие общее рвение и усердие новые силы и да умножатся оные, начиная с Москвы, по всей обширной России!» (61, 105–106)

Прочитав царский манифест, Глинка помчался к генерал-губернатору Москвы графу Ф. В. Ростопчину, которому просил вручить следующую записку: «Хотя у меня нигде нет поместья, хотя у меня нет в Москве никакой недвижной собственности и хотя я не уроженец московский, но где кого застала опасность Отечества, тот там и должен стать под хоругви отечественные. Обрекаю себя в ратники Московского ополчения и на алтарь Отечества возлагаю на 300 рублей серебра».

Большое впечатление произвела на современников речь, произнесённая Сергеем Николаевичем 18 июля в Дворянском собрании Москвы. Александр I наградил Глинку орденом Святого Владимира IV степени, освободил его журнал от цензуры и поручил больше общаться с народными массами, призывать простых людей «на всё полезное для Отечества», оживлять души граждан, успокаивать умы, предостерегать всех от робости перед врагами, на чём Сергей Николаевич весьма преуспел.

Словом, Глинке было о чём рассказать потомкам: «Русский полководец поле битвы Бородинской назвал „местом гладким“. Тут ни холмы, ни вершины гор не заслоняли полков сопротивников; все смотрели в лицо друг друга и в лицо смерти! Тут негде и некогда было действовать ни хитростям, ни увёрткам военным; тут была борьба открытая; тут шумел дождь ядер и картечей убийственных. Тут был пир смерти!»

«Записки…» Глинки вышли в канун 25-й годовщины описываемых в них событий, о которых Сергей Николаевич с душевным надрывом говорил:

— Для меня продолжается ещё 1812 год. Спасение Отечества успокоило моё сердце, но я отжил для радостей земных. Двадцать четыре года далёк я от всех увеселений общественных. Не порицаю их и не положил я на себя зарока. Но с 1812 года скольких не стало друзей моих юных, весенних дней! Напоминание о них, напоминание о бедствиях человечества и до могилы часто сводит меня в могилу. Не ропщу на провидение. Для меня глубокая скорбь душевная — вестница новой жизни. Мир праху народам нашествия 1812 года! Мир! И да будут равнины Бородинские примирением человечества европейского! (96, 468)

Во второй половине 1820-х годов Глинка возглавлял Московский цензурный комитет. В одном из журналов был помещён нелестный отзыв о нём как писателе: «не писатель, а ремесленник». Один из подчинённых Сергея Николаевича, цензор Мерзляков, сказал, что не пропустит этого выражения. «Пропустите, — добродушно заметил Глинка, — прибавьте только: ремесленник Сергей Глинка, ибо у нас есть писатель Фёдор Николаевич Глинка».

Кстати, заявление это требовало не только высочайшей взыскательности к себе и любви к младшему брату, но и гражданского мужества: Фёдор Николаевич находился в это время в ссылке за причастность к делу декабристов.

На ниве цензорских забот Глинка познакомился с Пушкиным. Связано это было с тем, что он пропустил в печать два памфлета, один из которых был направлен против поэта (Н. А. Толстой «Утро в кабинете знатного барина»). Сергея Николаевича отстранили от должности, а Александр Сергеевич попытался заступиться за него и в статье «Отрывок из литературных летописей» весьма доброжелательно отозвался о нём: «Пылкость и неустрашимость его духа обнаружились в его речах, письмах и деловых записках. Он увлёк сердца красноречием сердца, и вопреки чувствам уважения и преданности, глубоко питаемым нами к почтенному профессору[89], мы желали победы храброму его противнику» (7, 91).

Глинка посвятил Пушкину несколько стихотворений и критическую статью «Разговор о Борисе Годунове А. С. Пушкина». 21 августа 1830 года Сергей Николаевич встретился с поэтом, будучи в гостях у П. А. Вяземского, а 10 апреля следующего года посетил Пушкина и его супругу в их доме (Арбат, 53). Там он написал экспромт «Пушкину и Пушкиной»:

Того не должно отлагать,
Что сердцу сладостно сказать.

Поэт! Обнявшись с красотою,
С ней слившись навсегда душою,
Живи, твори, пари, летай!..
Орфей, природу оживляй
И Байрона перуном грозным
Над сердцем торжествуй морозным.
Теперь ты вдвое вдохновлён;
В тебе и в ней всё вдохновенье.
Что ж будет новое творенье —
Покажешь: ты дивить рождён!

Позднее Глинка прочёл Пушкину экспромт «Странного света ты живописец», содержавший критику романа «Евгений Онегин» как летописи «модных бесцветных, безжизненных дней». В последние месяцы жизни поэта Сергей Николаевич вёл с ним переговоры о публикации «Записок о 1812 годе…». Для престарелого писателя наступила пора воспоминаний о самом значительном событии его жизни: «Дивные три года — 1812-й, 1813-й, 1814-й и половина 1815-го не одному принадлежат народу. Провидение послало их в урок всему человечеству, в событиях их высказался весь мир исторический в объёме обширнейшем не для одного настоящего, но и для всех веков».

Продолжением воспоминаний об Отечественной войне 1812 года стали «Записки о Москве и заграничных происшествиях от исхода 1812 до половины 1813 года» и следом… забвение при жизни. Поэтому, когда Сергей Николаевич скончался, П. А. Вяземский писал о нём в такой форме: «Недавно жил среди нас русский писатель, который во время оно проливал слёзы, слушая „Семиру“ Сумарокова, и смеялся вчера, слушая „Ревизора“ Гоголя. Он был современником и учеником Княжнина и одним из литературных сподвижников в эпоху Карамзина. Он беседовал с Пушкиным и многими годами пережил его. Он известен с 1784 года и кончил своё земное и литературное поприще в 1847 году. Во всё течение этих долгих годов он был преимущественно, беспрерывно и почти исключительно писателем и более ничего. В продолжение этого, свыше пятидесятилетнего периода писатель сей с добросовестною и неутомимую деятельностью по мере сил и способностей своих служил и содействовал общей пользе. Писатель сей — Сергей Николаевич Глинка» (96, 334).

«Недаром — нет! — промчалась четверть века!»

Слава России. В начале апреля 1833 года Пушкин писал: «До сих пор поход Наполеона затемняет и заглушает всё». И этому очень способствовало польское восстание, осложнившее внешнеполитическое положение России. Угроза новой европейской войны, наподобие той, что пришлось пережить в начале века, всколыхнула воспоминания о нашествии «двунадесяти языцах» и стойко держалась в общественном сознании все 1830-е годы.

Аналогии с 1812 годом основывались на условиях общественной жизни этого времени. На фоне растущей реакции, пресечения любых ростков свободной мысли, гражданской самодеятельности и торжества полицейско-бюрократического всевластия в умах всех, кто так или иначе был затронут деспотизмом Николая I, Отечественная война представлялась легендарной, эпической порой русской истории, временем раскрытия ярких, независимых характеров, подъёма духовных сил народа и нравственного раскрепощения общества. Белинский верно почувствовал «тоску по жизни» и активному действию поколения 1830-х годов, его зависть к великому прошлому, полному славы и великих дел.

В этом и таилась глубинная подоснова пристального интереса к Отечественной войне. Интерес этот всячески поддерживался для укрепления тезиса о патриархальной природе российского самодержавия, которое покоится на безграничной преданности крестьян помещикам, а всего народа — верховной монархической власти, которая отечески печётся о своих подданных. В сочетании с их врождённым благочестием это якобы составляло исконно самобытные основы государственной жизни России, её исторического значения и первенствующего положения в современном мире в противовес Западу, раздираемому смутами.

Триумфальная арка в Москве

Народная война с захватчиками подавалась в пропаганде как результат царских призывов и верноподданнических настроений крестьян, как убедительное подтверждение жизненности идеи единения народа с монархом. При этом успехи в борьбе с Наполеоном связывались с именем Александра I, фигура которого заслоняла полководцев Отечественной войны. И дело здесь было не только в прославлении Агамемнона XIX столетия, а в том, чтобы лишний раз подчеркнуть значение монархического начала как единственно возможного условия государственного и национального существования России. Не проходило года, чтобы власть не напоминала об этом впечатляющим действом.

В 1832 году по инициативе Николая I в Москве возобновилось строительство храма Христа Спасителя — самого грандиозного памятника в ознаменование победы над Наполеоном. Царь сам составил рескрипт по этому поводу, сам выбрал новое место для храма — напротив Кремля, что подчёркивало национально-монархическую идею будущего сооружения.

30 августа 1834 года, в день тезоименитства Александра I, на Дворцовой площади Петербурга в пышной обстановке и с военным парадом, предводительствуемым лично царём, состоялось открытие Александровской колонны. Её воздвигнули, чтобы отметить роль этого самодержца в войнах с Наполеоном, особенно в Отечественной войне 1812 года. Александру I стали прямо приписывать ведущее место в этих событиях. Бенкендорф говорил:

— Россия и Европа стяжали столь блестящий успех благодаря лишь непоколебимой твёрдости покойного Александра I.

В том же году в Москве и Петербурге были возведены Триумфальные ворота. В столице их построили у Нарвской заставы по проекту архитектора В. П. Стасова. Открытие ворот состоялось 17 августа, в день 21-й годовщины сражения при Кульме. В Москве Триумфальные ворота возвели у Тверской заставы. Автором их проекта был архитектор О. И Бове, создавший яркий, выразительный образ непокорённой Москвы, восставшей «из пепла и развалин», как говорилось в одной из надписей на арке. Открытие этих ворот было приурочено к 22-й годовщине освобождения старой столицы от иноземных захватчиков.

В августе — сентябре 1835 года в Калише проходила встреча трёх монархов — российского, прусского и австрийского. Это свидание, по выражению Бенкендорфа, сопровождалось «блеском военных торжеств, достойных воспоминаний совокупных побед 1813 и 1814 годов» — манёврами русских и прусских войск, символизировавшими их единство в борьбе с наполеоновской Францией. Одновременно был заложен памятник русской гвардии, участвовавшей в Кульмском сражении.

В ноябре — декабре этого же года в прессе появилось известие о высочайшем повелении «воздвигнуть монументы на главнейших полях сражений вечно достопамятного 1812 года». Был объявлен публичный конкурс на них.

В августе 1837 года, по случаю 25-летия Отечественной войны, на юге России, близ Вознесенска, при скоплении огромных масс войск, в присутствии царской семьи, высшего генералитета и дипломатов прошли демонстративные манёвры, которые должны были напомнить Европе о силе русской армии и её традициях. Тогда же в Петербурге у Казанского собора были открыты памятники М. И. Кутузову и М. Б. Барклаю де Толли. Макеты памятников видел Пушкин. Их автором был скульптор Б. И. Орловский. 25 марта 1836 года Александр Сергеевич посетил его мастерскую, о чём поведал потомкам в стихотворении «Художнику»:

> Грустен и весел вхожу, ваятель, в твою мастерскую:
> Гипсу ты мысли даёшь, мрамор послушен тебе:
> Сколько богов и богинь, и героев!.. Вот Зевс громовержец,
> Вот исподлобья глядит, дуя в цевницу, сатир.
> Здесь зачинатель Барклай, а здесь — совершитель Кутузов.
> Тут Аполлон — идеал, там Ниобея — печаль…

Когда Пушкин был у Орловского, работа над памятниками подходила к концу. Оба фельдмаршала были представлены во весь рост. Военная форма, генеральские плащи, ниспадающие с плеч и словно переходящие в полотнища поверженных французских знамён у основания статуй, — всё придаёт образам значительность и монументальность. Пластическими средствами Орловскому удалось передать суровый наступательный порыв, который современники связывали с личностью Кутузова, и глубокую внутреннюю сосредоточенность Барклая де Толли. Слегка склонённая вниз голова Михаила Богдановича, бессильно упавшая рука, небрежный жест другой руки, держащей маршальский жезл, — всё несёт отпечаток трагедии сильной и мыслящей личности, непонятой современниками.

Очевидность противопоставления скульптором образов двух полководцев чутко уловил великий поэт, бросив крылатую фразу: «Здесь — зачинатель Барклай, а здесь — совершитель Кутузов».

…В 1830-х годах духовная жизнь русского общества была наполнена реминисценциями 1812 года; события наполеоновских войн выдвинулись на одно из первых мест в исторических интересах современников. «Всё, что рассказывается о незабвенном 1812 годе, слушается с жадностью; всё, что печатается о великих светозарных его событиях, читается с жадностью», — писали «Литературные прибавления» к «Русскому инвалиду». (1836, № 97, с. 778)

Эти события все 1830-е годы не сходили со страниц множества изданий разной идейно-политической ориентации и освещались с такой остротой, с какой о них писалось в период самой войны. Публицистические размышления, «военные анекдоты», заметки о ярких эпизодах боевой жизни, объявления о выходящих книгах, рецензии почти на всё публикуемое в России о наполеоновских войнах, — вот далеко не полный перечень откликов печати.

Заметно расширилась публикация военно-исторических трудов, авторами которых были участники Отечественной войны. Впервые на русском языке издаётся стратегический разбор кампании 1812 года Н. Окунева. Вторым изданием выходит «История нашествия императора Наполеона» Д. П. Бутурлина. Выпускается четырёхтомник А. И. Михайловского-Данилевского «Описание Отечественной войны в 1812 году».

Фактором общественной жизни 1830-х годов стала мемуарная литература. Из мемуарных памятников этих лет выделяются записки Н. А. Дуровой и С. Н. Глинки, воспоминания А. И. Михайловского-Данилевского; такие крупные работы, как «Походные записки артиллериста» И. Т. Радожицкого, «Дневник

партизанских действий» Д. В. Давыдова, записки В. С. Норова и А. С. Шишкова, «Очерки Бородинского сражения» Ф. Н. Глинки. Автор исследования «1812 год и русская мемуаристика» А. Г. Тартаковский полагал, что «без всякой боязни в преувеличение можно сказать, что 1830-е годы, подобно первому послевоенному десятилетию, были временем расцвета мемуарной литературы об этой эпохе» (84, 213).

В 1830-х годах вышли первые исторические романы, посвящённые славной эпохе: «Рославлев» М. Н. Загоскина, «П. И. Выжигин» Ф. В. Булгарина, «Леонид, или Черты из жизни Наполеона» Р. И. Зотова. В периодике печатались небольшие повести и рассказы, стихотворения и поэмы. На поэтическом поприще (впрочем, не только на нём) выделялся А. С. Пушкин.

22 июня 1831 года Александр Сергеевич начал работу над романом «Рославлев». Одной из главных его проблем стала идея патриотизма. Своё понимание этой данности Пушкин противопоставил трескучему шовинизму Загоскина.

12 августа 1832 года Александр Сергеевич записал «анекдот» об одном эпизоде событий 18 брюмера — государственного переворота, совершённого Наполеоном 9–10 ноября 1799 года. На обеде у графа И. Пушкина чрезвычайный посланник Испании в России дон Хуан Мигуэль Паэс де ла Кадена рассказал Пушкину следующее: «Узнав за несколько дней, что готовилось что-то серьёзное, он прибыл в Сен-Клу и отправился в залу Пятисот. Он видел, как Наполеон поднял руку, требуя слова, он слышал его бессвязные слова, он видел, как Дестрем и Брио схватили его за шиворот и трясли его. Бонапарт был бледен („от гнева“, отмечает Паэс). Когда он вышел и обратился с речью к гренадерам, он нашёл их холодными и мало расположенными оказать ему поддержку. По совету Талейрана и Сийеса, которые находились здесь же, один офицер пошёл и сказал что-то на ухо председателю Люсьену. Последний воскликнул: „Вы хотите, чтобы я привлёк к ответственности моего брата?“… Не в том было дело. Среди общего шума члены Совета Пятисот требовали, чтобы генерал принёс извинения собранию. Ещё не знали о его намерениях, но бессознательно чувствовали противозаконность его поведения» (8, 578).

До разговора с испанским посланником Александр Сергеевич познакомился с десятитомником «Мемуары Буриенна» личного секретаря Наполеона. То есть о государственном перевороте 18 брюмера (и о многом другом) он хорошо знал, но ему было интересно услышать о событиях недавнего прошлого из уст очевидца, особенно о таком, которое стало началом возвышения Наполеона[90].

Пушкин хорошо знал время, которое вошло в историю как эпоха Наполеона, особенно — события 1812 года. Характерен следующий случай. Как-то Н. Н. Раевский-младший привёл к Александру Сергеевичу своего приятеля, который жаждал поговорить с поэтом об Отечественной войне 1812 года. То есть сам Николай Николаевич, человек военный и участник этой войны, любопытство приятеля удовлетворить не смог.

Пушкин трепетно относился к священному для русских году. Одному из героев его — А. П. Ермолову он писал: «Обращаюсь к Вашему высокопревосходительству с просьбою о деле для меня важном. Знаю, что Вы неохотно решитесь её исполнить. Но Ваша слава принадлежит России, и Вы не вправе её утаивать. Если в праздные часы занялись Вы славными воспоминаниями и составили записки о своих войнах, то прошу Вас удостоить меня чести быть Вашим издателем. Если ж Ваше равнодушие не допустило Вас сие исполнить, то я прошу Вас дозволить мне быть Вашим историком, даровать мне краткие необходимейшие сведения» (10, 430).

Алексей Петрович воспоминания писал, но «не для печати». Тем не менее по рукам ходило три варианта его «Записок», весьма интересных, но во многом противоречивших официальной точке зрения на события Отечественной войны и задевавших отдельные личности. Ермолов засвидетельствовал готовность царя осенью 1811 года первым напасть на Наполеона. Бородино не было победой русской армии: «Неприятель одержал победу, не соответствующую его ожиданиям… После сражения при Бородине осталось одно наименование 2-й армии: войска присоединены к 1-й армии» (39, 197).

Москву сожгли сами русские, при этом в городе были оставлены более 22 тысяч раненых, которые большей частью сгорели. Весьма далёк был и образ Кутузова от сусального портрета, созданного отечественной историографией: «Прежняя предприимчивость, многократными опытами оправданная, дала место робкой осторожности. Легко неискусною лестию могли достигнуть его доверенности, столько же легко лишиться её действием сторонних внушений! Люди приближенные, короче изучившие его характер, могут даже направлять его волю. Отчего нередко происходило, что предприятия при самом начале их или уже проводимые в исполнение уничтожались новыми распоряжениями. Между окружавшими его, не свидетельствующими собою строгой разборчивости Кутузова, были лица с весьма посредственными способностями, но хитростию и происками делались надобными и получали значение. Интриги были бесконечные: пролазы возвышались

быстро, полного их падения не замечаемо было» (39, 214).

Словом, у Ермолова были немалые основания, чтобы не спешить с публикацией своих «Записок…». Впервые они вышли в свет только в начале 1860-х годов, но сразу в пяти изданиях и двух редакциях. Это было уже время либеральных реформ Александра II.

«Черногорцы? Что такое?» 19 октября 1836 года Пушкин призывал однокашников по лицею:

Припомните, о други, с той поры,
Когда наш круг судьба соединила,
Чему, чему свидетели мы были!

За четверть века (со дня поступления подростка Саши в привилегированное учебное заведение) в мире произошла масса знаменательных событий во всех областях человеческой деятельности, но поэта интересовали только те, которые были омыты кровью:

Игралища таинственной игры,
Метался смущённые народы,
И высились и падали цари,
И кровь людей то славы, то свободы,
То гордости багрила алтари.

С кровью, как известно, связаны войны, революции и стихийные бедствия. Пушкина интересовали первые. Правда, в последний период своего творчества войнам и движениям народных масс он уделял мало внимания, так как был погружён в события XVIII столетия: «История Петра», «История Пугачёва», «Капитанская дочка». Период же 1811–1815 годов нашёл отражение только в трёх произведениях поэта: «Бонапарт и черногорцы», «Полководец», «Была пора».

В 1835 году в «Библиотеке для чтения» Пушкин опубликовал 16 стихотворений под общим названием «Песни западных славян». Это была мистификация французского писателя Мериме, который выдал свои произведения за народное творчество. Александр Сергеевич перевёл «Песни…», подвергнув их значительной обработке. К теме данной книги относится только одна из них — «Бонапарт и черногорцы»:

«Черногорцы? что такое? —

Бонапарте вопросил. —
Правда ль, это племя злое,
Не боится наших сил?

Так раскаятся ж нахалы:
Объявить их старшинам,
Чтобы ружья и кинжалы
Все несли к моим ногам».

Наполеон мало что знал о малочисленном, но воинственном народе, обитающем на западе Балканского полуострова. Ещё меньше знали о прославленном воителе весьма далёкие от европейской цивилизации черногорцы. Но они не любили, когда в их полудикие горы вторгались чужаки, и умели дать им достойный отпор:

Идут тесно под скалами.
Вдруг смятение!.. Глядят:
У себя над головами
Красных шапок видят ряд.

«Стой! пали! Пусть каждый сбросит
Черногорца одного.
Здесь пощады враг не просит,
Не щадите ж никого!»

Ружья грянули, упали
Шапки красные с шестов.
Мы под ними ниц лежали,
Притаясь между кустов.

Дружным залпом отвечали
Мы французам. «Это что? —
Удивясь, они сказали. —
Эхо, что ли?» Нет, не то!

Их полковник повалился.
С ним сто двадцать человек.
Весь отряд его смутился,
Кто как мог пустился в бег.

Как видим, Бонапартом в «Песне…», начинающейся с его имени, и не пахнет, не он «герой» вторжения. Но кто послал

французов в их край, черногорцы знали, что и запечатлено в последней строфе «Песни…»:

И французы ненавидят
С той поры наш вольный край
И краснеют, коль завидят
Шапку нашу невзначай.

Сюжет «Песни…» вполне соотносится с действиями наших партизан в период Отечественной войны 1812 года, чем и привлёк внимание поэта.

«Вождь несчастливый». Царь Николай I много сделал для популяризации истории Отечественной войны. Знаковым событием на этом поприще стало открытие 25 декабря 1826 года в Петербурге Военной галереи Зимнего дворца. Оно было приурочено к ежегодному празднованию изгнания иноземных захватчиков из пределов России.

По стенам галереи размещалось 332 погрудных портрета русских генералов. М. И. Кутузов, М. Б. Барклай де Толли, цесаревич Константин Павлович и британский фельдмаршал А. Веллингтон были изображены в рост; Александр I, прусский король Фридрих Вильгельм III и австрийский император Франц I — на лошадях. Автором этих произведений искусства был английский художник Джордж Доу, использовавший в своей работе труд русских художников В. А. Голике и А. В. Полякова.

Пушкин посвятил Военной галерее следующие проникновенные строки:

У русского царя в чертогах есть палата:
Она не золотом, не бархатом богата,
Не в ней алмаз венца хранится за стеклом,
Но сверху донизу, во всю длину, кругом,
Своею кистию свободной и широкой
Её разрисовал художник быстроокий.
Тут нет ни сельских нимф,
ни девственных мадонн,
Ни фавнов с чашами, ни полногрудых жён,
Ни плясок, ни охот, а всё плащи да шпаги,
Да лица, полные воинственной отваги.
Толпою тесною художник поместил
Среди начальников народных наших сил,
Покрытых славою чудесного похода
И вечной памятью двенадцатого года.

Приведённые строки — начало стихотворения «Полководец». Пушкин написал его 7 апреля 1835 года, а опубликовал в третьем томе «Современника» (им этот том открывался). По признанию поэта, он нередко бывал в великолепном зале галереи, внимательно вглядываясь в лица знаменитых военачальников:

И, мнится, слышу их воинственные клики.
Из них уж многих нет, другие, коих лики
Ещё так молоды на ярком полотне,
Уже состарились и никнут в тишине
Главою лавровой.
Но в сей толпе суровой
Один меня влечёт всех больше. С думой новой
Всегда остановлюсь пред ним и не свожу
С него моих очей. Чем долее гляжу,
Тем более томим я грустию тяжёлой.

Чей же это портрет и почему он вызывал у Пушкина особые (в отличие от других) чувства и мысли?

Он писан во весь рост. Чело, как череп голый,
Высоко лоснится, и, мнится, залегла
Там грусть великая. Кругом — густая мгла.
За ним — военный стан. Спокойный и угрюмый,
Он, кажется, глядит с презрительною думой.

Любители истории легко догадаются, что речь идёт о портрете генерал-фельдмаршала М. Б. Барклая де Толли (1757–1818). Михаил Богданович происходил из старинного шотландского дворянского рода, известного с XI столетия и в XVII веке переселившегося в Лифляндию. Службу начал в восемнадцать лет и участвовал во всех войнах, которые вела Россия с последнего десятилетия XVIII столетия.

Не имея связей в высших кругах, по службе Михаил Богданович продвигался медленно: только в 1799 году получил первый генеральский чин. Тем не менее фельдмаршал Н. В. Репнин говорил о нём:

— Меня уже не будет на свете, но пусть вспомянут мои слова: этот генерал много обещает и далеко пойдёт.

Под Прейсиш-Эйлау (1807), командуя арьергардом русской армии, Барклай де Толли задержал главные силы французов во

главе с Наполеоном, о чём доносил: «Во всяком другом случае я бы заблаговременно ретировался, дабы при таком неравенстве в силах не терять весь деташемент (отряд) мой без пользы, но через офицеров, которых посылал я в главную квартиру, осведомился я, что большая часть армии ещё не была собрана, находилась в походе и никакой позиции взято не было. В рассуждении сего я почёл долгом лучше со всем отрядом моим пожертвовать собою столь сильному неприятелю, нежели, ретируясь, привлечь неприятеля за собой и через то подвергнуть всю армию опасности» (49, 7).

На следующий день Барклай де Толли был тяжело ранен и пятнадцать месяцев находился на излечении в Мемеле. Там его посетил царь. Состоялась продолжительная беседа, которая определила последующую карьеру Михаила Богдановича.

В Русско-шведскую войну 1808–1809 годов Барклай де Толли командовал уже корпусом, который по льду перешёл 100-километровый пролив Норра-Кваркен. Это была блестящая операция, способствовавшая успешному развитию дальнейшего хода военных действий, по окончании которых Михаил Богданович был назначен генерал-губернатором Финляндии.

В январе 1810 года новое назначение — военный министр. Барклай де Толли провёл ряд реформ и осуществил ряд мероприятий по подготовке к войне. Было разработано первое в России положение о полевом управлении войсками — «Учреждение для управления Большой действующей армией» и введён новый Устав о пехотной службе.

Отечественную войну Михаил Богданович встретил командующим 1-й Западной армией. Как военный министр, он имел право давать указания командующему 2-й Западной армией П. И. Багратиону. Обе армии отступали. Это возмущало экспансивного грузина, и он с раздражением писал начальнику штаба 1-й армии А. П. Ермолову: «Я не понимаю ваших мудрых манёвров. Мой манёвр — искать и бить. За что вы срамите Россию и армию? Наступайте, ради бога! Ей-богу, неприятель места не найдёт, куда ретироваться. Они боятся нас… Нет, мой милый, я служу моему природному государю, а не Бонапарте. Мы проданы, я вижу, нас ведут на гибель. Наступайте! Ей-богу, оживим войска и шапками их[91] закидаем» (49, 29–30).

В 1-й армии находился старший брат царя Константин Павлович, вокруг которого группировались все недовольные командующим. Чтобы пресечь разномыслие в среде генералитета, Михаил Богданович под благовидным предлогом отослал Константина в Петербург. Взбешенный цесаревич кричал (при свидетелях):

— Немец, изменник, подлец, ты предаёшь Россию!

Отступление не в характере русского человека. Барклая де Толии кляли все — от рядовых солдат до высших офицеров. Его стратегии не понимали и не одобряли. Подозрение вызывала национальность командующего, по поводу его фамилии говорили: «Болтай, да и только» В 100-тысячной массе подчинённых ему людей Михаил Богданович был одинок, и Пушкин прочувствовал это:

О вождь несчастливый!..Суров был жребий твой:
Всё в жертву ты принёс земле тебе чужой.
Непроницаемый для взгляда черни дикой,
В молчанье шёл один ты с мыслею великой,
И в имени твоём звук чуждый не взлюбя,
Своими криками преследуя тебя,
Народ, таинственно спасаемый тобою,
Ругался над твоей священной сединою.
И тот, чей острый ум тебя и постигал,
В угоду им тебя лукаво порицал…
И долго, укреплён могучим убежденьем,
Ты был неколебим пред общим заблужденьем.

М. Б. Барклай де Толли

Ф. Н. Глинка, видевший Михаила Богдановича в это время,

писал в походном дневнике: «Пылают ли окрестности, достаются ли села, города и округи в руки неприятеля, вопиет ли народ, наполняющий леса или великими толпами идущий в дальние края России, его ничто не возмущает, ничто не сильно поколебать твёрдости духа его. Часто бываю волнуем невольными сомнениями: куда идут войска, для чего уступают области и чем, наконец, всё это решится? Но лишь только взглядываю на лицо этого вождя сил российских и вижу его спокойным, светлым, безмятежным, то в ту же минуту стыжусь сам своих сомнений. Нет, думаю я, человек, не имеющий обдуманного плана и верной цели, не может иметь такого присутствия, такой твёрдости духа!..» (42, 29–30).

Царь сам наказывал Михаилу Богдановичу беречь армию, но под давлением недовольных вынужден был пойти на замену главнокомандующего. Барклаю де Толли было предписано «с вверенною вам 1-й армией состоять в точной Кутузова команде». Об этом же уведомил его новый главнокомандующий, на что Михаил Богданович смиренно ответил: «В такой жестокой и необыкновенной войне, от которой зависит сама участь нашего Отечества, всё должно содействовать только одной цели и всё должно получить направление своё от одного источника соединённых сил. Ныне под руководством вашей светлости будем мы стремиться с соединённым усердием к достижению общей цели, да будет спасено Отечество» (18, 195).

Конечно, сдать командование, не реализовав своих планов, не оправдав возлагавшихся на него надежд, было нелегко. Помогало сознание необходимости единения перед лицом нависшей угрозы. Словом, было не до личных обид:

И на полпути был должен наконец
Безмолвно уступить и лавровый венец,
И власть, и замысел, обдуманный глубоко,
И в полковых рядах сокрыться одиноко.
Там устарелый вождь, как ратник молодой,
Искал ты умереть средь сечи боевой.
Вотще!..

Мнение о том, что Михаил Богданович искал смерти, сложилось у современников по наблюдению за ним на Бородинском поле, где он защищал центр и правый фланг. Барклай де Толли лично водил войска в атаку, участвовал в кавалерийской схватке, под ним пали пять лошадей, были убиты два и ранены семь адъютантов из двенадцати.

На совете в Филях Михаил Богданович имел мужество

высказаться за оставление Москвы. «Главная цель заключается не в защите Москвы, а в защите Отечества», — заявил он.

После прихода армии в Тарутино Барклай де Толли подал в отставку. В ожидании оной писал жене: «Готовься к уединённому и скудному образу жизни, продай всё, что ты сочтёшь излишним, но сохрани мою библиотеку, собрание карт и рукописи в моём бюро».

К счастью для полководца, после изгнания захватчиков с территории России до многих наконец-то дошло: а ведь Барклай де Толли был прав, вопреки всему и всем сохраняя армию! Настроение в обществе изменилось, и Михаил Богданович был вновь призван на службу. В конце ноября царь писал ему: «Мне только остаётся сохранить вам возможность доказать России и Европе, что Вы были достойны моего выбора, когда я Вас назначил главнокомандующим. Я предполагал, что Вы будете довольны остаться при армии и заслужить своими воинскими доблестями, что Вы и сделали при Бородине, уважение даже ваших хулителей. Вы бы непременно достигли этой цели, в чём я не имею ни малейшего сомнения, если бы оставались при армии, и потому, питая к Вам неизменное расположение, я с чувством глубокого сожаления узнал о Вашем отъезде. Несмотря на столь угнетавшие Вас неприятности, Вам следовало оставаться, потому что бывают случаи, когда нужно ставить себя выше обстоятельства.

Будучи убеждён, что в целях сохранения своей репутации Вы останетесь при армии, я освободил Вас от должности военного министра, так как было неудобно, чтобы Вы исполняли обязанности министра, когда старший Вас в чине был назначен главнокомандующим той армии, в которой Вы находились. Кроме того, я знаю по опыту, что командовать армиею и быть в то же время военным министром — несовместимо для сил человеческих. Вот, генерал, правдивое изложение событий так, как они происходили в действительности и как я их оценил. Я никогда не забуду существенных услуг, которые Вы оказали Отечеству и мне, и я хочу верить, что Вы окажете ещё более выдающиеся. Хотя настоящие обстоятельства самые для нас благоприятные ввиду положения, в которое поставлен неприятель, но борьба ещё не окончена и Вам поэтому представляется возможность выдвинуть Ваши воинские доблести, которым начинают отдавать справедливость» (18, 233–234).

В 1813 году Барклай де Толли командовал русско-прусскими войсками. За сражение под Кульмом был награждён орденом Святого Георгия 1-го класса, после Лейпцигского сражения возведён в графское Российской империи достоинство, за взятие

Парижа получил чин генерал-фельдмаршала.

И всё это в ознаменование подвигов на поле брани и особых заслуг, оказанных им престолу и Отечеству. То есть деяния Барклая де Толли были признаны и оценены при его жизни.

Поэтому окончание стихотворения Пушкина, которое цитировалось выше, излишне драматизирует действительность:

> Преемник твой стяжал успех, сокрытый
> В голове твоей. А ты, непризнанный, забытый
> Виновник торжества, почил — и в смертный час
> С презреньем, может быть, воспоминал о нас!

Когда стихотворение было опубликовано, на него откликнулся «Критической заметкой» писатель Л. И. Голенищев-Кутузов. В частности, он писал: «Поэт полагает, что генерал Барклай де Толли уступил лавровый венок князю Голенищеву-Кутузову. Сожаления достойно, что наш поэт позволил себе такой совершенно неприличный вымысел».

На заметку Логгина Ивановича, председателя учёного совета Морского министерства и члена Российской академии Пушкин дал обстоятельное «Объяснение» («Современник», 1836, т. IV).

«Одно стихотворение, напечатанное в моём журнале, — писал он, — навлекло на меня обвинение, в котором долгом полагаю оправдаться. Это стихотворение заключает в себе несколько грустных размышлений о заслуженном полководце, который в великий 1812 год прошёл первую половину поприща и взял на свою долю все невзгоды отступления, всю ответственность за неизбежные уроны, предоставляя своему бессмертному преемнику славу отпора, побед и полного торжества. Я не мог подумать, чтобы тут можно было увидеть намерение оскорбить чувство народной гордости и старание унизить священную славу Кутузова, однако ж меня в том обвинили».

Далее, отдав должное спасителю России, Пушкин спрашивал своего оппонента: «Мог ли Барклай де Толли совершить им начатое поприще? Мог ли он остановиться и предложить сражение у курганов Бородина? Мог ли он после ужасной битвы, где равен был неравный спор, отдать Москву Наполеону и стать в бездействии на равнинах Тарутинских?» И так отвечал на эти вопросы: «Один Кутузов мог предложить Бородинское сражение, один Кутузов мог отдать Москву неприятелю, один Кутузов мог оставаться в этом мудром деятельном бездействии, усыпляя Наполеона на пожарище Москвы и выжидая роковой минуты, ибо Кутузов один облечён был в народную доверенность, которую так

чудно он оправдал!

Неужели должны мы быть неблагодарны к заслугам Барклая де Толли, потому что Кутузов велик? Ужели после двадцатипятилетнего безмолвия поэзии не позволено произнести его имени с участием и умилением? Вы упрекаете стихотворца в несправедливости его жалоб, вы говорите, что заслуги Барклая были признаны, оценены, награждены. Так, но кем и когда?.. Конечно, не народом и не в 1812 году.

Минута, когда Барклай принуждён был уступить начальство над войсками, была радостна для России, но тем не менее тяжела для его стоического сердца. Его отступление, которое ныне является ясным и необходимым действием, казалось вовсе не таковым: не только роптал народ ожесточённый и негодующий, но даже опытные воины горько упрекали его и почти в глаза называли изменником.

Барклай, не внушающий доверенности войску, ему подвластному, окружённый враждою, язвимый злоречием, но убеждённый в самого себя, молча идущий к сокровенной цели и уступающий власть, не успев оправдать себя перед глазами России, останется навсегда в истории высоко поэтическим лицом» (7, 483–485).

Кстати. Читатель, конечно, понял, что с М. Б. Барклаем де Толли гениальный поэт не встречался, но он много знал о нём, так как Михаил Богданович был родственником его лицейского друга Вильгельма Кюхельбекера. С раннего отрочества и до конца жизни Пушкин копил впечатления о несчастливом вожде, пока они не вылились в строки литературного шедевра, ставшего крупной вехой в общественно-историческом сознании 1830-х годов; ему удалось наиболее глубоко и совершенно выразить отношение современников к традициям 1812 года.

Изображая Барклая де Толли в возвышенной трагической манере, Пушкин назвал его вождём, спасшим Отечество («народ, таинственно спасаемый тобою»). Это вызвало журнальную полемику не только по оценке Барклая де Толли и Кутузова, но и по истолкованию важнейших социально-политических аспектов истории Отечественной войны в их тесной связи с современностью.

Поправляя Пушкина, реакционный публицист Ф. Булгарин вопрошал: «Кто спас Россию в 1812 году?» И ссылаясь на «историческую аксиому», согласно которой «великие мужи могут совершать великие подвиги только при великих государях», утверждал: «Земные спасители России суть император Александр I и верный ему народ русский. Кутузов и Барклай де

Толли велики величием царя и русского народа; они первые сыны России, знаменитые полководцы, но не спасители России! Россия спасла сама себя упованием на Бога, верностью и доверенностью к своему царю» («Северная пчела», 1837, № 7, 11 января).

В противоположность этим царистским дифирамбам Пушкин наиболее глубоко и совершенно выразил отношение современников к традициям 1812 года. Стихотворение «Полководец» стало значительной вехой общественно-исторического сознания 1830-х годов.

«Была пора». Это стихотворение было написано к 25-й годовщине со дня открытия Царскосельского лицея и прочитано Пушкиным в кругу однокашников 19 октября 1836 года:

А. С. Пушкин

Была пора: наш праздник молодой
Сиял, шумел и розами венчался,
И с песнями бокалов звон мешался,
И тесною сидели мы толпой.
Тогда, душой беспечные невежды,
Мы жили все и легче, и смелей,
Мы пили все за здравие надежды
И юности и всех её затей,
Теперь не то…

Далее следуют строфы, в которых эскизно обрисовываются те изменения в жизни бывших лицеистов, которые произошли за минувшие годы. И наконец — вопрос к собравшимся:

Вы помните, когда возник лицей,
Как царь для нас открыл чертог царицын?
И мы пришли. И встретил нас Куницын
Приветствием меж царственных гостей.
Тогда гроза двенадцатого года
Ещё спала. Ещё Наполеон
Не испытал великого народа,
Ещё грозил и колебался он.

В трёх строчках Пушкин охарактеризовал положение, которое сложилось в отношениях России и Франции накануне Отечественной войны 1812 года: обе стороны знали о её неизбежности и обе готовились к ней. Одно время Александр I даже хотел упредить будущего противника, но Коленкуру, послу Франции, лицемерно говорил:

— Я не обнажу шпагу первым, но я вложу её в ножны не иначе, как последним.

При этом царь не счёл нужным скрывать от посла того, на что он больше всего надеется в возможной войне:

— Если император Наполеон начнёт против меня войну, то возможно и даже вероятно, что он нас побьёт, если мы примем сражение, но это ещё не даст ему мира. Если жребий оружия решит дело против меня, то я скорее отступлю на Камчатку, чем уступлю свои губернии и подпишу в своей столице договоры, которые являются только передышкой. Француз храбр, но долгие лишения и плохой климат утомляют и обескураживают его. За нас будут воевать наш климат и наша зима (50, 54).

Но куда там, успешный воитель не внял открытому предупреждению союзника (пока ещё союзника, разговор с Коленкуром проходил в конце апреля 1811 года). Россию он не считал достойной его меча и планировал, разгромив противника в генеральном сражении, навязать ему мир и сразу пройти в Индию, чтобы свести счёты с Англией, о чём и поведал графу Луи Набонну, отправляя его с очередным предупреждением к Александру I:

— Предположите, что Москва взята, Россия повержена, царь помирился или погиб при каком-нибудь дворцовом заговоре, и скажите мне, разве невозможен тогда доступ к Гангу для армии французов и вспомогательных войск? А Ганга достаточно коснуться французской шпагой, чтобы обрушилось всё здание меркантильного величия Англии (82, 323).

Конечно, это была авантюра (покорить Россию и отхватить у Англии Индию). Началась она 12(24) июня 1812 года, но русские

армии перебрасывались к западной границе с весны:

Вы помните: текла за ратью рать,
Со старшими мы братьями прощались
И в сень наук с досадой возвращались,
Завидуя тому, кто умирать
Шёл мимо нас…

События Отечественной войны Пушкин уложил в три с половиной строки:

И племена сразились,
Русь обняла кичливого врага,
И заревом московским озарились
Его полкам готовые снега.

В этих строчках всё: упоминание о том, что в Россию вторглись не только французы, а представители почти всех народов Западной Европы; интерпретация Бородинского сражения как ничейного по своим результатам (Русь только «обняла» противника, но не задушила его); бесславный конец нашествия, освещаемый пожаром старой столицы и прикрываемый на полях бескрайней империи снегами Севера.

Вы помните, как наш Агамемнон
Из пленного Парижа к нам примчался?
Какой восторг тогда пред ним раздался!
Как был велик, как был прекрасен он,
Народов друг, спаситель их свободы!

О встрече Александра I после возвращения его из Парижа мы говорили в главе, посвящённой лицейским годам жизни Пушкина. Здесь обратим внимание читателей только на окончание приведённой строфы. 5 апреля 1812 года был заключён договор об оборонительном и наступательном союзе между Россией и Швецией. По поводу его царь писал в Стокгольм послу П. К. Сухтелену: «Война неизбежна, но это будет война за независимость всех наций» (86, 145).

За два с половиной месяца до начала Отечественной войны царь намеревался превратить её в войну за освобождение народов Западной Европы от владычества Наполеона. То есть на словах он собирался отступать до Камчатки, а на деле не сомневался в

победе над первым полководцем Европы и триумфальном завершении войны далеко от границ России.

В Стокгольме весьма благожелательно отнеслись к этому намерению российского монарха, и Сухтелен сообщал Александру I, что он «может с оружием в руках вступить в Константинополь, Вену и Варшаву, не опасаясь вмешательства Швеции».

С окончания лицея Пушкин весьма негативно относился к Александру I, но в самые последние годы своей жизни несколько изменил своё мнение о царе:

> И нет его — и Русь оставил он,
> Взнесённу им над миром изумлённым,
> И на скале изгнанником забвенным,
> Всему чужой, угас Наполеон…

Действительно, события 1813–1814 годов, завершившиеся взятием Парижа, необычайно подняли международное значение России. Ещё более оно возросло с созданием «Священного союза», в котором Александр I занял руководящую роль, став де-факто царём царей. Пушкин в своё время осуждал реакционную роль «Союза…» (подавление народных движений) и его фактического главы. Поэтому, говоря о вознесении России «над миром изумлённым», он имел в виду только освобождение Европы от засилья Наполеона.

Свою роль в потеплении отношения поэта к покойному государю сыграло его разочарование в Николае I, на какое-то время заслонившем собой предшественника на российском престоле. Это произошло на фоне общей переоценки исторических ценностей в сторону смягчения былых резких суждений по поводу Александра I. Зато несколько поблекло восхищение его главным противником:

> И на скале изгнанником забвенным
> Всему чужой, угас Наполеон.

«Всему чужой». Выше уже отмечалось, что отверженный император, изнуряемый тяжёлой болезнью и климатом острова Святой Елены, работал до последнего дня своей жизни. И забыт он не был. Наоборот, после его кончины во Франции с каждым годом росли и усиливались бонапартистские настроения, что в конечном счёте кончилось восстановлением на престоле

династии Наполеона, а на первом этапе движения за это — возвращением останков императора в Париж, что произошло вскоре после гибели А. С. Пушкина.

…12 мая 1840 года, когда полусонные депутаты Законодательного собрания Франции начали дискуссию по поводу производства сахара; на трибуну поднялся министр внутренних дел Ремюза.

— Месье, — заявил он, — король приказал Его Королевскому Высочеству монсеньору принцу де Жуанвилю направиться со своим фрегатом к острову Святой Елены, чтобы забрать останки императора Наполеона.

Депутаты от неожиданности оцепенели, а затем разразились аплодисментами. Трудно себе представить более мощный стимул, чтобы взбудоражить общественное мнение Франции (а затем и Европы), чем идею о возвращении тела Наполеона на родину. Через семь месяцев французы встречали прах великого человека, ставшего гордостью страны и завистью мира.

Утром 15 декабря парижские студенты вышли на мост Пон-де-Нейли на манифестацию и запели «Марсельезу» в знак протеста против того, что им не были выделены места в почётном кортеже, шествие которого описал историк Андре Кастело:

«Погребальную колесницу тащили шестнадцать лошадей в попонах с золотым шитьём, их вели лакеи в императорских ливреях. Император в своей легендарной форме полковника кавалерийских стрелков гвардии на погребальной колеснице проезжал под Триумфальной аркой по площади Этуаль. Под звуки траурного марша он ехал по самой красивой в мире улице (на острове Святой Елены император пророчествовал перед своими компаньонами: „Вы ещё услышите в Париже возгласы `Да здравствует император!`“). И толпа, видя, как идут за гробом ветераны, приветствовала их криками, услышав которые на поле битвы противник дрожал от страха: „Да здравствует император!“ Гренадёры, стрелки старой гвардии, драгуны императрицы, уланы в красных мундирах — все проходили перед толпой, выпятив колесом грудь, высоко вскинув голову на этом последнем параде — параде фантомов. И сердца этих уцелевших в сражениях людей колотились в груди, когда они сопровождали своего императора к тому сверкающему на солнце золотому куполу, под которым он обретёт отныне свой вечный покой».

«Современник». В начале января 1836 года Пушкин получил разрешение на издание журнала. В записке, поданной 10 марта в Цензурный комитет, Александр Сергеевич писал: «Журнал под названием „Современник“ выходит каждые три месяца по одному

тому. В нём будут помещаться стихотворения всякого рода, повести, статьи о нравах и тому подобное, оригинальные и переводные критики замечательных книг русских и иностранных, наконец, статьи, касающиеся вообще искусств и наук. Цена за годовое издание — 25 р. асс., а с пересылкою — 30 р. асс.» (7, 518).

Первый номер журнала вышел в начале апреля. Он открывался стихотворением Пушкина «Пир Петра I», в котором проводилась мысль о примирении с виновными (намёк на декабристов):

Нет! Он с подданным мирится,
Виноватому вину
Отпуская, веселится;
Кружку пенит с ним одну
И в чело его целует.
Светел сердцем и лицом;
И прощенье торжествует,
Как победу над врагом.

Из других произведений поэта в номере были трагедия «Скупой рыцарь», очерк «Путешествие в Арзрум» и начало романа «Рославлев». Тема Отечественной войны 1812 года, затронутая в романе, подкреплялась заметкой Н. В. Гоголя «О походных записках артиллериста» И. Т. Радожицкого и его обращением к участникам наполеоновских войн. «Доныне, — писал Николай Васильевич, — если бывший в Париже офицер, уже ветеран, уже во фраке, уже с проседью в голове, станет рассказывать о прошедших походах, то около него собирается любопытный кружок. Но ни один из наших офицеров до сих пор не вздумал записать свои рассказы в той истине и простоте, в которой они изливаются устно. То, что случилось с ними, как с людьми частными, почитают они слишком неважным и очень ошибаются. Их простые рассказы иногда вносят такую черту в историю, какой нигде не дороешься» (84, 212).

Конечно, молодой писатель несколько сгустил краски — к 1836 году вышло уже немало воспоминаний о войнах с Наполеоном. Но его обращение ценно в том отношении, что отражало общий интерес к мемуарам о сравнительно недавней эпохе людских трагедий и славы. Поэтому тема Отечественной войны 1812 года затрагивалась во всех четырёх томах «Современника», выпущенных Пушкиным. Это «Предисловие к запискам Н. А. Дуровой» (№ 2) и фрагмент их, статьи П. А. Вяземского (№ 2) и Д. В. Давыдова (№ 3), стихотворение

Пушкина «Полководец» (№ 3) и информация о выходе записок Дуровой «Кавалерист-девица» (№ 4).

«Рославлев». Работу над романом Пушкин начал 22 июня 1831 года, но скоро прервал её. Главной героиней его Александр Сергеевич сделал девушку. Полина обладает «необыкновенными качествами души и мужественной возвышенностью ума». Она знает наизусть Руссо и зачитывается французской литературой, при этом самозабвенно любит свою страну, переживает за её судьбу.

В начале романа показано высшее московское общество, которое «было довольно гадко»: «Тогдашние умники превозносили Наполеона с фанатическим подобострастием и шутили над нашими неудачами». Но с вторжением неприятеля на территорию России они разом присмирели и как-то вдруг сделались отчаянными радетелями за Отечество: «Москва взволновалась. Гостиные наполнились патриотами: кто высыпал из табакерки французский табак и стал нюхать русский, кто сжёг десяток французских брошюрок, кто отказался от лафита и принялся за кислые щи. Все закаялись говорить по-французски и стали проповедовать народную войну, собираясь на долгих отправиться в саратовские деревни».

Устами Полины поэт называет дворян «светской чернью» и «обезьянами просвещения»: «Тупые лица, тупая важность — и только!» Неожиданный «патриотизм» умников претил Полине, и она демонстративно говорила по-французски, за столом оспаривала «патриотическое» хвастовство, подчёркивая многочисленность наполеоновской армии и военный гений императора. На упрёки в приверженности к врагам России запальчиво отвечала: «Дай бог, чтобы все русские любили своё Отечество, как я его люблю!»

Полина проводила своё время за чтением газет и афишек графа Ф. В. Ростопчина, впрочем, балаганный тон последних раздражал её и казался верхом неприличия. Она часами сидела за картой России, «рассчитывая вёрсты, следуя за быстрыми движениями войск». Наконец, объявила подруге (от лица которой ведётся повествование) о своём решении убить Наполеона.

В романе рассказывается о приезде в старую столицу царя, что вызвало наконец восторг патриотизма и в высшем обществе. Но и тут Пушкин ироничен: «Гостиницы превратились в палаты прений. Повторяли бессмертную речь молодого графа Мамонова, пожертвовавшего всем своим имением.

Некоторые маменьки после того заметили, что граф уже не такой завидный жених…».

Занятие Москвы неприятелем ввергло Полину в чувство безысходности. «Она отчаивалась в спасении Отечества, казалось ей, что Россия быстро приближается к своему падению, всякая реляция усугубляла её безнадёжность…».

Из этого состояния девушку вывел пленный французский офицер Сеникур, поселённый в селе, в котором остановилась семья её подруги по выезду из Москвы. Полина ведёт с умным, просвещённым французом длинные разговоры на военные темы, и тот провидчески предсказывает гибель Великой армии. «Он говорил мало, но речи его были основательны. Полине он понравился тем, что первый мог ясно ей истолковать военные действия и движения войск. Он успокоил её, удостоверив, что отступление русских войск было не бессмысленным побегом и столько же беспокоило французов, как ожесточало русских. „Но вы, — спросила Полина, — разве вы не убеждены в непобедимости вашего императора?..“ Сеникур, несколько помолчав, отвечал, что в его положении откровенность была бы затруднительна. Полина настоятельно требовала ответа.

Сеникур признался, что устремление французских войск в сердце России могло сделаться для них опасно, что поход 1812 года, кажется, кончен, но не представляет ничего решительного. „Кончен! — возразила Полина — А Наполеон всё ещё идёт вперёд, а мы всё ещё отступаем!“ „Тем хуже для нас“, — отвечал Сеникур и заговорил о другом предмете».

В противоположность многим дворянским семьям, бежавшим в губернские города России, семья подруги Полины обосновалась недалеко от старой столицы и могла видеть её гибель. Пожар матушки-Москвы вызвал гнев княгини, с которым она обрушилась на пленного. Это известие ошарашило Сеникура, но, оправившись от неожиданности, он уверенно отвёл обвинение французов в поджоге великого города: «Разве вы не видите, что пожар Москвы есть гибель всему французскому войску, что Наполеону негде, нечем будет держаться, что он принуждён будет скорее отступить сквозь разорённую опустелую сторону при приближении зимы с войском расстроенным и недовольным! И вы могли думать, что французы сами изрыли себе ад! Нет, нет, русские, русские зажгли Москву. Ужасное, варварское великодушие! Теперь всё решено: ваше Отечество вышло из опасности…»

Рассуждения пленного ободрили Полину, и она с воодушевлением воскликнула: «О, мне можно гордиться именем россиянки! Вселенная изумится великой жертве! Теперь и падение наше мне не страшно, честь наша спасена; никогда Европа не осмелится уже бороться с народом, который рубит сам себе руки[92] и жжёт свою столицу».

На этом роман обрывается. Почему? Возможно, Александра Сергеевича смутила близость его предсказания (пусть и устами героини повествования) к действительности начала 1830-х годов. Ведь, когда писалась заключительная фраза романа, Европа была весьма воинственно настроена против России. По-видимому, это обстоятельство и обратило внимание поэта от дня вчерашнего к дням сегодняшним («Клеветникам России», «Бородинской годовщине»).

К работе над романом «Рославлев» Пушкин больше не возвращался. А жаль. Роман, по-видимому, был задуман как широкое полотно жизни простых русских людей в «лихую годину», время испытания их волевых и нравственных качеств. Одной из главных проблем романа была идея истинного, а не показного, поверхностного патриотизма, в чём грешил, например, М. Н. Загоскин. Такое произведение требовало немалого объёма и много времени, в котором Александр Сергеевич был очень ограничен: работа в архивах (создание «Истории Пугачёвского бунта» и «Истории Петра I»); затем увлёкся романами «Дубровский» и «Капитанская дочка». Были, конечно, и другие причины. Словом, «Рославлев» так и остался не только незаконченным, но едва начатым (15 страниц в академическом издании 1964 года, том шестой).

Кстати. Вопрос о причинах пожара Москвы в 1812 году долгое время оставался дискуссионным в отечественной историографии. К настоящему времени по нему наблюдается некое равновесие — виновны все: «Отдав приказ об отступлении, М. И. Кутузов распорядился уничтожить армейские продовольственные запасы и военное имущество: 20 тысяч пудов пороха, 1600 тысяч патронов, 27 тысяч артиллерийских снарядов… Из Москвы были эвакуированы все пожарные команды, о чём распорядился Ростопчин с согласия Кутузова. С вечера 2 сентября начался пожар на многих намеченных к уничтожению объектах. В организации поджогов участвовали и выпущенные с этой целью колодники. Пожар послужил поводом к грабежам под предлогом спасения вещей от огня. Наполеон приказал ловить и судить поджигателей, кто бы они ни были. Среди задержанных и казнённых за поджоги были и солдаты Великой армии» (Энциклопедия «Москва», 1997, с. 643–644). Пожару очень способствовал сильный ветер, перешедший 6–7 сентября в ураганный. Словом, как писал Александр Сергеевич:

Нет, не пошла моя Москва
К нему с повинной головою.

Не праздник, не приёмный дар,
Она готовила пожар
Нетерпеливому герою.

Кавалерист-девица. С середины 1835 года начался издательский «роман» поэта с участницей наполеоновских войн Н. А Дуровой, которая хотела опубликовать свои воспоминания. Переписка с Надеждой Андреевной продолжалась больше года; итоги её были минимальны: публикация в «Современнике» небольшого фрагмента «Записок» кавалерист-девицы.

…Надежде не повезло со дня рождения: мать не любила её. В своё время она сбежала от богатых родителей к бедному ротмистру Полтавского конного полка. Кочевая жизнь и ограниченность в средствах быстро остудили пылкие чувства. Вернуть расположение родителей мог внук, а родилась девочка, и однажды раздосадованная мать выкинула её из окна кареты.

Андрей Васильевич Дуров, отец Надежды, не долго думая, отдал дочь под присмотр одного из гусаров. Тот воспитывал девочку в меру своих возможностей: катал на лошадях, вместо игрушек давал ребёнку незаряженный пистолет, демонстрировал своё искусство владеть саблей.

Когда Надя подросла, мать, срывая досаду за неудачно сложившуюся жизнь, поедом ела дочь и не чаяла, как от неё избавиться. В восемнадцать лет её выдали замуж за дворянского заседателя Сарапульского нижнего земского суда В. С. Чернова. В январе 1803 года у них родился сын, но семейная жизнь тяготила надежду. Бросив мужа и сына (это в начале XIX столетия!), она ушла к родителям. Там её, конечно, не ждали. Постоянные ссоры с матерью, её вечные попрёки, неуживчивость самой Надежды подтолкнули её к побегу из родительского дома:

«Воинственный жар с неимоверной силою запылал в душе моей; мечты зароились в уме, и я деятельно начала изыскивать способы произвесть в действие прежнее намерение своё — сделаться воином, быть сыном для отца своего и навсегда отделаться от пола, которого участь и вечная зависимость начинали страшить меня».

Обрезав волосы, надев казачий костюм и сев на любимого жеребца, ринулась она в неизвестность. Довольная беглянка ликовала: «Итак, я на воле! Свободна! Независима! Я взяла мне принадлежащее — мою свободу. Свободу! Драгоценный дар неба, неотъемлемо принадлежащий каждому человеку! Я умела взять её, охранить от всех притязаний на будущее время, и отныне до

могилы она будет и уделом моим, и наградой!» (38, 9).

Вскоре под именем Александра Васильевича Соколова Дурова поступила рядовым в Коннопольский уланский полк, в рядах которого участвовала в основных сражениях кампании 1807 года. До конца своих дней Надежда Андреевна с особой теплотой вспоминала первый год своей службы:

— Никогда не изгладится из памяти моей этот первый год вступления моего на военное поприще, этот год счастья, совершенной свободы, полной независимости, тем более драгоценных для меня, что я сама, одна, без пособия постороннего умела приобресть их.

Благодаря отцу, озабоченному судьбой дочери, тайна мнимого Александра была раскрыта, и 31 декабря 1807 года Дурова предстала перед царём с очень лестным отзывом о её службе главнокомандующего И. Ф. Буксгевдена: «Отличное поведение его, Соколова, и ревностное прохождение своей должности с самого вступления его в службу приобрели ему от всех, как начальников, так и сотоварищей его, полную привязанность и внимание…»

Н. А. Дурова

Царь принял Дурову весьма милостиво: отказавшись от своего намерения возвратить её в отцовский дом, разрешил остаться в армии и впредь по его имени именоваться Александровым. Последнее, по понятиям того времени, означало высшую степень монаршего благоволении. Более того, узнав о том, что в одном из сражений Дурова спасла жизнь офицеру, царь

вручил ей Георгиевский крест. Надежда Андреевна была оставлена на военной службе, что пришлось ей весьма по душе:

— О сколько это положение дало жизни всем моим ощущениям! Сердце моё полно чувств, голова мыслей, планов, мечтаний, предположений; воображение моё рисует картины, блистающие всеми лучами и цветами, какие только есть в царстве природы и возможностей. Какая жизнь, какая полная, радостная, деятельная жизнь! Как сравнить её с той, какую вела я. Теперь каждый день, каждый час я живу и чувствую, что живу; о, в тысячу, в тысячу раз превосходнее теперешний род жизни! Балы, танцы, волокитство, музыка… О Боже! Какие пошлости, какие скучные занятия!

6 января 1808 года Дурову в чине корнета зачислили в Мариупольский гусарский полк под именем Александра Андреевича Александрова, тем самым Надежда стала первой в российской армии женщиной-офицером. Было от чего загордиться.

В начале Отечественной войны Дурова участвовала в арьергардных боях 2-й Западной армии. В это время её видел Д. В. Давыдов, который писал позднее: «Дурову я знал, потому что я с ней служил в арьергарде во всё время отступления нашего от Немана до Бородина. Полк, в котором она служила, был всегда в арьергарде вместе с нашим Ахтырским гусарским полком. Я помню, что тогда поговаривали, что Александров женщина. Но так, слегка. Она очень уединена была и избегала общества столько, сколько можно избегать его на биваках. Мне случилось однажды на привале войти в избу вместе с офицером того полка, в котором служил Александров, именно с Волковым.

Нам хотелось напиться молока в избе (видно, плохо было, что за молоко хватились, — вина не было капли). Там нашли мы молодого уланского офицера, который, только что меня увидел, встал, поклонился, взял кивер и вышел вон. Волков сказал мне: „Это Александров, который, говорят, женщина“. Я бросился на крыльцо, но он уже скакал далеко. Впоследствии я её видел на фронте, на ведетах[93], словом, во всей тяжкой того времени службе, но много ею не занимался, не до того было, чтобы различать, мужского или женского она роду: эта грамматика была забыта тогда» (38, 465).

На подходе к Бородино Надежда Андреевна была контужена — «от ядра в ногу». Отмечая это в походных записках, она писала: «У мена нет перчаток, и руки мои так окоченели от холодного ветра, что пальцы едва сгибаются. Ах, если б я могла согреться и опять почувствовать, что у меня есть руки и ноги! Теперь я их не слышу.

Желание моё исполнилось; нужды нет, каким образом, но только исполнилось Я не сражаюсь, согрелась и чувствую, что у меня есть руки и ноги, а особливо левая нога очень ощутительно даёт мне знать, что я имею её; она распухла, почернела и ломит нестерпимо: я получила контузию от ядра. Вахмистр не допустил меня упасть с лошади, поддержал и отвёл за фронт».

Это случилось за день до Бородинской битвы. Но Дурова не оставила строй и до середины сентября состояла ординарцем при штабе М. И. Кутузова, после чего уехала на излечение в Сарапул. В армию вернулась в августе 1813 года и участвовала в блокаде крепости Модлин, а в начале следующего года — в блокаде Гамбурга и Гарбурга.

В марте 1816 года Дурову уволили со службы «за болезнью» с чином штабс-ротмистра и пенсионом. Отдохнув девять месяцев, Надежда Андреевна решила вернуться в армию, но на это «высочайшего соизволения не последовало», и воинственная жена занялась литературной деятельностью. На этой обманчивой стезе она встретилась с Пушкиным.

В середине июня 1835 года Александр Сергеевич получил письмо городничего Елабуги В. А. Дурова, с которым некогда встречался в Кавказских Минеральных Водах. Василий Андреевич запомнился Пушкину тем, что был вечно озабочен фантастическими проектами добывания денег. Кроме того, по воспоминаниям М. И. Пущина, поэта «восхищал и удивлял» цинизм Дурова в рассказах о его приключениях.

Письмо старого знакомого заинтересовало Пушкина: городничий хлопотал об издании «Записок» своей сестры Надежды Андреевны, и Александр Сергеевич поспешил ответить ему:

«Милостивый государь, Василий Андреевич!

Искренне обрадовался я, получив письмо Ваше и спешу Вам отвечать. Если автор „Записок“ согласится поручить их мне, то с охотою берусь хлопотать об их издании. Если думает он их продать в рукописи, то пусть назначит сам им цену. Если книгопродавцы не согласятся, то, вероятно, я их куплю.

За успех, кажется, можно ручаться. Судьба автора так любопытна, так известна и так таинственна, что разрешение загадки должно произвести сильное общее впечатление. Что касается до слога, то чем он проще, тем будет лучше. Главное: истина, искренность. Предмет сам по себе так занимателен, что никаких украшений не требует. Они даже повредили бы ему».

Письмо великого поэта придало Дуровой чувство уверенности в себе, и она решилась напрямую связаться с ним. «Не извиняюсь за простоту адреса, милостивый государь

Александр Сергеевич! — писала она. — Титулы кажутся мне смешны в сравнении с славным именем вашим. Чтоб не занять напрасно ни времени, ни внимания вашего, спешу сказать, что заставило меня писать к вам: у меня есть несколько листов моих записок, я желал бы продать их и предпочтительно вам.

Купите, Александр Сергеевич! Прекрасное перо ваше может сделать из них что-нибудь весьма занимательное для наших соотечественниц, тем более что происшествие, давшее повод писать их, было некогда предметом любопытства и удивления.

Итак, упреждаю вас только, что записки были писаны не для печати и что я, вверяясь уму вашему, отдаю вам их, как они есть, без перемен и без поправок» (66, 395–396).

В начале следующего года Пушкин получил «Записки» Дуровой (начало их) и 27 марта сообщил её брату о том, что часть их напечатает в «Современнике», чтобы сделать им рекламу. «Полные „Записки“, — писал Александр Сергеевич, — вероятно, пойдут успешно, как я о них протрублю в своём журнале. Я готов их и купить, и напечатать в пользу автора — как ему будет угодно и выгодно. Во всяком случае будьте уверены, что приложу всё возможное старание об успехе общего дела».

24 мая Надежда Андреевна сама приехала в Петербург и через день принимала поэта в захудалой гостинице. «В половине первого часа карета знаменитого поэта нашего остановилась у подъезда. Я покраснела, представляя себе, как он взносится с лестницы на лестницу и удивляется, не видя им конца. Но вот отворилась дверь в прихожую. Я жду с любопытством и нетерпением! Отворяется дверь, и ко мне… Но это ещё пока мой Тишка, он говорит мне шёпотом и вытянувшись: „Александр Сергеевич Пушкин!“ — „Проси!“. Входит Александр Сергеевич… К этим словам прибавить нечего.

Я не буду повторять тех похвал, какими вежливый писатель и поэт осыпал слог моих записок, полагая, что в этом случае он говорил тем языком, каким обыкновенно люди образованные говорят с дамами. Впрочем, любезный гость мой приходил в приметное замешательство всякий раз, когда я, рассказывая что-нибудь относящееся ко мне, говорила: „был“, „пришёл“, „пошёл“, „увидел“…

Он взял мою рукопись, говоря, что отдаст её сейчас переписывать, поблагодарил меня за честь, которую, говорил он, я делаю ему, избирая его издателем моих записок, и, оканчивая обязательную речь свою, поцеловал мою руку. Я поспешно выхватила её, покраснела и уже вовсе не знаю для чего сказала: „Ах, боже мой! Я так давно отвык от этого!“ На лице Александра Сергеевича не показалось и тени усмешки, но полагаю, что дома

он не принуждал себя и, рассказывая домашним обстоятельства первого свидания со мною, верно, смеялся от души над этим последним восклицанием» (38, 399).

Побывала Дурова и у Пушкина, оставив нам короткую зарисовку семейного быта великого поэта: «С нами вместе обедал один из искренних друзей Александра Сергеевича господин П… в[94] да три дамы, родственницы жены его, сама она больна после родов и потому не выходила.

Мария, дочь А. С. Пушкина

За столом я имела случай заметить странность в моём любезном хозяине. У него четверо детей, старшая из них, девочка лет пяти[95], как мне казалось, сидела с нами за столом. Друг Пушкина стал говорить с нею, спрашивая, не раздумала ль она идти за него замуж. „Нет, — отвечало дитя, — не раздумала“. — „А за кого ты охотнее пойдёшь: за меня или за папеньку?“ — „За тебя и за папеньку“. — „Кого ж ты больше любишь: меня или папеньку?“ — „Тебя больше люблю и папеньку больше люблю“.

— „Ну а этого гостя, — спросил Александр Сергеевич, показывая на меня, — любишь? Хочешь за него замуж?“ Девочка отвечала поспешно: „Нет, нет!“ При этом ответе я увидела, что Пушкин покраснел. Неужели он думал, что я обижусь словами ребёнка? Я стала говорить, чтоб прервать молчание, которое очень некстати наступило за словами девочки „Нет, нет!“, и спросила её: „Как же это! Гостя надобно бы больше любить“. Дитя смотрело на меня недоверчиво и наконец стало кушать. Тем кончилась эта маленькая интермедия. Но Александр Сергеевич!

Отчего он покраснел? Или это уже верх его деликатности, что даже и в шутку, даже от ребёнка не хотел бы он, чтоб я слышала что-нибудь не так вежливое?» (38, 403).

Фрагменты «Записок» Дуровой, опубликованные в «Современнике», были посвящены Отечественной войне. Вот раздумья автора о начальном её периоде: «Вопреки бесчисленным поклонникам Наполеона беру смелость думать, что для такого великого гения, каким его считают, он слишком уже уверен и в своём счастии, и в своих способностях, слишком легковерен, неосторожен, малосведущ. Слепое счастие, стечение обстоятельств, угнетённое дворянство и обольщённый народ могли помочь ему взойти на престол; но удержаться на нём, достойно занимать его будет ему трудно. Сквозь его императорскую мантию скоро заметят артиллерийского поручика, у которого от неслыханного счастия зашёл ум за разум.

Неужели, основываясь на одних только сведениях географических и донесениях шпионов, можно было решиться идти завоёвывать государство обширное, богатое, славящееся величием духа и бескорыстием своего дворянства, незыблемой опоры русского престола; устройством и многочисленностию войск, строгою дисциплиною, мужеством их, телесною силою и крепостью сложения, дающего им возможность переносить все трудности; государство, заключающее в себе столько же народов, сколько и климатов и ко всему этому имеющее оплотом своим веру и терпимость? Видеть, что это славное войско отступает, не сражаясь, отступает так быстро, что трудно поспевать за ним, и верить, что оно отступает, страшась дождаться неприятеля! Верить робости войска русского в границах его Отечества!.. Верить и бежать за ним, стараясь догнать. Ужасное ослепление!.. Ужасен должен быть конец!!!» (48, 149–150).

Вмешательство Пушкина в текст «Записок» Дуровой, ранее неизвестной на литературном поприще, было настолько явным, что современники поначалу считали их сочинением самого поэта, искусно облёкшего его в форму мемуаров легендарной участницы войны с Наполеоном. Отмечая литературные достоинства «Записок», В. Г. Белинский писал, что «некоторые приняли их за мистификацию со стороны Пушкина. И что за язык, что за слог у девицы-кавалериста! Кажется, сам Пушкин передал ей своё перо».

С изданием полного текста воспоминаний дело осложнилось из-за отсутствия в Петербурге высочайшего «цензора» поэта, а Надежде Андреевне были нужны деньги, и она предъявила Пушкину «ультиматум»: «Своеручные записки мои прошу вас возвратить мне теперь же, если можно. У меня перепишут их в четыре дня, и переписанные отдам в полную вашу волю, в

рассуждении перемен, которые прошу вас делать, не спрашивая моего согласия, потому что я только это и имел в виду, чтоб отдать их на суд и под покровительство таланту, которому не знаю равного, а без этого неодолимого желания привлечь на свои „Записки“ сияние вашего имени я давно бы нашёл людей, которые купили бы их или напечатали в мою пользу.

Вы очень обязательно пишете, что ожидаете моих приказаний; вот моя покорнейшая просьба, первая, последняя и единственная: действуйте без отлагательства. Действуйте или дайте мне волю действовать; я не имею времени ждать. Полумеры никуда не годятся! Нерешительность хуже полумер, медленность хуже и того и другого вместе!

Думал ли я когда-нибудь, что буду говорить такую проповедь величайшему гению нашего времени, привыкшему принимать одну только дань хвалы и удивления! Видно, время чудес опять настало, Александр Сергеевич! Но как я уже начал писать в этом тоне, так хочу и кончить. Мне так наскучили бездейственная жизнь и бесполезное ожидание, что я только до 1 июля обещаю вам терпение, но с 1-го, пришлёте или не пришлёте мне мои „Записки“, действую сам» (66, 400–401).

В письме от 25 июня 1836 года Александр Сергеевич подробно объяснял нетерпеливому автору ситуацию с изданием книги: «Очень вас благодарю за ваше откровенное и решительное письмо. Оно очень мило, потому что носит верный отпечаток вашего пылкого и нетерпеливого характера. Буду отвечать вам по пунктам, как говорят подьячие.

1) „Записки“ ваши ещё переписываются. Я должен был их отдать только такому человеку, в котором мог быть уверен, оттого дело и замешкалось.

2) Государю угодно было быть моим цензором, это правда, но я не имею права подвергать его рассмотрению произведения чужие. Вы, конечно, будете исключением, но для сего нужен предлог, и о том-то хотелось мне с вами переговорить, дабы скоростью не перепортить дела.

3) Вы со славою перешли одно поприще; вы ступаете на новое, вам ещё чуждое. Хлопоты сочинителя вам непонятны. Издать книгу нельзя в одну неделю, на то требуется по крайней мере месяца два. Должно рукопись переписать, представить в цензуру, обратиться в типографию и проч. и проч.

4) Вы пишете мне: „действуйте или дайте мне действовать“. Как скоро получу рукопись переписанную, тотчас и начну. Это не может и не должно мешать вам действовать с вашей стороны. Моя цель — доставить вам как можно более выгоды и не оставить вас в жертву корыстолюбивым и неисправным книгопродавцам.

5) Ехать к государю на манёвры мне невозможно по многим причинам. Я даже думал обратиться к нему в крайнем случае, если цензура не пропустит ваших „Записок“. Это объясню я вам, когда буду иметь счастие вас увидеть лично» (10, 589–590).

Отважной наезднице была непонятна «робость» великого поэта; ждать она не захотела, рукопись забрала и отдала двоюродному брату И. Г. Бутовскому, который рвался поработать в «Современнике». На это П. А. Вяземский писал, что он «набитый дурак» и сотрудничество с ним не только бесполезно, но и вредно. Тем не менее Иван Григорьевич издал книгу «Кавалерист-девица», о чём Надежда Андреевна позднее жалела, говоря, что «имела глупость лишить свои „Записки“ блистательнейшего их украшения, их высокой славы — имени бессмертного поэта».

Вскоре после выхода «Записок» «кавелерист-девица» Надежда Андреевна уехала в Елабугу, где провела почти три десятилетия своей жизни, о которых писала: «Всё затихло, как не бывало, и одни только незабвенные воспоминания сопровождают меня на диких берегах Камы…»

Умерла Дурова весной 1866 года. Хоронили её с воинскими почестями. Перед гробом Надежды Андреевны офицер местного гарнизона нёс на бархатной подушке её Георгиевский крест — единственный Георгиевский крест со дня упреждения этой награды в России, данный женщине.

Редакторские будни. Гораздо проще были у Пушкина издательские отношения с его старым приятелем Д. В. Давыдовым. 20 мая Александр Сергеевич сообщал ему: «Статью о Дрездене не могу тебе прислать прежде, нежели её не напечатают, ибо она есть цензурный документ. Успеешь ещё наглядеться на её благородные раны. Покамест благодарю за позволение напечатать её в настоящем виде».

Денис Васильевич отвечал: «Эскадрон мой, как ты говоришь, опрокинутый, растрёпанный и изрубленный саблей цензуры, прошу тебя привести в порядок: убитых похоронить, раненых отдать в лазарет, а с остальным числом всадников — ура! — и снова в атаку на военно-цензурный комитет. Так я делывал в настоящих битвах — унывать грешно солдату — надо или лопнуть, или врубиться в паршивую колонну цензуры» (44, 274–275).

Речь в обоих письмах идёт о статье Давыдова «Занятие Дрездена». Она была посвящена самовольному захвату части столицы Саксонии небольшим отрядом армейских партизан. Это не понравилось генералу Ф. Ф. Винцингероде, в подчинении которого находился Денис Васильевич. Давыдов был отстранён от

командования со следующей мотивировкой командующего: «Как бы то ни было, а ваша вина в том, что вы действовали наперекор запрещению вступать в переговоры и заключать перемирие с неприятелем. Нет отговорок в незнании приказов, издаваемых в армии, и потому я не могу избавить вас от военного суда. Сдайте вашу команду подполковнику Пренделю и извольте отправиться в императорскую и главную квартиру. Может быть, там будут с вами снисходительнее; я не люблю; я никогда не употребляю снисходительности в военном деле. Прощайте».

Военная цензура не пропустила этот эпизод, и раздосадованный Пушкин писал: «Куда бы кстати тут же было заколоть у подножия Вандомской колонны генерала Винцингероде как жертву примирительную! — я было и рукава засучил! Вырвался, проклятый; Бог с ним, чёрт его побери».

Александр Сергеевич сожалел, что статья «Занятие Дрездена» не попала во второй номер журнала, который был «весь полон Наполеоном». Были сложности и с другой статьёй Давыдова — «О партизанской войне». Пушкин уведомлял автора: «Ты думал, что твоя статья о партизанской войне пройдёт сквозь цензуру цела и невредима. Ты ошибся: она не избежала красных чернил. Право, кажется, военные цензоры марают для того, чтоб доказать, что они читают».

В первой статье Давыдова цензору не понравилась критика начальствующих лиц, во второй — прославление народных масс, крестьян, которых он противопоставлял дворянам: «Сколь они возвышаются пред потомками тех древних бояр, которые, прорыскав два месяца по московскому бульвару с гремучими шпорами и густыми усами, ускакали из Москвы в отдалённые губернии, и там, пока достойные и незабвенные соотчичи их подставляли грудь на штык врагов родины, они прыскались духами и плясали на могиле Отечества! Некоторые из этих бесславных беглецов до сих пор вспоминают об этой ужасной эпохе как о счастливейшем времени их жизни!» (67, 45).

Отметив, что в высших военных сферах существует предубеждённость в отношении партизанской войны, Денис Васильевич изложил систему своих взглядов на этот вопрос. Задача партизанской войны, полагал он, состоит в том, чтобы истребить у неприятеля людские резервы, запасы вооружения и продовольствия. Партизанская война имеет влияние и на главные операции противника, так как его движение задерживается засеками, разрушенными переправами и налётами партизан.

Но и этого мало, писал Давыдов, партизанские действия имеют ещё и моральный фактор или нравственную часть, которая едва ли уступает «вещественной части этого рода действия».

Поднятие духа своей армии и жителей, оказавшихся в тылу неприятеля, «потрясение и подавление духа в противодействующих войсках» — таковы плоды партизанской войны, искусно управляемой.

Всё это, вместе взятое, ведёт к усилению страха и падению дисциплины в рядах противника, а с падением дисциплины армия перестаёт существовать.

Д. В. Давыдов, таким образом, первым обстоятельно разработал теорию партизанской войны, обобщив свой богатый практический опыт. Он пришёл к важному и принципиальному выводу: партизанское движение способно обратить «войсковую войну в народную».

Находясь в тылу неприятеля, партизаны постоянно пребывали в опасности быть обнаруженными и уничтоженными. Это закаляло волю и притупляло чувства — было не до сентиментальности. Но вот крестьяне привели к Давыдову пленных и…

— Между ними, — вспоминал Денис Васильевич, — находился барабанщик Молодой гвардии именем Викентий Бод, пятнадцатилетний юноша, оторванный от объятий родительских и, как ранний цвет, перевезённый за три тысячи вёрст под русское лезвие и на русские морозы! При виде его сердце моё облилось кровью; я вспомнил и дом родительский, и отца моего, когда он меня, почти таких же лет, поручал судьбе военной! Как предать несчастного случайностям голодного, холодного и бесприютного странствования, имея средства к его спасению? Я его оставил при себе, велел надеть на него казачий чекмень и фуражку, чтобы избавить его от непредвидимого тычка штыком или дротиком, и, таким образом, сквозь успехи и неудачи, чрез горы и долы, из края в край, довёз его до Парижа здоровым, весёлым и почти возмужалым, передал его из рук в руки престарелому отцу его (67, 55).

Отходчив русский человек, не может устоять против слабости.

* * *

В начале 1830-х годов Пушкину пришлось пообщаться с будущим генерал-фельдмаршалом П. М. Волконским и адмиралом (в прошлом) А. С. Шишковым. На эти годы приходятся встречи и с другими участниками наполеоновских войн.

Скупой царедворец. При крещении Петр был записан

сержантом в лейб-гвардии Преображенский полк. То есть формально его военная служба продолжалась всю жизнь — 76 лет. На исходе XVIII столетия Волконский был уже полковником, в первый год следующего — генерал-майором. Не жаловался на повышения и в последующем. Боевое крещение получил в сражении при Аустерлице: со знаменем в руках он трижды водил в атаку Фанагорийский гренадёрский и Ряжский мушкетёрский полки. Перед Отечественной войной Пётр Михайлович управлял квартирмейстерской частью армии и довёл её до совершенства. В сентябре — октябре 1812 года находился при Кутузове, участвовал в боевых действиях на Березине.

В заграничных походах Волконский участвовал как начальник Главного штаба действующей армии. Отличился в сражениях при Лютцене и Лейпциге. В марте 1814 года, по его совету, союзные армии устремились на Париж, оставив изумлённого Наполеона у себя в тылу.

После окончания войны Пётр Михайлович продолжал совершенствовать квартирмейстерскую службу: руководил составлением первой сводной карты России, собрал коллекцию карт иностранных государств, создал первую большую библиотеку военной литературы, первую мастерскую астрономических и математических инструментов для военных съёмок, училище колонновожатых. Волконский лично разработал ряд регламентирующих документов и систему подготовки штабных кадров, заложив основы для создания Генерального штаба.

Летом 1816 года произошло заочное «знакомство» Петра Михайловича с Пушкиным — он жаловался царю на поэта. Случилось это при следующих обстоятельствах. К зданию лицея прилегал Екатерининский дворец. Оба здания сообщались полутёмным крытым переходом. В помещениях дворца, прилегавших к этому переходу, жили фрейлины царицы. И как-то Александр обнял одну из них, не разглядев в темноте. «Пострадавшая» оказалась сестрой Волконского. Она пожаловалась брату, а тот — царю. Разразился скандал. Император потребовал объяснений от директора лицея Энгельгардта. Тот дал их в шутливой форме. Александр пришёл в хорошее настроение и изрёк:

— Между нами, старая дева, быть может, в восхищении от ошибки молодого человека.

Личное знакомство Пушкина с Петром Михайловичем произошло в театре. После окончания лицея Александр какое-то время лелеял надежду о военной службе и тянулся к людям, достигшим на ней впечатляющих результатов. Поэтому в

антрактах вертелся около лож, занимаемых генералитетом.

П. М. Волконский

Это раздражало его друзей, но поэт был настойчив и добился снисходительного внимания к себе со стороны П. М. Волконского, П. Д. Киселёва, А. Ф. Орлова и А. И. Чернышёва.

Летом 1824 года Пушкин познакомился с женой и дочерью Петра Михайловича, приезжавших в Одессу на морские купания (через них он отправил письмо А. И. Тургеневу, в котором извещал Александра Ивановича о том, что подал прошение о своей отставке). Сам Волконский в это время из-за конфликта с Аракчеевым, которого звал «змеем», был не у дел. Но вскоре царь вернул к нему своё расположение и пригласил в поездку на юг.

В Таганроге Александр I расхворался; он очень хотел видеть Аракчеева, к которому всегда питал высочайшее доверие, но тот всячески оттягивал встречу с государем. Возмущённый Волконский писал своему приятелю генералу А. А. Закревскому: «Змей сам теперь раскрыл гнусный свой характер тем, что когда постыдная история с ним случилась, то он, забыв совесть и долг Отечеству, бросил всё и удалился в нору к своим пресмыкающимся тварям» (94, 282).

Из Таганрога Волконский сопровождал тело царя до столицы, где был хорошо принят новым государем. Николай I назначил Волконского министром императорского двора и уделов. Александр Сергеевич, произведённый в камер-юнкеры, встречался с ним в великосветском петербургском обществе. В одной из дневниковых записей оставил такую памятку о жизни двора: «Недавно государь приказал князю Волконскому принести к нему из кабинета самую дорогую табакерку. Дороже не нашлось, как в 9000 руб. Князь Волконский принёс табакерку. Государю показалась она довольно бедна.

— Дороже нет, — ответил Волконский.

— Если так, делать нечего, — отвечал государь, — я хотел тебе сделать подарок. Возьми её себе.

Вообразите себе рожу старого скряги! С этой поры начали требовать бриллианты. Теперь в кабинете табакерки завелися уже в 60 тысяч рублей».

Скупость царедворца Пушкин испытал на себе. 18 февраля 1833 года Наталья Николаевна по поручению супруга обратилась к Волконскому с предложением о покупке правительством бронзовой статуи Екатерины II. Это было наследие Гончаровой, вот что писал о нём сам Александр Сергеевич: «Два или три года тому назад господин Гончаров, дед моей жены, сильно нуждаясь в деньгах, собирался расплавить колоссальную статую Екатерины II. И именно к вашему превосходительству я обращался по этому поводу за разрешением. Предполагая, что речь идёт просто об уродливой бронзовой глыбе, я ни о чём другом и не просил. Но статуя оказалась прекрасным произведением искусства, и я посовестился и пожалел уничтожить её ради нескольких тысяч рублей. Ваше превосходительство с обычной своей добротой подали мне надежду, что её могло бы купить у меня правительство, поэтому я велел привезти её сюда…[96]

Средства частных лиц не позволяют ни купить, ни хранить её у себя, однако эта прекрасная статуя могла бы занять подобающее ей место либо в одном из учреждений, основанных императрицей, либо в Царском Селе, где её статуи недостаёт среди памятников, воздвигнутых ею в честь великих людей, которые ей служили. Я хотел бы получить за неё 25 тысяч р., что составляет четвёртую часть того, что она стоила (этот памятник был отлит в Пруссии берлинским скульптором). В настоящее время статуя находится у меня (Фурштатская улица, дом Алымова)».

…На письмо супруги поэта Волконский ответил в самых изысканных выражениях, но безоговорочным отказом, сославшись

на «весьма затруднительное положение, в котором находится Кабинет Его Императорского Величества, отчего не может делать никаких приобретений».

Другую просьбу Александра Сергеевича Волконский удовлетворил. При работе над «Историей Петра Великого» Пушкин обратился к Бенкендорфу за разрешением познакомиться с библиотекой Вольтера. Шеф жандармов доложил об этом царю, тот позволил. Библиотека размещалась в Эрмитаже и подлежала ведению министра императорского двора. На письме Александра Сергеевича Пётр Михайлович наложил резолюцию: «Допустить известного сочинителя Пушкина рассмотреть хранящуюся в Эрмитаже библиотеку Вольтера» (94, 284).

Однажды поэт и царедворец встретились в приватной обстановке: у Волконского состоялось чтение Н. В. Гоголем пьесы «Ревизор». Пушкин присутствовал при этом. И наконец с осени 1836 года Александр Сергеевич жил в доме жены Волконского — набережная Мойки, 12. В нём великий поэт и скончался.

Парадокс жизни: умер в доме одного из самых представительных особ петербургской аристократии, чуждой ему и нравственно, и в социальном отношении.

«Сей старец дорог нам». Жизнь Александра Семёновича Шишкова была долгой, весьма насыщенной и плодотворной. Он окончил Морской кадетский корпус, в котором позднее преподавал тактику. В годы войны со Швецией (1788–1790) командовал фрегатом «Николай» и был награждён золотой шпагой «За храбрость»; к концу столетия стал вице-адмиралом (Это был чин 3-го класса, который в сухопутных войсках соответствовал генерал-лейтенанту). С высоким чином Александр Семёнович получил и высокую награду — орден Святой Анны I степени; стал членом Адмиралтейств-коллегии и был… удалён от двора; в начале царствования Александра I находился не у дел.

Преподавая в Морском кадетском корпусе, Шишков составил «Трёхъязычный морской словарь». В 1803 году Александр Семёнович издал «Рассуждения о старом и новом слоге», которое стало «символом веры» консервативно-патриотической оппозиции. В полемике с Карамзиным Шишков пытался доказать тожество древнерусского и церковно-славянского языков. В реформе русского языка, осуществлявшейся Карамзиным, Александр Семёнович видел «тлетворное влияние» Великой французской революции.

В 1811 году по инициативе Шишкова было создано литературно-политическое общество «Беседа любителей русского слова», манифестом «Беседы…» стал его труд «Рассуждение о

любви к Отечеству». Лицеист Пушкин весьма резко выступил против основателя общества и его коллег:

Угрюмых тройка есть певцов —
Шихматов, Шаховской, Шишков,
Уму есть тройка супостатов —
Шишков наш, Шаховской, Шихматов.
Но кто глупей из тройки злой?
Шишков, Шихматов, Шаховской!

В апреле 1812 года Александр Семёнович получил высокое назначение — государственный секретарь и в качестве такового сопровождал царя в 1-ю Западную армию. С началом войны создалась опасность потери монарха, и Шишков решился указать ему на это: «Нет государю славы, ни государству пользы, чтобы глава его присоединилась к одной только части войск, оставляя все прочие силы и части государственного управления другим. Особливо же в обстоятельствах затруднительных и опасных необходимо ему избрать пункты пребывания своего таким образом, чтобы как всем частям военным, так и всем государственным внутренним местам и обществам мог он подавать нужные пособия с повелениями и личным присутствием своим оживлять те, которые в вящую деятельность приводить должно. Ежели прямой долг царей есть жить для благоденствия вверенных им народов, то едва ли похвально допускать в одном своём лице убить целое царство» (72, 142).

Александр I внял советам тёзки и покинул армию.

В течение всей войны Шишков писал манифесты, приказы и рескрипты, проникнутые патриотическим духом. Первый из манифестов гласил: «Из давнего времени примечали Мы[97] неприязненные против России постановления Французской империи, но всегда крепко и миролюбиво отклоняли оные. Наконец, видя беспрестанное возобновление явных оскорблений, при всём Нашем желании сохранить тишину принуждены были Мы ополчиться и собрать войска Наши. Но и тогда, ласкаясь ещё примирением, оставались в пределах Нашей империи, не нарушая мира, а быв токмо готовыми к обороне.

Все сии меры кротости и миролюбия не могли удержать желаемого Нами спокойствия. Французский император нападением на войска наши при Ковне открыл первый войну. И так, видя его никакими средствами не преклонным к миру, не остаётся Нам ничего иного, как, призвав на помощь Свидетеля и Защитника правды, Всемогущего Творца небес, поставить силы Наши противу сил неприятельских. Не нужно Мне напоминать

вождям, полководцам и воинам Нашим об их долге и храбрости. В нас издревле течёт громкая победами кровь славян. Воины! Вы защищаете веру, Отечество и свободу. Я с вами. „На зачинающего Бог“» (89, 96).

Манифесты и приказы, вышедшие из-под пера Шишкова, поддерживали патриотический дух народа и пользовались большой популярностью. Интересна в этой связи формулировка награждения Александра Семёновича орденом Александра Невского: «За примерную любовь к Отечеству».

В год падения Парижа Александр Семёнович стал членом Государственного совета, в 1823 году — адмиралом (полный генерал в сухопутных войсках) и министром просвещения. На последнее назначение Пушкин откликнулся стихотворением «Второе послание цензору»:

> Обдумав наконец намеренья благие,
> Министра честного наш добрый царь избрал,
> Шишков наук уже правленье восприял.
> Сей старец дорог нам: друг чести, друг народа
> Он славен славою двенадцатого года;
> Один в толпе вельмож он русских муз любил,
> Их, незамеченных, созвал, соединил.

С 1813 года Шишков был президентом Академии наук. По его инициативе в оную был избран Пушкин. С этого времени они встречались на заседаниях академии и приватно.

«Сей старец», как выразился поэт в приведённом выше стихотворении, пережил Александра Сергеевича на четыре года, оставив потомкам воспоминания о последних войнах с Наполеоном — «Краткие записки адмирала А. Шишкова, ведённые им в бывшую с французами в 1812 и последующих годах войну». Мемуары интересны критическим взглядом автора на ход Отечественной войны и характеристиками главных действующих лиц эпохи. Вот его отзыв о главном действующем лице 1812 года:

— Кутузов, искусный и храбрый пред неприятелем полководец, был робок и слаб перед царём.

Основанием для этого вывода послужил разговор, который состоялся у Шишкова с Михаилом Илларионовичем в Вильно после награждения полководца орденом Святого Георгия 1-го класса.

«Шишков: Разрешите мои сомнения, зачем идём мы за границу?

Кутузов: Для продолжения войны.

Шишков: Зачем продолжать её, когда она кончена? Можно ли предполагать, что Наполеон, пришедший сюда со всеми своими и европейскими силами и сам, по истреблении его полчищ и снарядов, насилу отселе ускакавший, может покуситься вторично сюда прийти?

Кутузов: Я думаю, что не придёт. Довольно и одного раза быть так отпотчивану.

Шишков: А сидя в своём Париже, какое может он сделать нам зло?

Кутузов: Нам, конечно, нет; но господство его над другими державами, Австрией, Пруссией, Саксонией и прочими, останется то же, какое доселе было.

Шишков: Если мы идём освобождать их, то цель войны должна быть та, чтоб Наполеона свергнуть с престола, ибо если в них самих не будет твёрдости, то он и по замирении рано или поздно снова возобладает над ними. Буде же предполагается вырвать из рук его Францию, то это, по многим причинам, не так легко. Первое. Пруссия бессильна, порабощена; во многих её городах и крепостях сидят французы. Второе. Наполеон женат на дочери австрийского императора и уже имеет от неё сына. Третье. Саксонский король предан совершенно французскому двору. По всем сим обстоятельствам, может быть, и самые победы наши не ободрят их столько, чтоб поднять оружие и вступить с нами в союз. Итак, не будучи в них уверены, мы идём единственно для них, оставляя сгоревшую Москву, разгромленный Смоленск и окровавленную Россию без призрения, с новыми надобностями требовать от неё войск и содержания их.

Кутузов: Да, признаться должно, что этот великодушный наш поступок и ожидаемая оттого слава сопряжены с немалым пожертвованием и великою отважностью.

Шишков: Хорошо, если предприятие наше увенчается успехами, но ежели, паче чаяния, мы, зашедши далеко, принуждены будем, прогнанные и с потерями, возвратиться назад, то, подняв опять Наполеона, не лишимся ли мы тех преимуществ, какие теперь над ним имеем? Не скажет ли Европа: они сравнялись, прогнали взаимно друг друга и кто из них одержит верх — неизвестно.

Кутузов: Да, это правда! Будущего нельзя знать.

Шишков: Для чего бы не остаться нам у себя в России, предлагая утеснённым державам, чтоб они воспользовались удобностью случая освободить себя из-под ига Франции? Можно, если они ополчатся, обещать им вспомоществование частью наших войск, как Павел I помогал Австрии, послав к ней Суворова с войсками, но не участвуя в том всем своим царством. Тогда,

если бы и последовали какие неуспехи, уважение других держав к могуществу России, особливо же низложением исполинских наполеоновских сил приобретённое, нимало бы через то не уменьшилось.

Кутузов: Я сам так думаю, но государь предполагает иначе, и мы пойдём далее.

Шишков: Если и вы так думаете, то для чего же не настоите в том пред государем? Он по вашему сану и знаменитым подвигам, конечно, уважил бы ваши советы.

Кутузов: Я представлял ему об этом, но, первое, он смотрит на это с другой стороны, которую также совсем опровергнуть не можно, и, другое, скажу тебе про себя откровенно и чистосердечно: когда он доказательств моих оспорить не может, то обнимет меня и поцелует, тут я заплачу и соглашусь с ним» (73, 163–164).

К счастью, заграничные походы увенчались полным успехом, за который «благодарная» Европа мстила России целое столетие — от Крымской войны до холодной. О сегодняшнем дне и говорить не стоит: всё очевидно самому аполитичному россиянину.

«Звал меня обедать». С 4 по 20 мая 1836 года поэт последний раз был в Москве. Остановился он у своего друга П. В. Нащокина (Воротниковский переулок, 12). В этот период он встречался с Александром Дмитриевичем Чертковым, о чём упомянул в письмах к супруге от 11 и 14 мая: «Недавно сказывают мне, что приехал ко мне Чертков. Отроду мы друг к другу не езжали. Но при сей верной оказии вспомнил он, что жена его мне родня, и потому привёз мне экземпляр своего „Путешествия в Сицилию“. Не побранить ли мне его по-родственному?».

Женой Черткова была Елизавета Григорьевна, урождённая графиня Чернышёва[98], дальняя родственница поэта. Александр Сергеевич не баловал её своим вниманием, но на этот раз пришлось отдать визит вежливости. Чертковы жили на Мясницкой, 7. Приход поэта пришёлся некстати. Супруге Пушкин сообщал: «На днях звал меня обедать Чертков. Приезжаю, а у него жена выкинула. Это не помешало нам отобедать очень скучно и очень дурно».

Неудачу визита скрасило знакомство Александра Сергеевича с библиотекой хозяина, первой в стране, специально посвящённой России — её истории, экономике, культуре.

В библиотеке насчитывалось 17 300 томов на церковно-славянском, русском, немецком, итальянском, французском,

голландском и испанском языках. В составе библиотеки были старинные русские книги XVI–XVII столетий, издания петровской эпохи, труды В. Н. Татищева, М. В. Ломоносова, книги с автографами и дарственными надписями крупнейших деятелей культуры первой половины XIX века. Обширный раздел библиотеки составляла так называемая Rossica — книги о России, выходившие на иностранных языках, начиная с «Rerum Moscoviticarum» С. Герберштейна (1550).

В документальном собрании библиотеки были материалы А. В. Суворова, П. А. Румянцева, Ф. Ф. Ушакова, М. Б. Барклая де Толли, Д. В. Давыдова, М. И. Платова и З. Г. Чернышёва. В эту коллекцию входили автографы стихотворений Княжнина, Вяземского, Жуковского, Тютчева, рукопись трагедии Фонвизина «Альзира». Позднее была приобретена тетрадь с 23 автографами произведений Лермонтова и его рисунками на отдельных листах.

Пушкин, страстный книголюб, с интересом ознакомился с уникальным собранием Черткова, положившего начало первой в стране библиотеке, специально посвящённой России. К сожалению, больше встретиться с её основателем ему не пришлось.

… С 1809 по 1820 год Чертков находился на военной службе. Он участвовал в заграничных походах русской армии, отличился в сражениях под Кульмом и при Фер-Шампенуазе, был награждён. С 1 марта 1813 года по 8 августа 1814-го вёл дневник, исписал три тетради. Записи эти в основном краткие, фиксирующие передвижения лейб-гвардии Конного полка, в котором Александр Дмитриевич служил. Описания нескольких сражений весьма скромны по объёму. Интересны заметки о Париже и Франции. Примечательно заключение двадцатипятилетнего офицера по поводу «заразы», поразившей русское дворянство с начала XIX столетия: «Восемь театров настолько заполнены каждый вечер, что если вы опоздаете на полчаса, то можете нигде не найти себе места.

Если природа требует, чтобы вы покинули зал на несколько минут, то можете быть уверены, что, вернувшись, найдёте вашу шляпу лежащей на полу, а ваше место — занятым. Тогда вам остаётся одно из двух: или ссора с человеком, который занял ваше место, ссора, которая часто кончается в Булонском лесу (то, что случилось со многими нашими офицерами), или покинуть зал. Это более разумно, ибо в конце концов разве человеческая жизнь значит столь мало, чтобы дать убить себя из-за места в театре?» (96, 434).

У читателей может возникнуть резонный вопрос: почему убить себя, а не противника? Дело в том, что на конфликты

русских офицеров зачастую вызывали преднамеренно и делали это профессиональные дуэлянты, поэтому результат встречи в Булонском лесу был определён заранее. Так французы «благодарили» союзников за спасение их от «ига» Наполеона.

И другое замечание на свидетельство Черткова — о дуэли вообще. Чаще всего поводом к ним служили самые пустяковые случаи (они изобилуют в биографиях Пушкина и его окружения), но люди становились под дула пистолетов, полагая, что этого требует их честь. То есть в нравственной атмосфере того времени надо было обладать немалым мужеством, чтобы признать абсурдность жертвовать собой «из-за места в театре». Мужеством и трезвым рассудком, разумом.

Последнее качество Чертков в полной мере проявил на гражданском поприще. Кроме книг и рукописей, Александр Дмитриевич занимался коллекционированием денежных знаков, собрал 600 древнерусских монет, составил каталог своего нумизматического собрания и опубликовал его.

Чертков был одним из основателей Московского училища живописи, ваяния и зодчества, участвовал в работе Русского археологического общества. Два десятилетия руководил работой Общества истории и древностей российских (товарищ председателя, председатель). В 1842 году Александр Дмитриевич был избран членом Российской академии наук. И что, такой плодотворной жизнью надо было жертвовать за место в театральном зале?

«Написал славный маршрут». Предки Карла Фёдоровича Толя жили в Голландии. В XI столетии кто-то из них перебрался в Эстляндию, которая в 1721 году вошла в состав Российской империи. По одним данным, он был сыном поручика, по другим — генерал-майора. Воспитывался в 1-м сухопутном кадетском корпусе и был любимым учеником М. И. Кутузова, покровительством которого впоследствии пользовался.

В девятнадцать лет Карла зачислили поручиком по квартирмейстерской части в свиту императора Павла I. Участвовал в Итальянском и Швейцарском походах А. В. Суворова. За отличие в них Александр Васильевич произвёл Толя в капитаны. С этих знаменитых походов началась его боевая служба, продолжавшаяся ровно треть века.

К началу Отечественной войны Карл Фёдорович имел уже репутацию самого образованного офицера Главного штаба. Тем не менее воевал не без ошибок. Д. В. Давыдов вспоминал: «Во время отступлений наших армий к Дорогобужу он за несколько вёрст до этого города нашёл для них позицию близ деревни

Усвятье. Во время осмотра этой позиции, которая была весьма неудобна, потому что левый фланг отделялся от прочих частей армии болотом и озером, князь Багратион, в присутствии многих генералов, сказал Толю:

— Вы, господин полковник[99], своего дела ещё не знаете. Благодарите Бога, что я здесь не старший, а то я надел бы на вас лямку и выслал бы вон из армии» (95, 268).

Толь в это время состоял в должности генерал-квартирмейстера 1-й Западной армии, которой командовал М. Б. Барклай де Толли. В его обязанности входила ответственность за выбор позиции, лагерных мест и квартир для войск, определение маршрутов их движения, подготовку боевых наставлений, составление отчётов и донесений о боевых действиях, подбор топографических карт, съёмку местности в районе нахождения войск и в тылу армии, наблюдение за расположением и передвижением неприятеля.

Словом, забот хватало. Современники отмечали выдающуюся энергию Карла Фёдоровича и его твёрдую волю, граничившую с упрямством. Но практические навыки пришли не вдруг. Под тем же Дорогобужем Толь просчитался ещё раз. «Не дождавшись неприятеля, — читаем в „Дневнике партизанских действий“ В. В. Давыдова, — обе армии отошли к Дорогобужу, где Толем была найдена другая позиция, которой князь Багратион также не мог остаться довольным. Во время осмотра новой позиции Ермоловым граф Павел Строганов указал ему на следующую ошибку Толя: его дивизия была обращена затылком к тылу стоящей позади её другой дивизии».

И в первом, и во втором случае ошибки были непростительными, и Толя удалили из армии. Пытаясь в какой-то мере оправдать его, Д. В. Давыдов говорил: «Трудно объяснить себе, каким образом столь искусный и сметливый офицер, каков был Толь, мог делать столь грубые ошибки. Почитая, вероятно, невозможным принять здесь сражение, он не обратил должного внимания на выбор позиции».

Но Карлу Фёдоровичу повезло: новый главнокомандующий вернул его в армию, и ему не пришлось раскаиваться в этом. Толь сыграл главную роль в выборе позиции для генерального сражения на Бородинском поле. В дальнейшем без него не проводился ни один военный совет, без его участия не принималось ни одно решение; он жил в одном доме с Кутузовым и работал в его присутствии.

1 сентября на военном совете в деревне Фили именно Толь предложил отступить на старую Калужскую дорогу, чтобы защитить южные губернии, обеспечивавшие Россию

продовольствием. Это входило в планы Кутузова, но, чтобы запутать противника, он приказал сначала отойти по направлению к Рязани.

Толь участвовал во всех главных сражениях Отечественной войны 1812 года, за что дважды награждался. Военный историк А. И. Махайловский-Данилевский писал о месте Карла Фёдоровича при Кутузове: «Он играл тогда первую роль: доверие к нему государя и фельдмаршала было велико, к нему относились во всех делах и без его совета ничего не предпринималось. Великий князь Константин Павлович сказал ему при изгнании французов из России: „Ты написал им славный маршрут из Тарутина через Вязьму и Красный до Немана!“» (77, 393).

Толь был активен и на полях Европы: участвовал в сражениях при Баутцене, Дрездене и Лейпциге. В последнем был направлен парламентёром к саксонцам, после чего те перешли на сторону союзников (Австрии, Пруссии и России). Кампания 1813 года закончилась для него производством в генерал-лейтенанты и присвоением австрийским императором титула барона.

Удачливыми для Карла Фёдоровича были и два следующих года: в 1814-м принимал участие в семи сражениях на территории Франции, в 1815-м участвовал в заседаниях Венского конгресса, на котором решались судьбы Европы и Наполеона. 1(13) марта восемь держав (Россия, Англия, Австрия, Пруссия, Испания, Португалия, Швеция и Франция) подписали декларацию, в которой Наполеон был объявлен вне закона как «враг рода человеческого». Тот факт, что Франция, отторгнув Бурбонов, с восторгом приняла Наполеона, коалиция держав сочла доказательством политического и морального разложения французского народа.

В декабре 1815 года Толь был назначен генерал-квартирмейстером только что учреждённого Главного штаба, который отвечал за ведение военно-исторической службы в русской армии. На своём новом посту Карл Фёдорович создал «Военную историю кампании 1812 года» — обстоятельное описание боевых действий, главным образом, с их стратегической стороны.

Толь сразу начал рассылать (вместе с начальником Главного штаба генерал-лейтенантом П. М. Волконским) многочисленные обращения к участникам Отечественной войны и заграничных походов о представлении сведений по боевым операциям (журналы военных действий, планы сражений и личные воспоминания о них).

В ноябре следующего года Александр I поручил А. А. Жомини, видному историку и военному теоретику,

составить на французском языке описание кампаний 1812–1815 годов, с тем чтобы труд Толя влился в состав этой общей истории, предназначавшейся для зарубежного читателя. По указанию царя акцент в этом объёмном труде делался не на Отечественной войне, а на заграничных походах. По этой концепции события 1812 года теряли свой уникальный характер и растворялись в обзоре всех кампаний указанного выше периода.

Сразу после окончания наполеоновских войн Карл Фёдорович приступил к составлению собственных записок мемуарного плана. Одна из них носит название «Подробное описание, как решено было дать сражение под Лейпцигом», другая — «О кампании 1814 года, начиная с Бриеннского сражения». В ней Толь писал о пребывании в штабе австрийского фельдмаршала Ф. Шварценберга. Карл Фёдорович живо описал обстановку в Главной квартире, свои впечатления от встреч с царём, П. М. Волконским, Л. Л. Беннигсеном и другими военачальниками.

Эти фрагменты воспоминаний Толя сохранились в архиве историка А. И. Михайловского-Данилевского, которому Карл Фёдорович писал: «Посылаю вам записки мои, которые собраны мною в том предположении, что они со временем детей моих интересовать могут, а отнюдь не для того, чтобы сделать их известными публике. По сему прошу вас прочесть их и сохранить собственно для себя то, что вам любопытно покажется, а по совершенной ненадобности более в них возвратить ко мне» (84, 105).

Свои знания опытного штабиста Карл Фёдорович весьма некстати (для восставших) проявил 14 декабря 1825 года на Сенной площади, подтолкнув царя к решительным действиям.

— Государь, прикажите площадь очистить картечью или откажитесь от престола! — заявил барон колебавшемуся императору.

Николай I оценил совет, и в дальнейшем карьера Толя проходила весьма успешно. За участие в Русско-турецкой войне 1829–1829 годов Карл Фёдорович получил орден Святого Георгия 2-го класса (отличился в сражении при Шумле), был возведён в графское достоинство Российской империи, а вскоре стал членом Государственного совета.

Толь участвовал в подавлении Польского восстания (был начальником Главного штаба действующей армии), в связи с чем его впервые упомянул Пушкин. «Потеря Дибича, — писал Александр Сергеевич 11 июня 1831 года, — должна быть чувствительна для поляков; по расчёту Толь будет главнокомандующим в течение 20 дней. Авось употребит он это

время в пользу себе и нам».

Поэт оказался прав в своих ожиданиях. Д. Давыдов, высоко оценивший самостоятельность действия Толя, писал: «Венец его славы — это взятие Варшавы. Здесь деятельность, мужество и в особенности вполне замечательная решительность Толя достойны величайших похвал».

В конце 1833 года Карл Фёдорович получил пост главноуправляющего ведомством путей сообщения и публичных зданий. Началась светская жизнь. На балах и приёмах в царском дворце старый воин неоднократно встречался с Пушкиным, которому явно симпатизировал. О последнем свидетельствуют письма поэта и подарок, сделанный им Толю (книга «История Пугачёвского бунта»). В послании от 26 января 1837 года Александр Сергеевич благодарил адресата за благожелательное отношение к своему труду:

«Милостивый государь, граф Карл Фёдорович!

Письмо, коего Ваше сиятельство изволили меня удостоить, останется для меня драгоценным памятником Вашего благорасположения, а внимание, коим почтили первый мой исторический опыт, вполне вознаграждает меня за равнодушие публики и критиков.

Не менее того порадовало меня мнение Вашего сиятельства о Михельсоне, слишком у нас забытом. Его заслуги были затемнены клеветою; нельзя без негодования видеть, что должен он был претерпеть от зависти или неспособности своих сверстников и начальников. Жалею, что не удалось мне поместить в моей книге несколько строк пера Вашего для полного оправдания заслуженного воина. Как ни сильно предубеждение невежества, как ни жадно приемлется клевета, но одно слово, сказанное таким человеком, каков Вы, навсегда их уничтожает. Гений с одного взгляда открывает истину, а истина сильнее царя, говорит Священное писание.

С глубочайшим почтением и совершенной преданностию честь имею быть, милостивый государь, Вашего сиятельства покорнейшим слугою, Александр Пушкин».

Удивительно спокойное деловое письмо! А ведь оно написано после обращения к барону Л. Геккерну с целью расставить все точки над і во взаимоотношениях с ним и его приёмным сыном и накануне утра следующего дня принёсшего чёрную весть России. Мужественным, волевым человеком был великий поэт Александр Сергеевич Пушкин.

Что касается героя этой миниатюры, то он благополучно прожил 65 лет, скончавшись в почёте и широкой известности. В 1856–1858 годах немецкий историк Т. Бернгарди издал в

Лейпциге в четырёх томах «Записки» К. Ф. Толя.

Фактически они оказались биографией Карла Фёдоровича, а поэтому вызвали болезненную реакцию военно-учёной общественности России, что, однако, не стимулировало её к собственной деятельности на благотворной ниве жизни незаурядного человека. Научной (и всякий другой) биографии Карла Фёдоровича Толя на русском языке нет до сего дня.

Национальный поэт. За пять месяцев до своей трагической гибели Пушкин написал стихотворение, в котором выразил твёрдую уверенность в своём широком признании всеми народами необъятной Российской империи:

> Слух обо мне пройдёт по всей Руси великой,
> И назовёт меня всяк сущий в ней язык,
> И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий
> Тунгус, и друг степей калмык.

Более того, поэт выражал надежду (не прямо, но достаточно открыто) на большую известность, чем гениальный Наполеон и его счастливый соперник российский император Александр I:

> Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
> К нему не зарастёт народная толпа,
> Вознёсся выше он главою непокорной
> Александрийского столпа.

Александрийский столп[100] отождествлялся в России с Александровской колонной — памятником Александру I, воздвигнутому в 1834 году на Дворцовой площади Петербурга. По высоте (47,5 метра) он превысил Вандомскую колонну. Последняя была символом побед Наполеона. Отсюда требование Николая I превзойти её высотой, как победитель великого воителя превзошёл его в ратном искусстве.

Но, как известно, памятники материальной культуры преходящи: сегодня они удивляют людей своей красотой и величием, а завтра они — тлен. Пушкин же притязал на вечность:

> Нет, весь я не умру — душа в заветной лире
> Мой прах переживёт и тленья убежит.
> И славен буду я, доколь в подлунном мире
> Жив будет хоть один пиит.

Впрочем, подлунный мир ограничивался у Александра Сергеевича своей страной. Как-то на вопрос, где он служит, он ответил: «Я числюсь по России».

Комплексом неполноценности великий поэт не страдал: он ощущал себя «божественным посланником» и «небом избранным певцом»:

Беда стране, где раб и льстец
Одни приближены к престолу,
А небом избранный певец
Молчит, потупя очи долу.

Пушкин не молчал, а потому П. Я Чаадаев, бывший гусарский офицер, ставший философом, писал ему 18 сентября 1831 года: «Мой друг, никогда ещё вы не доставляли мне такого удовольствия. Вот наконец вы — национальный поэт, вы угадали наконец своё призвание. Стихотворение к врагам России изумительно» (81, 242).

Да, время, когда вахмистр Чаадаев «заставлял мыслить» юного поэта, безвозвратно прошло. Исполненный удивления нравственной и политической зрелостью бывшего ученика Пётр Яковлевич называл его гениальным человеком и признавался:

— Думаю я о Вас столь часто, что совсем измучился.

В конце сентября 1836 года вышла 15-я книжка журнала «Телескоп». В отделе «Наука и искусство» читатели увидели статью Чаадаева под заглавием «Философические письма к г-же***. Письмо 1-е». Пётр Яковлевич послал журнал Пушкину и попросил его сделать замечания по ней.

Это было не первое обращение философа к поэту. Ещё летом 1831 года он передал ему рукопись первого письма со следующим уведомлением: «Я окончил, мой друг, всё, что имел сделать, сказал всё, что имел сказать. Мне не терпится иметь всё это под рукою. Постарайтесь поэтому, прошу вас, чтобы мне не пришлось слишком долго дожидаться моей работы. И напишите мне поскорее, что вы с ней сделали.

Вы знаете, какое это имеет значение? Дело не в честолюбивом эффекте, но в эффекте полезном. Не то чтоб я не желал выйти немного из своей неизвестности, принимая во внимание, что это было бы средством дать ход той мысли, которую я считаю себя призванным дать миру, но главная забота моей жизни — это довершить эту мысль в глубинах моей души и сделать из неё моё наследие» (81, 252).

Тогда Александр Сергеевич не отозвался на просьбу друга — не хотел расстраивать его. Прошло пять лет. Работа Чаадаева

появилась в печати, и отмалчиваться уже было нельзя. 19 октября Пушкин закончил роман «Капитанская дочка» и взялся за письмо Петру Яковлевичу: «Благодарю за брошюру[101], которую вы мне прислали. Я с удовольствием перечёл её, хотя очень удивился, что она переведена и напечатана. Я доволен переводом: в нём сохранены энергия и непринуждённость подлинника. Что касается мыслей, то вы знаете, что я далеко не во всём согласен с вами».

П. Я. Чаадаев

Что же это были за мысли, которые философ хотел дать миру, а поэт не воспринимал их? Читайте.

«Мы не принадлежим ни к одному из великих семейств человеческого рода, мы не принадлежим ни к Западу, ни к Востоку, и у нас нет традиций ни того ни другого. Стоя как бы вне времени, мы не были затронуты всемирным воспитанием человеческого рода.

У каждого народа бывает период бурного волнения, страстного беспокойства, деятельности необдуманной и бесцельной. В это время люди становятся скитальцами в мире, физически и духовно. Это — эпоха сильных ощущений, широких замыслов, великих страстей народных. У нас этого нет. Сначала — дикое варварство, потом грубое невежество, затем свирепое и унизительное чужеземное владычество, дух которого позднее унаследовала наша национальная власть, — такова печальная история нашей юности. Окиньте взглядом все прожитые нами века, всё занимаемое нами пространство, вы не найдёте ни одного привлекательного воспоминания, ни одного почтенного памятника, который властно говорил бы вам о прошлом, который воссоздавал бы его пред вами живо и картинно. Мы живём одним

настоящим в самых тесных его пределах, без прошедшего и будущего, среди мёртвого застоя. Обособленные странной судьбой от всемирного движения человечества, мы ничего не восприняли и из преемственных идей человеческого рода. Между тем именно на этих идеях основывается жизнь народов.

Что такое жизнь человека, говорит Цицерон, если память о прошлых событиях не связывает настоящего с прошедшим. Мы же, придя в мир, подобно незаконным детям, без наследства, без связи с людьми, жившими на земле раньше нас, мы не храним в наших сердцах ничего из тех уроков, которые предшествовали нашему собственному существованию.

У нас совершенно нет внутреннего развития, естественного прогресса; каждая новая идея бесследно вытесняет старые, потому что она не вытекает из них, а является к нам бог весть откуда. Так как мы воспринимаем всегда лишь готовые идеи, то в нашем мозгу не образуются те неизгладимые борозды, которые последовательное развитие проводит в умах и которые составляют их силу. Мы растём, но не созреваем, движемся вперёд, но по кривой линии, то есть по такой, которая не ведёт к цели» (80, 447–450).

Словом, Чаадаев дал резко отрицательную характеристику России как в ее прошлом, так и в настоящем:

«Исторический опыт для нас не существует; поколения и века протекли без пользы для нас. Глядя на нас, можно было бы сказать, что общий закон человечества отменён по отношению к нам. Одинокие в мире, мы ничего не дали миру, ничему не научили его; мы не внесли ни одной идеи в массу идей человеческих, ничем не содействовали прогрессу человеческого разума, и всё, что нам досталось от этого прогресса, мы исказили. С первой минуты нашего общественного существования мы ничего не сделали для общего блага людей, ни одна полезная мысль не родилась на бесплодной почве нашей родины, ни одна великая истина не вышла из нашей среды; мы не дали себе труда ничего выдумать самим, а из того, что выдумали другие, мы перенимали только обманчивую внешность и бесполезную роскошь.

Если бы мы не раскинулись от Берингова пролива до Одера, нас и не заметили бы. В общем, мы жили и продолжаем жить, чтобы послужить каким-то важным уроком для отдалённых поколений, которые сумеют его понять, ныне же мы составляем пробел в нравственном миропорядке. Мы замкнулись в нашем религиозном обособлении. Новые судьбы человеческого рода совершались помимо нас. Хотя мы и назывались христианами, плод христианства для нас не созрел».

Пушкин, хорошо знавший историю России, конечно, не мог согласиться со столь уничижительным её толкованием старым приятелем. Дружба дружбой, а истина дороже. Свой ответ Чаадаеву Александр Сергеевич начал с защиты православия: «Нет сомнения, что Схизма[102] отъединила нас от остальной Европы и что мы не принимали участия ни в одном из великих событий, которые её потрясали, но у нас было своё особое предназначение. Это Россия, это её необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. Татары не посмели перейти наши западные границы и оставить нас в тылу. Они отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация была спасена. Для достижения этой цели мы должны были вести совершенно особое существование, которое, оставив нас христианами, сделало нас, однако, совершенно чуждыми христианскому миру, так что нашим мученичеством энергичное развитие католической Европы было избавлено от всяких помех. Вы говорите, что источник, откуда мы черпали христианство, был нечист, что Византия была достойна презрения и презираема и т. п. Ах, мой друг, разве сам Иисус Христос не родился евреем и разве Иерусалим не был притчею во языцех? Евангелие от этого разве менее изумительно? У греков мы взяли евангелие и предания, но не дух ребяческой мелочности и словопрений.

Нравы Византии никогда не были нравами Киева. Наше духовенство до Феофана было достойно уважения, оно никогда не пятнало себя низостями папизма и, конечно, никогда не вызвало бы реформации в тот момент, когда человечество больше всего нуждалось в единстве.

Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться. Войны Олега и Святослава и даже удельные усобицы — разве это не та жизнь, полная кипучего брожения и пылкой и бесцельной деятельности, которой отличается юность всех народов? Татарское нашествие — печальное и великое зрелище. Пробуждение России, развитие её могущества, её движение к единству (к русскому единству, разумеется), оба Ивана, величественная драма, начавшаяся в Угличе и закончившаяся в Ипатьевском монастыре, — как, неужели всё это не история, а лишь бледный и полузабытый сон? А Пётр Великий, который один есть целая всемирная история? А Екатерина II, которая поставила Россию на пороге Европы? А Александр, который привёл вас в Париж?» (10, 874–875).

Пушкин в конце его жизни — это не тот молодой поэт, стихотворениями которого («Кинжал», «Деревня», «Вольность») вдохновлялись декабристы. Он значительно поостыл и заметно смирился с существующим порядком вещей, хотя «бунтовал» до

последних своих дней, не смолчал и в письме Чаадаеву: «Поспорив с вами, я должен вам сказать, что многое в вашем послании глубоко верно. Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь — грустная вещь.

Что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, справедливости и истине, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству — поистине могут привести в отчаяние. Вы хорошо сделали, что сказали это громко».

Полностью отторгнув взгляд на прошлое России, как на ничтожество и ничем не заполненную пустоту, Пушкин не мог не согласиться с Чаадаевым в том, что в своём настоящем страна весьма далека (особенно в политическом отношении) от передовых стран Европы: «Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя: как литератора — меня раздражают, как человек с предрассудками — я оскорблён, но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог её дал» (10, 875–876).

Вот это главное! Это — трезво обдуманная мысль, которую великий поэт, возможно, вынашивал с 1831 года, когда получил рукопись «Философического письма». Это не юношеские выкрики на публику, не сетования, брошенные мимоходом («Чёрт догадал меня родиться в России с душою и талантом!» Из письма к жене. 18.05.1836). Это — кредо национального поэта, немало пережившего и много думавшего. Такие слова отливаются в бронзе или высекаются в граните, их не произносят всуе, ими не разбрасываются. Ими гордятся и дорожат, для них не существует времени, ибо они обращены в вечность. Страдать, искать и сомневаться — таков был удел гения, ставшего нашим «всё».

…Думается, что немалую роль в становлении Пушкина как национального поэта сыграло наличие в его окружении военных — людей, как правило, патриотического склада. Способствовал этому и постоянный интерес поэта к войнам 1805–1815 годов, что отразилось даже, казалось бы, в сугубо персонифицированном стихотворении «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» (упоминание о Александрийском столпе) и в письме к Чаадаеву (упоминание Александра I и Парижа).

Словом, как военная служба формирует командную элиту, так и обращение Пушкина к военной тематике во многом способствовало взращиванию его как национального поэта.

«Люблю войны кровавые забавы» Вместо заключения

Пушкин, Тютчев, Хомяков,
Глинка — это искры Божьи, выбитые
из груди России грозою 1812 года.

П. И. Бартенев

С первого и до последнего дня своего сознательного бытия Пушкин пребывал в окружении людей, связанных с событиями Отечественной войны 1812 года и зарубежным походом русской армии двух следующих лет. В лицее он был свидетелем ухода из столицы к западной границе империи гвардии и ополченцев:

Среди святых воспоминаний
Я с детских лет здесь возрастал,
А глухо между тем поток народной брани
Уж бесновался и роптал.
Отчизну обняла кровавая забота,
Россия двинулась, и мимо нас волной
Шли тучи конные, брадатая пехота,
И пушек медных светлый строй.

На юных ратников завистливо взирали,
Ловили с жадностью мы брани дальний звук,
И детство, негодуя проклинали,
И узы строгие наук…

Три года отрок жил впечатлениями о военных событиях (суть и значение которых разъясняли лицеистам преподаватели), и вот их последний аккорд — возвращение гвардии в Петербург:

Увы, мне не судил таинственный предел
Сражаться за тебя[103] под градом вражьих стрел!
Сыны Бородина, о кульмские герои!
Я видел, как на брань летели ваши строи;
Душой восторженной за братьями спешил.
Почто ж на бранный дол я крови не пролил?
Почто, сжимая меч младенческой рукою,
Покрытый ранами, не пал я пред тобою

И славы под крылом наутро не почил?
Почто великих дел свидетелем не был?

Пушкин буквально грезил войной. Вот стихотворение «Послание Юдину», в котором воспевается сельская идиллия:

Мне видится моё селенье,
Моё Захарово, оно
С заборами в реке волнистой,
С мостом и рощею тенистой
Зерцалом вод отражено.
На холме домик мой; с балкона
Могу сойти в весёлый сад,
Где старых клёнов тёмный ряд
Возносится до небосклона
И глухо тополи шумят…

И какие же мысли вызывали у юного поэта воспоминания о родном крове? Читайте:

Ношусь на крыльях я мечты.
Огни во стане догорают;
Меж них, окутанный плащом,
С седым усатым казаком
Лежу — вдали штыки сверкают,
Лихие ржут, бразды кусают,
Да изредка грохочет гром,
Летя с высокого раската…
Трепещет бранью грудь моя
При блеске бранного булата
Огнём пылает взор, — и я
Лечу на гибель супостата.

С пятнадцати лет военная тематика занимает прочное место в лирике поэта, едва-едва расставшегося с отрочеством: «Казак», «Воспоминания в Царском Селе», «Наполеон на Эльбе», «На возвращение государя императора из Парижа в 1815 году», «Принцу Оранскому», «Молитва русских», «Усы», «Наездники». Последние два из перечисленных стихотворений связаны с вхождением поэта в среду молодых офицеров лейб-гвардии Гусарского полка. Общение с ними продолжалось почти четыре года и немало дало молодому поэту в приобретении знаний как о

прошедших войнах, так и вообще о военном искусстве. По выходе из лицея Пушкин даже намеревался посвятить свою жизнь воинской службе.

С осени 1820-го по май 1823 года поэт находился в среде военных 16-й пехотной дивизии М. Ф. Орлова. Этот период его жизни совпал с началом восстания Греции против османского ига, на что Пушкин откликнулся стихотворением «Война»:

Война! Подъяты наконец,
Шумят знамёна бранной чести!
Увижу кровь, увижу праздник мести;
Засвищет вкруг меня губительный свинец.
И сколько сильных впечатлений
Для жаждущей души моей:
Стремленье бурных ополчений,
Тревоги стана, звук мечей,
И в роковом огне сражений
Паденье ратных и вождей!

Александр Сергеевич не собирался задерживаться в Кишинёве (об этом хлопотали его петербургские друзья), но восстание греков разом изменило его намерения и планы. 21 августа 1821 года Пушкин писал С. И. Тургеневу: «Если есть надежда на войну, ради Христа, оставьте меня в Бессарабии».

Поэт надеялся, что Россия выступит в защиту Греции и тогда он найдёт способ принять в этом участие. Не случилось. Пушкинисты насчитывают около 200 лиц, с которыми поэт познакомился в Кишинёве, и большинство из них были люди служивые. С десятком-двумя из них Александр Сергеевич находился в дружеских отношениях. Военная среда немало способствовала созданию поэтом стихотворений «Наполеон», «Недвижный страж дремал на царственном пороге», «Зачем ты послан был и кто тебя послал?», «К морю». Тематически все они связаны с фигурой гениального воителя и его последними деяниями.

С 5 января 1828 года по 31 января 1829-го Пушкин работал над большой поэмой «Полтава». Погружение в петровскую эпоху несколько отвлекло его от событий начала XIX столетия и его ключевых фигур. Способствовала этому и длительная поездка Александра Сергеевича на Кавказ, на театр военных действий. Там поэт, по свидетельству современников, пытался на практике реализовать свою тягу к воинским подвигам. Литературным памятником этого стали очерки «Путешествие в Арзрум», стихотворения «Делибаш», «Зарю бьют» и «Был и я среди донцов»:

Был и я среди донцов,
Гнал и я османов шайку;
В память битвы и шатров
Я домой привёз нагайку.

На походе, на войне
Сохранил я балалайку —
С нею рядом, на стене
Я повешу и нагайку.

Что таиться от друзей —
Я люблю свою хозяйку,
Часто думал я об ней
И берёг свою нагайку.

Обращение поэта к теме наполеоновских войн во второй половине 1820-х было минимальным: «Рефутация на г-на Беранже» и «К бюсту завоевателя». Но в следующем пятилетии Пушкин с лихвой компенсировал эту передышку: 10-я глава романа «Евгений Онегин», стихотворения «Герой», «Перед гробницею святой», «Клеветникам России», «Бородинская годовщина», «Бонапарт и черногорцы», «Полководец», «Была пора», прозаические произведения — «Метель», «Рославлев».

Опосредованно тема Отечественной войны и зарубежных походов русской армии связана с посвящениями участникам этого эпохального явления отечественной истории. Полагаем не лишним назвать их: Алексеев Н. С., Батюшков К. Н., Булгарин Ф. В., Велипольский И. Е., Волконский С. Г., Воронцов М. С., Вяземский П. А., Глинка Ф. Н., Давыдов Д. В., Давыдов В. Л., Жуковский В. А., Каверин П. П., Катенин П. А., Мансуров П. Б., Орлов А. Ф., Пущин П. С., Раевский В. Ф., Раевский А. Н., Раевский Н. Н., Раевский Н. Н. (сын), Сабуров Я. И., Сипягин Н. М., Толстой Ф. И., Толстой Я. Н., Тургенев А. И., Чаадаев П. Я., Шишков А. С.

Переписка поэта также наполнена упоминаниями о грозе 1812 года и двух последующих лет. Действующие лица этого времени оставались значительны и интересны для него буквально до последних дней жизни:

15 декабря 1836 года. «Вечер у Пушкиных до полуночи. О Михаиле Орлове, Киселёве, Ермолове…»

9 января 1837 года. «Я зашёл к Пушкину. Ермолов, Орлов, Киселёв всё знали и ожидали: без нас дело не обойдётся» (76, 335)[104].

Это фрагменты из дневника А. И. Тургенева, то есть свидетельство весьма близкого поэту человека, в доме которого «на заре туманной юности» он написал оду «Вольность».

Александр Иванович во многом способствовал развитию у Пушкина интереса к истории (беседы о Петре I). Военное прошлое страны заняло достойное место в творчестве гения.

Он по праву унаследовал от Н. М. Карамзина звание историографа. Но если «История государства Российского» доступна весьма немногим, то поэтическое творчество Пушкина — всем и каждому. Стихотворения его невольно обращают взор всё новых и новых поколений на славное прошлое России, о котором Александр Сергеевич говорил: «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно: не уважать оной есть постыдное малодушие. Бескорыстная мысль, что внуки будут уважены за имя, нами им переданное, не есть ли благороднейшая надежда человеческого сердца?» (7, 58).

Этот завет потомкам Пушкин убедительно подтвердил в несостоявшимся споре с П. Я. Чаадаевым.

8.01.17

Использованная литература

1–10. *Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений в 10 т. М., 1962–1966.

11. *Александров Н. Д.* Силуэты пушкинской поры. М., 1999.

12. *Анненков П. А.* Пушкин в Александровскую эпоху. Минск, 1998.

13–14. Арзамас. Из литературного наследия «Арзамаса». Сб. в 2 кн. Кн. 1, 2. М., 1994.

15. *Аринштейн Л.* Пушкин. Непричёсанная биография. М., 2007.

16. *Архангельский А. Н.* Герои Пушкина. М., 1999.

17. *Ашукин Н. С.* Пушкин в Москве. СПб., 1998.

18. *Балязин В. Н.* Фельдмаршал Барклай. М., 1992.

19. *Борисов Ю. В.* Шарль Морис Талейран. М., 1989.

20. Бородино и наполеоновские войны. Материалы Международной научной конференции. М., 2003.

21. *Брюханов Вл.* Мифы и правда о восстании декабристов. М., 2005.

22–23. *Вересаев В.* Пушкин в жизни. Собрание соч. в 4 т. Т. 2, 3. М., 1990.

24. *Вигель Ф. Ф.* Записки. М., 2000.

25. *Вильсон Р.* Дневники и письма. М., 1995.

26. *Волконский С. М.* Воспоминания. М., 1994.

27. *Волович Н. М.* Пушкинские места Москвы и Подмосковья. М., 1979.

28. *Гессен А. И.* Всё волновало нежный ум… Пушкин среди книг и друзей. М., 1964.

29. *Глинка В.* Пушкин и Военная галерея Зимнего дворца. М., 1988.

30. *Глинка Ф. Н.* Письма к другу. М., 1990.

31. *Гордин М. А.* Отечественная война 1812 года на фоне басен Крылова. СПб., 2012.

32. *Гроссман Л. П.* Александр Сергеевич Пушкин. М., 2003.

33. *Губер П. К.* Донжуанский список Пушкина. СПб., МС М XXX.

34. *Гусаров А.* Памятники в честь победы в Отечественной войне 1812 года. М. — СПб., 2012.

35. *Дружников Ю.* Узник России. М., 2003.

36–37. Друзья Пушкина. Т. 1, 2. М., 1984.

38. *Дурова Н. А.* Избранные сочинения кавалерист-девицы. М., 1983.

39. *Ермолов А. П.* Записки. М., 1991.

40. *Залесский К. А.* Наполеоновские войны. Биографический энциклопедический словарь. М., 2003.

41. *Захарова О. Ю.* «Я князь, коль мой сияет дух…» Подольск, 1997.

42. И славили Отчизну меч и слово. 1812 год глазами очевидцев. Поэзия и проза. М., 1987.

43. История России в XIX веке. М., 2001.

44. История русской журналистики XVIII–XIX вв. СПб., 2003.

45. *Кавтарадзе А. Г.* Генерал А. П. Ермолов. Тула, 1977.

46. *А. Кастело.* Бонапарт. М., 2004. 47. А. Кастело. Наполеон. М., 2004.

48. Клятву верности сдержали. 1812 год в русской литературе. М., 1987.

49. *Кочетов А. Н.* Барклай де Толли. М., 1970.

50. *Коленкур А.* Поход Наполеона в Россию. Таллин — М., 1994.

51–52. *Крутов В. В., Шевцова-Крутова Л. В.* Белые пятна красного цвета. Т. 1, 2. М., 2001.

53–54. М. И. Кутузов. Документы. Т. 4. Ч. 1, 2. М., 1953–1954.

55. *Лажечников И. И.* Походные записки русского офицера. М., 2013.

56. *Лапин К.* Что? Где? Когда? В романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин». М., 2015.

57–58. Лас Каз. Мемориал Святой Елены. Т. 1–2. М., 2014.

59. *Лобикова Н. М.* Тесен круг моих друзей. Л., 1980.

60. *Маршан Л.-Ж.* Наполеон. Годы изгнания. М., 1967.

60а. Наполеон Бонапарт. Императорские максимы. М., 2003.

61. *Николаев А. П., Николаев П. Ф.* От великого до смешного. М., 2010.

62. *Николаев П. Ф.* «Полёт Орла». Хроника «Ста дней» Наполеона Бонапарта. М., 2009.

63. *Николаев П. Ф.* Фёдор Глинка. М., 2016.

64. Отечественная война в культурной памяти России. М., 2012.

65. Отечественная война 1812 года. Энциклопедия. М., 2004.

66. Петербургские встречи Пушкина. Л., 1987.

67. *Попов М. Я.* Денис Давыдов. М., 1971.

68. *Почко Н.* Генерал Раевский. М., 1972.

69–70. Пушкин в воспоминаниях современников. Ч. 1–2. М., 1984.

71–72. Пушкинские места. Путеводитель. Ч. 1–2. М., 1988.

72а. *Раевский Н.* Избранное. М., 1978.

73. России двинулись сыны. Записки об Отечественной войне 1812 года её участников и очевидцев. М., 1988.

74. *Сергеева-Кляппис А.* Батюшков. М., 2012.
75. *Синдаловский Н.* Пушкинский круг. М., 2008.
76–77. *Соколов В.* Рядом с Пушкиным. Т. 1–2. М., 1999.
78–79. *Соколов О.* Аустерлиц. Наполеон. Россия и Европа. Т. 1–2. М., 2006.
80. *Соколов О.* Битва двух императоров. 1805–1812. М. — СПб., 2013.
81. *Тарасов Б.* Чаадаев. Л., 1990.
82. *Тарле Е. В.* Наполеон. М., 1936.
83. *Тарле Е. В.* Нашествие Наполеона на Россию. М., 1938.
84. *Тартаковский А. Г.* 1812 год в русской мемуаристике. М., 1980.
85. *Трощкий Н.* Александр I против Наполеона. М., 2007.
86. *Труайя А.* Александр I. М., 1995.
87. *Труайя А.* Александр Пушкин. М., 2006.
88–89. *Тыркова-Вильямс А.* Жизнь Пушкина. Т. 1–2. М., 1998.
90. *Фёдоров В. А.* Сборник документов по истории СССР. М., 1974.
91. *Ханбеков Л.* Соч. в 3 т. Т. 1. М., 2006.
92. *Черейский Л. А.* Пушкин и его окружение. М., 1988.
93. *Шеваров Дм.* Двенадцать поэтов 1812 года. М., 2014.
94. *Эйдельман Н.* Первый декабрист. М., 1990.
95. *Эйдельман Н.* Тайная аудиенция // Новый мир, 1985, № 12.
96. 1812 год в русской поэзии и воспоминаниях современников. М., 1987.
97. 1812–1814. Реляции. Письма. Дневники. М., 1992.
98. *Прилепин З.* Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы. М., 2017.

К биографии автора. Справка

Николаев Павел Фёдорович, член Союза писателей России, бывший музейный работник. Публикуется с июля 1969 года в газетах и журналах Москвы. Наиболее значительными из своих журнальных публикаций считает две — «Земные корни фантастики» и «Иззябся, я в Париже».

Первая из них посвящена писателю И. А. Ефремову, его экспедиции в Верхне-Чарскую котловину Восточной Сибири. Она проходила в 1934 году и началась крайне неудачно: часть лета и осени геологическая партия провела у железнодорожной станции Могоча в ожидании денег и грузов экспедиции. Убивая время (книг не было), делились друг с другом накопленными знаниями, увлекались сочинением стихов. Сохранилось два стихотворения, написанных (за 10 лет до начала его литературной деятельности) Иваном Антоновичем. Материалы экспедиции были собраны автором этой книги и переданы в фонды Государственного исторического музея.

В статье «Иззябся, я в Париже» Николаев опубликовал (как приложение) неизвестные письма А. И. Куприна. Они были обнаружены им в документальном архиве Музея истории Москвы в фонде секретаря правления Союза писателей СССР К. В. Воронкова. Эта публикация открыла для исследователей архив, в котором собрано около 2000 писем писателей — от корифеев советской литературы до начинающих авторов. Одно из писем этой уникальной коллекции (А. И. Солженицына) Павел Фёдорович опубликовал в своей автобиографической книге «Ego» (2013).

Николаев — автор биографии русского офицера и замечательного поэта Ф. Н. Глинки (2016). Материалы о дореволюционных писателях и поэтах занимают треть его сборника «Столица в эпизодах и лицах» (2000). В книге

«Брюсовский переулок» (2007), посвящённой его обитателям, помещены большие очерки о Н. М. Карамзине, А. В. Сухово-Кобылине, К. Д. Бальмонте, С. А. Есенине и М. Е. Кольцове.

По своей профессии Павел Фёдорович был связан с работой в Музее-панораме «Бородинская битва» и в Государственном Бородинском военно-историческом музее-заповеднике. Это стимулировало создание им солидных художественно-популярных книг, тематически восходящих к наполеоновским войнам — «Полёт Орла» (2009) и «От великого до смешного. Русский поход Наполеона Бонапарта» (2010).

Бородинское поле связано с историей двух войн — Отечественной 1812 года и Великой Отечественной 1941–1945 годов. Интерес к начальному периоду второй из них вызвал к жизни книгу «„Сто дней“ Иосифа Сталина», в 2 т. М., 2011.

Сфера творческих интересов писателя довольно обширна, и одна из них — люди науки и культуры. Николаев является автором первых книг об основателе Музея истории Москвы П. В. Сытине («Патриарх москвоведения», 2002) и академике АМН Б. И. Збарском («Б. И. Збарский», 1990).

Кроме изданных книг, в архиве Павла Фёдоровича остаётся ещё два десятка рукописей — «Оседлавшие Пегаса», «У подножия Парнаса», «Встречи на московских улицах» (все три — о писателях); «Были и легенды Бородинского поля», «Свирепая решимость. Москва и Отечественная война 1812 года», цикл книг под рубрикой «Впервые в Москве».

К сожалению, как заметил один критик, творческие возможности П. Ф. Николаева сильно превышают его деловые качества, и на прижизненное издание этих произведений он не рассчитывает, довольствуясь сознанием того, что они есть, и надеясь на то, что рукописи не горят.

В. В. Тян,

действительный член Российской академии естественных наук,

член Союза писателей России, доктор исторических наук

Приложение
Мария и Анна

Как-то на балу в доме тульского генерал-губернатора А. А. Тулубьева Л. Н. Толстой увидел женщину удивительной красоты. Золовка писателя вспоминала об этой встрече: «Дверь из передней отворилась, и вошла незнакомая дама в чёрном кружевном платье. Её лёгкая походка легко несла её довольно полную, но прямую и изящную фигуру. Меня познакомили с ней. Лев Николаевич ещё сидел за столом. Я видела, как он пристально разглядывал её.

— Кто это? — спросил он, подходя ко мне.

— Мадам Гартунг, дочь поэта Пушкина.

— Да-а, — протянул он, — теперь я понимаю… Ты посмотри, какие у неё арабские завитки на затылке. Удивительно породистые».

М. А. Гартунг

Мария Александровна произвела настолько сильное впечатление на писателя, что её внешними чертами он наделил главную героиню в романе «Анна Каренина». Наиболее подробно описание её внешности дано в сцене была: «Анна была в чёрном, низко вырезанном бархатном платье, открывавшем её точёные, как старой слоновой кости, полные плечи и грудь и округлые руки с тонкой крошечной кистью. Всё платье было обшито венецианским гипюром. На голове у неё, в чёрных волосах, своих, без примеси, была маленькая гирлянда анютиных глазок и такая же на чёрной ленте пояса между белыми кружевами. Причёска её была незаметна. Заметны были только, украшая её, эти своевольные короткие колечки курчавых волос, всегда выбивавшихся на затылке и висках. На точёной крепкой шее была нитка жемчуга».

Как внешний облик старшей дочери Пушкина и героини Толстого, так и их судьбы в основных чертах переплетаются — жизнь Марии Александровны сложилась драматично. Она была замужем за офицером лейб-гвардии конного полка Л. Н. Гартунгом. В 1875 году Леонид Николаевич был назначен заведовать Московским отделением государственного коннозаводства. Супруги поселились в Москве на Поварской, 25а.

Дом этот — творение Доменико Жилярди, созданное на основе старой постройки в первой половине 1820-х годов. Простота и ясность его композиции, контрастное сочетание пластически насыщенного центра и гладких поверхностей боковых стен, — всё это присуще жилым домам послепожарной Москвы.

По воле случая дочь Пушкина оказалась в доме, который соседствует с другим старожилом Москвы (№ 27) и в котором не раз бывал её отец. В нём в январе 1829 года Александр Сергеевич читал поэму «Полтава». Свою Полтаву пришлось пережить его дочери на Поварской.

Л. Н. Гартунг имел неосторожность взять на себя обязанности душеприказчика некоего Занфтлебена, бывшего процентщика. Это вызвало обвинение со стороны родственников покойного в краже и подделке Леонидом Николаевичем векселей.

В 1877 году в окружном суде состоялся процесс по этому делу. Присяжные вынесли вердикт: виновен, похитил. Суд удалился для составления приговора. Не дожидаясь его, Гартунг застрелился. При нём нашли заранее заготовленную записку: «Клянусь всемогущим Богом, что ничего в этом деле не похитил и врагов своих прощаю».

Трагическая судьба Леонида Николаевича потрясла всё

русское общество. В «Дневнике писателя» за октябрь 1877 года Ф. М. Достоевский посвятил этому событию статью «Самоубийство Гартунга и всегдашний вопрос наш: кто виноват?» Симпатии писателя были на стороне покойного: «Он умер в сознании своей невиновности и в сознании своего джентльменства».

Трагедия, происшедшая в окружном суде, послужила фабулой в драме Л. Н. Толстого «Живой труп». Вспомните сцену, которой заканчивается пьеса.

Итак, гибель Гартунга не оставила равнодушными величайших писателей земли русской! Надо ли говорить о том, как была потрясена Мария Александровна, эмоциональная, талантливая пианистка и тонкий знаток литературы.

Дочь гениального поэта оказалась женщиной волевой и жизнестойкой, хотя судьба как бы смеялась над ней (Мария Александровна пережила все русские революции). Говорят, что в последние годы своего бытия она часто приходила к памятнику отца и подолгу сидела напротив. О чём думала старая женщина, некогда блестящая красавица, увековеченная гениальным пером? Какие строки отца шептали высохшие губы? Что виделось ей за трагедией будней вымирающего города?

Скончалась Мария Александровна 7 марта 1919 года, на исходе своего 87-летия, в жесточайшей нужде и полной безвестности.

notes

Примечания

1

«Расшифровку» ссылок смотрите в разделе «Использованная литература». Первая цифра указывает на автора, вторая — цитируемую страницу книги.

2

Да здравствует Генрих IV.

3

«Жоконда» — комическая опера Н. Изоара.

4

Иллюминаты — члены тайных религиозно-политических обществ З. Европы во второй половине XVIII столетия.

5

Шпиц — игла. Остриё.

6

Когда же (будем заниматься) верховой ездой?

7

Вино урожая 1811 года, когда над Европой пролетела комета Галлея.

8

Доломан (от турецкого «долиман») — гусарский мундир без фалд и со стоячим воротником.

9

Императором Наполеон был провозглашён 4(16) мая 1804 года.

10

По замечанию А. В. Тырковой-Вильямс, «до восстания декабристов патриотизм, в который включалась любовь и личная преданность Государю, был основным атрибутом всякого образованного русского».

11

Армию царь оставил неохотно, так как не собирался этого делать, и еще весной писал сестре Екатерине Павловне: «Мне придётся быть в центре и административного и военного руководства».

12

Ноэль — святочная песня.

13

И. П. Лавров и В. И. Соц — сотрудники полиции.

14

Фогель — агент тайной полиции

15

Милорадович М. А. — боевой генерал, генерал-губернатор Петербурга.

16

Главная квартира — совокупность лиц, состоящих при императоре или главнокомандующем.

17

В 1812 году ордена Св. Георгия 1-го класса был удостоен только М. И. Кутузов.

18

Multa paugis (латинс.) — много в немногих словах.

19

По подсчетам Я. Рогозиной, Пушкин имел тридцать вызовов («Тайны XX века», 2017/7. С.8).

20

Юрзуф — Гурзуф.

21

Николай Николаевич был восставновлен в чинах и закончил службу генерал-лейтенантом.

22

Александр Львович собирался в Крым и приглашал с собой Пушкина.

23

Безрукий князь — А. Ипсиланти.

24

Шервуд выдал шестнадцать генералов и четырнадцать полковников.

25

Гетеристы — члены тайного общества «Фелике Гетерия», готовившие восстание против турецкого владычества в Греции.

26

Гевальдигер — начальник военной полиции дивизии.

27

Перечислены певцы свободы.

28

Неблагодарное Отечество (лат.)

Такова была официальная пропаганда государства и Церкви.

30

Берейтор — человек, обучающий верховной езде.

31

Полу-милорд — М. С. Воронцов, генерал-губернатор Новороссии.

32

Формуляр — документ о прохождении службы.

33

От И. Н. Инзова.

34

Намек на Калипсо Полихрони, которой тогда был увлечен Пушкин.

35

Отец Пестеля, будучи губернатором в Сибири, прославился своим лихоимством.

36

Намёк Пушкина на его возвращение (с фельдъегерем) из Михайловского.

37

«Алфавит декабристов» — перечень лиц, представших в первой половине 1826 года перед Следственным коммитетом.

38

Эстандарт-юнкер — старший унтер-офицер, кандидат на первый офицерский чин.

39

Л. С. Беннигсен участвовал в заговоре против Павла I.

40

Рейн и Сверчок — прозвища Орлова и Пушкина в «Арзамасе», все члены которого назывались «гусями».

41

Октавий — подразумевается Александр I, на милость которого поэт не надеялся

42

155,57 сантиметра.

43

Каптенармус — 232

Вам — П. Д. Киселеву.

Пристанище (франц.).

46

Афеимзм — атеизм.

47

Он — голубь.

Лукавый — сатана.

49

Московские наблюдатели — сотрудники журнала «Московские наблюдатели».

50

А. Н. Пещуров — опочецкий уездный предводитель дворянства.

51

Члены Южного общества и Соединенных славян говорили, что стихотворение «Кинжал» читалось в их кругу для поощрения к цареубийству.

Им — членам тайного общества.

53

Шутка по поводу несостоявшейся дуэли в послелицейские годы поэта.

Его — хладнокровного генерала.

55

Кронверк — наружное укрепление крепости.

Клит — Кюхельбекер.

Донесения М. И. Платова.

58

В набросках посвящения строка «Твоя печальная пустыня» читалась: «Сибири хладная пустыня.»

Дети Волконских — сын Михаил и дочь Елена.

60

В десятой главе «Евгения Онегина» Пушкин писал о Н. И. Тургеневе:

Одну Россию в мире видя,
Преследуя свой идеал,
Хромой Тургенев им внимал,
И, цепи рабства ненавидя,
Предвидел в сей толпе дворян
Освободителей крестьян.

61

Кронверк — укрепление перед валом крепости, куртина — участок крепостной ограды.

62

Первоначальная редакция.

Полюбил правителя, который жестоко покарал его друзей и которым он писал в январе 1827 года:

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье.
Не пропадёт ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье…

Рефутация (франц.) — отповедь.

Не последний из них, царь Александр I говорил (находясь в Париже):

— В этой земле живут 30 миллионов скотов, одарённых словесностью, без правил, без чести, да и может ли что-нибудь быть там, где нет религии? (А. Михайловский-Данилевский. Мемуары. СПб, 2001, с. 319).

66

Русских генерал-фельдмаршалов за всю историю войн XVIII-начала XX столетий было 27 человек.

Allusions — намёки.

Титул графа Бенкендорф получил в 1832 году.

69

С 30 июня 1812 года Ермолов был начальником Главного штаба 1-й Западной армии.

Ты — П. Я. Чаадаев.

71

Теперь это Краснопресненский парк столицы.

Михаила Павловича.

Маневр сей был удостоен похвалы Наполеона:

— Это превосходный шахматный ход! Вот никогда бы я не поверил, что какой-нибудь генерал у союзников способен это сделать!

Не такой уж молодой: в момент переговоров царю шёл двадцать восьмой год.

75

Р. Т. Вильсон был представителем Великобритании при штабе М. И. Кутузова.

Как парадокс, надо отметить, что в кампании 1814 года Наполеон не проиграл ни одного сражения (11 из 14 выиграл, а три свел вничью). Крупнейшие военные авторитеты ставят эти победы в уровень с лучшими достижениями наполеоновского гения в военном искусстве.

77

Радожицкий серьезно занимался ботаникой. Ему принадлежит труд «Всемирная флора» в пятнадцати томах.

78

Пафмос — остров, на котором, по преданию был написан Апокалипсис; отсюда и название стихотворения «Герой» апокалипсической песнью.

79

«Здесь» — в салоне Фикельмон.

80

Прага — предместье Варшавы.

81

Евгений Антошкин.

82

Орлица-Екатерина II, бабка Александра I. Турухтан (кулик) — Павел I, отец царя.

83

Eloge — похвальное слово.

84

Эперне — место под Парижем, центр производства вин.

85

Аристид — государственный деятель Древней Греции.

Камены — италийские нимфы ручья.

Палатный — от «палаты» (царские палаты).

88

Нереида — морская нимфа, божество природы.

М. Т. Каченовский, который полемизировал с Глинкой.

90

Об итогах 18-го брюмера академик Е. В. Тарле писал: «Франция была у ног Бонапарта». Лучше не скажешь.

Их — французов.

92

Легенда о крестьянине, который, не желая помогать врагам, отрубил себе руку («Русский Сцевола»).

93

Ведет — пара часовых. «На ведетах» — на часах, на охране.

94

Господин П…в — П. А. Плетнёв, издатель сочинений Пушкина.

95

М. Пушкина — старшая дочь поэта (см. «Приложение», стр. 564).

В Петербург.

«Мы» — Александр I, манифесты писались от имени царя.

Е. Г. Черткова была сестрой декабриста Захара Чернышева.

Полковником Толь стал в сентябре 1811 года.

100

120-метровый маяк, одно из семи чудес Древнего мира.

101

Отдельный оттиск журнальной статьи.

Схизма — раскол церкви.

«За тебя» — за царя.

Ермолов, Орлов, Киселёв намечались декабристами в состав Временного правительства.